P. M. Xuirs.

Силуэты.

Р. М. Хинъ.

Силуэты.



MOCKBA.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

				Cmpaн.	
Силуэты				•	3
На старую тему	,	¥			95
Не ко двору	,	,	•		203
Наташа Криницкая	×	•			369
Макарка	9		۰		459

Тина Александровна Высогорская серьезно и сосредоточенно сидъла за мольбертомъ. Она писала портретъ хорошенькой дочки своей хозяйки, толстой, разбогатъвшей "mercière". Портретъ былъ заказанъ къ сроку, и она торопилась кончить. Въ раскрытое окно виднълись старые каштаны Булонскаго лъса, душистыя цвътущія вътки акацій врывались въ комнату, наполняя воздухъ сладкимъ раздражающимъ запахомъ. Заходящее солнце золотило висъвшія по стънамъ картины, шкафъ съ книгами, бронзовыя статуетки, гипсовые торсы, руки, ноги и цълый ворохъ бездълушекъ, разсыпанныхъ по столамъ и на каминъ.

Изъ нижняго этажа неслись звуки испанской серенады Массенэ.

— Viens!—страстно взываль чей-то голосъ.

Car l'heure est brève, Un jour effeuille les fleurs du printemps.

Сумерки быстро надвигались. Въ комнатъ становилось темно. Художница встала, расправила утомленные члены, убрала краски и, разстегнувъ воротъ своей длин-

ной рабочей блузы, прошла въ неизбъжный при каждомъ парижскомъ "appartement" cabinet de toilette, напъвая вполголоса:

Viens, car l'heure est brève.

Нина Александровна былавысокая, стройная дввушка, по виду лътъ двадцати-двухъ-трехъ, съ блъдноматовымъ подвижнымъ лицомъ и сфрыми глазами съ зеленоватыми искрами. Небольшая голова, длинными, мягкими, почти черными волосами, переходившими на вискахъ и затылкъ въ золотистые завитки, красиво сидъла на тонкой шев. Ее нельзя было назвать красавицей, ни даже очень хорошенькой, но все въ ней изобличало породу, изящныя формы сухощаваго стана, длинныя узкія руки, нісколько крупный нось, тонкій рисунокъ рта съ изм'внчивою улыбкой, то разсвянною и загадочною, то нъжною и ясною. Она была круглая сирота. Матери она не помнила совсъмъ. Отецъ ея провель всю жизнь, придумывая разные планы, долженствовавшіе обогатить человъчество, и кончиль твмъ, что застрвлился въ припадкв хандры послв цълаго года неистоваго пьянства.

Дъвочку, которой тогда было пять лътъ, взяла на воспитаніе бабушка, Прасковья Михайловна Высогорская, безвытано проживавшая въ своей полуразвалившейся усадьбъ въ О—й губерніи. Въ молодости Прасковья Михайловна слыла красавицей и львицей; обътхала всю Европу, въ Римт съ умиленіемъ цтловала туфлю папы, а въ Парижт, тоже съ умиленіемъ, плакала колтнопреклоненная, передъ статуей Вольтера. Но послт объявленія воли вст эти увлеченія отошли въ область воспоминаній. Она поселилася въ уцтлтвишемъ у нея сельцт Ключахъ, гдт предоставила себя въ безграничную власть ключницы Домнушки, умной, ворчливой старухи, пропитанной колотьями и ревматизмами.

Жила Прасковья Михайловна очень уединенно. Единственный человъкъ, ее навъщаршій, быль Левъ Никаноровичъ Ръдкинъ, ея дальній родственникъ, мелкій помъщикъ, про котораго ходили цълыя легенды, а на самомъ дълъ безобидный чудакъ и добръйшее существо. Его такъ называемыя оригинальности сводились къ тому, что онъ ходилъ всегда безъ шапки, питалъ странную слабость къ сфрымъ сюртукамъ, которыхъ у него была цълая коллекція, самыхъ удивительныхъ фасоновъ, круглый годъ купался въ грязномъ, а его увъреніямъ, чудодъйственномъ ключъ и всею душой ненавидель лошадей и докторовь, которыхь называлъ "зловредными тварями". Левъ Никаноровичъ быль лучшій другь маленькой Нины. Онь пичкаль ее пастилой, играль ей на флейть свою любимую пьесу "Полонезъ Опинскато"; когда она подросла, бралъ ее по праздникамъ къ себъ въ Липовку и читалъ ей тамъ выдержки изъ своего сочиненія "Ошибки прогресса", нисколько не обижаясь ея замфчаніями, что это ужасно скучно. Впрочемъ, чтобъ утвшить его, она всегда прибавляла, что это все-таки не скучнъе уроковъ о. Николая, который, по желанію бабушки, должень быль внушать ей, разъ въ недълю, "principes de religion". Эти уроки были сущимъ испытаніемъ для дівочки. Всв объясненія о. Николая, начинавшіяся обыкновенно со слова "аще", она пропускала мимо ушей въ нолномъ убъжденіи, что она все равно ничего не пойметъ. За то она не спускала глазъ съ его желтой косицы, недоумъвая, отчего она всегда въ пуху, и ръшила про себя, что, върно, о. Николай, въ искупление своихъ гръховъ, даль объть никогда не чесаться. Кромъ Льва Никаноровича, у Нины была еще и подруга, дочь скотницы, по прозванью-рябая Машка, шустрая девочка, съ которою Домнушка не позволяла ей "водиться" въ

виду того, что она "холопка" и для барышни "не канпанія". Но запретный плодъ оказывалъ на барышню такое-же дъйствіе, какъ и на большинство гръшныхъ людей: онъ ее соблазнялъ. Она видалась съ Машкой тайкомъ и разъ даже пропала куда-то съ нею и деревенскими мальчишками на цълый день, чъмъ привела въ несказанный переполохъ весь домъ. Но вообще Нина пользовалась общирною свободой. Никто ее особенно не ласкалъ, никто и не бранилъ. У Домнушки въчно что-нибудь ломило, да ей было и некогда. Прасковья Михайловна больше витала въ прошломъ, сокращая тоску и однообразіе деревенскаго житья чтеніемъ романовъ. Она и внучкі не мізшала читать, что ей вздумается, сама даже отдала ей ключь отъ двухъ дряхдыхъ шкафовъ, носившихъ громкое названіе библіотеки, сказавъ въ видѣ назиданія: "Les livres n'ont jamais gâtés personne". Однажды Нина, прочитавшая "Отиовъ и дътей", обратилась къ ней съ вопросомъ: "Воппе maman, что такое нигилистъ?", и Прасковья Михайловна совершенно спокойно отвътила: "Это дрянь,—ma chère^и,—не полюбопытствовавъ даже узнать, откуда внучка почерпнула такое слово.

Нинъ минуло тринадцать лъть, когда Прасковья Михайловна отвезла ее въ одинъ изъ лучшихъ дрезденскихъ пансіоновъ. Каждый годъ, во время каникулъ, она ъздила ее навъщать, и онъ проводили вакаціонные мъсяцы въ Швейцаріи или Италіи, вдвоемъ, ни съ къмъ не знакомясь. Прасковья Михайловна, какъ и въ деревнъ, всегда читала какой-нибудь романъ, а Нина не разставалась съ большимъ альбомомъ, въ который она списывала нравившіеся ей виды. Она знала наизусть всъ картины Дрезденской галлереи, иллюстрировала все, что читала, покрывала рисунками каждый клочокъ бумаги, столы, стъны, подоконники, за что ей подчасъ

жестоко доставалось отъ классныхъ дамъ. Въ пансіонѣ быдъ превосходный учитель рисованія. Онъ находилъ, что «die kleine Russin" обладаетъ большими способностями, поощрялъ и баловалъ ее.

Черезъ три года Нина кончила пансіонскій курсъ. Прівхавшая за нею, по обыкновенію, Прасковья Михайловна не узнала внучки, въ нъсколько мъсяцевъ превратившейся изъ ребенка въ дъвушку.

- Mais tu es énorme, ma chère, повторяла она безпрестанно.—Ты такъ скоро выросла, что я не успъю оглянуться, какъ у меня будетъ une vieille fille sur les bras.
- Что же ты думаешь со мной дѣлать? смѣясь, спрашивала Нина.
- Право, не знаю: о тебѣ надо серьезно позаботиться. Ѣхать въ Петербургъ дорого. Supposons qu'en sacrifiant mes bijoux,—а у меня ихъ осталось очень мало—можно будетъ продержаться двѣ зимы... и все-таки на блестящую партію тебѣ разсчитывать трудно. Ти ез bien gentille, ma petite, mais pas du tout belle, а теперь безъ приданаго и красавицы сидятъ до сѣдыхъ волосъ или выходятъ Богъ знаетъ за кого. Всѣмъ нужны деньги, деньги.. Я думаю, что въ Москвѣ у тебя будетъ больше шансовъ,—прибавила она, помолчавъ.—Тамъ у меня еще сохранились связи... la princesse Таtа, mon amie de Смольный... Нужно будетъ только пошлифовать тебя немного. Да, придется остановиться на Москвѣ.
- А я, bonne maman, не желаю даже туда заглядывать къ твоей princesse Tata.
- Куда же ты хочень, ma chère? растерянно воскликнула Прасковья Михайловна.
- Никуда... Ты сама понимаешь, заговорила вдругъ уторопленнымъ голосомъ дъвушка, что ъхать при на-

шихъ средствахъ въ Петербургъ или Москву въ надеждъ, что кто-нибудь сжалится и женится на мнъ, унизительно. Оставь меня въ Дрезденъ или, еще лучше отвези меня въ Мюнхенъ. Мнъ кажется, что у меня есть талантъ къ живописи; я буду тамъ учиться въ академіи. Это будетъ стоить дешевле самаго скромнаго приданаго et c'est plus digne, — докончила она.

Прасковья Михайловна долго молчала.

— Я не могу этого ръшить сразу,—сказала она, наконецъ,—я должна подумать.—А если у тебя нътъ таланта... une artiste manquée! Это очень горько, Нина.

Она обратилась за разрѣшеніемъ своихъ сомнѣній къ извѣстному мюнхенскому профессору Штерну. Тотъ выразилъ мнѣніе, что у Нины несомнѣнное дарованіе, и Прасковья Михайловна рѣшилась оставить внучку въ Мюнхенѣ, предварительно устроивъ ее въ одномъ почтенномъ нѣмецкомъ семействѣ.

Après tout, — подумала она, увзжая въ Россію, — это лучше чвмъ выскочить за богатаго лавочника—quelque canaille de marchand".

Это было послъднее свиданіе Нины съ бабушкой. Зимой она получила письмо отъ Льва Никаноровича, извъщавшее, что Прасковья Михайловна скончалась, назначивъ его. Льва Никаноровича, опекуномъ внучки. Далье онъ писалъ, что Ключи она продала, незадолго до смерти, что денегъ осталось до пяти тысячъ, кромъ того, двъ нитки жемчуга съ брилліантовымъ фермуаромъ и пара изумрудныхъ серегъ. Посланіе свое Левъ Никаноровичъ кончалъ совътомъ вернуться домой. "А, впрочемъ,—прибавлялъ онъ, — если вы находите, что дальнъйшее пребываніе за границей можетъ принести вамъ пользу, то я васъ, Ниночка, не неволю. Деньги въ приличномъ размъръ буду высылать вамъ аккуратно".

II.

Дина усердно проработала въ Мюнхенъ еще два года. Въ ней признавали выдающійся талантъ и предсказывали ей будущность. Въ средъ художниковъ ее полюбили; всъхъ привлекалъ ея живой нравъ, отсутствіе мелочности и зависти. Товарищи по искусству пламенно и на разныхъ языкахъ объяснялись ей въ любви; молодой профессоръ пластической анатоміи, голубоокій, свътлокудрый нъмецъ съ шиллеровскимъ профилемъ, предложиль ей даже руку и сердце, но она отклонила эту честь. Самымъ выдающимся событіемъ ея мюнхенской жизни было получение медали за первую самостоятельную картину "Старая дова". Картина была небольшая и незамысловатая. Длинная аккуратная комната съ чинно разставленною незатвиливою Изъ-за темнаго полога виднъется уголокъ кровати, три высоко вабитыхъ подушки, двѣ большихъ и одна маленькая, въ бълыхъ наволочкахъ съ кружевными прошивками. Среди комнаты обитый ситцемъ диванъ, который въ изнеможеніи опустилась худенькая старушка, въ лиловомъ платъв, коричневой шали, съ жиденькими прядями гладко зачесанныхъ полусёдыхъ волосъ. На кольняхь у нея кльтка, изъ которой она только что вынула бездыханную канарейку. Горькая судорога искривила ея губы, по морщинистой щекъ медленно скатывается слеза... Черная собаченка и жирная пестрая кошка, какъ бы понимая всю важность событія, стально смотрять на хозяйку. Чувствуется, что въ этомъ узенькомъ существовани смерть птички-реальное горе, реальная утрата. И кошка ужъ стара, и собака тоже... Картину купиль какой-то богатый англичанинь, а вскорѣ послѣ этого Нина, которой надоѣлъ Мюнхенъ, уѣхала въ Парижъ.

III.

Тамъ она попала въ кружокъ русскихъ эмигрантовъ. Ихъ безотрадная нищенская жизнь произвела на нее удручающее впечатлъніе. Она видъла воочію, какъ это призрачное безцъльное мельканіе, порождавшее уныніе и злобу, тоску и разочарованіе, затягивало самыхъ даровитыхъ, придавало всему какой-то однотонный сърый колоритъ.

Надломленные, оторванные отъ родной почвы, кровныхъ связей, полные сомнѣній и тоскливыхъ воспоминаній, они чувствовали себя приниженными, какъ-бы виноватыми въ этой чужой, занятой своими интересами и дѣлами толпѣ, изъ которой они могли уйти только въ другую чужую толпу. Умные молчали или злились въ одиночку и острили надъ наивными, вѣчно юными энтузіастами, которые, чтобы убить время и заглушить невыносимое чувство пустоты устраивали, то и дѣло, разныя общества съ мудреными названіями, предсѣдателями, подпредсѣдателями, секретарями, членами и уставами съ безчисленнымъ количествомъ параграфовъ и пунктовъ.

Любовь давала здѣсь лишь мимолетное забвеніе. При ней еще настойчивѣе стучался въ дверь голодъ, еще стращнѣе напрягался мозгъ, придумывая различныя комбинаціи найти хоть какую-нибудь работу, еще озлобленнѣе сжималось сердце при видѣ любимой женщины дрогнущей чуть не въ лохмотьяхъ.

Бѣлыя нѣжныя ручки грубѣли отъ стирки и стрянни, блестящіе глаза потухали, поблекшія губы произносили

жестокіе укоры. Взаимныя обиды, уязвленное самолюбіе, огорченія, несбывшіяся надежды, интимныя отношенія— все это дёлалось общимъ достояніемъ, все сливалось въ бёличьемъ колест кружковой жизни.

Между своими парижскими знакомыми Нина особенно отличала Владиміра Васильевича Цвиленева. Ей нравилась его рѣчь, то насмѣшливая и злая, то простая и задушевная, блескъ его горячихъ глазъ, вся его подвижная нервная фигура въ поношенномъ платъѣ, на которомъ странно выдѣлялись безукоризненною бѣлизной воротникъ и рукава тонкой сорочки. Нина звала его въ шутку "нищимъ принцемъ". Отъ остального общества онъ держался нѣсколько въ сторонѣ; его тамъ не долюбливали и замѣтно побаивались, особенно энтувіасты,—онъ такъ обидно относился къ ихъ радужнымъ проектамъ! Цвиленевъ часто и охотно ходилъ къ Нинѣ. Она всегда узнавала его быстрые шаги по лѣстницѣ и, не дожидаясь обычнаго стука, сама открывала ему дверь со словами:

- Здравствуйте, Владиміръ Васильичъ, я такъ и думала, что это вы.
- Да, это я, моя милая барышня, говориль онь, снимая свою мягкую широкополую шляпу.—Спасаться пришель въ вашъ музей: хандра одолъла.
 - Какъ, и васъ?
- И меня, и меня, Нина Александровна, "уязвилъ бъсъ благородный скуки тайной"...
- Это вамъ въ наказаніе за то, что вы надъ всѣми смѣетесь.
- Можетъ быть... хотя, по совъсти говоря, это величайшая несправедливость. Въдь, намъ только и остается, что смъяться, хныкать или мечтать на благодарную тему: "хорошо было-бы, кабы".. и т. д. Впро-

чемъ, все это чепуха. Скажите лучше, здоровы-ли вы? Вы сегодня совсъмъ прозрачная.

Онъ пытливо посмотрълъ на нее своими лучистыми глазами.

Она немного покраснъла.

- Мив что-то не по себь послвднее время, сказала она, и сама не знаю съ чего. Чтобы развлечься, я вздумала отдълывать портретъ моей бабушки и еще больше раскисла. Хотите посмотрвть мою бабушку? Она была красавица и на своемъ въку не мало вскружила головъ и разбила сердецъ.
 - Любопытно, покажите.

Они подошли къ мольберту. Величественная старуха, съ грустнымъ выраженіемъ тонкаго правильнаго лица, сидъла, откинувшись въ глубокомъ креслъ и устремивъ вдаль задумчивый взглядъ.

— Прекрасный портреть,—похвалиль Цвиленевь,—видно, что похоже... и поза хорошая, изящная, и техника превосходная. А это что?—и онъ указаль на небольшую картину. — Славная какая усадьба! Такъ и въеть стихами Фета:

Шопотъ, робкое дыханье, Трели соловья...

Это наши Ключи, т.-е. теперь уже не наши.

— Отлично написано,—еще разъ похвалилъ Цвиленевъ и усѣлся на диванъ. — Недюжиное у васъ дарованіе, Нина Александровна, вездѣ видѣнъ огонекъ, во всемъ сказывается что-то свое. Но одного таланта мало: нужно еще образованіе, а этимъ охъ какъ грѣшатъ русскіе художники; между тѣмъ, только образованіе спасаетъ отъ односторонности, всегда ведущей къфальши. У васъ, напримѣръ, много вдумчивости, пожалуй, слишкомъ много для вашихъ лѣтъ, но у васъ есть наклонность къ сантиментальности. Это очень

опасная штука и легко можетъ перейти въ приторную слащавость... Да вы, кажется, меня не слушаете, сударыня, а я-то стараюсь...

Нина, засовывавшая въ каминъ огромный чайникъ, разсмъялась.

— Слушаю, слушаю, — сказала она, — и даже хочу наградить васъ чаемъ за умныя рѣчи. Нѣтъ, кромѣ шутокъ, Владиміръ Васильичъ, я съ вами вполнѣ согласна, и вы не повѣрите, до чего меня огорчаетъ мое невѣжество. Я, вѣдь, совсѣмъ, совсѣмъ ничего не знаю.

Она даже вздохнула, проговоривъ это.

- Вамъ-то, положимъ, нечего особенно печалиться, утъщалъ ее Цвиленевъ, въ сравнении со многими отечественными Рафаэлями вы еще Аристотель. У васъвонъ въ библіотекъ Шекспиръ стоитъ, Байронъ, Гете, и Жоржъ Зандъ, и Альфредъ де-Мюссе, и всъ наши. Вы все это читали?
 - Много разъ, это мои давнишніе любимцы...
 - Вотъ видите...
- Ничего я не вижу... Всѣ мои знанія какъ-то безъ начала и безъ конца. У нашей ключницы Домнушки былъ сундукъ, въ который она запихивала рѣшительно все, а когда что-нибудь понадобится, ни за что бывало не отыщетъ. Вотъ моя голова точь въ точь Домнушкинъ сундукъ: чего нужно, того и нѣтъ.
- Оригинальное сравненіе, замѣтилъ, усмѣхаясь, Цвиленевъ,—надо сообщить его Грибкову; онъ запишетъ и всунетъ его въ поэму. Вѣдь, онъ все записываетъ.

Вода вскипъла. Нина накрыла на столъ и принялась разливать чай. Цвиленевъ молча глядълъ на нее, перебирая пальцами свою густую черную съ замътною уже просъдью бороду.

— Знаете, о чемъ я часто думаю? — начала она, подавая ему стаканъ.

- Прелестный вопросъ, почемъ же мив знать?
- Не перебивайте, я сейчасъ скажу. Я все думаю, отчего это мнѣ не удавалось до сихъ поръ сталкиваться съ настоящими умными русскими.
 - Въроятно потому, что ихъ нътъ.
- Не шутите, Владиміръ Васильичь, я говорю серьезно. Судя по книгамъ, они гораздо интереснъе другихъ умныхъ людей,
- Развѣ въ Дрезденѣ, Мюнхенѣ, или гдѣ вы тамъ были, вы не встрѣчали русскихъ?
 - Встрвчала художниковъ и художницъ, но...
 - Но что?
- Это совсёмъ не то, что я себё представляла. Правда, они не такъ мелочны, не такъ разсчетливы, какъ нёмцы, но они грубы, лёнивы, обо всёмъ судять съ плеча, самаго высокаго мнёнія о своихъ талантахъ, а отъ малёйшей неудачи приходятъ въ отчаяніе. Притомъ, ни въ одной колоніи тамошнихъ учащихся столько не сплетничали, какъ въ русской.
- Быть можетъ, Нина Александровна, вамъ тамъ лично чвмъ-нибудь досадили?—спросилъ онъ.
- О, нътъ, увъряю васъ, меня тамъ всъ любили и даже баловали, хотя я ни съ къмъ не была дружна.
- И вы не нашли ни одной симпатичной черты въ вашихъ русскихъ товарищахъ?
- Напротивъ, цѣлую гибель. Они добры, чрезвычайно отзывчивы на чужое горе, не только дѣлятся, но прямо отдаютъ послѣднее, и за это я ихъ очень любила. На нихъ только нельзя положиться: пока они съ вами хороши—вы совершенство, а поссорились—и хуже васъ человѣка въ мірѣ не найдется. Тамъ были двѣ барышни-подруги; вмѣстѣ изъ петербургской академіи прі-ѣхали и въ Мюнхенѣ вмѣстѣ жили, ихъ даже считали сестрами. И вотъ онѣ за что-то разссорились. То-есть

вы себъ представить не можете, что онъ другъ про друга послъ разсказывали. Это возмутительно...

Цвиленевъ улыбнулся, глядя на возбужденное лицо Нины.

- Да,—сказалъ онъ,—некрасиво, но вы не думайте, что это спеціально русская черта: она свойственна всѣмъ людямъ. Цѣнить врага умѣютъ лишь очень немногіе. Въ художникѣ, если хотите, эта страстность еще простительнѣе. Онъ исключительно живетъ въ сферѣ чувства и образовъ, его натура воспріимчивѣе, впечатлительнѣе, чѣмъ у насъ, простыхъ смертныхъ. Потому-то художники бываютъ сплошь да рядомъ не выносимы въ частной жизни и при близкомъ знакомствѣ разочаровываютъ своихъ пламенныхъ поклонниковъ... Ну, а здѣшніе русскіе вамъ тоже не по душѣ? спросилъ онъ.
- Здѣшніе меня ужасно подавляють. Всѣ какіе-то растерянные. Васъ я больше всѣхъ люблю, но, 'вѣдь, вы тоже больной... Вы только умнѣе другихъ, и потому это не такъ замѣтно.
- Ай, да скромница, всъхъ отчитала, хорошо, очень хорошо!
- Нѣтъ, Владиміръ Васильичъ, зачѣмъ вы такъ принимаете? Не надо иронизировать; вѣдь, это совсѣмъ не смѣшно,—заговорила она, чуть не плача,—Я хочу знать, вы должны мнѣ разсказать, отчего здѣсь всѣ такіе искалѣченные.
- Долго разсказывать, Нина Александровна,—промолвиль онъ, кусая губы,—да и не особенно легко разгребать свою же могилу. Поживёте, и сами умудритесь. А что до умныхъ или, какъ вы выразились, "настоящихъ" русскихъ людей, то врядъ-ли вы ихъ и на родинъ встрътите въ данный моментъ.

IV.

Въ дверь громко постучались и затъмъ въ нее чуть не разомъ вошли двое мужчинъ и двъ барыни.

- А мы къ вамъ компаніей,—затрещала Дешенька Любимова (маленькая особа, бѣлокурая и стриженая, съ большимъ носомъ, какъ-то испуганно торчавшимъ на ея длинномъ лицѣ).—Батюшки, да они тутъ въ двоемъ съ Володей чай распиваютъ! Идиллія какая, скажите, пожалуйста.
- Перестаньте вы молоть, поздороваться не дасть, сказала вторая гостья, Марья Дмитріевна Огнева, смуглая, очень недурная собой барышня.

Изъ мужчинъ одного звали Грибковымъ, другой былъ извъстенъ подъ уменьшительнымъ именемъ Костеньки.

Грибковъ былъ малый, средняго роста, широкій въ плечахь, съ черною кудластою головой и лицомъ, напоминавшимъ бульдога. Стихи его, весьма недурные, печатались въ "толстыхъ" журналахъ. Господинъ этотъ былъ восплощенное самомнъніе; онъ благоговълъ передъ собой, малъйшую критику принималъ за личное оскорбленіе о современныхъ поэтахъ, какъ иностранныхъ, такъ и русскихъ, говорилъ не иначе, какъ скосивъ ротъ на сторону, и въчно былъ съ къмъ-нибудь въ ссоръ, чаще всего съ своею собственною сестрой.

Совствить другой человтить быль Костенька. Высокій, стройный, красивый, онъ постоянно находился въ ажитаціи, всегда что-нибудь устраиваль, разстраиваль, восторгался, возмущался, няньчился съ дттьми, ходиль за больными, пріискиваль квартиры для знакомыхъ. Въ юности онъ подаваль блестящія надежды, которыхъ, какъ водится, не оправдаль, Быть на виду, играть роль

было его завътною мечтой, но безконечная лѣнь мъшала ему: онъ все собирался серьезно заняться какою-нибудь спеціальностью, а кончалъ тѣмъ, что только секретарствовалъ въ безпрерывно нарождавшихся и скоропостижно умиравшихъ обществахъ.

Костенька сообщилъ, что часъ тому назадъ пало министерство такимъ тономъ, словно поздравлялъ окружающихъ съ именинами. Новость никого особенно не тронула (только Дашенька пропищала: подлецы! оппортюнисты!), и онъ поспъшилъ возвъстить другую.

- А я съ Викторомъ Гюго познакомился.
- Какъ это васъ угораздило? изумился Цвиленевъ.
- Да очень просто! зашелъ къ нему и отрекомендовался: такъ и такъ, молъ, русскій, поклонникъ вашего высокаго гуманнаго таланта. Ну, разговорились... толковалъ я ему битыхъ три часа про наше молодое поколѣніе. Онъ просто уши развѣсилъ.
 - Еще бы!—вставилъ Цвиленевъ.
- Какой вы, право, Костенька, начала Нина, укоризненно покачавъ головой, и не докончила.

Ее энергически поддержала Марья Дмитріевна.

— И въ самомъ дѣлѣ, когда вамъ, наконецъ, надовстъ ломать изъ себя шута? — воскликнула она. — Жить не можетъ, чтобы не выкинуть какой-нибудь глупости. А все отъ бездѣлья! Гранитъ, гранитъ мостовую, поневолѣ всякая дурь въ голову полѣзетъ; ну, и прорветъ его: пойду, молъ, покажу Виктору Гюго, какіе между нами недоросли изъ дворянъ водятся... Эхъ, право, сидѣлъ бы ужъ лучше дома.

Бъдный Костенька, совсъмъ сконфуженный отъ внезапнаго натиска, хлъбнулъ большой глотокъ горячаго чая, обжегъ весь ротъ и обиженно отвернулся въ сторону. — Мнѣ, главное, что досадно, — продолжала неумолимая Марья Дмитріевна, — что вотъ эти (она кивнула на Цвиленева и Грибкова) тоже надъ нимъ потѣшаются, хотя сами въ милліонъ разъ хуже его и нисколько не умнѣе.

Цвиленевъ улыбнулся, а поэтъ хотѣлъ было оскорбиться, да раздумалъ и замѣтилъ только:

— У Марьи Дмитріевны вѣчно парадоксы. Костинькѣ пришла фантазія идти на поклоненіе къ выдохшейся бездарной муміи, а я виноватъ.

Чтобы разсъять собиравшіяся тучки, Нина обратилась къ Грибкову съ вопросомъ, не нишетъ-ли онъ чегонибудь новаго.

- Я занять теперь большой поэмой "Самоубійцы",— сказаль онъ мрачно.
- Что же, вы описываете вообще самоубійство или какіе-нибудь особенно поразившіе васъ факты?
- Нѣтъ, меня больше интересовала тутъ психологическая сторона, причины, толкающія человѣка порѣшить съ собою. Вѣдь, по этому поводу существуетъ масса разногласій: одни говорятъ, что это легко, другіе—что трудно, третьи утверждаютъ, что всѣ самоубійцы сумасшедшіе, четвертые, напротивъ, считаютъ ихъ мудрецами.
- Эка важность: самоубійство! прервала Дашенька. — Всунуль голову въ петлю, спустиль ноги, — и готово.
- Не правда-ли, какъ просто? сказалъ Цвиленевъ и взглянулъ на Нину.
- Нѣтъ, разстаться съ жизнью не легко, убѣжденно промолвила Марья Дмитріевна, и скверна-то она, эта постылая жизнь, и не ждешь отъ нея ничего, а все тянешь... Въ молодости еще, мнѣ кажется, легче оборвать, не успѣлъ, по крайней мѣрѣ, такъ привыкнуть.

- А по моему это положительно вздоръ, опять вмѣщалась Дашенька,—Не понимаю, какъ вамъ, Марья Дмитріевна, не стыдно такъ сантиментальничать, а еще докторъ математики! Вотъ, помяните мое слово, чуть только мнѣ приспичитъ, я сейчасъ...
 - Заплачу, докончилъ Цвиленевъ.

Всѣ засмѣялись. Дашенька вскочила и со всего розмаху стала колотить его по головѣ.

— Вотъ вамъ, вотъ, баричъ, аристократъ, реакціонеръ,—приговаривала она послѣ каждаго удара.

Онъ захватилъ одной рукой ея руки и сильно сжалъ.

- Ой, ой, больно,—завизжала Дашенька,—пустите!
- Не будете драться?
- Не буду, говорять вамъ-пустите.
- Сначала просите прощенія.
- Не хочу.
- A, не хотите?!
- Простите, простите, чортъ съ вами.

Цвиленевъ смиловался и разжалъ руку. Нинѣ не понравилась эта сцена, и она недовольно нахмурила брови.

- А все-таки вы баричъ, прошептала опять Дашенька и спряталась за Марью Дмитріевну.
- Ладно, будетъ вамъ ругаться. Разскажите лучше, какъ вы съ посольскими чиновниками любезничали, чтобы они вамъ паспортъ дали.
- Какъ же, сейчасъ! Вамъ бы только ха-ха-ха да хи-хи-хи. Уродъ эдакій, эгоистъ, только бы ему наслаждаться; сама видѣла, какъ онъ намедни въ кондитерской мороженое ѣлъ. Никогда, небось, не подумаетъ о другихъ. Вотъ Иванова несчастная вчера родила, такъ ребенка обернуть не во что было.
- Помилуйте, чъмъ же я виновать? защищался. Цвиленевъ.

- Костенька своихъ двѣ рубашки отдалъ,—продолжала, не слушая, Дашенька.
- Я готовъ отдать цёлыхъ три,—началъ Цвиленевъ, но его прервалъ вдругъ встрепенувшійся Костенька.
- Не смѣйтесь, Цвиленевъ,—заговорилъ онъ,—если бы вы видѣли эту бѣдную Иванову. Одна, по-французски ни слова, въ монсардѣ, изъ всѣхъ щелей вѣтеръ дуетъ, въ каминѣ ни уголька. Она, вѣдь, скрытная, никогда не жалуется, а тутъ какъ увидала насъ съ Дашенькой, разрыдалась до истерики. Ребенокъ хилый, того и гляди, умретъ, да и она, пожалуй, не выдержитъ.

Бесъда какъ-то сразу оборвалась. Грибковъ, дувшійся, что на него мало обращаютъ вниманія, поднялся первый и сталъ прощаться съ Ниной. За нимъ поднялись остальные. Въ прихожей Нина остановила Дашеньку и, сунувъ ей въ руку скомканную бумажку, застънчиво прошептала:

- Пожалуйста, передайте это Ивановой отъ себя, мнѣ неловко, я ее совсѣмъ не знаю.
- Хорошо, хорошо, громко отвътила Дашенька, вы славная барынька (она потрепала ее по плечу), только ужъ больно цирлихъ-манирлихъ. Ну, чего вы стъсняетесь? что тутъ за секреты? Вы отдаете свой излишекъ. Это естественно и раціонально. Это не пошлая филантропія, не милостыня, чтобы лъвая или тамъ правая не знала...
- Будетъ вамъ ораторствовать, Дашенька,—остановила ее Марья Дмитріевна,—пойдемте, договорите въдругой разъ.

V.

Нина познакомилась съ нѣсколькими французскими семействами. Сначала ее привлекала ихъ дѣятельная, энергическая жизнь, въ которой, казалось, не было мѣста русскому безалаберному метанію изъ угла въ уголъ. Но она скоро разочаровалась, и самодовольные, французскіе буржуа, съ ихъ отполированнымъ либерализмомъ, сквозь который нѣтъ-нѣтъ и проглянетъ жадный кулакъ, сдѣлались ей противны.

"Ужъ лучше мои полуголодныя, неуклюжія соотечественницы, — писала она въ своемъ дневникѣ, — чѣмъ эти крашеныя, перетянутыя, съ подведенными глазами куколки въ кудряшкахъ. Тѣ, если бросаются головою внизъ во имя невѣдомаго, то это невѣдомое, по крайней мѣрѣ, представляется имъ до того грандіознымъ, что не жаль изъ-за него расшибиться... А у этихъ невинныхъ птичекъ все ясно: богачъ мужъ — marchandengros—основа жизни, мелкій журналистъ, актеръ бульварнаго театра—ея украшеніе.

Она уходила въ Луврскій музей и тамъ забывала все бродя по безконечнымъ амфиладамъ залъ. Успокоенная обаяніемъ прекрасныхъ образовъ, она садилась у ногъ Венеры Милосской и подолгу, не отрывая глазъ, глядъла въ дивное лицо богини, точно ждала, что мраморныя уста раскроются и съ нихъ польются чудныя ръчи о томъ чудномъ далекомъ времени, когда у нея были руки, когда алтари ея благоухали ароматомъ цвътовъ, когда она наполняла міръ неисчерпаемою нъгой красоты и любви. Ниной иногда овладъвало неудержимое желаніе поцъловать гордыя нъмыя губы богини. Разъ она даже не утерпъла и уже наклонилась было къ статуъ, но въ дали показалась англійская чета въ "Бедеке-

ромъ" въ рукахъ; она ясно услышала, какъ почтенная лэди, удостовърившись, что каждый номеръ дъйствительно находится на своемъ мъстъ, произносила довольнымъ голосомъ: "он уез". Ей стало стыдно за свое ребячество и она проворно исчезла.

У дверей своей квартиры она столкнулась съ Цвиленевымъ.

- Здравствуйте, Владиміръ Васильичь, вы были у меня?
- Да, и очень сожалѣлъ, что не засталъ: я собирался у васъ позаняться немножко, дома ужасная тоска, совсѣмъ не работается. Пустите, Нина Александровна, бѣднаго странника погрѣться у вашего огня, произнесъ онъ жалобно.
- Сдълайте милость, бъдный странникъ, сказала она, входя въ комнату, только огонь вамъ придется зажигать самому, я очень устала, за то объщаю вамъ не мъшать, работайте сколько угодно.
 - Вы мнъ никогда не мъщаете.
- Владиміръ Васильичъ, комплименты!.. стыдитесь!—воскликнула она, смѣясь, и ушла въ уборную перемѣнить платье.

Когда она вернулась, каминъ уже былъ растопленъ угли пылали съ легкимъ трескомъ, разливая въ комнатѣ пріятный свѣтъ и теплоту. Цвиленевъ сидѣлъ въ углу за столикомъ и быстро строчилъ перомъ по бумагѣ.

Нина вынула изъ шкафа маленькій томикъ «Фауста» и, усѣвшись поближе къ камину, стала читать.

— Какая, однако, отвратительная погода стоить, и не скажешь, что весна,—замътилъ Цвиленевъ, не переставая писать.

Нина ничего не отвътила.

Видъли, Нина Александровна, новую картину Мун-каччи?—спросилъ онъ, немного погодя.

- Видъла.
- А что, хороша?
- Хороша, т. е. даже не такъ хороша, какъ оригинальна. Его Христосъ совсѣмъ не то, что, напримѣръ, Тиціановскій: это болѣе осязательный, если хотите, болѣе вульгарный Христосъ. Вотъ посмотрите, у меня есть копія съ головы Тиціановскаго Христа.

Она незамѣтно увлеклась, заговоривъ о любимой картинѣ, стала объяснять мельчайшія детали. Цвиленевъ отвѣчалъ на ея замѣчанія, отрываясь на мгновенье отъ бумаги, и, когда она умолкала, предлагалъ новый вопросъ.

- А въ Салонъ были?
- Какъ же... А вы были?
- Нѣтъ еще, все собираюсь. Есть что-нибудь интересное?
- Немного; впрочемъ, импрессіонисты выставили нѣсколько прелестныхъ картинъ. Знаете, эту школу положительно ждетъ будущность...

И она начала перечислять.

- Вотъ и спасибо, Нина Александровна,—говорилъ Цвиленевъ, складывая бумагу,—съ вами всегда соединяешь полезное съ пріятнымъ.
 - Это какимъ образомъ?
- Да я подъ вашу диктовку корреспонденцію о Салонъ написаль, теперь и бъгать самому не нужно: стало быть, экономія времени.
- Владиміръ Васильевичъ, это безсовъстно, такое іезунтство. Я думала, вы и въ самомъ дълъ интересуетесь, а вы съ корыстной цълью выпытывали.
- Ну, вотъ, сейчасъ и страшныя слова: корыстная цъль! Какая тутъ корысть? Самая невинная хитрость.
 - Но развъ можно писать о томъ, чего не знаешь?
- Младенецъ милый! А вы думали, что пишутъ только о томъ, что знаютъ? Въдь, эдакъ бы всъ газетчики

по міру пошли. Въ сравненіи съ другими я еще паймальчикъ въ этомъ отношеніи, потому что черпаю свои свъдънія у спеціалистовъ: по художественному, отдълу, напримъръ, у васъ, а въ политикъ и всемъ прочемъ выручаетъ Костенька. Когда съ нимъ поговоришь часокъ-другой, можно ужъ ни одной газеты въ руки не брать, — онъ всъ прочелъ, — садись и смъло пиши о чемъ угодно: о депутатскихъ преніяхъ, скандальномъ процессъ, костюмъ королевы Изабеллы, новой куклъ въ витринъ куафера, о митингъ Луизы Мишель, капризахъ Сарры Бернаръ... о чемъ хочешь.

- Какъ это мило, еще онъ же издѣвается! но меня вы больше не поймаете, а чтобы вылечить васъ отъ лѣни, я скажу Костенькѣ про ваши невинныя хитрости.
- Чёмъ замышлять козни, лучше напоите меня чаемъ изъ вашей bouillote, а я вамъ буду новости разсказывать.
 - Веселыя?
- Это какъ смотръть. Если поэту, напримъръ погруженному въ мечты о прекрасномъ и высокомъ, вылить на голову тазъ съ грязною водой,—не въ фигуральномъ, а въ прямомъ смыслъ, что это, по вашему, весело?
- Во всякомъ случав назидательно. Это вы про кого же, про Грибкова?
- Какъ вы догадливы! Да, про него. Нищета у нихъ, какъ вамъ извъстно, страшная, сестра совсъмъ надорвалась съ дътишками. Стираетъ, стряпаетъ, чинитъ, ну и пристала къ нему: пиши да пиши, а онъ ей: я, молъ, не ремесленникъ. А у ней, надо вамъ сказать, въ придачу ко всъмъ прелестямъ, уже два мъсяца зубы болятъ, нервы-то и расходились. Схватила она, не говоря худого слова, тазъ, да и бацъ на голову "пъвцу любви и грусти нъжной"... Эхъ, чортъ, кажется, перевралъ! Впрочемъ, вы поняли.
 - Несчастный Цвиленевъ! воскликнула Нина, —

какъ вы можете говорить подобнымъ тономъ о такихъ ужасныхъ вещахъ?

- Привыкъ я очень къ такимъ сценамъ; вѣдь, это вамъ все вновъ... Ну, что вы затуманились, моя дѣточка.
 - Онъ взялъ ее за руку и ласково заглянулъ ей въ лицо.
- Я задумалась о Грибковъ. Очень его жаль. У него, въдь, дъйствительно есть талантъ и ничего-то ничего изъ него не выйдетъ, его затянетъ здъшняя жизнь.
- Да, его положеніе печальное. Онъ чувствуєть, что могъ-бы что-нибудь сдёлать, и весь уходить на безплодныя потуги. Этимъ объясняется его мелочность, невыносимая обидчивость, бользненное самомнёніе. Онъ или запьеть, или опошлится до мерзости... чёмъ мы всё обыкновенно кончаемъ.
- Развъ это такъ неизбъжно, Владиміръ Васильевичъ?
- Для насъ неизбъжно, моя ласточка, въдь, мы не герои... А я вчера Кедрова за ухо выдралъ,—сказалъ онъ, помолчавъ и, очевидно, желая перемънить разговоръ.

Нина вопросительно посмотръла на него.

— За любопытство, — поясниль онь, — вытащиль у меня изъ ящика, вмъсто папиросы, письмо и сталь читать. Прелестный юноша! По младости и глупости согръшиль и не знаеть, бъдняга, какъ ему выбраться на природный путь—въ товарищи прокурора... Теперь онъ на побъгушкахъ у очаровательной Глафиры Павловны. Вы ее еще не знаете? Стоитъ познакомиться. Глупа, доложу вамъ, одна какъ двадцать коровъ, а мужемъ умнымъ и чрезвычайно ученымъ человъкомъ, помыкаетъ, какъ тряпкой. Мы, говоритъ, съ Мишей, когда нашу книгу писали... а на самомъ дълъ она, кромъ какъ "милые родители, присылайте денегъ", ничего въ свою жизнь не писала.

— Вотъ вамъ-бы такую жену, Владиміръ Васильевичъ,—она бы вамъ живо язычекъ подрѣзала,—замѣ-тила Нина.

Мм... это еще бабушка на двое ворожила, — возразиль онь, — меня не такъ легко осъдлать. Върнъе всего, что я никогда не женюсь. Такъ хоть ублажаешь себя—Гамлетъ не Гамлетъ, а все же не кострюлька съ молокомъ и не сырыя пеленки... Простите, виноватъ... со всъмъ забылъ, что возлѣ меня милая, скромная барышня, которая лишь въ качествѣ любопытной туристки заглянула въ наше болото... А знаете, Нина Александровна, — сказалъ онъ вдругъ совершенно серьезно, — вамъ въ самомъ дѣлѣ лучше уѣхать отсюда и поскоръй.

- Почему?—спросила она.
- Не для васъ здѣшній воздухъ; вы тутъ зачахнете. Вы и такъ уже начали хирѣть. Признайтесь, вѣдь, плохо работаете?
- Плохо, Владиміръ Васильевичъ, все мысли разныя въ голову лѣзутъ.
- Скверный признакъ, скоро резонерствовать начнете, а это первый шагъ въ лагерь неудачниковъ, въ нашъ лагерь.
 - Да куда ѣхать-то?—задумчиво промолвила она.
- Въ Россію, непремѣнно въ Россію, домой,—за-говорилъ онъ взволнованнымъ, прерывающимся голосомъ.—Тамъ тяжко, тамъ душно, но потому-то и не слѣдуетъ оттуда уходить. Что мы тутъ всѣ? Вѣчные праздноболтающіе... Уѣзжайте, голубка! Хоть и больно васъ отпускать... очень больно... а все-таки уѣзжайте.

Онъ нагнулся къ ней близко, близко. Она почувствовала на своей щекъ его жаркое дыханіе, тихонько оттолкнула его и встала.

- Не надо, Ниночка?—сказалъ онъ, усмъхаясь своею нервною усмъшкой.
 - Не надо, отвътила она, вспыхивая.

VI.

Паступаль канунь русскаго Новаго года, который положено было ознаменовать баломъ, За нѣсколько дней до бала все какъ будто оживилось. Присяжные распорядители, съ Костенькой во главѣ, бѣгали собирать деньги, суетились, закупали, хлопотали, стараясь изъ всѣхъ силъ не ударить въ грязь лицомъ. Помѣщеніе наняли надъ какою-то харчевней въ quartier Latin и, чтобы придать ему приличный случаю видъ, поставили вдоль обдерганныхъ стѣнъ десятка два полузасохшихъ фикусовъ въ большущихъ кадкахъ. Эффектъ вышелъ довольно печальный, но распорядителямъ нравилось.

Нина прівхала поздно. Ей пришлось пробираться наверхь между двумя рядами любопытныхь гарсоновь, выстроившихся на лѣстницѣ, чтобы посмотрѣть, какъ веселятся "les nihilistes russes". Большая зала, скудно освъщенная масляными лампами и свѣчами, была полна народу. Тутъ были и "легальные": присланные изъ разныхъ университетовъ молодые люди, будущіе профессора, студентки, музыканты, пѣвцы и пѣвицы, съѣхавшіеся со всѣхъ сторонъ учиться къ парижскимъ знаменитостямъ. Но главный фонъ составляли эмигранты. Всѣ почистились, пріободрились, принарядились, даже Дашенька пришила кружевной воротничекъ къ платью и повязала взъерошенную голову ленточкой.

Среди залы красовалось потертое піанино, на которомъ добровольный таперъ безуспѣшно выколачивалъ жиденькую польку. Гости еще не обошлись, не оглядѣтись и робко жались по темнымъ угламъ. Распоряди-

тели были въ отчаяніи: они такъ мечтали, чтобы все было непринужденно и весело. Больше всѣхъ огорчался Костенька. Онъ перебѣгалъ отъ одной дамы къ другой, представляя имъ по нѣскольку разъ однихъ и тѣхъ-же лицъ, угощалъ всѣхъ фруктовой водой, хотя никому еще не было жарко, метался безъ всякой надобности изъ залы въ уборную, оттуда на лѣстницу, оттуда опять въ залу и старался не думать объ узкихъ лакированныхъ сапожкахъ, немилосердно жавшихъ ему ноги и за которые онъ сегодня утромъ заплатилъ въ "Воп Магсhé" 7 франковъ 95 сантимовъ.

— Черти проклятые, 95 сантимовъ! — шепталъ онъ укоризненно. — Въдь, это чистъйшій подвохъ, дескать, олухъ - покупатель не сообразитъ, что 95 сантимовъ тотъ-же франкъ.

У боковой ствны возвышалось нѣсколько столовъ съ закуской, скромнымъ дессертомъ и бутылками "petit Bordeaux" (Костенька заикнулся было о шампанскомъ, но его осмѣяли и онъ тутъ-же устыдился своей дерзости). У одного изъ столовъ сидѣлъ мужчина лѣтъ шестидесяти, сѣдой, съ тонкими, изящными чертами лица, и декламировалъ задушевнѣйшимъ, нѣсколько разбитымъ и нѣсколько уже пьянымъ голосомъ:

— "А если сонъ видънья посътятъ, о!"....

Это былъ всеобщій любимецъ Иванъ Иванычъ. Возлѣ него стоялъ Цвиленевъ и усердно съ нимъ чокался. Нина сѣла рядомъ съ Марьей Дмитріевной, смотрѣвшей въ этотъ вечеръ какъ-то особенно серьезно.

- Какъ вы поживаете?—спросила она, пожимая ей руку.
- Такъ себъ; вчера, наконецъ, защитила свою злополучную диссертацію.
- И теперь вы докторъ математики? воскликнула Нина. —Какая вы ученая! Просто страшно.

- Еще бы не страшно! Я скоро кусаться начну, отвѣтила Марья Дмитріевна.
 - Но вы все-таки довольны, что добились цѣли? Марья Дмитріевна сощурила близорукіе, черные глаза.
- Какъ вамъ сказать? —промолвила она. Послѣдній годъ мои занятія стали мнѣ казаться большою нелѣ-постью, и я продолжала ихъ только по привычкѣ. Ну, скажите сами, кому будетъ легче оттого, что я знаю "небесную механику" или "ряды" Гауса? Науки я впередъ не подвину, да и самой мнѣ отъ этого ни тепло, ни холодно... Ужасно глупо!

Къ нимъ подлетълъ Костенька.

- Позвольте васъ пригласить на кадриль, Марья Дмитріевна, Нина Александровна, проговорилъ онъ, запыхавшись и приглаживая свои безъ того прилипшіе ко лбу вихры.
- Объихъ вмъстъ?—спросила, смъясь, Марья Дмитріевна.
- Ну вотъ! Всегда вы надо мной труните. Я ангажирую Нину Александровну, а вамъ сейчасъ представлю кавалеровъ.

Общество оживилось. Послышались смѣхъ, шутки. Двое косматыхъ юношей подхватили подъ мышки Ивана Иваныча и кружились съ нимъ по комнатѣ, поминутно наскакивая на танцующихъ. Цвиленевъ вертѣлъ Нину, нашептывая полунасмѣшливо, полусерьезно:

— О, вальсъ, культурный метаморфозъ пляски дикаря! Вальсъ и русскія уъздныя барышни, это перлъ поэзіи. Посмотрите, какъ все мелькаетъ, несется, сливается... Какъ близко отъ меня теперь ваше блъдное личико съ горящими глазами. Я чувствую на своей груди каждое біеніе вашего сердца....

Одинъ только Грибковъ, угрюмо стоя въ дверяхъ, съ такимъ презръніемъ глядълъ на кружившую публику,

словно туть-же собирался заклеймить ее безпощаднымъ стихомъ. Приближалось двѣнадцать часовъ. Танцы прекратились. Всѣ гости, человѣкъ, сто, образовали полукругъ въ центрѣ комнаты. Въ бокалы разливали деневенькое вино. Когда послышался первый ударъ дребезжащихъ стѣнныхъ часовъ, всѣ замолки въ какомъто торжественномъ ожиданіи. Тишину прервалъ Иванъ Ивановичъ. Онъ поднялъ свой бокалъ и произнесъ взволнованнымъ, дрожащимъ голосомъ:

- Съ Новымъ годомъ, господа. Пожелаемъ, чтобы для всъхъ нашихъ близкихъ, гдъ-бы они ни были, наступившій годъ былъ годомъ облегченія.
- Ура! Съ Новымъ годомъ, съ новымъ счастьемъ! Пѣть, пѣть, непремѣнно пѣть! "Дубинушку"! Нѣтъ, "По-лоску"!..—разсыпалось по залѣ.

Къ піанино подошла высокая круглолицая дѣвушка и затянула свѣжимъ сочнымъ голосомъ извѣстную "Полоску":

...Все полоски своей ему жаль, Все полоску свою вспоминаеть,—

уныло подтягивалъ хоръ.

Нина заглядълась на эту группу. Трепетный свътъ догарающихъ лампъ и свъчей падалъ на молодыя, уже измученныя лица, впалыя щеки, впалыя груди, изношенную, заплатанную одежду. На всемъ жакъ-бы разлита печать безнадежности.

"И все это погибшіе, —подумала она, —некуда голову приклонить: ни впередъ, ни назадъ. Вотъ этотъ, въ съромъ пальтишкъ, совсъмъ ребенокъ... ему не болъе восемнадцати лътъ, и все ужъ для него покончено. А та бъдная, что кутается въ платокъ! Черезъ нъсколько дней она будетъ матерью. Костенька опять изорветъ на пеленки свою рубашку; прибавится еще ни за что, ни про что надорванная жизнъ".

У нея захватило дыханіе, слезы сжали горло, сердце замерло отъ наплыва жалости и любви. Она вышла въ уборную и, уткнувшись головой въ спинку дивана, горько зарыдала.

- Что съвами, Высогорская?—спрашивала ее Марья Дмитріевна, силясь разнять ея судорожно сжатыя руки.
- Жалко, жалко, жалко всъхъ,—твердила Нина. Боже мой, неужели вамъ не жалко?
- У меня ужъ давно все перегорѣло,—отвѣтила та, подавая ей воду.

Изъ залы доносился шумъ голосовъ; нападали, очевидно, на Ивана Ивановича.

- Вы постепеновецъ,—взывалъ кто-то отчаянною фистулой, романтикъ воображаете, что голодъ можно утолить чувствительными стишками.
- Ничего подобнаго я не воображаю; я говорю только, что наука...

Старая пѣсня! Этимъ еще въ сороковые годы прекрасные юноши пробавлялись: поклонялись идеалу и драли мужиковъ на конюшнѣ.

- Плевать намъ...
- Господа,—унимали распорядители, что туть за ссоры, за споры? Мы сегодня веселимся.
- Къ чорту политику!—вмѣтались благоразумные.— Давайте лучше пить:

Выпьемъ, что-ли, Ваня, Съ холоду да съ горя, — Говорятъ, что пьянымъ По колъно море.

- И то добре, согласился Иванъ Ивановичъ.
- Одъвайтесь, Высогорская, и поъдемъ домой, сказала Марья Дмитріевна.—Ночуйте у меня,—я, въдь, туть близко.

На лъстницъ онъ столкнулись съ Цвиленевымъ.

Онъ былъ страшно блѣденъ, на губахъ блуждала злая усмѣшка, пальцы быстро дергали бѣлый галстухъ. Увидѣвъ Нину, онъ захохоталъ:

— Ага, моя красавица, убѣгаете отъ страдальцевъ за идею... Н-да, букетъ-то ужъ больно пахучій, а у дамъ нервы тонкіе, нѣжные... Что вы такъ на меня уставились? Что я пьянъ? Эка важность! Умному человѣку да разъ въ годъ не напиться... Ниночка, прелесть моя,—заговорилъ онъ вдругъ жалобно, со слезами въ голосѣ, — не сердитесь, дайте ручку, ну, хоть одинъ па-а-льчикъ.

Было совсѣмъ рано. Нина и Марья Дмитріевна спали еще крепкимъ сномъ послѣ вчерашняго бала. Ихъ разбудилъ сильный стукъ въ дверь и охрипшій голосъ, кричавшій по-русски: "отворите, отворите скорѣй!" Первая очнулась Марья Дмитріевна. Она накинула попавшееся ей подъ руку пальто и бросилась открывать дверь.

Вошелъ Костенька, растрепанный, съ искаженнымъ лицомъ.

— Цвиленевъ застрѣлился, — объявилъ онъ, грузно опускаясь на стулъ.

Крикъ ужаса разомъ вырвался изъ груди Марьи Дмитріевны и выходившей въ эту минуты изъ-за ширмъ Нины.

- Когда? почему?—заикаясь, спрашивала Марья Дмитріевна.
- -- Часа два тому назадъ. А почему неизвѣстно Только и написалъ французскую записку на имя коммиссара, чтобы никого въ его смерти не винить. И какъ только я, оселъ, ничего не слышалъ? Вѣдь, я

ночеваль у него, нельзя было никакъ догадаться... такой быль веселый.

- И... наповалъ? говорила Нина.
- Въ томъ-то и дѣло, что нѣтъ: рана безусловно смертельная, и онъ страшно мучится. Когда я къ вамъ пошелъ, онъ еще хрипѣлъ, даже въ сознаніе пришелъ. Доктора тамъ одинъ нашъ, другой французъ; говорятъ, пуля прошибла легкое. Пойдемъ къ нему; онъ Нину Александровну велѣлъ привезти.

Объ дъвушки торопливо одълись. Костенька позвалъ стоявшій у газетнаго кіоска фіакръ, и они отправились.

Всѣ молчали. Нина, стиснувъ зубы, пристально смотрѣла въ окошко кареты; ей казалось, что никогда дорога еще не тянулась такъ долго, что они никогда не доѣдутъ. Фіакръ подкатилъ къ огромному грязному дому въ узенькомъ, грязномъ переулкѣ. Они быстро зашагали по лѣстницѣ. Костенька остановился у мансарды надъ пятымъ этажемъ и осторожно постучалъ.

Дверь раскрыла Дашенька, вся красная и опухшая отъ слезъ.

- Живъ?--спросилъ шепотомъ Костенька.
- Живъ... сейчасъ говорилъ.

Они вступили въ низенькую, темную, мрачную комнату. Во всёхъ углахъ валялись груды всевозможнаго формата книгъ. Противъ единственнаго, полукруглаго, приходившагося вровень съ поломъ, окна стоялъ диванъ и на немъ полулежалъ Цвиленевъ, поддерживаемый подушкой, подъ которую напихали книгъ, чтобъ она не опадала. Его трудно было узнать. Лицо, какъто потемнёло, вытянулось, приняло зеленоватый отливъ; носъ и подбородокъ заострились, руки базпомощно лежали вдоль тёла. Визгливое стенаніе вылетало изъ его обнаженной волосатой груди, которую широкою полосой перерёзывалъ бинтъ.

Увидавъ вошедшихъ, онъ остановилъ свой потухающій взглядъ на Нинѣ и улыбнулся ей. Она подошла къ нему и, молча сѣвъ подлѣ дивана, взяла его руку.

Онъ сдълалъ усиліе и сказаль:

— Конченъ балъ, Ниночка.

Его громкое, то хриплое, то свистящее дыханіе жутко раздавалось по комнатѣ. Онъ опять улыбнулся и показалъ на свою грудь:

— Похоронный маршъ во всёхъ тонахъ, господа, — и что-то похожее на прежнее насмёшливое выраженіе промелькнуло въ его глазахъ и мгновенно пропало.

У Нины вырвалось рыданіе.

Онъ повернулъ къ ней голову и произнесъ съ неудовольствіемъ:

— Зачѣмъ? Не надо... Вѣдь, сами знаете, что не о чемъ. Наклонитесь поближе, я хочу говорить.

Она почти приникла ухомъ къ его губамъ.

- Мив надовло толкаться, —зашепталь онъ тяжело, я, ввдь, не вврю ни въ революцію, ни въ динамить, не вврю, что отъ нихъ пойдетъ миръ и любовь на землв... А вы, голубка, увзжайте на родину... не хочется мив, чтобы вы кончили при такой декораціи. Увдете?
 - Непремънно, даю вамъ слово.
 - Спасибо, моя славная.

Онъ прислонился головой къ подушкѣ, закрылъ глаза и умолкъ.

Всъ удерживали дыханіе, только Дашенька отъ времени до времени нарушала тишину внезапнымъ всхлипываніемъ.

Умирающій вдругь раскрыль глаза.

— Прощайте, друзья,—выговориль онъ слабо.—Нина, поцёлуйте меня... теперь, вёдь, можно.

Она прижалась къ нему и долго не отрывалась, точно

хотъла вдохнуть въ его холодъющую грудь свое горячее живое дыханіе.

— Вотъ такъ... — промолвилъ онъ.

Больше онъ ничего не сказалъ.

Наступила продолжительная, мучительная, агонія. Онъ скончался только чрезъ два дня. Сначала хотѣли его похоронить на средства кружка, но Нина изъявила желаніе принять на себя эту обязанность, и всѣ безмолвно преклонились предъ ея желаніемъ.

Она цѣлый день провела около тѣла, срисовывая портреть съ усопшаго.

Зимнее солнце бросало чрезъ окно короткіе лучи на блѣдную, спокойную голову, придавая ей видъ старой бронзовой медали, и по мѣрѣ того, какъ на бумагѣ оживало красивое, умное лицо съ нервною усмѣшкой, въ душѣ Нины становилось все холоднѣе и тоскливѣе.

Черезъ мѣсяцъ послѣ смерти Цвиленева она уѣхала въ Россію.

VII.

Дъкоторое время по возвращени изъ-за границы Нина провела въ Липовкъ, имъньицъ своего стараго друга и опекуна, Льва Никаноровича. Старикъ и пріютившаяся у него, разбитая параличемъ, Домнушка встрътили ее очень радушно. Левъ Никаноровичъ все упрашивалъ ее остаться совсъмъ у него.

— Довольно вы, Ниночка, покатались, поживите-ка дома,—говорилъ онъ.

Но сонная жизнь въ заброшенной деревенькѣ наводила на нее тоску. Она взяла у опекуна послѣднюю, остававшуюся у него тысячу рублей и уѣхала въ Петербургъ.

— Не горюйте, дѣдушка, — утѣшала она его, прощаясь съ нимъ, —дайте мнѣ угомониться. Еще немножко и я вернусь въ вашу мирную Липовку навсегда, и будемъ мы съ вами вмѣстѣ грибы собирать.

Въ Петербургъ ее на первыхъ-же порахъ встрътилъ рядъ неудачъ. Картина ея "Уличные музыканты", написанная ею еще въ Парижъ, не попала на выставку. Она обратилась къ одному изъ главныхъ распорядителей, модному художнику. Онъ принялъ ее съ тою надменной учтивостью, какую проявляють администраторы изъ молодыхъ въ разговорахъ съ подчиненными, снисходительно процъдилъ, что въ ея картинъ дъйствительно ито-то есть, но что они, къ сожалъню, въ настоящее время завалены, положительно завалены произведеніями художниковъ, уже составившихъ себъ имя.

Нина была оскорблена, возмущена, но духомъ не упала и дъятельно принялась за новыя работы. Вторая и третья ея картины потерпъли ту-же участь. Она растерялась, недоумъвала. На нее стали нападать сомиънія.

"Вообразила, что у меня талантъ, и лѣзу... "Une artiste manquée", — мучительно вспоминала она предостережение покойной бабушки.

Она проводила цълые часы на художественныхъ выставкахъ, безсознательно задаваясь мыслью доканать себя сравненіями, задавить въ себъ всякую надежду на успъхъ.

Но шаблонныя, безсмысленныя, претенціозныя по содержанію, жалкія по исполненію картины, попадавшіяся ей на каждомъ шагу, ставили ее втупикъ.

"Неужели *мое* хуже *этого* или *этого*? — невольно думала она. — Что-же это значить?"

Магическое слово *протекція* впервые представилось ей во всемъ своемъ могуществъ. Она поминутно слышала что такую-то выдвинуль такой-то, того провелъ тотъ-то.

- Вы не знаете NN? Вотъ вамъ-бы къ нему обратиться. Ему стоитъ только захотъть, ему никто не посмъеть отказать, говорилъ одинъ.
- Что NN! Вамъ-бы пробраться къ Z, совътовалъ другой.—Раздобудьте къ нему рекомендацію, полюбезничайте съ нимъ; онъ это любитъ. Если вы сумъете ему понравиться, онъ ужъ васъ за уши вытащитъ...

"Раздобыть, пробраться, если захочеть, за уши вытащить"... Нина перебирала въ умъ весь этотъ темный для нея словарь житейской мудрости,

"Фи, какая гадость, точно на рынкв",—думала она, и щемящая боль обиды захватывала ее.

Она, все-таки, кръпилась и продолжала заниматься: не хотвлось признать такъ скоро себя побъжденной Время шло. У ней явились знакомые. Нина чувствовала себя среди нихъ одинокою и чужою, болве чужою, чвмъ даже въ Парижъ. Съ одной стороны-хандра, бездълье и какое-то унылое ожиданіе, что вотъ-де не сегоднязавтра явится магъ и волшебникъ и, по щучьему вельнью, по его хотынью, все разомъ измынится и процвътетъ. Съ другой — дикая, алчная, ничъмъ не сдерживаемая погоня за карьерой и безпечальнымъ житіемъ, — вотъ что нашла Нина на родинъ. Совершенно случайно по публикаціи, она получила урокъ въ семействъ генерала Носкова. Это было очень кстати: отъ денегъ, взятыхъ у Льва Никаноровича, почти ничего не оставалось. Въ генеральскомъ домъ бывало разнокалиберное общество. Царившій въ немъ безцеремонный, вялый, халатный тонъ не понравился Нинв, а больше всвхъ въ этомъ обществъ не нравился ей самый частый гость Носковыхъ, ихъ домошній врачъ Иванъ Петровичъ Бадаевъ, который почему-то обратилъ на нее свое благосклонное вниманіе и съ которымъ ей поневол'в приходилось сталкиваться. Это быль крынкій, средняго роста,

человъкъ, лътъ тридцати пяти, съ рябоватымъ умнымъ лицомъ, густыми бълокурыми волосами, рыжею козлиною бородкой и темными глазами. Иванъ Петровичъ отличался положительностью; онъ терпъть не могъ праздной болтовни и лишнихъ словъ. Никогда, даже въ университетъ, не принималъ онъ участія въ жаркихъ, трескучихъ, возвышенныхъ, часто наивныхъ, но безконечно милыхъ спорахъ, на которые такъ падка безкорыстная, не считающая силъ юность.

— Доказывають двадцать часовь сряду на триста ладовь, что дважды два четыре,—отзывался Иванъ Петровичь про эти споры.

Впечатлительная, чуткая Нина совсвить не подходила подъ тотъ идеалъ благоразумной жены, о которомъ мечталъ Иванъ Петровичъ (онъ иногда позволялъ себв тратить время на столь непроизводительное занятіе), и, твить не менве, онъ влюбился въ нее, влюбился до безумія на зло себв, какъ только могутъ влюбияться холодныя, угрюмыя, упрямыя натуры. Природа иногда любитъ играть такія злыя шутки надъчеловвкомъ, опрокидывая вверхъ дномъ всю его мудрость.

Когда Иванъ Петровичъ сдѣлалъ предложеніе Нинѣ, она изумилась и отказала рѣзко, почти обиженно, словно хотѣла сказать: и можетъ-же человѣку придти въ голову такая нелѣпость!

Вскорѣ послѣ этого Петербургъ угостилъ ее однимъ изъ тѣхъ сюрпризовъ, на которые онъ такъ тароватъ. Она схватила тифъ во время весенняго ледохода. Иванъ Петровичъ свезъ ее въ больницу, къ которой состоялъ ординаторомъ. Болѣзнь затянулась. Консиліумъ больничныхъ докторовъ единогласно изрекъ Нинѣ смертный приговоръ. Она лежала истощенная, худая, какъ скелетъ, не оживая и не умирая.

— Только мѣсто занимаетъ, — говорили измучившіяся съ ней сидѣлки.

Иванъ Петровичъ проводилъ цѣлые часы у ея койки. Когда она приходила въ себя и раскрывала глаза, ея взглядъ всегда падалъ на его красивую, молчаливую фигуру, и она слабымъ, еле слышнымъ голосомъ благодарила его за незаслуженное участіе.

— Художница умерла? — спрашивалъ каждое утро дежурный врачъ, входя въ палату, и удивленно пожималъ плечами, получая отрицательный отвътъ.

Нина выздоровъла, какъ-бы въ насмъшку надъ медицинскою проницательностью.

Иванъ Петровичъ долго былъ въ нерѣшительности. Онъ находился въ положеніи человѣка, готоваго сознательно совершить непоправимую глупость, и чувствоваль, что онъ безсиленъ противъ этой глупости.

"Ну, какая она мнѣ пара? Развѣ мнѣ такая жена нужна?"—убѣждалъ онъ самого себя и кончилъ тѣмъ, что вторично сдѣлалъ предложеніе Нинѣ, какъ только она вышла изъ больницы.

Одиночество, странствованія съ мѣста на мѣсто, неудачи, болѣзнь утомили ее. Она чистосердечно думала, что, кромѣ успокоенія и тишины, ей ничего не нужно.

— Я согласна, Иванъ Петровичъ, — сказала она, — но вы знайте, что я васъ совсѣмъ не люблю и выхожу за васъ только потому, что мнѣ теперь все равно, и потому еще, что я вамъ благодарна за вашу доброту ко мнѣ.

Иванъ Петровичъ утѣшилъ себя мыслью, что Нина, въ сущности, ребенокъ, изъ котораго человѣку съ характеромъ, какимъ онъ несомнѣнно считалъ себя, легко будетъ сдѣлать, что угодно. Онъ только просилъ ее не заводить ссоръ съ жившими у него матерью и сестрой.

- Вы понимаете, мать старуха, придется иногда ей уступать.
- Хорошо, я, въдь, вамъ сказала, что мнъ все равно,—промолвила Нина, невольно усмъхаясь своей прозаической бесъдъ съ женихомъ.

VIII.

Минуло пять лѣть.

Обиліе дифтеритовъ, тифовъ и всякихъ воспаленій возвѣщало, что въ Петербургѣ наступила весна. Въ большой вылощенной залѣ, симметрично уставленной столами, жардиньерками, стульями, изъ которыхъ каждый кричалъ о своемъ происхожденіи прямо изъ Гостиннаго двора, сидѣла за роялью барышня и съ увлеченіемъ пѣла:

Voyez par ci, Voyez par là...

— Саша, перестань барабанить,— прервалъ ее громкій голосъ, — голова кругомъ идетъ.

Саша надула губы, вскочила изъ-за рояля и стремительно бросилась въ слъдующую комнату, гдъ сидъла высокая, худая старуха и чинила бълье.

— Слышишь, мама, мнѣ ужъ играть нельзя, у Ивана Петровича отъ моей музыки голова кружится, онъ заниматься не можетъ, — проговорила она, не переводя духа.

Но мать, повидимому, не расположена была ее поддержать и сказала только:

— Отвяжись, пожалуйста, и въ самомъ дѣлѣ надоѣла,—съ утра до ночи колотитъ. Не хочешь-ли и ты въ *армистки* записаться? Будетъ ужъ съ насъ одной... Ишь художница наша ходитъ, словно въ воду опущенная; должно быть, опять картину забраковали. Ты ничего не слыхала? — спросила она, понизивъ голосъ до щепота.

- Нѣтъ, мама, ничего; развѣ она намъ скажетъ? Вѣдь, она себя передъ нами какой-то герцогиней считаетъ. Мы должны благословлять судьбу, что дышемъ однимъ воздухомъ съ такимъ совершенствомъ. А какая она лицемѣрка, эта неприступная Нина Александровна! На той недѣлѣ я сама видѣла, какъ она шепталась съ Воробьевымъ и какъ онъ ей руку цѣловалъ. Вѣдь, онъ въ нее влюбленъ, этотъ лекаришка, и только для отвода глазъ волочится за мной. То-есть, до чего глупъ мой братецъ Иванъ Петровичъ! Даже не замѣчаетъ, какъ она его третируетъ; закопался весь въ свою медицину и не видитъ, что подъ носомъ дѣлается.
- Видитъ-то онъ не хуже насъ съ тобой, да прикрикнуть на такую принцессу боится; неровенъ часъ, сбъжитъ. Вотъ онъ и зыкаетъ на насъ, знаетъ, что мы не сбъжимъ. Эхъ, Ваня, Ваня, говорила, не женись! не послушался... ну, и возисъ теперъ.

Въ дъйствительности Варвара Григорьевна Бадаева была далеко не такимъ смиреннымъ существомъ, на которое можно было безнаказанно "зыкать". Постоянно стремившаяся завоевать себъ уголокъ потеплъй, она инстинктивно презирала слабость, была неумолима и безжалостна ко всему, что не представляло несомпънныхъ и осязательныхъ результатовъ, — свойство, присущее практическимъ и преуспъвшимъ людямъ. Дътей своихъ она очень любила, особенно дочь.

Сашенька была хорошенькая дѣвушка, лѣтъ восемнадцати, черноволосая и голубоглазая, съ красными, какъ вишня, губами, пышнымъ бюстомъ и тоненькой таліей, которой она гордилась, какъ однимъ изъ своихъ главныхъ преимуществъ. Въ институтѣ ее считали красавицей, учителя глядѣли сквозь пальцы на ея лѣнь, подруги

ей завидовали, и Сашенька мало-по-малу сама привыкла смотръть на себя, какъ на дорогое украшеніе, которое всъ должны холить, беречь и ставить на видное мъсто. Точно такими-же глазами глядъла на нее Варвара Григорьевна. Она считала не только естественнымъ, какъ-бы законнымъ, что дочь цълые дни ничего не дълаетъ, сама ее причесывала и одъвала и съ ненавистью глядъла на приходившихъ къ сыну товарищей, съ которыми Сашенька кокетничала на всъхъ парахъ. Разъ Варвара Григорьевна пришла даже прямо въ ярость. Зайдя въ гостинную, она увидала, что передъ Сашенькой стоитъ на коленахъ и горько рыдаетъ часто бывавшій у нихъ гость, аптекарь Порфирьевъ. Въ одно мгновенье она поставила его на ноги, сунула ему въ руки шапку и такъ красноръчиво указала на дверь, что ей могла-бы позавидовать любая трагическая актриса.

Оставшись съ дочерью, она начала строгимъ тономъ:

- Стыдно, сударыня...—но была прервана звонкимъ смѣхомъ Сашеньки.
- Ха,-ха,-ха, мама, ха-ха-ха, какая ты умница, что вошла! Когда онъ упалъ и разревѣлся, какъ теленокъ, я ужасно испугалась, какъ-бы онъ чего не сломалъ, а потомъ, когда ты его схватила за шиворотъ, онъ такъ смѣшно заковылялъ пятками... Ха-ха-ха! Да чего ты боишься, мама?—сказала она вдругъ, переставая смѣяться Развѣ я могу влюбиться въ этотъ липкій пластырь? Это просто болванчикъ, на которомъ я учусь.

Варвара Григорьевна даже ротъ разинула отъ удивленія и съ тъхъ поръ непоколебимо увъровала въздравый смыслъ дочери.

О сынъ своемъ Варвара Григорьевна была не такого возвышеннаго мнѣнія, а послѣ его "дурацкой" выходки (такъ она называла женитьбу Ивана Петровича) онъ окончательно упалъ въ ея глазахъ. Нину она вознена-

видъла сразу: "ни рожи, ни кожи, въха—въхой", — отзывалась она про нее и стала донимать ее тою неуловимою массой мелкихъ преслъдованій и оскорбленій, на которыя способна только женщина. Даже рожденіе внука ее не смягчило. Ребенокъ, напротивъ, явился для Варвары Григорьевны какъ-бы новымъ источникомъ нападеній на невъстку.

— Гдъ ужъ вамъ съ дътьми возиться, — говорила она ей, — ваше дъло только на диванъ лежать, да цвъточки рисовать.

Однажды она сожгла утюгомъ прелестный, только что оконченный Ниной ландшафтъ. Та, еле сдерживая слезы, глядъла на опаленное, продыравленное полотно.

— Ахъ, матушка, извините, — униженнымъ тономъ говорила Варвара Григорьевна, — вашему-же сыну пеленки гладила.

Иванъ Петровичъ держался въ сторонъ отъ "бабьихъ дрязгъ", да и Нина никогда не обращалась къ нему съ жалобами. Въ началъ она относилась къ Ивану Петровичу очень тепло: его вниманіе къ ней во время ея бользни смягчило ея прежнюю антипатію къ нему. Онъ казался ей добрымъ, обыкновеннымъ человъкомъ, съ которымъ, во всякомъ случаъ, можно ужиться.

"Да что-же я и сама-то, — думала она, — чтобы претендовать на необыкновенное?"

Но обстоятельства не замедлили разубъдить ее въ добродушіи Ивана Петровича.

Отдохнувъ отъ болъзни, она опять принялась за живопись. Ее тянуло къ мольберту, какъ страстнаго игрока тянетъ къ картамъ, пьяницу— къ вину. Запасъ ея красокъ истощился, она пріобръла свъжій и раскладывала свои покупки съ тъмъ чувствомъ радости, которое испытываешь при видъ предметовъ, напоминающихъ излюбленное, дорогое дъло. Вошелъ Иванъ Петровичъ и, уви-

давъ жену, улыбающуюся передъ грудой оловяныхъ трубочекъ, стклянокъ, бумажныхъ пакетиковъ, спросилъ:

- Чему это ты радуешься?
- Да вотъ я новыхъ красокъ накупила и очень довольна.
 - Гм... А дорого стоить это удовольствіе?
- О, нътъ, ужасно дешево! Представь, что съ мольбертами,—мои старые сломались,—всего сорокъ рублей. Иванъ Петровичъ поблъднълъ.
- И это ты называешь дешево?!—воскликнулъ онъ— Сорокъ рублей! Да знаешь-ли ты, сколько мнѣ нужно визитовъ сдѣлать, чтобы заработать сорокъ рублей?

Нина стояла ошеломленная, опустивъ руки.

— Я долженъ тебъ сказать разъ навсегда, — продолжаль Иванъ Петровичъ, — что на глупые расходы я не люблю, да и не могу тратить денегъ, онъ у меня не краденыя, а твою живопись я считаю баловствомъ. Прежде, когда у тебя не было серьезныхъ обязанностей, это еще имъло смыслъ, но не теперь. Впрочемъ, на первый разъ такъ и быть, я не сержусь, но впредь прошу быть благоразумнъе. Ну, поцълуй меня, — и онъ взялъ ее за подбородокъ.

Она почти съ ужасомъ отъ него отвернулась. Въ другой разъ онъ привезъ ей мантилью.

— Вотъ тебъ, — сказалъ онъ ей, — купилъ по случаю у знакомаго купца. Видишь, что значитъ выйти замужъ за солиднаго человъка: въ шелку да кружевахъ ходишь, а когда я съ тобой познакомился, у тебя только и было нарядовъ, что вътромъ подбитый ватерпруфъ.

Нина отстранила рукой подарокъ.

- Благодарю, - сказала она, - мнѣ не нравится эта мантилья, и я прошу тебя вообще никогда мнѣ ничего не покупать. Съ меня совершенно достаточно того, что у меня есть.

Иванъ Петровичъ обидълся и ръшился наказать жену.

- Маменька, сказалъ онъ громко, возьмите себъ эту вещицу.

Варвара Григорьевна руками всплеснула.

— Что ты, Ваня, Господь съ тобою, — изумилась она, куда мнъ, старухъ, такую роскошь! Я это Сашенькъ въ приданое спрячу.

Нина скоро поняла, какъ необдуманно, непростительно поступила, выйдя замужъ, но, сознавая, что въ этомъ кромъ нея самой никто не виноватъ, ръшилась терпъть и молчать, пока силъ хватитъ.

Ничто такъ не выводило изъ себя Варвару Григорьевну, какъ молчаніе невъстки.

Сидять, напримърь, всѣ, кромъ Ивана Петровича, уѣхавшаго на практику, за вечернимъ чаемъ. Сашенька безбожнымъ образомъ дѣлаетъ глазки толстому, румяному купчику Стручкову, милліоны котораго она бы очень не прочь присвоить... на законномъ, конечно, основаніи.

- Митрофанъ Семенычъ, говоритъ она, покатайте меня на вашей новой тройкъ, только непремънно сами, безъ кучера; съ вами я ничего не боюсь.
- Почту за счастье, блаженно ухмыляется Стручковъ.
- Саша, что ты говоришь? Митрофанъ Семенычъ Богъ знаетъ что можетъ о тебъ подумать, —вмъшивается Варвара Григорьевна. Ахъ, вы себъ представить не можете, какое она еще дитя.
- Мамочка, да что-же тутъ дурнаго, что я хочу покататься?—наивно восклицаетъ «дитя».
- Пойми,—вразумляетъ мать,—ты хочешь ѣхать одна съ молодымъ человѣкомъ! Вѣдь, не всѣ такъ невинны, какъ ты.
 - А знаете что, предлагаетъ докторъ Воробьевъ,

красивый брюнеть, лѣть тридцати, — поручите Александру Петровну моимъ попеченіямъ. На мою солидность вы можете вполнѣ положиться.

— Не хочу, не хочу съ вами!—капризно топая ножкой, крикнула Сашенька. — Вы оставайтесь съ Ниной, любуйтесь на звъзды и ръшайте міровые вопросы.

Нина на минуту подняла глаза на Сашеньку, неопредъленная усмъшка скользнула по ея гордымъ губамъ, но она ничего не сказала.

- Да, Сергвії Степанычь, моя невъстка только съ вами и беста дуеть,—язвительно замътила Варвара Григорьевна,—насъ она не удостоиваеть этой чести. Гдъже намъ ее понять! Мы люди простые, за-границей не живали.
- Ну, Варвара Григорьевна, не скромничайте, вы всякаго заграничнаго за поясъ заткнете, возразилъ докторъ.
- Ужъ извъстно, вы съ Ниной Александровной всегда за-одно,—съехидничала Варвара Григорьевна.—Вотъ погодите, я Ванъ скажу... Впрочемъ и я хороша! Все забываю, что теперь только глупыя женщины любятъ и уважаютъ своихъ мужей... Не знаю, право, что будетъ съ моею Сашенькой; больно не по модному она у меня воспитана.
- За Александру Петровну не бойтесь, успокоительно замътилъ докторъ,—она себя въ обиду не дастъ.
 - Конечно, не дамъ такому, какъ вы!
- Помилуйте, я и не надвялся. Гдв ужъ намъ, дуракамъ!
- Если мужъ будетъ меня баловать, я его буду очень любить, сказала Сашенька, но если онъ вздумаетъ командовать...

Она не докончила и шаловливо погрозила пальчикомъ.

— Да какъ васъ не баловать-съ? — изумился Струч-

ковъ. — Такую жену, какъ вы съ... да ее только подъ стекло и любоваться.

Нина встала изъ-за стола и, поблагодаривъ свекровь, направилась къ двери.

Варвара Григорьевна ее остановила.

- Куда-жъ вы? Посидъли-бы съ нами.
- Надо Володю купать, -сказала Нина.
- Позвольте мий помочьвамъ, Нина Александровна, вызвался докторъ Воробьевъ.
 - Мегсі, я всегда сама.
- А не помѣшаю я вамъ, если зайду немного погодя?—спросилъ опять Воробьевъ.—Я у васъ одну любопытную книжку намѣтилъ.
 - Нътъ, не помъшаете.

IX.

Пина выкупала ребенка и прошла къ себъ, зажгла лампу, вынула изъ камода переплетенную тетрадь и, усъвшись на кожаный диванъ стала ее перелистывать.

Узкая комната въ одно окно глядѣла холодно и неуютно. Столъ, диванъ, неуклюжее трюмо подъ орѣхъ, нѣсколько стульевъ, кровать за ширмой составляли всю меблировку. Мольбертъ прятался въ углу. На стѣнахъ ни одной картины, ни одного портрета. Чувствовалось, что хозяйка этой комнаты въ загонѣ или совершенно равнодушна ко всему.

Нина задумчиво перебирала пальцами страницы.

... "Сегодня, — читала она, — Иванъ Петровичъ заявилъ мнѣ о своемъ сожалѣніи, что женился на такой нищей дворянкѣ, какъ я. Варвара Григорьевна подслушивала, по обыкновенію, у дверей и послѣ этого была со мною весь день очень любезна. За обѣдомъ всѣ поругались. Иванъ Петровичъ никакъ не могъ досчитаться десяти рублей въ расходной книжкъ. Варвара Григорьевна ихъ истратила Сашенькъ на шлянку, но не успъла придумать какъ это замаскировать, и сказала, что деньги взяла я. Онъ уставился на меня своими свинцовыми глазами и началъ: "Мнъ кажется, ты бы могла попросить", но я его перебила, сказавъ, что ничего не брала, и ушла. Господи, что тамъ поднялось!"...

Она перевернула нъсколько страницъ.

"Картину мою "Богомольцы" не приняли. Расхвалили и не приняли. Я впрочемъ этого ждала: неудача, такъ ужъ во всемъ. Какъ грубъ, пошлъ и скупъ Иванъ Петровичъ! Я его ненавижу, ненавижу... И подумать, что онъ имъетъ надо мною власть. За это, кажется, я его больше всего ненавижу. Сама, сама виновата, во всемъ сама. И по дъломъ теперь. Расплачивайся".

Она вздохнула и, пропустивъ нъсколько страницъ, опять остановилась.

"... Здоровье мое съ каждымъ днемъ уходитъ. На душъ тоска и холодъ. Въчно одна среди постылыхъ, гадкихъ людей. Здъсь все пошло: и брань, и слезы, и ликованіе. Право, я скоро совсъмъ въ идіотку обращусь. Когда я гляжу на Володю, я забываюсь на мгновеніе, а потомъ меня вдругъ, какъ змѣя, ужалитъ мысль, что ему предстоитъ та-же лямка, то-же надрываніе, то-же дрожаніе надъ грошемъ. И я сама не знаю, чего желать... Того-ли, чтобы онъ, какъ Иванъ Петровичъ, съ чувствомъ кушалъ, дълалъ карьеру, и гладилъ себя за эти доблести по головкъ или, натворивши рядъ глупостей, какъ тъ въ Парижъ, провозился-бы всю жизнь съ неотступною думой удавиться на первой веревкъ.. Въ послъднее время у насъ чуть не каждый день бываетъ Воробьевъ, товарищъ Ивана Петровича по больницъ, неглупый малый (изъ ноющихъ). Онъ лъчилъ Володю отъ

скарлатины. Я съ нимъ иногда разговариваю, что очень безпокоитъ Варвару Григорьевну и Сашеньку"...

Она открыла ящикъ, взяла лежавшій тамъ портретъ Цвиленева и долго смотръла на него.

- И зачёмъ только ты погналъ меня сюда?—проговорила она.—Ужъ лучше-бы мнё сгинуть при твоей декораціи, чёмъ изсохнуть здёсь...
- Можно къ вамъ, Нина Александровна?—спросилъ за дверью голосъ.

Она быстро спрятала тетрадь и портретъ и отвътила "можно".

Вошелъ Воробьевъ и сълъ на стулъ.

— Вы, Сергъй Степанычъ, какую-то книжку хотъли взять у меня?—сказала она.

Онъ засмѣялся.

— Нътъ, Нина Александровна, книжка только предлогъ. Мнъ хотълось посмотръть, что вы дълаете.

Нина пожала плечами.

- Ради этого не стоило придумывать предлоговъ. Я теперь никогда ничего не дълаю.
 - Развѣ вы не работаете?-спросиль онъ.
 - Будто туть можно работать!—вырвалось у нея.
- И то правда,—согласился докторъ,—здѣсь только можно кокетничать и жантильничать, какъ Сашенька. Нина презрительно засмѣялась.
- Въ Россіи даже кокетничать не умѣютъ какъ слѣдуетъ, —произнесла она. —Никакая французская швея не станетъ такъ грубо кривляться, какъ здѣшнія свѣтскія барышни.
- Вотъ вы бы поучили Александру Петровну заморскимъ манерамъ, то-то бы она была благодарна.
- Зачъмъ? Для Митрофана Семеныча и для васъ и россійскія хороши.
 - Утъшили, спасибо. Ужъ (я и Митрофанъ Семенычъ

выходимъ одно и то-же. Впрочемъ, свою обиду я по христіанскому чувству вамъ прощаю, а вотъ что вы живопись запустили, это скверно. Мнѣ недавно одинъ знающій человѣкъ говорилъ, что вы напрасно такъ отчаялись въ успѣхѣ.

— Я и сама знаю, что теперь мнѣ-бы легче было пробиться. Но что-же дѣлать? Не работается.

Они помолчали.

- Однако, идите, Сергъй Степанычъ, а то Варвара Григорьевна меня съъстъ
- Сохрани меня Богь быть причиной такого бѣдстія,—сказаль онъ съ комическимъ ужасомъ.—До свиданія, Нина Александровна, позвольте ручку. А когдаже вы ко мнѣ? Помните, вы обѣщали?
 - Никогда я ничего подобнаго не объщала.

X.

Семейная жизнь все больше и больше подтачивала Нину. Мысль избавиться отъ нея какимъ бы то ни было путемъ не давала ей покоя, преслъдовала ее каждую минуту, во снъ и на яву, сводила ее съ ума. Исхудалая, съ лихорадочнымъ блескомъ глазъ, въ которыхъ какъ бы застыло неподвижное выраженіе печали, съ неровными пятнами румянца на опавшихъ щекахъ, она производила впечатлъніе чахоточной. Бродившее въ ней чуть не съ первыхъ дней замужества инстинктивное чувство непріязни къ семьъ Ивана Петровича переходило на него самого и съ годами все росло, превращаясь въ неудержимое, мучительное отвращеніе. Когда родился ребенокъ, она страстно ему обрадовалась, но постоянное вмъшательство, крики, сплетни и наушничанье свекрови, не позволявшей ей свободно распоряжаться даже

въ дътской, отравляли эту радость. Она сдълала разънадъ собой усиліе, попыталась обратиться за помощью къ мужу, но получила въ отвъть:

— Маменька гораздо опытнъе тебя; ты должа быть ей благодарна за совъты.

Мало-по-малу она не то чтобы охладъла, а какъ-то отстранилась отъ мальчика. Порой ей даже казалось, что это не ея сынъ, а внукъ Варвары Григорьевны, будущій дълецъ или ловкій чиновникъ, активный членъ того мъщанскаго съренькаго житья изо дня въ день, которое было ей такъ невыносимо противно. Заграничная жизнь представлялась ей теперь въ подернутомъ нъжною дымкой мягкомъ свъть, въ какомъ часто рисуется прошлое, когда оно становится далекимъ воспоминаніемъ. Образы Костеньки, Маріи Дмитріевны, Дашеньки, всъхъ этихъ вышибленныхъ изъ колеи скитальцевъ-мечтателей мелькали передъ ней, какъ живые, и сердце ея такъ горячо рвалось къ нимъ. Она представляла себъ, какъбы она обрадовалась, если бы вдругъ къ ней явилась хоть Дашенька, добрая, сумасбродная, изрекающая мудреныя слова, смёшная, жалкая, бёдная, оборванная Дашенька.

Нина не утерпъла и написала какъ-то Марьъ Дмитріевнъ письмо, грустное и нъжное, въ каждомъ словъ котораго слышались накипъвшія слезы. Письмо перехватила Варвара Григорьевна и передала Ивану Петровичу. Тотъ вошелъ въ настоящій ражъ, кричалъ на жену, что она хочетъ всъхъ погубить, что она, должно быть, сама хороша, если переписывается съ нигилистами.

Послѣ этого эпизода Нина еще больше ушла въ себя. Брань Варвары Григорьевны съ кухаркой по поводу украденнаго фунта мыла, негодованіе Ивана Петровича на "нищихъ" паціентовъ, которыхъ онъ приказывалъ "гонять въ шею", наивничанье Сашеньки, ея заманиванье жепиховъ, — все это причиняло Нинѣ ощущеніе физической боли. Она дѣлала неимовѣрныя усилія, чтобы заставить себя работать, и съ отчаяніемъ чувствовала, что не можетъ.

Въ головъ боль, смутная, тяжелая, руки машинально и безсмысленно двигаются, чертя длинный рядъ точекъ и линій, а уши невольно прислушиваются къ долетающему изъ залы голосу Сашеньки.

- Я думаю, —говорить это свѣжій голось, —велѣть m-me Josephine вырѣзать пониже лифъ у розоваго платья и чтобы совсѣмъ безъ рукавовъ, на плечи узенькую полоску изъ ленты, длинныя перчатки и сверху браслетъ, такъ, чтобы между браслетомъ и лентой рука виднѣлась вотъ на сколько. Да, мама? Несчастный Стручковъ совсѣмъ пропадетъ.
- Господи,—молила Нина, нашли на меня какуюнибудь болѣзнь, параличъ, горячку, глухоту, только бы не видѣть, не думать.

Въ дверяхъ показывается разъяренное лицо Варвары Григорьевны.

— Полюбуйтесь, сударыня, на своего ребенка,—закричала она,—онъ чуть до смерти не убился, пока маменька туть мечтаеть, да картинки мажеть.

Нипа вскочила и побъжала изъ комнаты.

Въ кухнъ, передъ рукомойникомъ, стоялъ Володя, придерживая носъ мокрымъ окровавленнымъ полотенцемъ. Увидавъ блъдное лицо матери, онъ швырнулъ полотенце и залился неистовымъ плачемъ.

— Что для насъ сынъ, —пилила Варвара Григорьевна, —пустяки! Мужъ въ рваныхъ носкахъ ходитъ, а женѣ и горюшка мало. Гдѣ-же ей штопать да чинить? Это хорошо для обыкновенныхъ женщинъ, а она *артистка!* Пусть другіе за нее спину гнутъ.

Нина взяла на руки Володю и, не отвътивъ ни слова, вошла своею медленною походкой. Варвара Григорьевна крикнула ей вслъдъ:

— Жалко, матушка, что вы и артистка-то неудачная, картинки-то ваши все бракуютъ.

Володя заснулъ и проснулся совершенно здоровымъ. Нина передала его нянькъ, торопливо одълась и почти выбъжала изъ дома. Она шла прямо, безъ цъли, глядя подъ ноги, машинально поворачивая направо и налъво, когда кончалась улица.

Въ бълесоватыхъ облакахъ точно украдкой проглядывало солнце. Въ воздухъ чуялась сырая, свъжая влага. Сквозь таявшій снъгъ чернъли грязные камни мостовой. Дворники скалывали ледъ, накидывая его лопатами въ тачки.

На поворотъ одной улицы Нина почти столкнулась съ Воробьевымъ.

Докторъ изумился.

- Нина Александровна, здравствуйте, куда это вы?
- Да никуда, —какъ-то безсвязно отвътила она.

Онъ прищурилъ свои хитрые, тусклые глаза и осклабился.

— Въ такомъ случав позвольте мнв быть вашимъ кавалеромъ, я тоже никуда. Мои паціенты, по крайней мврв, въ одномъ отношеніи, славный народъ: никогда меня не безпокоятъ. А всего лучше, зайдемте ко мнв, Нина Александровна, тутъ недалеко. Ну, чего вы боитесь? Въдь, не съвмъ-же я васъ.

Нина не отвъчала. Докторъ взялъ ее подъ руку и, пройдя нъсколько улицъ, вошелъ съ ней въ подъъздъ большого каменнаго дома, поднялся во второй этажъ и, остановившись передъ обитой сукномъ дверью; на ко-

торой красовалась мёдная дощечка съ его именемъ, придавиль бёленькую пуговку электрическаго звонка.

Дверь открыла грязноватая круглолицая дъвушка, горничная, которая, увидавъ барина съ дамой, глупо ухмыльнулась и мгновенно исчезла.

— Милости просимъ въ убогую хижину холостяка, — съ сладкой улыбкой, пропуская впередъ Нину, проговорилъ докторъ. — Рекомендую, это мой кабинетъ, пріемная, гостинная, — все что угодно, а въ той конуркъ, — онъ кивнулъ головой на темный корридорчикъ, — я почиваю.

Нина вошла и молча опустилась на стоявшую у письменнаго стола кушетку.

Воробьевъ осторожно разстегнуль пряжку ея ротонды и, нагнувшись, хотъль снять съ нея шляпку.

Она вспыхнула и вдругъ пришла въ себя.

- Что вы, Сергъй Степанычъ, пожалуйста не надо, да и вообще, къ чему вы меня сюда привели?
- Чтобы васъ немного успокоить, въдь, на васъ лица нътъ, до того вы взволнованы. Сидите и отдыхайте; я вамъ не буду мъшать.

Онъ взялъ газету и сълъ въ дальній уголъ.

Нина прислонилась спиной къ кушеткъ, скрестила на груди руки и стала осматриваться. Пріемная, кабинетъ и "все, что угодно" доктора представляли самую обыкновенную меблированную комнату, изъ тъхъ, что охотно сдають одинокимъ благороднымъ жильцамъ вдовы-чиновницы. Дешевенькія олеографіи, вычурные прессъпапье, неуклюжія лампы, рамки съ зелеными разводами, украшавшія подзеркальникъ, заявляли претензію на щегольство. Нинъ становилось все болье и болье неловко. Ей хотълось придать случившемуся видъ шутки, но она была слишкомъ подавлена и не знала, какъ это сдълать.

Воробьевъ замътилъ ея смущение и пересълъ на стулъ противъ нея.

— Ну, что съ вами?—сказалъ онъ и, взявъ ея руку, тихо поцъловалъ.

"Надо уйти",—шепталъ Нинъ внутренній голось, но ее словно что-то привинчивало къ мъсту.

— Сергъй Степанычь, мнъ ужасно нехорошо все это время, —промолвила она, —говорить мнъ не хочется, говорите вы, разсъйте меня, если можете, разсмъшите, если умъете, или хоть покажите тъ альбомы, что лежатъ тамъ, на столъ; это, кажется, будетъ всего легче.

Онъ подалъ ей плюшевый альбомъ.

- Богъ мой, воскликнула Нина, все женщины и все хорошенькія! Неужели это все ваши знакомыя?
- Какже-съ! Здъсь ровно восемьдесятъ штукъ. Если вамъ угодно, буду вамъ разсказывать подрядъ характеристики, не называя именъ, конечно. Можетъ быть, это васъ заинтересуетъ. Ну-съ, начнемъ хоть съ сей барыни. Собой она, какъ видите, не то что красавица, а такъ, миленькая. Съ ней у меня былъ романъ самаго, можно сказать, идиллическаго свойства. Я тогда еще быль студентомъ Московскаго университета, и мы назначали другь другу свиданія въ зимнемъ саду кремлевскаго дворца. Очень была поэтическая особа, что не помъщало ей оставить меня съ носомъ и выйти замужъ за толстаго помъщика. Дальше рекомендую № 2. Въдь, недурна? Съ ней тоже быль романь, только не совсвмъ идиллическій, а съ № 3 объ идилліи и помину не было; тамъ прямо началось съ точки кипънія. Я ее все убъждалъ, что у нея африканская натура, и это ей очень нравилось.
- Да неужели-же у васъ было весемьдесятъ романовъ?—изумленно прервала Нина.

— Почти.

Она покачала головой.

- Однако... Но, въдь, говорять, что любить настоящимъ образомъ можно одинъ разъ.
- Мало-ли говорять вздору! По моему, наобороть, это только доказываеть крайнюю ограниченность. Все равно, какъ если-бы мальчишка, опьянъвшій оть двухъ бутылокъ пива, порѣшилъ, что онъ уже извѣдалъ всю горечь и сладость бѣшеныхъ кутежей. Нѣтъ-съ, у меня аппетиты пошире... Впрочемъ, слово "любить" весьма условный и растяжимый терминъ, который каждый понимаетъ по своему. Я, напримѣръ, совсѣмъ не вѣрю въ такъ называемую возвышенную любовь и вамъ. Нина Александровна, не совѣтую вѣрить: пріятнѣе и легче проживете.
- Легкая и пріятная жизнь никогда не представляла для меня идеала,—сказала она.
- -- Въ такомъ случав, вы исключение изъ числа людей и особенно изъ числа женщинъ. Впрочемъ, я уже давно замътилъ, что вы ненормальны. Вы обратите на себя вниманіе, Нина Александровна; такія, какъ вы, очень легко съ ума сходятъ, ужъ это повърьте мнъ, какъ медику.
- Върю, върю. Однако, вы оргинальный утъшитель, Сергъй Степанычъ.
- Что мив васъ утвшать, вы не маленькая, хотя, извините, ведете себя хуже ребенка. Возмутительно видвть, какъ вы себя поставили въ своемъ-же домв. Варвара Григорьевна чуть не кричитъ на васъ при постороннихъ, Сашенька надъвами измывается, о супругв... умалчиваю... стало быть, и бровей нечего хмурить. Изъ окружающаго васъ милаго зввринца я еще больше всвхъ похожъ на человвка, правда, неважнаго, ну, да что-жъ двлать: на безрыбьи... А вы боитесь да-

же со мной поговорить. Сколько разъ я васъ просилъ пріважать ко мнв, когда вамъ тяжело; ввдь, въ вашемъ добродвтельномъ храмв слова сказать нельзя, сейчасъ подслушають. Скажите сами, Нина Александровна, какой грвхъ въ томъ, если-бы вы иногда меня посвщали?

- Грѣха никакого, но это пришлось-бы дѣлать потихоньку, т.-е. лгать, а мнѣ противна ложь. Къ томуже, я вамъ скажу откровенно, я дѣйствительно разговариваю съ вами охотнѣе, чѣмъ съ другими, но... вы мнѣ не нравитесь, я чувствую, что въ васъ мало правды, и меня часто злитъ эта странная близость, которая образовалась между нами, точно на зло мнѣ. Общаго у насъ только то, что мы оба хандримъ, и то моя хандра хоть имѣетъ основаніе, ну, а вы чего скучаете?
 - Оттого, что практики нѣтъ, Нипа Александровна. Она нетерпѣливо передернула плечами.
 - Если вы желаете продолжать въ такомъ тонъ, лучше молчать, да мнъ кстати пора идти.
- Ну, ну, не буду, не гнѣвайтесь, посидите еще немножко,—проговорилъ докторъ, удерживая ее. Но согласитесь, что на такой категорический вопросъ очень трудно отвѣчать категорически. Отчего я скучаю?.. Да отчего у насъ все скучаетъ... "вся тварь разумная"? Включаю сюда и себя, хотя я уже имѣлъ честь вамъ докладывать, что святости во мнѣ мало. Вы долго жили заграницей... Что тамъ хандрятъ, какъ у насъ?
 - Нътъ, не замъчала; тамъ всъ заняты.
 - То-то вотъ и есть.
- Но кто-же вамъ мѣшаетъ тутъ заниматься? При чемъ тутъ Россія? У васъ въ рукахъ ясное и опредѣленное дѣло. Вы—докторъ, вы можете непосредственно служить обществу.

- Нашему обществу непосредственно могуть служить только шарлатаны. Ему нужны обстановка, ковры, бронза, резиновыя шины на колесахь. Да воть вамъ примъръ. Я три мъсяца пользовалъ одну даму отъ тяжелой болъзни, по нъскольку разъ въ день къ ней тяжелой болъзни, по нъскольку разъ въ день къ ней тяжелой облъзни, по нескольку разъ въ день къ ней тяжелой облъзни, по нескольку разъ въ день къ ней тяжелой облъзницу и деликатно такъ попросила меня позвать, ради върности, на консиліумъ знаменитость, и отвалила знаменитости сто рублей за визитъ, а мнъ за три мъсяца шишъ. Добро-бы еще хорошенькая, все не такъ обидно, а то морда.
- Во-первыхъ, этотъ случай ровно ничего не доказываетъ, а, во-вторыхъ, неужели дѣло можно только въ Петербургѣ дѣлать? Поѣзжайте въ земство, сказала Нина.
- Это въ рѣшетѣ воду носить, нажить себѣ въ годъ болѣзнь печени, вилять хвостомъ передъ земскими заправилами, ѣсть щи съ тараканами, утѣшаясь мыслью, что я-де живу одною жизнью съ народомъ, и наслаждаться, въ видѣ награды, любовью рябыхъ, весноватыхъ и гнусавыхъ акушерокъ? Благодарствуйте, слуга покорный! Неспособенъ я на такое геройство, слишкомъ старъ. Ужъ лучше лежать на диванѣ и плевать въ потолокъ.
- Ужъ не знаю, чѣмъ это лучше, отозвалась Нина.—Наконецъ, если вамъ не по душѣ земская дѣятельность, вы можете отдаться наукѣ, сдѣлаться профессоромъ.
- Для этого, Нина Александровна, требуется много условій, которыми я не располагаю. Да меня и не соблазняєть стезя славы. И безъ меня не мало самодовольныхь олуховъ. Высидить, осель эдакій, книжечку, въ которой его собственнаго на грошъ мѣдный не на-

берется, и воображаеть, что осчастливиль вселенную. Воть я чрезь годикь-другой пить начну.

- Богъ съ вами! -воскликнула Нина.
- Я и теперь люблю выпить; нѣтъ-нѣтъ и запущу,— продолжалъ докторъ и засмѣялся, взглянувъ на испуганное лицо Нины. Чего вы? Думаете, я и сейчасъ пьянъ? Не бойтесь.

Онъ взялъ ея руки и, повернувъ ихъ ладонями вверхъ, сталъ поперемънно цъловать.

- Послушайте, что у васъ за привычка безпрестанно цъловать руки? Я этого терпъть не могу,—сказала она, силясь высвободить свои пальцы.
- Что-же, вамъ жалко? Славныя у васъ ручки, тон-кія, нъжныя, съ розовыми ногтями, оттого и цълую.
- Вы меня совсвиъ не уважаете!

Въ голосъ ея послышались слезы, а внутри что-то еще настойчивъе зашептало, что ей совсъмъ не слъ-дуетъ тутъ сидътъ.

Докторъ выпустилъ ея руки.

— Будетъ вамъ бабушкины прописи вспоминать, — проговорилъ онъ. — Эхъ, не умѣете вы жить, Нина Александровна. Да полно-же, перестаньте, не кусайте губъ и слушайте, что я вамъ скажу. Вы единственная женщина, которую я не только уважаю, но передъ которой просто благоговѣю. Мнѣ кажется, что полюбить я бы васъ никогда не могъ, — васъ страшно полюбить, а я эгоистъ и дорожу своимъ покоемъ. Видите, какъ я добросовѣстенъ, а потому не извольте тревожиться и не сердитесь изъ-за пустяковъ.

Нина внимательно посмотрѣла на его красивое, заостренное, какъ у лисицы, лицо, на его красныя чувственныя губы, вздрагивающія ноздри, подумала: "какой онъ противный" и рѣшительно встала. Она безучастно принимала услуги доктора, заботливо ее укутывавшаго. Онъ усадилъ ее на извозчика и прощаясь, спросилъ:

- Такъ будете завзжать иногда?
- Не хочу, не хочу, быстро произнесла она.

Воробьевъ лукаво усмфхнулся.

- Значить, будеть, - рышиль онь про себя.

XI.

ина отказалась даже отъ всякой попытки работать, до такой степени ей стало ясно, что теперь у нея ничего не выйдеть. Она по цълымъ днямъ лежала, уткнувъ голову въ подушки, стараясь не внимать шипънью Варвары Григорьевны, отвъчая молчаньемъ на выговоры и упреки Ивана Петровича. Когда ей дъ. лалось особенно невыносимо, опа уходила къ Воробьеву. Это ее мучило, раздражало, и она все-таки шла къ нему, точно непреодолимая, злая сила толкала и влекла ее туда. Она обыкновенно подолгу простаивала на лъстницъ, не ръшаясь дотронуться до звонка. Ей живо представлялось, какъ щелкнеть ключь въ замкъ (и у ней при этомъ такъ холодно и такъ жутко покатится сердце), въ дверяхъ покажется ухмыляющееся лицо грязноватой горничной, потомъ проглянетъ чейто мигающій въ щелку глазъ, послышится сдержанный шепотъ: върно хозяйка любопытствуетъ... и она, низко опустивъ голову, точно виноватая входила, сконфуженная и сердитая, въ кабинетъ Воробьева. Онъ торопливо здоровался съ ней и тотчасъ-же выбъгалъ къ горничной, приказывая ей быстрою скороговоркой:

— Маша, если кто меня будеть спрашивать, скажи, что дома нътъ.

Нина ненавидъла его въ эти минуты.

- Можно подумать, что мы туть съ вами преступленіе замышляемъ, говорила она, натянуто улыбаясь.
- Въдь, это я для васъ-же, Нина Александровна, возражалъ онъ.
- Да, да, конечно, все для меня,—подтверждала она, и ей становилось еще противнъе.

Онъ подходилъ къ столу, на которомъ стоялъ тусклый кофейникъ, и принимался подогрѣвать его на спиртовой лампѣ, доставалъ изъ шкапчика графинъ водки, холодную закуску, хлѣбъ въ бумажномъ мѣшечкѣ и предлагалъ Нинѣ раздѣлить его "скудную трапезу". Она брезгливо отказывалась. Тогда онъ просилъ у ней разрѣшенія самому подкрѣпиться, съ чувствомъ проглатывалъ рюмку-другую водки, закусывалъ ветчиной, пилъ кофе. Кончая ѣсть, онъ вытиралъ губы о скатерть, а иногда прямо о рукавъ засаленнаго пиджака, который обыкновенно носилъ дома.

Замътивъ сдвинутыя брови Нины, ея не то печальное, не то надменное выраженіе, онъ лукаво усмъхался, садился на кушетку и, сжимая ея холодныя руки, цъловалъ ихъ быстрыми мелкими поцълуями, повторяя:

— Признайтесь, Нина Александровна, я васъ очень шокирую? Вы ужъ не взыскивайте съ меня строго, въдь я бурсакъ; никакія душевныя волненія не лишаютъ меня сна и аппетита.

Разъ она сидъла у него, грустная и молчаливая, послъ какой-то особенно пылкой выходки Варвары Григорьевны. Въ комнатъ было пасмурно. Дождь крупными, мърными каплями хлябалъ по оконнымъ стекламъ.

Онъ вдругъ нагнулся и прильнулъ губами къ ея ногамъ.

Нина вся встрепенулась и, поглядеть на него съ невыразимымъ укоромъ, чуть слышно прошептала:

— Сергъ̀ії Степанычъ!

- Сергъй Степанычъ, Сергъй Степанычъ!—сказалъ онъ, приходя въ волненіе. —Да что я, по вашему, бревно, въ самомъ дълъ? Вотъ никогда не думалъ, чтобы взрослая женщина могла быть до такой степени наивна.
 - Но, въдь, вы меня не любите?
- Т.-е., я этого не объяснялъ вамъ по всѣмъ правиламъ. Но развѣ это нужно, Нина?

Онъ привлекъ ее къ себъ и шепнулъ ей на ухо:

— Я тебя люблю.

Въ груди ея поднялось что-то жгучее, сладкое и, вмъстъ, глубоко-обидное и глубоко-безотрадное.

....,Господи,--съ отчаяніемъ писала она въ своемъ дневникъ нъсколько дней спустя, -- только этого не хватало. Я, кажется, влюбилась въ этого тоскующаго россіянина. В'вдь, это безуміе, навожденіе, этого не можеть быть. Я не могу любить жалкаго эгоиста, ввчно копающагося въ своей душенкъ, въчно любующагося и размазывающаго свои маленькія страданьица, лінивца, который смотрить свысока на другихъ, а самъ палецъ о палецъ не ударитъ и злится на весь міръза свои неудачи. Въдь, онъ даже необразованъ, пробавляется дешевымъ остроуміемъ, общими мъстами... Ахъ, это все не то, не то. Онъ не воспитанъ, вульгаренъ, грубъ, но въ немъ есть страсть, онъ не сдълаетъ подлости ради практической выгоды, онъ не склонить своей ленивой головы передъ золотымъ мѣшкомъ. Онъ живой человѣкъ, а не изрекающій истины манекень, вродь моего супруга, не алчное и хищное животное, какъ Варвара Григорьевна и Сашенька, которыя готовы обобрать и раздавить нищаго на улицъ... Но развъ это резонъ, чтобы любить человъка, который по-своему тоже очень гадокъ? Ахъ, да нътъ же, нъть, я его не люблю. Просто меня одолъла эта пошлая, мъщанская яма; я и сама не знаю, чего хочу. Стыдно, стыдно"...

Слезы помѣшали ей продолжать. Она бросила тетрадь. Въ комнату вошелъ Иванъ Петровичъ и, облокотившись на столъ, впился въ жену своими холодными глазами.

Она молчала и ждала, что будетъ дальше.

- Позвольте васъ спросить, началъ онъ, наконецъ, вы долго еще намърены ломать эти комедіи? Моему терпънію тоже есть границы.
- О какихъ комедіяхъ вы говорите, Иванъ Петровичъ? Я васъ не понимаю...
- Какая невинность угнетенная! "Не понимаю!" передразниль онъ. Извольте, сударыня, я вамъ объясню. Я желаю, чтобы вы весь этотъ хламъ, онъ ткнулъ пальцемъ въ мольбертъ, и наваленныя на окнѣ папки съ рисунками, выкинули къ чорту не только изъ комнаты, но и изъ вашей сумасбродной головы. Я не желаю входить въ разборъ вашихъ личныхъ чувствъ ко мнѣ, но я считаю себя въ правѣ требовать, чтобы вы исполняли свои обязанности жены и матери такъ, какъ я это понимаю. Васъ никто не заставлялъ насильно выходить замужъ.
- Я дъйствительно виновата передъ вами, Иванъ Петровичь, но мнъ кажется, я достаточно искупила свою вину пятилътней каторгой въ вашемъ домъ.
- Ваши фразы меня не интересують,—прерваль онъ ее,—я желаю говорить о дѣлѣ. Повторяю еще разъ: мнѣ нужна жена, а не скучающая художница, жена, которая бы довольствовалась тихою семейной жизнью и заботилась о моемъ благосостояніи. Вотъ мои требованія, и если вы ихъ не исполните добровольно, то...
 - То Иванъ Петровичъ?
 - То я тебя заставлю, —прохрипѣлъ онъ.
 - Не заставишь; я тебя слишкомъ ненавижу.

Злоба на лицъ Ивана Петровича замънилась выраженіемъ ужаса. Онъ кинулся къ женъ и схватилъ ея руки.

- Нина,—прошепталь онь, задыхаясь,—не говори этого. Нина, все что хочешь, только не это; я не перенесу твоей ненависти, въдь, я тебя люблю, обожаю.
- Лучше говорите прежнимъ языкомъ, онъ мнѣ всетаки не такъ противенъ, какъ ваша любовь, крикнула она захлебывающимся голосомъ, вырываясь изъ его рукъ и бросаясь къ дверямъ, гдѣ чуть не сшибла съ ногъ притаившуюся тамъ Варвару Григорьевну.
 - Ага! Подслушивали, достойная маменька! И она залилась истерическимъ хохотомъ.

XII.

Сергъй Степановичъ ходилъ взадъ и впередъ по своимъ двумъ комнатамъ, не зажигая огня, хотя сумерки уже давно прошли и наступилъ вечеръ. Только уголъ стъны да часть письменнаго стола освъщались косыми яркими полосками, падавшими черезъ стеклянный верхъ двери отъ горъвшей въ прихожей лампы. Сергъй Степановичь думаль о Нинт и о томъ, что онъ слишкомъ далеко зашелъ въ своихъ отношеніяхъ къ ней, что это глупо, непріятно и что нужно какъ можно скор ве выйти изъ этого положенія, но какъ? Жениться онъ на ней все равно не можетъ, да если бы даже и могъ, то, въдь, онъ ее не любитъ. Она только минутами возбуждаетъ въ немъ вспышки страсти, но не больше, чвмъ всякая другая хорошенькая женщина, даже меньше. Съ ней въчно нужно быть на-сторожъ: плюнешь не такъ, а ее ужъ всю передергиваетъ. И чудная она: всякое лыко въ строку. Воображаеть, что поцелуй обозначаеть навъки нерушимую любовь. И какъ на гръхъ точно дернуло его тогда поцъловать ей ножки (удивительная у ней нога, маленькая, узкая, стройная). Чортъ знаетъ какъ это случилось, должно быть, закружилась голова... Какой у ней былъ тогда взглядъ! Совъстно стало, ну, и сказалъ, что люблю... А какой чортъ люблю...

— Однако я порядочная скотина, — громко проговориль Воробьевь, какъ бы подводя итогъ своимъ размышленіямъ, и мысленно присовокупилъ:—нътъ, это надо покончить.

Въ прихожей дрогнулъ звонокъ, послышался слабый стукъ въ дверь, и напорогъ показалась Нина. Она откинула черный платокъ и открыла блъдное лицо, казавшееся еще блъднъе отъ окружающей темноты.

Воробьевъ подбѣжалъ къ ней.

- Нина, такъ поздно? Это слишкомъ не благоразумно... васъ могутъ хватиться дома... выйдетъ скандалъ.
 - Мнъ все равно, я не могу дольше.
 - Да что случилось?

Она передала сцену съ мужемъ. Ему стало жаль ее; онъ усадилъ ее на диванъ, сълъ рядомъ и, обнявъ одною рукой, сталъ другой гладить ея волосы, приговаривая:

- Бъдная моя, милая, ну, будетъ успокойся.
- Не могу, не могу я успокоиться, —рыдала Нина.
- Одинъ видъ его наводить на меня ужасъ... я вся холодъю, когда онъ нечаянно дотронется до моей руки. Вчера ночью прокрался ко мнъ въ комнату, плачетъ, а меня одинъ взглядъ этихъ оловянныхъ глазъ, одинъ ввукъ его шлепающихъ туфель приводитъ въ содроганіе... Спасите меня, я убью и его, и себя, я чувствую, что убью... Ахъ, если бы вы знали, какъ горитъ моя голова!

Она сжала объими руками лобъ.

— Что съ вами? Какъ вы холодно глядите на меня! вы боитесь меня, не любите... О, не гляди на меня такъ... Въдь, ты не оставишь меня, въдь, я тебя люблю, со всъми твоими гадкими недостатками люблю...

Она схватила его руки и прильнула къ нимъ жаркими губами. Сильно и жутко колотилось сердце Сергъя Степановича, но онъ все-таки овладълъ собою и произнесъ почти спокойно:

— Нина Александровна!

Ей показалось, что она ослышалась; она подняла голову и устремила на него взглядъ своихъ заплаканныхъ глазъ.

— Нина Александровна, —повториль онь, —я вась не узнаю. Неужели вы можете быть на столько жестоки, на столько несправедливы? Вы можете сердиться на меня, но я все-таки скажу: ваше обращение съ мужемъ варварство. Вы издъваетесь надъ мученіями человъка, который васъ боготворить. Подумайте, у васъ есть ребенокъ, священный долгъ, а вы все забываете и хотите дълать только то, что вамъ угодно и пріятно... Это страшный эгоизмъ.

Нина сидъла, сдерживая дыханіе, не отрывая взгляда отъ лица Воробьева. Ей казалось, что полъ начинаетъ куда-то уплывать изъ-подъ ея ногъ и что-то темное, страшное и неизбъжное вотъ сейчасъ-сейчасъ упадетъ на ея голову, и она напрягала всъ свои силы, чтобы слышать, слышать до конца, что говоритъ отчетливый размъренный голосъ.

— Я понимаю, что ваше положение тяжелое, — продолжалъ этотъ голосъ, — весьма тяжелое; я всегда вамъ сочувствовалъ, старался облегчить... Видя ваше чувство ко мнъ, я изъ гуманности, зная ваше одиночество, не сказалъ вамъ: иди, я тебя не люблю... напротивъ... Нина вдругъ вся вздрогнула и выпрямилась, словно ее ударили кнутомъ по лицу. Она встала и, смѣривъ съ ногъ до головы сжавшагося Сергѣя Степановича, медленно произнесла:

— Довольно, вы правы, я все заслужила. Благодарю вась за вашу *муманность*.

Она низко поклонилась ему и направилась къ двери. Онъ бросился къ ней, охватилъ ее руками и, припавъ головой къ ея колѣнамъ, зарыдалъ.

— Нина, не уходите такъ, выслушайте, не карайте... Я, въдь, знаю, что вы чистая, прекрасная... Я потому и не любилъ васъ, что вы слишкомъ чисты...

"Какъ это пошло, какъ это стыдно, мучительно!"— пронеслось въ головъ Нины.

Она оттолкнула Воробьева и вышла.

— Какъ я гадокъ! — воскликнулъ Сергъй Степановичъ, оставшись одинъ, и закрылъ лицо руками, не стараясь даже удерживать струившихся сквозь пальцы слезъ.

XIII.

и при мысли, что ее сейчасъ станутъ осыпать вопросами, гдѣ она была, она выпустила ручку звонка и нѣсколько минутъ стояла передъ дверью. Наконецъ, она рѣшилась позвонить. Ей отперла кухарка и доложила, что господъ дома нѣтъ, а Володя спитъ. Она прошла къ себѣ въ комнату, заперлась на ключъ и, не раздѣваясь, бросилась на кровать. Обрывки мыслей, словъ, тяжелыхъ воспоминаній толпились и прыгали въ ея головѣ въ какомъ-то дикомъ миражѣ, изъ котораго ярко, непреодолимо выступало одно: "изъ гуманности не сказалъ: иди, я не люблю тебя".. Изъ гуманности! Эти два слова жгли ее, давили клещами, безпрестанно звучали въ ея ушахъ, хлестали, какъ нагайкой ея тѣло, отравляли ея дыханіе, каждое біеніе ея сердца. Она ихъ безпрестанно, безжалостно, безпощадно повторяла, точно хотѣла упиться своимъ униженіемъ, точно наслаждалась нестерпимою болью, которую ей это причиняло...

— И чего я жду, чего мив еще нужно?.. Ввдь, ужъ все было... Въдь, господинъ Воробьевъ только изъ гуманности не сдёлалъ меня своею любовницей. Что мнъ остается? Наслаждаться семейнымъ счастьемъ съ Иваномъ Петровичемъ, считать гроши съ Варварой Григорьевной и чинить старыя рубашки... Нътъ, лучше прекратить... "Даръ случайный, даръ прекрасный"... Ну, и воть тебъ этотъ даръ, возьми его себъ назадъ и не требуй благодарности... И кто выдумаль, что человъкъ не имъетъ права распоряжаться своей жизнью?... тъмъ и хороша, что отъ нея можно Да она только во всякое время отвязаться. А Володя?... Бъдный мальчикъ, безъ вины виноватый!... Онъ проклянетъ мою память. И пусть!.. Въ сущности, для него будетъ гораздо лучше, если я исчезну. Варвара Григорьевна права: какая я мать? Чему я могу его научить? Върить, любить? Я сама ни во что не върю и ничего не люблю.

Она встала, подошла къ коммоду, вынула оттуда граненый флаконъ и, зажавъ его въ рукъ, стала медленно ходить по комнатъ.

— Въ этомъ освобожденіе и успокоеніе, —проговорила она. —Прочь всё цёпи, всё эти долги и обязанности, подъ видомъ которыхъ люди законнымъ образомъ другъ друга живьемъ съёдаютъ! Воображаю, какой тутъ поднимется завтра гвалтъ... Варвара Григорьевна только изъ приличія не скажетъ, что собакѣ собачья смерть; Иванъ Петровичъ поплачетъ, потомъ утёшится, пожалуй, еще благословитъ судьбу, что избавился отъ та-

кого сокровища, а *пуманный* докторъ будетъ разсказывать, какъ изъ-за него отравилась одна очаровательная женщина, художница, но онъ остался неуязвимъ, ибо много разъ видълъ на своемъ въку яды и револьверы. Не послать-ли ему для полноты коллекціи свою карточку?... Восемьдесять первый номеръ... Ха-ха-ха...

Въ дътской заплакалъ Володя. У нея сжалось сердце.

— Пойти къ нему? Нътъ, лучше не итти. Да вотъ онъ и замолкъ.

Она сняла платье, вынула изъ косы гребень, подошла къ зеркалу и стала глядъть на себя. Горъвшая у образа лампада освъщала ее слабымъ полусвътомъ. Густая, темная коса упала ей на спину тяжелымъ жгутомъ, золотистые упрямые завитки выбились на лобъ и расползлись змъйками по тонкой шеъ. Сорочка спустилась съ плечъ, обнаживъ стройный станъ и дъвственную грудь съ просвъчивающими подъ нъжною кожей синими жилками.

— И все это завтра начнеть гнить,—промолвила она,—а я буду безучастна къ этому гніенію и ко всему. ко всему... Зароють подальше отъ другихъ добродътельныхъ покойниковъ и завалять камнемъ. А на земль будутъ, по-прежнему, мучиться и наслаждаться, любить и ненавидъть, бороться и падать. Что значитъ въ этомъ безконечномъ движеніи уничтоженіе одной крошечной козявки... безсильной, жалкой? А, въдь, у меня быль талантъ,—подумала она.—Былъ?!.. Но кто сказалъ, что его у меня теперь нътъ, кто? Варвара Григорьевна? Иванъ Петровичъ? Чиновники, не пустившіе меня на выставку?...

Она вскочила, зажгла лампу, свъчи. Комната вдругъ вся озарилась яркимъ свътомъ. Она схватила папки съ этюдами и эскизами и стала ихъ перелистывать съ нервною быстротой. Передъ ней замелькали голубые италья-

нскіе ландшафты, швейцарскія горныя озера, прирейнскія долины, жанровыя картины, полныя чарующей прелести, неподдъльнаго юмора, хватающей за душу грусти. Кровь прилила къ ея щекамъ. Она дрожала, какъ въ лихорадкъ.

— У меня есть таланть, есть, есть...—повторяла она.—Мнѣ нужна только свобода. Ложь, будто я ни во что не вѣрю, ничего не люблю. Я ненавижу только этотъ хлѣвъ, гдѣ Сергѣй Степанычи герои. Прочь, не хочу умирать!

Она швырнула объ полъ граненый флаконъ, и онъ разлетвлся въ дребезги. Потомъ бросилась въ двтскую и, опустившись на колвна передъ кроваткой, зашептала горячимъ, задыхающимся шопотомъ:

— Милый мой, прости меня, я все заглажу, я на своихъ рукахъ унесу тебя изъ этой ямы, чтобы на тебъ не осталось и слъда ея отвратительной, заъдающей грязи,—а слезы такъ и капали крупными, жаркими каплями на голыя, исцарапанныя ножки мальчика.

Черезъ недвлю Нина послала Льву Никаноровичу въ Липовку письмо, что она вдетъ къ нему съ сыномъ.

XIV.

шиль ясный іюньскій день. По мягкой проселочной дорогѣ катился, запряженный тройкой, старый, неуклюжій тарантасъ, поднимая за собою столбъ черноватой пыли. Въ тарантасѣ сидѣла Нина; на колѣнахъ у нея, весь раскраснѣвшись, спалъ Володя!

Дорога шла почти все полемъ, только на окраинахъ чернѣли лѣса, да у овраговъ виднѣлись тамъ и сямъ купы сросшихся плакучихъ березъ. Изрѣдка промелькнетъ въ зелени церковь съ краснымъ или голубымъ куполомъ, усѣяннымъ золотыми звѣздами, проглянетъ барскій домъ на горѣ, выскочитъ, точно куча грибовъ, десятокъ избъ, а тамъ опять зеленѣющіе всходы, отдыхающія подъ паромъ поля, бѣлые стволы березокъ—и надъ всѣмъ, словно море звуковъ, носится сладкая, согрѣвающая пѣсня весны. Солнце лилось золотыми струйками сквозь тонкіе стебли ржи, еще зеленой и жидкой. По голубому небу медленно ползли рѣдкія, ясныя облачка.

Нина глядъла на растилавшійся передъ ней просторъ, вдыхала его своею больною, усталою грудью. Все ей казалось роднымъ, милымъ: и тряска тарантаса, и одновручное гудъніе колокольчика, и длинныя, лохматыя гривы лошадей, даже спина ямщика, въ пестрядинной рубахъ. Она высунула голову изъ тарантаса и оглянулась назадъ. За облакомъ пыли вьется утоптанная, уъзжанная дорожка, то взбъгая на косогоръ, то пропадая во ржи, то опять выбъгая. Земля выдалась впередъ выпуклымъ полукругомъ, на которомъ лишь кое-гдъ торчатъ, какъ щетинки, деревья.

"Какъ я далеко отъ *нихъ!"*—думаетъ Нина и съ облегченіемъ вздыхаетъ.

Проснулся Володя и потребоваль ѣсть. Нина остановилась въ ближайшей деревнѣ, гдѣ у ямщика оказалась кума. Накормили Володю, дали вздохнуть лошадямъ и опять пустились въ путь.

Къ вечеру прівхали въ Липовку.

Усталыя лошаденки, напряженно вытягивая худыя шеи и отмахиваясь хвостами отъ оводовъ и слѣпней, съ усиліемъ втащили тарантасъ въ гору. На самомъ юру торчалъ двухъ-этажный съ мезониномъ домикъ Льва Никаноровича, общитый тесомъ, съ черепичатою красной крышей. Къ дому примыкалъ густой садъ, отдѣ-

ленный маленькимъ рвомъ отъ липовой рощицы. Левъ Никаноровичъ, заслышавъ колокольчики, стремглавъ выбъжалъ на встръчу гостьъ, прикрывая рукой глаза отъ солнца.

Нина выпрыгнула изъ тарантаса и протянула ему объ руки. Онъ бросился ихъ цъловать, бормоча:

- Ниночка, то-есть Нина Александровна, а я васъ вчера ждалъ, по письму выходило вчера,—и, вглядѣв-шись ближе въ ея лицо, вдругъ воскликнулъ:—Господи, да какъ-же это, да что-же это?—и заплакалъ старческимъ плачемъ со всхлинываніемъ.
 - Левъ Никан орычъ, полноте, что вы?..
- Какъ что! Извели васъ тамъ совсѣмъ,—проговорилъ онъ сквозь слезы.—Развѣ такую отпускали?

Нина усмъхнулась и сощурила глаза.

— Вѣдь, съ тѣхъ поръ сколько воды утекло, милый Левъ Никанорычъ. Тогда я только жить собиралась, а теперь вотъ ужъ сына надо воспитывать, —промолвила она. Вы хоть взгляните на моего Володю; мы съ нимъ къ вамъ отдыхать пріѣхали.

Володя, уцъпившись руками за передокъ тарантаса, глядълъ широко раскрытыми глазами на мать и незнакомаго старика.

Левъ Никаноровичъ поднялъ его на руки.

- Здравствуй, голубчикъ. Это мив Богъ внучка послалъ. Будешь меня любить?—сказалъ онъ, цвлуя мальчика.
- А не будешь шлепать, какъ бабушка?— произнесъ, вмъсто отвъта, Володя.
- Христосъ съ тобой, милый, ты только меня не шлепай, а ужъ я ни-ни,—совершенно серьезно завърилъ Левъ Никаноровичъ.

— Видите, какой у меня практическій сынъ: прежде всего, условія ставить,—замѣтила Нина.

Они вошли въ прохладныя съни, изъ которыхъ винтовая лъстница вела наверхъ.

Левъ Никаноровичъ суетился во всѣ стороны, хватаясь за мѣшки, чемоданы, ремни; все валилось изъ его дрожащихъ рукъ. Онъ безнанежно кричалъ:

— Кузьма, Николашка, вносите скорте вещи! Идолы эдакіе, куда вы вст провалились? Уморить вы меня хотите, дьяволы!.. Гостья дорогая, простите за безпорядокъ.

Нина взяла его подъ руку.

— Пойдемте, дѣдушка, наверхъ; они тутъ безъ насъ отлично разберутся, а то мы ихъ только съ толку сбиваемъ.

Пройдя невысокую залу, уставленную старомодными стульями и столами, Левъ Никаноровичъ повернулъ въ длинный темный корридоръ, нащупалъ дверь, толкнулъ ее и торжественно произнесъ:

- Милости просимъ въ ваши аппартаменты.

Аппартаменты состояли изъ трехъ комнать, расположенныхъ линейкой. Видно было, что хозяинъ сосредоточилъ все свое вниманіе на ихъ убранствѣ. Спальня Нины была загромождена самою разнообразною мебелью. Огромное бюро съ почернѣвшею бронзовою отдѣлкой, широчайшая кровать подъ выцвѣтшимъ шелковымъ балдахиномъ, обтянутые полинявшимъ бархатомъ диваны, горка съ фарфоровыми бездѣлушками.

— Я велъть собрать сюда все, что осталось послъ матушки,—наивно докладываль Левъ Никаноровичь,—а ужъ вы, Ниночка, прикажите разставить эту благодать по своему вкусу. Это вотъ дътская,—продолжалъ онъ,—тутъ и лежаночка теплая... Я въ чуланъ кое-какія

игрушки откопаль, только ужь больно стары, нужно будеть въ городъ новыхъ прикупить... А эту комнату я предполагалъ вамъ подъ мастерскую: она посвътлъе всъхъ.

Комната была большая, почти пустая. Желтенькое, унылое фортепіано робко прижалось между двумя окошками, а надъ нимъ висѣла, нѣсколько склонившись на бокъ, картина въ облупленной рамѣ съ надписью "Пожаръ въ Испаніи", въ которой, впрочемъ, кромѣ оранжевыхъ и черныхъ полосъ, трудно было что-нибудь разобрать. Направо, вдоль стѣны, стояли два шкафа съ книгами. Нина подошла къ нимъ.

- Левъ Никаноровичъ, вѣдь это наша ключевская библіотека? Какъ это попало къ вамъ?
- Да это я послѣ вашего отъѣзда пріобрѣлъ за безцѣнокъ у новаго хозяина. Собирался все сюрпризъ вамъ сдѣлать: въ Питеръ переслать. Вѣдь, только у васъ и радости было, у маленькой, что эти книги, да вотъ вы, слава Богу, сами къ намъ пожаловали. Ужъ какъ я радъ, Ниночка. Я просто одурѣлъ, когда получилъ ваше письмо. Сколько времени ни словечка и вдругъ: "ъду". Я глазамъ не върилъ.
- Добрый, милый Левъ Никанорычъ, спасибо вамъ,— говорила Нина, тронутая до слезъ, только вы одни и баловали меня всегда.

Она обняла его за худую шею и поцѣловала въ сѣ-дую голову.

Стеклянная дверь вела изъ большой комнаты на балконъ. Тамъ за накрытымъ столомъ хлопотала старуха, въ темномъ платьъ и бъломъ чепчикъ.

- Егоровна, все-ли готово? обратился къ ней Левъ Никаноровичъ.
 - Сейчасъ, батюшка, отвътила она, степенно кла-

пяясь Нинѣ и, перегнувшись чрезъ перила, крикнула тягучимъ голосомъ въ пространство: —Парашка-а, самоваръ!

Босоногая толстая дівка, въ подоткнутомъ платью, втащила, пыхтя, пузатый самоваръ.

Старуха заварила чай, потомъ стала намазывать на хлъбъ масло, разставляла блюдечки съ вареньемъ.

Нина глядъла съ улыбкой на эти хлопоты. Ей пріятно было сознаніе, что вся эта возня для нея; ей казалось, что она послъ долгихъ и тяжелыхъ скитаній возвратилась, наконецъ, домой.

Володя, оробъвшій вначаль, успыль оглядыться и и даже рышился заговорить.

- Мама, я хочу кушать.
- Сейчасъ, мой мальчикъ, мы тебя накормимъ, а потомъ бай-бай.
- Подь ко мнѣ, батюшка, я тебѣ вареньица дамъ, сказала Егоровна.
 - А ты кто?—полюбопытствоваль Володя.
 - Я клюшница, отрекомендовалась она.
 - Ты ключи дълаешь? удивился мальчикъ.

Егоровна засмъялась.

- Нѣтъ, родимый, не дѣлаю я ключей, а прячу ихъ, а подъ ключами-то у меня гостинцы сладкіе-пресладкіе. Не будешь баловаться—дамъ.
 - Не буду, отвътилъ Володя, а бъгать можно?
- Можно, милый, только не шибко, а то носъ расквасишь... Вотъ мы и покушали, а теперь спать съ Богомъ пойдемъ; я тебъ постельку постелю.
 - А мама?
 - И мама придетъ.
- Не хочу безъ мамы, возразилъ Володя и уже приготовился заревъть, но Нина его предупредила, отправившись сама его укладывать.

XV.

когда она вернулась на балконъ.

— Уснулъ, -- отвътила Нина.

Она съла въ глубокое мягкое кресло, опрокинулась головою на спинку и задумалась. Старикъ пододвинуль ей подъ ноги скамеечку; она поблагодарила его улыбкой.

Солнце медленно потухало, погружаясь въ красныя и темно-лиловыя облака; огнистые лучи пробивались сквозь листву, обливая все мягкимъ розовымъ сіяніемъ. Надъ сѣдою головой громаднаго серебристаго тополя чуть замѣтно вырѣзался блѣдный серпъ луны. Безконечная даль и ширь полей терялись въ набѣгающей вечерней мглѣ. Кругомъ тишина, та особенная, полная неопредѣленныхъ, смутныхъ шумовъ, деревенская тишина, отъ которой затихаютъ мысли въ головѣ и сердце въ груди, отъ которой, въ одно и то-же время, и хорошо на душѣ, и немножко больно, и немножко грустно.

- Какъ здъсь славно, сказала Нина и вздохнула.
- Неужто нравится? Я думалъ, вы послъ заграничныхъ да столичныхъ чудесъ на нашу природу и глядъть не захотите. Чего-чего вы тамъ, поди, не насмотрълись, Ниночка.
- Много, много, Левъ Никанорычъ, и все-таки нигдъ мнъ не было такъ уютно, какъ теперь здъсь.
 - Это значить: въ гостяхъ хорошо, а дома лучше-съ.
- Да, да, дома... всё эти годы я, въ самомъ дёлё, точно изъ гостиницы въ гостиницу переёзжала. Разсказывайте, Левъ Никанорычъ, какъ вы тутъ безъ меня жили. Когда я все узнаю, вы забудете, что меня такъ

долго не было съ вами, и опять станете глядъть на меня, какъ на прежнюю Нину.

- Да я на васъ и не гляжу иначе. Это я въ первую минуту разнюнился. А что касается нашего житья, то оно, можно сказать, ничего интереснаго не представляеть: день за день, завтра, какъ сегодня, послѣ весны лѣто, а за лѣтомъ осень... Пока была жива покойница Прасковья Михайловна, царство ей небесное! часто къ ней навѣдывался, а съ тѣхъ поръ, какъ она померла, совсѣмъ одичалъ. Жаль покойницу!.. Какъ сейчасъ помню, позвала она меня къ себѣ передъ смертью самой, ужъ пріобщили ее, и сказала: "Дай, говоритъ, мнѣ слово, Левъ Никанорычъ, что Ниночку не оставишь". Ну, я ее, конечно, успокоилъ, а самъ, старый дуракъ, вмѣсто того, чтобы беречь васъ пуще глазу, ни разу даже не заглянулъ къ вамъ.
- Бѣдная бабушка, проговорила Нина, хорошо она сдѣлала, что умерла...

Левъ Никанорычъ удивленно посмотрълъ на нее.

- Что-жъ туть хорошаго, матушка? Жила-бы себъ да радовалась, на васъ глядя.
- Ужъ навърное-бы радовалась,—замътила Нина и засмъялась горькимъ смъхомъ.

Левъ Никаноровичъ еще удивленнѣе взглянулъ на нее и въ недоумѣніи замолчалъ.

- А Домнушка-то,—началъ онъ, погодя немного,— и мѣсяца послѣ васъ не прожила. Какъ она, старая, убивалась, когда продавали Ключи! "Барское, говоритъ, родовое гнѣздо, и вдругъ во владѣніе мужику сиволапому, арендателю".
- Бѣдная Домнушка! Тоже послѣдняя изъ могиканъ,—сказала Нина.

- Да-съ, теперь ужъ не найдете такихъ върныхъ слугъ. Вотъ все на кръпостное право нападаютъ...— заговорилъ онъ, но Нина прервала его вопросомъ.
- Ну, а мою подругу, рябую Машку, не встрѣчали? Когда я у васъ была послѣдній разъ, она туть недалеко жила
- Померла она, бѣдная, въ позапрошломъ еще году отъ фершела проклятаго. Одышка у ней послѣ родовъ сдѣлалась, а онъ взялъ, да и впустилъ къ ней подъ одѣяло двадцать піявокъ: чортъ его знаетъ, пьянъ онъ былъ, что-ли. Ну, конечно, баба истекла кровью. Сталъ я его ругать, а онъ уперся, какъ столбъ, и все одно твердитъ: піявка сама знаетъ, гдѣ кусать.

Нина всплеснула руками:

- Да неужели это правда?
- Какъ-же не правда? Онъ, негодяй, сколко народу такимъ манеромъ переморилъ; только послѣ Марьи его догадались прогнать.
- И отецъ Николай, вашъ законоучитель, тоже скончался,—сказалъ опять Левъ Никаноровичъ,—его въ полѣ громомъ убило.
 - Всѣ умерли, —промолвила Нина.

Оба помолчали.

- И я хорошъ, —воскликнулъ старикъ, —въ первыйже день и все про печальное!... Разскажите, Ниночка, лучше про себя: съ чего вы такъ похудали? Али мужъ не добрый попался?
- Послѣ, послѣ, —произнесла она торопливо, а теперь говорите о себѣ, что вы дѣлаете, чѣмъ занимаетесь, —однимъ словомъ, все.
- Да ничѣмъ я особенно не занимаюсь. Вѣдь, Липовка на арендѣ. Только вотъ развѣ садъ. Это, можно сказать, мое дѣтище. Какіе у меня розаны!... Въ ку-

лакъ!... Крымскимъ не уступятъ... Вотъ вы посмотрите. Питомникъ тоже въ грунтовомъ сарав устроилъ... груши тамъ, яблоки, шпанская вишня. Варенье самъ варю. А зимой ко мнв ребятишки таскаются, грамотв ихъ учу... такъ и проходитъ время.

- А въ ключъ купаетесь по-прежнему: и зиму, и лъто?
- По-прежнему-съ. И какой, я вамъ доложу, у меня этотъ ключъ необыкновенный! Полагаю, что въ немъ скрыты какіе-нибудь цѣлебные минералы. Вотъ бы вамъ, Ниночка, тамъ покупаться, живо бы поправились.
- Хорошо, я попробую. Ну, и на флейтъ, Левъ Ни-канорычъ, продолжаете играть?
 - Играю-съ.
 - И все "Полонез Опинскаго?"...
- Ишь, насмѣшница, помнить! усмѣхнулся Левъ Никаноровичъ.—А чѣмъ не хорошъ Огинскій?.. Только что старъ... Вотъ пріѣзжалъ тоже въ третьемъ году къ сосѣдкѣ моей племянникъ, отставной поручикъ. Навезъ онъ сюда разныхъ романсовъ да серенадъ. Взялъ я у него разобрать ихъ. Складно-то оно складно, да все какъ-то не то... души такой нѣтъ, благородства. Ну, я и опять за Огинскаго. Заиграешь его... такъ трогательно, самого себя даже жалко станетъ... экою, подумаешь, я горькою сиротой вѣкъ прожилъ.

Левъ Никаноровичъ подперъ кулакомъ щеку и заду-

— А сочиненіе свое "*Ошибки прогресса*" вы кончили?— спросила опять Нина.

Старикъ оживился; глаза его усиленно заморгали.

— Гдѣ же кончить! Нѣтъ... его только вмѣстѣ съ жизнью можно кончить!—воскликнулъ онъ.—Вѣдь, вы подумайте: туда должно войти все, вѣдь, это великое

дъло... О-ш-и-б-к-и прогресса!.. Въдь, съ каждымъ днемъ прибавляется какая-нибудь новая опибка. Я, какъ нъкій древній лътописецъ, самъ въ водоворотъ жизни не участвую, стою въ сторонъ, но за всъмъ слъжу и все отмъчаю. Всъ эти кражи, да крахи, да разбои, — все это, въдь, что?.. Ошибки!.. Чего?.. Прогресса!.. Это... это тяжелый трудъ. Сразу не сдълаешь: дунулъ, плюнулъ, —и готово.

Нина хотъла что-то сказать, но, взглянувъ на взволнованное лицо старика, ей жаль стало разрушать его иллюзію и промолчала.

Левъ Никаноровичъ опять задумался.

Теплый вътерокъ покачивалъ съ легкимъ шумомъ верхушки старыхъ липъ. Запахъ отцвътающей сирени подымался къ балкону. Звъздочка огненною ниткой сверкнула по небу и скрылась. Мотыльки кружились около мерцающихъ свъчъ и трепетно бились объ окна. Свътъ луны прямо падалъ на лицо Нины; оно казалось мертвенно-блъднымъ.

Левъ Никаноровичъ вдругъ вышелъ изъ своего раздумья, взялъ ея худую, тонкую руку и сталъ ласково гладить.

— Что пригорюнилась, моя пташечка?—сказаль онъ тихо.—Заклевали тебя тамъ, видно, злые коршуны.

Она попробовала улыбнуться, но губы ея искривились. Она закрыла лицо руками, пригнула голову къ колѣнамъ и глухо зарыдала.

Она плакала долго неудержимо, отчаянно. Старикъ вздыхалъ и только поводилъ рукой по ея вздрагивающимъ плечамъ. Наконецъ, она смолкла, сама налила себъ воды, приложила мокрый платокъ къ своему пылающему лицу и, наклонившись къ самому уху Льва Никаноровича, выговорила залпомъ, словно боясь, что ей помъщаютъ все высказать:

- Я убъжала отъ мужа... обманула его... выпросилась къ знакомымъ на дачу... продала бабушкинъ жемчугъ и пріъхала сюда. Не распрашивайте меня ни о чемъ, послъ я сама вамъ все разскажу. Я не знаю, —сколько у васъ проживу, знаю только, что туда не вернусь никогда, ни за что...
- И не надо, родная,—промолвиль старикъ,—а тутъ живите, пока не надовстъ.

XVI.

Дни шли за днями.

Нина вся отдалась убаюкивающему теченію деревенской жизни и всею душой желала лишь одного, чтобы никакое внѣшнее событіе пе всколыхало ея мирнаго существованія. Володя быль здоровь, потолстѣль и загорѣль. Онь очень привязался къ Льву Никаноровичу, который со времени пріѣзда мальчика совсѣмъ, казалось, забыль объ "Отибкахъ прогресса". Всѣ его умственныя способности устремлены были на выдумываніе и вспоминаніе всевозможныхъ сказокъ. Краснорѣчивыя повѣствованія о дѣяніяхъ сѣрыхъ волковъ, хитрыхъ лисицъ, счастливыхъ дураковъ и несчастныхъ умниковъ, злыхъ вѣдьмъ и прекрасныхъ царевенъ, лились съ его устъ неизсякаемымъ потокомъ.

— У тебя хорошія сказки,—одобряль его рвеніе Володя,—не то, что у бабушки: та все про гадкихъ мальчиковъ разсказывала.

Нина совершала одинокія и длинныя прогулки.

Разъ она даже заглянула въ Ключи. Старый домъ былъ на половину сломанъ и обнесенъ лѣсами. На томъ мѣстѣ, гдъ была оранжерея, красовалась яркая вывѣска кабака. Гора кирпичей, обструганныя доски, куча опи-

локъ, ямы съ известкой, вспотъвшія лица плотниковъ, все это такъ мало походило на прежнее. Нина невольно вздохнула и, опустивъ голову, точно ей было больно глядъть на эту новую жизнь, водворившуюся съ грубостью силы и права иа развалинахъ ея родного гнъзда, проскользнула незамътно отъ рабочихъ въ паркъ.

Тамъ не было особенныхъ перемънъ. Липовыя аллеи, темныя и длинныя, тянулись крестами вплоть до ручья, какъ въ былое время тихо журчавшаго между ивами. Старый дубъ, про который Домнушка разсказывала, будто подъ нимъ кладъ зарытъ, еще больше разросся. Корни его расползлись по дорожкамъ толстыми, корявыми сучьями, весь онъ важенъ и неподвиженъ, только въ вершипъ чуть слышно ропщутъ листья. А вотъ и зеленая скамейка. Нинъ живо вспомнилось, какъ она разъ прибъжала сюда на свиданіе съ рябою Машкой. Она только что прочла "Нибемунювъ" и дълилась съ Машкой мечтами о томъ, какъ бы это было хорошо, если бы хоть часть ихъ сокровищъ очутилась вдругъ въ ихъ ръченкъ Песочницъ.

- Мы бы ихъ достали, говорила она, и я бы построила большой большой домъ, гдѣ бы много было всего-всего и гдѣ бы всѣ бѣдные могли жить даромъ.
- Лучше бы хоромы свои починила,—не безъ ироніи вставила практическая Маша, того и гляди, повалятся. Выдумаетъ тоже... нищихъ прикармливать!.. Такъ бы Домна Өедоровна тебъ и дала зря деньги транжирить,

Нина съ грустною усмъшкой глядъла на скамейку.

"Она пекосилась, разбухла, обросла мхомъ… и все таки стоитъ, — подумала она, — а отъ бъдной Машки только кости въ землъ остались".

Изъ парка она прошла на кладбище. Заброшенное, унылое, огороженное лишь рвомъ отъ провзжей доро-

ги, въ немъ только и было новаго, что свѣжіе бугры, на которыхъ еще не обсохла глина. Вольшая часть могилъ были крестьянскія, на иныхъ торчали криво и косо убогіе деревянные кресты, на другихъ совсѣмъ ничего не было. Могила Прасковьи Михайловны, обнесенная чугунною рѣшеткой, стояла у самой часовни, жалкой, низенькой лачужки съ вибитымъ окномъ. На слеманной дверной скобкѣ болтался замокъ.

Нина присѣла отдохнуть на дряхлую степеньку часовни. Ноги ея упирались на заплѣсневѣвшую плиту, испещренную полустертыми буквами. Она нагнулась и стала медленно разбирать надписи.

> "Гдв теперь ты,—Прочла она,— Тамъ былъ и я, Гдв теперь я, Тамъ будешь и ты... Прохожій, остановись!"..

"Однако... où la philosophie va-t-elle se nicher"—подумала она.

Солнце уже садилось, когда Нина возвращалась домой чрезъ синѣвшую васильками рожь. Пахло скошеннымъ сѣномъ. Изъ сосѣдней деревни тянулся дымокъ. Гдѣ-то неподалеку мычала корова. На полдорогѣ Нина встрѣтила Льва Никонорыча. Онъ шелъ, по обыкновенію, безъ шапки.

- Куда вы пропали? Давно чай пить пора,—сказалъ онъ.
- Иду, иду, дъдушка, не бранитесь; я старыя мъста ходила провъдать.
- Ну, вотъ, очень нужно! Опять разстроитесь и будете плакать.
- Нътъ, дъдушка, больше плакать не буду. Я даже... знаете что? Я скоро за работу примусь: буду съ васъ портретъ писать.

— Какъ не написать съ этакаго красавца! — пошутиль старикъ.

На дворѣ сидѣлъ Володя, весь измазанный въ пескѣ, который онъ наваливалъ изъ маленькой тачки нянькѣ въ колѣна. Увидѣвъ Нину, онъ бросился къ ней. Она схватила его на руки и стала съ нимъ кружиться, повторяя:

- Володька, ты мой?
- Твой, отвѣчалъ онъ, дергая носомъ и любовно хлопая ее грязными рученками по щекамъ.

Пришла осень. Дни стояли пасмурные, съ перепадающими дождями. Темнѣло рано. Холодныя ночи смѣнили прелестные лѣтніе вечера.

Левъ Никаноровичъ тоскливо выжидалъ, что вотъвотъ Нина прикажетъ укладывать свои вещи и онъ опять останется одинъ.

"Хоть-бы Володю она мнѣ оставила" — думалъ старикъ и, не смѣя спросить прямо о ея намѣреніяхъ, заводилъ рѣчь обинякомъ, что вотъ надо-бы на зиму каминъ въ мастерской приладить.

Она отвѣчала односложно и неопредѣленно. Старикъ вздыхалъ и уходилъ къ себѣ. Нина совершенно оправилась и усердно занималась. Стѣны мастерской покрылись новыми этюдами и эскизами. Въ головѣ бродили неясные замыслы большой картины. Страстное желаніе работать, совсѣмъ было заглохшее въ ней въ послѣдній годъ петербургской жизни, пробудилось и все сильнѣе охватывало ее дорогимъ, знакомымъ волненіемъ.

"Стало быть, не все они во мнѣ заглушили",—думала она.

Ее томила только непрочность ея положенія. Она знала, что возвращеніе назадъ немыслимо, но знала,

вмѣстѣ съ тѣмъ, что ее могутъ потребовать назадъ силой. Она писала нѣсколько разъ Ивану Петровичу, прося его добровольно освободить себя и ее отъ невозможной совмѣстной жизни, но отвѣта не получалось. Это ее мучило и пугало. Наконецъ, отъ него пришло письмо, сухое, холодное и сѣрое, какъ казенная повѣстка.

"Вы говорите, —писалъ онъ, между прочимъ, —что для насъ совмъстная жизнь невозможна. По моимъ отсталымъ понятіямъ, бракъ—такой священный союзъ, который никто разбивать не смѣетъ. Жена, покидающая мужа и семейный очагъ для того, чтобы поселиться, Богъ вѣсть на какихъ правахъ, у какого-то полоумнаго, — такая жена, по моимъ, повторяю, отсталымъ понатіямъ, не заслуживаетъ имени честной женщины. Согласиться на ваши требованія мнѣ не позволяютъ ни долгъ, ни совѣсть. Это значило-бы помочь вамъ вступить на путь легкомыслія, неминуемо ведущій къ безнравственности, особенно принимая во вниманіе ваше необузданное воображеніе. Все, что я могу для васъ сдѣлать, это дать вамъ время одуматься. Даю вамъ годъ сроку"...

Далъе Нина не читала.

— *Годъ свободы!* Ну, и слава Богу, а тамъ видно будетъ,—произнесла она вслухъ и пошла отыскивать Льва Никаноровича.

Онъ сидълъ у себя въ каморкъ и печально наигрывалъ свой любимый полонезъ. Нина протянула ему письмо. Онъ надълъ круглыя серебряныя очки и сталъ читать, вытянувъ губы. Дойдя до того мъста, гдъ Иванъ Петровичъ называлъ его полоумнымъ, онъ сердито проворчалъ:

— Самъ онъ полоумный, а я еще, слава тебъ Господи, въ здравомъ умъ... Ишь нагородилъ: долгъ да со-

въсть! Просто ему выпускать васъ не хочется. Ну, Богъ съ нимъ, спасибо и за годъ.

Нъкоторое время послъ полученія письма отъ мужа Нина хаидрила. Грустно бродила она по обнаженнымъ аллеямъ сада. Желтые и красные листья, вздымаемые осеннимъ вътромъ, цълою тучей заносили сырыя дорожки. На оголенныхъ сучьяхъ каркали вороны.

Нинъ вспоминались русскіе знакомые въ Парижъ, вспоминалась семейная жизнь со всъми подробностями вспоминалась и жалкая, глупая исторія съ Воробьевымъ, При этомъ краска стыда заливалала ей щеки.

— Да неужели все это было со мной, могло быть со мной?

Но она скоро овладѣла собой и опять вошла въ колею своей новой, ясной жизни: возилась съ Володей,
читала, разыскивала натурщиковъ и натурщицъ. Она
скоро пріобрѣла многочисленныхъ знакомыхъ въ сосѣднихъ съ Липовкой деревняхъ. Дѣвушки и парни позировали у нея довольно охотно, мужики и бабы немного
ломались, но она умѣла ихъ приручить болтовней, чаемъ
и деньгами.

Зимой она часто каталась съ Володей въ маленькихъ санкахъ, запряженныхъ парой пѣгихъ лошадокъ. Левъ Никаноровичъ, съ годами еще болѣе утвердившійся въ своей ненависти къ лошадямъ и докторамъ, никогда не принималъ участія вѣ этихъ прогулкахъ. Онъ съ безпокойствомъ встрѣчалъ ихъ у воротъ, тревожно спращивая каждый разъ: не вывалили, не разнесли? и сердился, когда Нина смѣялась на его упреки, зачѣмъ она такъ легкомысленно подвергаетъ свою жизнь опасности.

Длинные вечера проходили тихо и монотонно. Левъ Никаноровичь сидить, согнувшись надъ своими "Ошиб-ками прогресса", Егоровна дремлеть надъ чулкомъ у по-

тухшаго самовара. Изъ дътской слышится обнообразный напъвъ няньки:

Приди, котикъ, ночевать, Мово Воличку качать... Бай-бай-бай-бай. Свои глазки закрывай...

Нина, лежа на кушеткъ, задумчиво перелистываетъ "Фауста", —послъдніе годы это ея настольная книга, — но завываніе няньки мъшаетъ ей читать. Она подходить къ фортепіано и опускаетъ руки на дряблые клавиши; раздается такой жалобный, дребезжащій звукъ, что она, словно устыдившись, что потревожила покой почтеннаго инвалида, возвращается на кушетку и снова принимается за "Фауста".

Entbehren sollst du.—Говорять черныя строчки,— Sollst entbehren,— Das ist der ewige Gesang, Der jedem an die Ohren klingt.

Няня затихла. Въ шкапу, точно на смѣну ей затрещалъ сверчокъ, длинный маятникъ стѣнныхъ часовъ безучастно, какъ состарѣвшійся на службѣ чиновникъ, выводилъ свое мѣрное "тикъ-такъ".

— А не пора-ли на покой? — провозглашаеть Левъ Никоноровичъ, отрываясь отъ "Ошибокъ прогресса".

Егоровна просыпается.

- Сейчасъ, батюшка, сберу поужинать.

XVII.

Ерешель еще годь. Въ Петербургъ открылась очередная художественная выставка. На красныхъ стънахъ одной изъ залъ висъли двъ картины, передъ которыми стояло нъсколько человъкъ. Одна называлась "Некогда

половину сжатое. Загорълыя отъ зноя. утомленныя лица жнецовъ и жищъ мелькали между колосьями. Нъсколько парней и дъвокъ складывали снопы въ крестецъ. Отдълившись немного отъ другихъ, стояла, опустивъ сернъ, дряхлая старуха и напряженно глядъла вслъдъ катившейся мимо телъгъ, въ которой сидъла молодая еще баба съ серьезнымъ, скорбнымъ лицомъ. Одною рукой она правила, другой придерживала небольшой гробъ. Холщовый платокъ былъ надвинутъ на самыя брови, изъ-подъ которыхъ сурово смотръли глаза.

Другая, носившая названіе "Во морозо", представляла довольно просторную, невысокую комнату, съ бревенчатыми законопаченными ствнами. За учебнымъ столомъ сидить человъкъ пятнадцать крестьянскихъ шекъ. Всв взоры устремлены на миловидную бълокурую девушку, въ черномъ платье и голубой вязаной косынкъ, которая тихо вертитъ большой глобусъ. Курносый мальчикъ, вь накинутомъ на плечи зипунишкъ, оперся подбородкомъ на сжатые кулачки и не спускаеть удивленныхь глазь сь полуоткрытыхь губь учительницы. Въ раскрытой желвзной цечкв ярко горятъ дрова, бросая отблескъ на дътскія лица. Двъ дъвочки украдкой сползли съ лавки и протянули свои, обутыя въ огромныя башмаки, ноги почти къ самому огню: онъ равнодушны къ вращенію земли. Въ низенькія окна, затканыя тонкимъ ледянымъ узоромъ, виднется серое небо и снъжные сугробы.

Объ картины были помъчены именемъ Нины Высогорской и на объихъ болтались билетики, гласившіе, что онъ проданы господину Н., извъстному богачу и любителю.

[—] Прелесть, чудо!-говорили въ публикъ.

- Слишкомъ уже безотрадно! Напиваться до чортиковъ можно, а о своемъ ребенкъ будто и погоръвать некогда... Помилуйте, это тенденція.
- Да вы всмотритесь въ тонкость отдѣлки, изящества деталей: что за плутовскія мордочки у этихъ двухъ лѣнтяекъ!
- Всѣ газеты прокричали, что это талантъ. Она въ Мюнхенѣ или гдѣ-то тамъ еще за-границей медаль получила.
- Кумовство и протекція, больше ничего,—сердито промолвиль какой-то солидный старикъ.
- Нѣтъ, проговорилъ молодой человѣкъ въ очкахъ, это славныя вещи! Здѣсь во всемъ правда и жизнь: и въ этой несчастной бабѣ, которая прямо съ похоронъ своего ребенка вернется на поле жать, и въ этой красивой, свѣжей барышнѣ, окруженной чумазыми дѣтишками. Видно, что ей хорошо и спокойно въ этой избѣ.
- Да,—подтвердилъ другой молодой человъкъ,— милое лицо у этой учительницы, такое простое и умное; глядя на нее, самому какъ-то яснъе становится.
- Зелены вы больно, государи мои, оттого вамъ все такъ и ясно, иронически замътилъ солидный старикъ.

Въ углу залы, на бархатномъ диванчикъ, сидъла стройная дама, въ длинной черной тальмъ и скромной шляпъ. Ея блъдное лицо было совершенно спокойно, только вспыхивающіе глаза да полуоткрытыя губы указывали на волненіе. Это была Нина, чутко прислушивавшаяся къ толкамъ публики.

Благодаря продажѣ своихъ картинъ, ей представилась возможность ѣхать за-границу. Но для этого, понятно, необходимъ былъ паспортъ. Она рѣшилась сама просить объ этомъ Ивана Петровича и съ этой цѣлью

прівхала въ Петербургъ. Сначала онъ и слышать не хотвлъ ни о чемъ подобномъ, но ей, паче чаянія, помогла Варвара Григорьевна.

— Плюнь ты на нее, подлую,—сказала она сыну,— пускай ее на свои денежки по свъту порыщеть, будеть и на твоей улицъ праздникъ, станеть она у тебя ножки цъловать, тогда и потъшишься, только пусть она намъ Володю отдастъ.

Иванъ петровичъ отмахнулся.

— Не надо, не надо мнъ ни ее, ни ея ребенка,—сказалъ онъ,—пусть всъ уходятъ...

Нина пробыла у мужа часа два. Чувство сожалѣнія къ нему шевельнулось въ ея груди, и она протянула ему на прощаніе руку, но Иванъ Петровичъ повернулся къ ней спиной и быстро ушелъ въ другую комнату.

Нина перебирала въ умѣ подробности этого свиданія, когда мимо нея, почти касаясь ея платья, прошелъ плотный господинъ, средняго роста. Онъ взглянулъ на нее и остановился въ смущеніи. Она также поглядѣла на него, наклонила голову и промолвила:

- Здравствуйте, Сергъй Степанычъ, развъ вы меня не узнаете?
- Конечно, узналъ! Очень, очень радъ, —бормоталъ все еще смущенный Воробьевъ, но какъ вы перемънились, Нина Александровна, —похорошъли, поздоровъли. Впрочемъ, и не мудрено. Такой успъхъ... вполнъ заслуженный, прибавлю. Я въ восторгъ отъ вашихъ картинъ.

Нина поглядъла на его раздобръвшее лицо и сама удивлялась, что можетъ глядъть на него такъ спокойно. Сердце ее забилось нъсколько сильнъе въ первую минуту, но то было не отъ любви и не отъ ненависти, а просто отъ неожиданности.

Воробьевъ почувствоваль это.

- Вы... не сердитесь на меня, Нина Александровна?— сказаль онь тихо.
 - За что? спросила она усмъхаясь.
- Върьте, горячо заговорилъ онъ, что, поступая такъ безобразно, я казнилъ себя и спасалъ васъ.
- Полно, Сергви Степанычь, все это было и быльемъ поросло, -- произнесла она. -- Вы собственно и тогда были почти ни при чемъ въ нашемъ... въ нашемъ, нухоть скажемъ, романъ, чтобы долго не подыскивать слова. Мнъ кажется, -- продолжала она послъ небольшого молчанія, — что просто мое положеніе омрачило мой умъ. Я, какъ слвпая, нащупывала выходъ и впотьмахъ наткнулась на васъ. Быть можетъ, это былъ безсознательный протесть, нфчто вродф мести давившей меня обстановкъ... Во всякомъ случаъ, любви настоящей у меня къ вамъ не было. Развъ бы я могла такъ скоро успокоиться, если-бъ это была любовь? Вы пожалуй, подумаете, что, говоря такимъ образомъ, я стараюсь утъщить себя и огорчить васъ. Право, нътъ! если бы вы знали, какъ все это недалекое прошлое далеко отъ меня. Я потому только не могу назвать его тяжелымъ сномъ, что очень ужъ оно сильные следы на мнъ оставило. А вамъ я даже благодарна, - вы ускорили развязку.

Докторъ слушалъ ее, опустивъ голову.

- Да, сказалъ онъ, когда она умолкла, иначе и быть не могло...
- Знаете что, Сергъй Степанычъ? Перестанемте говорить о мертвомъ. Оно похоронено и никогда не воскреснетъ. Скажите лучше, какъ вамъ теперь живется, каковы ваши дъла?
- Благодарю васъ, Нина Александровна, помаленьку обставляюсь. Практика идетъ недурно, у меня теперь

своя квартира. Звъздой я, конечно, не буду, а въ благополучные буржуазы, въроятно, попаду.

- Что-жъ? Вы будете интересный буржуа... съ грустнолиберальною начинкой. Барынямъ это нравится.
- Издъвайтесь, издъвайтесь, Нина Александровна, передъ вами я безмолвствую.
- Ну, а какже вы съ Иваномъ Петровичемъ покончили?—сказалъ онъ помолчавъ.—Я спращиваю не изълыбопытства, но мы съ нимъ близки, и если я могу вамъ быть полезенъ...
- Нѣтъ. merci, теперь ужъ все улажено. Я уѣзжаю за-границу.
 - И скоро?-освъдомился Воробьевъ.
- Вотъ, теперь въ деревню отправлюсь за Володей и дъдушкой, а ужъ оттуда и въ путь.
- Да, я слышалъ, что вы поселились у какого-то таинственнаго старика.
- Во-первыхъ, онъ не "какой-то", а, во-вторыхъ, въ немъ нѣтъ ничего таинственнаго,—сказала она.—Это мой бывшій опекунъ, лучшій другъ моей покойной бабушки, я выросла на его рукахъ. Онъ тридцать лѣтъ безвыѣздно живетъ въ деревнѣ, а теперь вотъ ѣдетъ со мной: не можетъ съ Володей разстаться.
- Въ самомъ дѣлѣ? А Варвара Григорьевна и Сашенька (она, вѣдь, вышла за Стручкова и, говорятъ, бъетъ его), тутъ Богъ зпаетъ что наплели.

Они помолчали. Публика почти вся разошлась, только однъ картины глядъли на нихъ со стънъ.

- Куда вы именно направляетесь, Нина Александровна?—спросилъ опять Воробьевъ.
- Сначала въ Швейцарію, въ горы, а на зиму работать въ Римъ.
 - И надолго вы?

- Думаю, года на два, а впрочемъ, это зависитъ отъ обстоятельствъ. Однако, мнъ пора. Прощайте Сергъй Степанычъ, желаю вамъ всякихъ благъ.
- Постойте минутку,—сказаль онь, удерживая ее за руку,—скажите правду, Нина Александровна: и вы совершенно хладнокровно въ ваши годы отказываетесь отъ счастья личной жизни?

Она выпрямилась. Въ глазахъ ея забъгали огоньки.

- Да съ чего вы взяли, заговорила она своимъ глубокимъ груднымъ голосомъ, что у меня нътъ личной жизни? А это, она указала на свои картины, развъ не жизнь? А сынъ? А всъ люди съ ихъ горестями и радостями, слезами и смъхомъ? Развъ я отдълена отъ нихъ?
- И больше вамъ ничего не нужно?—повторилъ онъ настойчиво, подчеркивая каждое слово.

Она пожала плечами и встала.

Онъ тоже всталь и пошель съ ней рядомъ.

Къ подъвзду подкатила небольшая извозчичья карета. Нина открыла дверцу и, опустившись на сидвнье, протянула доктору чрезъ окошко свою руку.

— Я, пожалуй, отвъчу на вашъ вопросъ, — произнесла она медленно и слегка покраснъла. — При томъ большемъ, на которое намекали вы, слишкомъ часто приходится жертвовать тъмъ многимъ, о которомъ говорила я... и потомъ... пробужденіе "nach der holden Liebesnoth" сплошь да рядомъ бываетъ очень противно...

Воробьевъ крѣпко пожалъ ей руку. Карета покатилась. Нина еще разъ кивнула головой, а докторъ стоялъ въ раздумьв и все еще, казалось, глядѣлъ на промелькнувшій передъ нимъ блѣдный профиль.

— Ее талантъ выручитъ, —проговорилъ онъ громко и, вскочивъ въ проходившую мимо конку, отправился въ ресторанъ объдать.



на старую тему.

(ПОВЪСТЬ.)



Радъ селомъ Покровскимъ стояло раннее майское утро. Собственно "селомъ" Покровское величалось только по старой памяти.

Лфтъ тридцать тому назадъ это была богатая вотчина, въ которой съ деревнями насчитывали до десяти тысячь душь. Владёльцы Покровскаго, господа Обуховы, производившіе свой родъ чуть не отъ Рюрика, славились на всю Х-скую губернію своей широкой, не знавшей удержу, барской жизнью. Теперь отъ прежняго великолъпія осталась лишь усадьба. Распростертые на осыпающихся колоннахъ мраморные львы меланхолически сторожили въвздъ въ господскій домъ, длинное, двухъэтажное, неуклюжее строеніе съ флигелями по бокамъ, бельведеромъ, въ которомъ не было ни одното цълаго стекла, и вычурнымь балкономь, безпомощно опустивщимся на головы трехъ улыбающихся полногрудыхъ, но безносыхъ и безрукихъ нимфъ. Къ дому примыкалъ запущенный, заросшій паркъ съ павильономъ въ мавританскомъ вкусъ. Когда-то въ немъ помъщали излишекъ гостей, събзжавшихся на празднества и тезоименитства къ радушнымъ хозяевамъ; теперь его на лето сдавали подъ дачу. Возлъ самой ограды парка скромно приткнулась старая бълая церковь съ фамильнымъ склепомъ дворянъ Обуховыхъ.

Въ извѣстные дни, когда роковыя слова "вторая закладная", "банковскій долгъ", "съ молотка", особенно назойливо жужжали въ ушахъ и головѣ, этотъ склепъ становился чистымъ мученіемъ для настоящаго владѣльца Покровскаго, Дмитрія Гавриловича Обухова.

— Съ молотка... les cendres de mes pères... твердилъ онъ въ отчаяніи и отправлялся взывать по-русски и пофранцузски къ благороднымъ сердцамъ и фамильнымъ чувствамъ разныхъ кузинъ, двоюродныхъ тетушекъ и внучатныхъ племянницъ.

Невдалекъ отъ церкви виднълся изъ-за палисадника кръпкій бревенчатый, подъ красной крышей, домикъ священника, а черезъ дорогу, уходя въ оврагъ, торчало десятка полтора ободранныхъ почернълыхъ избъ. Это-то и было село.

Въ описываемое утро Дмитрій Гаврилычъ сидѣлъ въ своей огромной, почти пустой залѣ за чайнымъ столомъ и нервно перебиралъ засаленныя страницы толстой книги. Дмитрій Гаврилычъ былъ замѣчательно красивъ. Его стройная худощавая фигура и особенно сѣдая голова, съ тонкими, изысканно правильными чертами лица, напоминали маркизовъ Watteau.

Жена его — ее звали Катерина Андреевна, — была маленькая, толстая женщина, съ руками, какъ у карлицы, и краснымъ обрюзглымъ лицомъ, накоторомъ удивительно странно блестъли большіе, прелестные, черные глаза съ такимъ наивнымъ безпомощнымъ выраженіемъ, какое бываетъ у испуганныхъ дътей. Черное платье съ длиннъйшимъ шлейфомъ облекало мъшкомъ ея грузное тъло. На жидкихъ бълыхъ волосахъ, завернутыхъ на макушкъ въ маленькую косичку, красовалась кружевная тряпочка.

Супруги молча пили чай, видимо избъгая глядъть другь на друга.

Дверь распахнулась, и въ залу вошла дъвушка, лътъ восемнаддати, въ ситцевомъ голубомъ платъв, младшая дочь Обуховыхъ, Маруся. По тому, какъ отецъ держалъ въ рукахъ книгу, а мать крошила хлъбъ на скатерть, она сейчасъ-же догадалась, что между ними была сцена. "Должно быть, опять изъ-за денегъ"—подумала она и обратилась сначала къ матери.

— Здравствуй, мамочка, я думаю сегодня Таня ужъ навърно пріъдетъ.

Катерина Андреевна пожевала беззубымъ ртомъ и ничего не сказала.

— Bonjour, рара, ты здоровъ? (она поцъловала его руку).

Дмитрій Гаврилычь отложиль книгу.

- Прівдетъ... на радость, пробормоталь онъ, не отввчая на вопросъ Маруси, не на что обвда сварить. Говорю, чтобъ у дачниковъ взяли денегъ, такъ нътъ!.. какъ можно! Мы слишкомъ горды!..
 - Но, папа, въдь они ужъ заплатили за дачу.
- За дачу... за дачу!.. Можно попросить впередъ за молочные продукты.
- Что ты, папа! какіе-же молочные продукты, когда
 у насъ нътъ ни масла, ни сыра, ни сметаны.
- Прекрасно, продолжайте,—произнесъ Дмитрій Гаврилычъ, задыхаясь, до чего я дожилъ! Родная дочь упрекаетъ меня въ нищенствъ...
 - Папочка, да когда-же я...- начала дъвушка.
- Всѣ, всѣ на меня,—произнесъ Дмитрій Гаврилычъ, размахивая руками.

Въ эту минуту на порогъ показался человъкъ, небольшого роста, худой, черноволосый, смуглый, съ острымъ и подвижнымъ, какъ у обезьяны, лицомъ. Одътъ онъ былъ въ какое-то отрепанное коротенькое пальто, изъ-подъ котораго сверху торчалъ измятый воротникъ ночной сорочки, снизу высовывались заткнутыя въ сапоги брюки.

Это быль единственный сынь и наслёдникь имени Обуховыхь—Андрей Дмитріевичь, или Andrè, какъ его обыкновенно звали въ семьъ. Возрасть его по наружности было опредълить довольно мудрено. Ему могло быть 40, могло быть и 20; на самомъ дълъ было 25 лътъ.

Увидавъ отца въ патетической позъ, онъ остановился и, прищуривъ свои колючіе черные глазки, проговорилъ съ ехидной усмъшкой на тонкихъ губахъ:

— Что это вы сегодня такъ рано вдохновились, mon père?

Дмитрій Гаврилычъ моментально опустилъ руки, схватилъ книгу и вышелъ изъ комнаты, сильно хлопнувъ дверью.

— Andrè, какъ тебъ не совъстно!—воскликнула Маруся.

Она была сильно взволнована и, казалось, вотъ-вотъ расплачется.

- Ты чего вмѣшиваешься! твое дѣло молчать, отвѣтилъ онъ.
- Mon Dieu, застонала Катерина Андреевна, хоть вы то не ссорьтесь. Господи взмолилась она по-русски, прибери ты меня поскоръй.

Маруся подбъжала къ ней, обвила ее руками и стала цъловать.

- Не огорчайся, —уговаривала она старуху, ужъ я какъ-нибудь достану денегъ—папа успокоится... Таня прівдеть съ двтьми...
- Ахъ, Маруся, гдъ ты достанешь! ты добрая дочь! ты хочешь меня утъщить... et moi je suis une faible creature...

- Сударыня, плотникъ Ефремъ пришелъ, доложилъ Никита, старикъ лътъ шестидесяти, исполнявшій въ домъ самыя разнообразныя обязанности. Andrè, называль его "върный Личарда".
- Что ему? проговорила Катерина Андреевна, Скажи, Никитушка, чтобы въ другое время зашелъ, мнъ теперь некогда.
- Говорилъ, матушка, да онъ ждать не согласенъ, безпремънно, говоритъ, нужно мнъ съ барыней перетолковать.

Катерина Андреевна покорно вздохнула.

— Ну, вови его.

Явился бълобрысый мужикъ и, поклонившись господамъ, сталъ у косяка, зажавши въ рукахъ шапку.

- Что тебъ, Ефремъ?—спросила барыня.
- Да деньжонокъ, сударыня, домой надо уходить, старикъ у меня померъ.
- Отецъ твой? какъ жаль! Сколько-же тебъ?
- Сами изволите знать, матушка, сорокъ пять рублевъ.
 - У меня теперь нътъ денегъ, Ефремъ, подожди.
 - . Ужъ годъ ждемъ вашу милость. Оченно нужно...

Катерина Андреевна бросила взглядъ на сына, какъбы ища въ немъ поддержки, но тотъ пилъ чай съ такимъ невозмутимымъ видомъ, точно онъ былъ глухъ и слъпъ.

- Такъ какъ-же, сударыня, началъ Ефремъ послъ небольшого молчанія.
 - Столько я не могу, Ефремъ.
 - Ну, сколько можете.

Она покусала губы.

— Я тебъ дамъ... рубль, Ефремъ, а остальныя ты подожди.

Мужикъ вытаращилъ глаза.

— Чтой-то, сударыня посмъяться надъ нами задумала, — сказаль онъ, — Такъ нътъ, шалишь! Не на таковскаго напала! Рупь! рупь-то я самъ тебъ на гробъ пожертвую, бъдность твою жалъючи. А ты мои заработанныя денежки подай, вотъ что! Даромъ на васъ тоже работать не приходится.

Онъ подошель близко къ столу и тяжело дыша, послъ каждой фразы, тыкалъ пальцемъ въ воздухъ.

- Ступай вонъ грубіянъ! крикнула Катерина Андреевна.
- А ты погоди гонять, возразиль плотникь, отдай деньги, сами уйдемь. Невидаль какая! думаеть барыня, такъ кочергой до носу не достанешь! Такихъто барынь...
 - Andrè, ce paysan ose m'insulter, dis lui...
- Я въ ваши дѣла не мѣшаюсь, le mélodrame n'est pas mon fort, отозвался сынъ.
- Oh, le lâche, процъдила Маруся сквозь зубы и подошла къ мужику.
- Сегодня прівдеть моя старшая сестра, сказала она—и вечеромъ ты получишь всв деньги. А теперь сейчасъ-же уходи отсюда,—маменькъ дурно.

Мужикъ помялся немножко, вздохнулъ, повернулся и молча удалился.

Катерина Андреевна, опустивъ голову на руки, всхлипывала. Andrè барабанилъ пальцами по столу и съ злобной насмъщкой глядълъ на Марусю.

Она поймала этотъ взглядъ.

- Бабушкинъ воспитанникъ, промолвила она, дрожа всъмъ тъломъ, је te repète, que tu es un lâche!
 - А ты дура, отвътилъ братъ.

Π.

рабушка, о которой съ такой горечью упоминала Маруся, уже больше двухъ лътъ покоилась въ могилъ, но память о ней была жива въ семьъ Обуховыхъ. Про нее разсказывали самые невъроятные анекдоты, ей приписывались всъ бъды, неудачи и напасти.

Дарья Борисовна Обухова приходилась Дмитрію Гаврильчу теткой; она была богатая старая дева, взбалмошная, хитрая и властолюбивая до жестокости. Воспитанная отцомъ-эпикурейцемъ и матерью-ханжей и лицемъркой, не стъснявшейся, впрочемъ, собственноручно бить по щекамъ горничныхъ-Дарья Борисовна представляла удивительную смъсь суевърія и какого-то закоренълаго безбожія. Она боялась тринадцати за столомъ, боялась трехъ свъчей въ комнатъ, боялась покойниковъ до того, что разъ, купивъ шляпку и встретивъ по дорогъ похороны, она тутъ-же на улицъ изорвала въ клочья свою покупку. Поповъ, монаховъ и всякихъ божьихъ людей она презирала отъ всего сердца, а между твмъ въ положенные дни вздила въ церковь, постилась, говъла, хвастаясь въ то же время, что на исповъди она однажды отръзала священнику на какой-то вопросъ: "это, батюшка, не твоего ума дъло". Приживалокъ и воспитанницъ, которыя у ней не переводились, она тиранила безъ мъры и корила каждымъ кускомъ. Но стоило какой-нибудь изъ нихъ сбъжать отъ ея благодъяній, какъ она немедленно отправляла за ней въ погоню. Въ случав поимки, Дарья Борисовна осыпала несчастную цълымъ градомъ обвиненій въ черной неблагодарности, низости, развращенности и т. д. Облегчивъ такимъ образомъ душу, она вручала бъглянкъ черезъ дворецкаго Филипыча двадцать пять цълковыхъ,

приговаривая: "пускай убирается на вс $\dot{\mathbf{x}}$ четыре стороны, по крайней м $\dot{\mathbf{x}}$ р $\dot{\mathbf{x}}$, не *она* отъ меня ушла, а s ее прогнала".

Завхавъ какъ-то по дорогв въ Х*** къ Обуховымъ, она, какъ говорится, ни съ того ни съ сего, страстно привязалась къ Andrè, тогда десятилътнему мальчику, и недолго думая, порешила пріобрести его въ собственность. Дмитрій Гаврилычь, находившійся тогда въ припадкъ мрачнаго отчаянія-ему не на что было **Вхать** на выборы—очень обрадованся прівзду тетушки. Она заплатила за него долги и немедленно перевезла всю семью на жительство къ себъ въ имъніе, въ Воронежскую губернію, пообъщавъ даже назначить Дмитрія Гаврилыча единственнымъ наслъдникомъ-подъ условіемъ, однако, что ни онъ, ни мать не станутъ вмѣшиваться въ воспитание Andrè. Въ домъ, конечно, не преминулъ водвориться адъ. Дарья Борисовна, желавшая привязать мальчика исключительно къ себъ, всъми силами стремилась отдалить его отъ семьи, бранила при немъ родителей, не позволяла ему играть съ сестрами, выгоняя ихъ, когда онъ приходили къ нему, и только въ видъ особаго снисхожденія, допускала старшую, Таню, присутствовать при его урокахъ. Бъдныя дъвочки, которыхъ бабушка тъмъ больше ненавидъла, чъмъ больше любила Audrè, ютились съ матерью, нянькой и отцомъ въ крошечныхъ комнатахъ, въ мезонинъ. Andrè съ гувернанткой и учителемъ жилъ на половинъ бабушки. Катерина Андреевна, по своей робости, скоро совсвиъ стушевалась. Она боялась Дарьи Борисовны, какъ огня, и только украдкой, у себя въ комнатъ, плакала, молилась, писала стихи и мечтала, какъ было-бы хорошо, если-бы неизвъстный родственникъ вдругъ оставиль ей громадное-громадное наслъдство, милліоновъ двадцать, напримъръ. Она бы предстала тогда

передъ Дарьей Борисовной и сказала: "ma tante, rendez-moi mon fils, je vous pardonne tout le mal, que vous m'avez fait", и Дарья Борисовна увидъла бы, что она, Катерина Андреевна, вовсе не мокрая курица, что у нея тоже есть самолюбіе и т. п.

Дмитрій Гаврилычь быль построптивъе жены и доходиль даже до открытыхь возмущеній противъ тетки. Это случалось, когда его сильно одолъвала тоска. Тогда между нимъ и Дарьей Борисовной происходили, въ присутствіи дътей, сцены въ родъ слъдующей.

- Ma tante, я получиль письмо отъ Павла Григорьева,—заявляль Дмитрій Гаврилычь.
 - Что онъ тебъ пишетъ батюшка? спрашивала тетка.
- Пишеть, что хозяйство плохо, денегь не посылаемь. Я думаю събздить туда.
 - Повзжай, батюшка.
- И для дѣтей лучше; я ихъ въ Х*** буду воспитывать. Танѣ уже четырнадцыть лѣтъ, Andrè одиннадцать! Пора о нихъ подумать... и къ имѣнію ближе.
 - Объ Andrè не безпокойся, безъ тебя воспитаютъ.
- Но я не согласенъ, чтобы посторонніе разлучали отца съ сыномъ и желаю это прекратить.
- Какихъ ты тутъ нашелъ постороннихъ! Это я, что-ли? Дуракъ ты что и говоришь это.
- Я хоть и дуракъ, а желаю самъ воспитывать своихъ дътей! Будетъ! благодарю васъ! не нужны мнъ ваши милости...

Начиналась комедія укладыванья сундуковъ. Иногда доходило до отъвзда. Тогда Дарья Борисовна, въ видв гаізоп majeure объявляла, что, если кто тронется изъ дому, она откажетъ имъніе и все состояніе монастырю. Поднимался крикъ, слезы, вопли... Дъло обыкновенно кончалось тъмъ, что Дарья Борисовна обращалась за совътомъ къ старику Филиппычу.

- Какъ ты думаешь, Филиппычъ, сколько ему дать?
- Ничего вы ему не давайте, балуете только.

Послѣ долгихъ совѣщаній и торговли, Дмитрію Гавриловичу давали отступного, и онъ отправлялся въ Х***, откуда возвращался мѣсяца черезъ два-три желтый какъ лимонъ, съ мутнымъ взоромъ и укрощеннымъ духомъ при Дарьѣ Борисовнѣ говорилъ не иначе, какъ шепотомъ, и вообще велъ себя тише воды, ниже травы, пока, по его собственнымъ словамъ, ему не становилось тошно отъ одного ея вида.

Время шло. При André состояли учителя и гувернантки, но такъ какъ они мънялись чуть не каждый мъсяцъ, то Дарья Борисовна задумала везти своего питомца въ городъ. Ее сильно тянуло въ Петербургъ или, по крайней мъръ, въ Москву, но тащить съ собой всю "ораву" (этоть деликатный эпитеть относился къ остальнымъ членамъ семейства) она считала невозможнымъ и, волейневолей, остановилась на Х***:-- все-же тамъ университеть, почему-то утвшала она себя. Устроившись въ Х***, Дарья Борисовна бросила жребій куда отдать Andrè, въ гимназію или аристократическій пансіонъ. Жребій палъ на пансіонъ. Вскоръ Andrè на столько эмансипировался, что весь домъ, начиная съ самой бабушки, ходилъ передъ нимъ по стрункъ. Бабушка срывала сердце на Катеринъ Андреевнъ и дъвочкахъ (Дмитрій Гавриловичъ почти всегда находился въ бъгахъ). Въ домъ постоянно кипъла глухая, ожесточенная борьба. Старшая дочь Обуховыхъ, Таня, живая, умная дѣвушка, два раза бъгала топиться отъ бабушки. Послъ второго "спасенія", Таня долго хворана. Оправившись, она повидимому смирилась, но въ одинъ прекрасный день тайкомъ обвънчалась съ смертельнымъ врагомъ бабушки, Александромъ Алексевичемъ Ширяевымъ. Это былъ вдовецъ, летъ сорока, ръчистый и ловкій господинъ. Онъ приходился

Дарь в Борисови кузеномъ, но она это упорно отрицала, называя его разбойникомъ и продажной душой. И вдругъ такой пассажъ!.. Дарья Борисовна металась по комнатамъ, какъ ураганъ, сжимая кулаки въ безсильной злобъ. Въ поступкъ внучки она видъла только личное оскорбленіе себъ и не могла постигнуть, чтобъ ее... ее! такъ провели. Ей необходимо было найти виноватаго, наказать его, раздавить, уничтожить. Но главная виновница ускользнула изъ рукъ, и гнввъ ея, какъ бъщеная лава, обрушился на головы Дмитрія Гавриловича и Катерины Андреевны. Она обвиняла ихъ въ мошенничествъ, дармоъдствъ, покушеніи на ея жизнь, соучастіи и потакательствъ "безстыдной Танькъ"-и кончила повелъніемъ сію секунду убираться вонъ изъ ея дому. Обуховы хоть и не "сію секунду", но все-же довольно скоро послѣ знаменательнаго событія переселились въ Покровское, оставивъ Марусю у сестры. Дарья Борисовна и Andrè увхали въ Петербургъ. Въ Петербургъ Дарья Борисовна зажила открыто. Andrè поступилъ въ одно изъ привилегировапныхъ учебныхъ заведеній и въ два года надёлалъ тысячь на сорокь долговь. Бабушка заплатила, но затъмъ въ свою очередь преподнесла внуку сюрпризъ, увлек-шись финансовымъ предпріятіемъ какого-то заъзжаго итальянскаго графа. Графъ основалъ акціонерное об-щество, долженствовавшее въ самое короткое время обратить всъхъ пайщиковъ въ милліонеровъ. Дарья Борисовна вложила въ это дъло все, что оставалось отъ ея разстроеннаго состоянія. Черезъ нісколько місяцевъ графъ внезапно скрылся, обобравъ своихъ довърчивыхъ компаніоновъ, въ томъ числѣ и ее. Ходившіе еще до того слухи о сомнительности его графства подтвердились. Дарья Борисовна не выдержала. Какъ на гръхъ въ это-же время кто-то умеръ въ домѣ, гдѣ она жила. Она слегла и черезъ недѣлю скончалась, окруженная

попами, монахами и монашенками, которыхъ, по настоятельному ея требованію, доставила ей еще привезенная изъ Х*** приживалка. Умирая, она не сводила глазъ съ лица Andrè, лепеча коснѣющимъ языкомъ—"прости меня, Андрюша".

Имънія Дарьи Борисовны едва хватило на покрытіе ея долговъ. Andrè послъ ея смерти еще нъкоторое время мелькаль въ Петербургъ, но, попавшись въ неблаговидной исторіи съ подложнымъ векселемъ, вернулся къ роднымъ пенатамъ, въ Покровское. Больше всего, конечно, досталось отъ него родителямъ. На первыхъ порахъ, онъ просто навелъ на нихъ паническій ужасъ. Они трепетали при одномъ его появленіи. Съ прівздомъ Маруси, окончившей гимназію, положеніе дёль несколько измънилось. Ея появленіе всъхъ оживило, точно солнечный лучъ проскользнулъ въ щель темнаго заплъсневълаго подвала. Маруся была очень хороша собой. Золотистые волосы, падавшіе мягкими прядями на чистый высокій лобъ, оттъненный бархатными, словно кистью проведенными, бровями и темные задумчивые глаза придавали ея лицу сходство съ кроткой мадонной Карло Дольче. Эта стройная, цвътущая дъвущка, казалось, говорила окружающимъ: "пожалуйста, берите мои силы у меня ихъ такъ много, такъ много"...

И окружающіе не заставили себя просить. Все, впрочемь, совершилось какъ-то само собой. Маруся незамётно сдёлалась хозяйкой, отвётственнымъ лицомъ. Мать донимала ее слезами, отецъ грандіозными проектами, которые лопались одинъ за другимъ, послё чего слёдовало негодованіе на судьбу, коварство людей и попытки на самоубійство. Но больше всего страдала Маруся отъ André. Ея молодую, честную душу возмущало полное бездёйствіе брата, его цинизмъ и холодная злоба ко всему и ко всёмъ.

III.

Маруся забралась въ густую сиреневую бесѣдку и, приладивъ пяльцы къ старому, размытому дождями, столу, усѣлась вышивать. Но работа шла вяло. Дѣвушка поминутно задумывалась и глубоко вздыхала. Она перебирала въ умѣ сегодняшнее утро, и много такихъ дней, вечеровъ и утръ воскресало въ ея памяти. Съ тѣхъ поръ, какъ она начала себя сознавать, она только и видѣла вокругъ что безалаберную суету, безпомощность матери, фанфаронство отца. И всѣ-то у нихъ всегда злятся. Папа на маму, мама на покойную бабушку André на всѣхъ. Только Таня одна не такая. Она какая-то особенная, тоже печальная, но не злая...

На террасу павильона, который занимали дачники, вышель молодой человъкъ, въ легкой шелковой паръ, улегся на кушетку и сталь читать. Маруся посмотръла на него изъ-за пышныхъ вътокъ сирени, почти закрывавшихъ входъ въ бесъдку. Онъ былъ ни красивъ, ни дуренъ—спокойное лицо, русые волосы надъ широкимъ бълымъ лбомъ, темная бородка... "Небось ему не такъ живется, какъ намъ",—замътила про себя дъвушка... Пожилая, полная дама тоже вышла на террасу.

— Гриша, — сказала она, слегка шепелявя, — надѣнь шляпу, у тебя голова заболить, и она подала ему соломенную шляпу.

"Какъ она о немъ заботится",—подумала Маруся.— "Апdré-бы сейчасъ сказалъ—grande dame изъ дьяконскихъ дочерей, мѣщанскія нѣжности... Точно дворянская грубость лучше"... И Марусѣ невольно вспомнились такъ надоѣдавшія ей въ дѣтствѣ разсужденія о знатности и древности рода Обуховыхъ, о томъ, что благород-

ство, храбрость, великодушіе составляють неотъемдемую привилегію "чистой крови, и если встр вчаются иногда у людей обыкновенной породы, то лишь въ видъ исключенія, принося этимъ "braves gens" гораздо больше вреда, чъмъ пользы. Отецъ ея, впрочемъ, называлъ "braves gens" въ минуты откровенности "cette canaille", хотя не брезгалъ занимать у нихъ деньги. Вся эта путаница поневолъ отражалась на дътяхъ. Таня, изъ ненависти къ Дарь Ворисовн в, по цвлымъ часамъ не устававшей перечислять генеалогическія и геральдическія подробности, соединяющія Обуховыхъ съ разными знатными фамиліями, еще ребенкомъ ръшила, что все это "бабушкины глупости". Чуткая, способная и, какъ это иногда бываеть съ заброшенными детьми, очень рано развившаяся. Таня имъла большое вліяніе на младшую сестру, которая любила ее до обожанія. Въ глазахъ Маруси не было существа выше, прекраснъе Тани. Разставшись съ ней, по окончаніи гимназіи, она сильно Особенно томило ее одиночество, когда въ тосковала. домъ приключилась "экстра-ординарная исторія".

— "Хоть бы Таня была тутъ", —думала она грустно. И теперь, глядя на "дачниковъ", мирно сидъвшихъ другъ подлъ друга, Маруся готова была заплакать, — отчего сестра такъ долго не ъдеть, "Ужъ поскоръй-бы", — твердила она, и какъ-бы, въ отвътъ на ея призывъ, за мостикомъ вдругъпослышались звуки колокольчиковъ. Маруся вскочила и со всъхъ ногъ бросилась бъжать. Звуки разомъ стихли, точно дразня дъвушку, и сейчасъ-же опять торопливо задребезжали въ чистомъ воздухъ. Маруся, не переводя духу, неслась черезъпни и муравьиныя кочки и радостно вскрикнула, завидъвъ въ облакъ пыли тарантасъ, который тащили долгогривыя, долгохвостыя, почтенныя клячи. Ъхавшіе узнали Марусю, закричали чтото невнятное, замахали платками. Ямщикъ подобралъвоз-

жи, стегнулъ клячъ и поровнялся съ Марусей. Изъ тарантаса выпрыгнула дама, вылъзъ солидный господинъ и высадилъ хорошенькую дъвочку, лътъ четырехъ; бълокуренькій блъдный гимназистъ, въ сърой курткъ и кэпи, соскочилъ самъ. Посыпался цълый градъ поцълуевъ. Маруся по очереди тискала въ своихъ объятіяхъ то сестру, то дътей,—beau frère'y она на скоро подставила щеку, повторяя: — "умницы, милые дорогіе, вотъ умницы!"—

Всв направились пвшкомъ къ дому. Александръ Алексвевичъ съ двтьми побъжалъ впередъ: сестры остались позади. Онв были похожи другъ на друга, хотя черты старшей не отличались такой спокойной правильностью; какъ у Маруси. Она была выше ростомъ тоньше, черноволосая, блвдная... Что-то особенное, свое, сказывалось въ изящномъ, нвсколько высокомврномъ складв ея рта, въ озабоченномъ то загорающемся, то меркнувшемъ взглядв. Она была хороша той особенной духовной красотой, которую придаетъ лицу долгое, затаенное страданіе.

- Ну, что тутъ у васъ, по-прежнему?—спросила она.
- Хуже прежняго гораздо,—со вздохомъ промолвила Маруся.—Что у насъ сегодня было! Ужъ я тебя ждала, ждала. Есть у тебя деньги, Таня?
 - Есть.
- Слава Богу! потому что...—и она передала исторію съ плотникомъ.

Татьяна выслушала исторію.

— Плотнику мы отдадимъ сегодня же, — сказала она, — но вотъ что, Маруся, я привезла съ собой триста рублей, которые еле-еле накопила за зиму переводами. Если папа узнаетъ, что у меня столько денегъ— ихъ въ недълю не станетъ. Пойдутъ всякія затъи, гости

(Маруся одобрительно кивнула головой), а когда понадобится на дѣло, негдѣ будетъ взять. Самое лучшее не говорить, что у меня есть свои деньги. Скажи что для плотника я взяла у Александра Алексѣевича. Хоть лѣто проживемъ спокойно. Да?

— Конечно! только знаешь, Таня, мнѣ какъ-то жалко обманывать папу. Онъ такой несчастный! Всякій пустякъ его тѣшитъ.

Татьяна пожала плечами.

— Развѣ я это для себя? Для него же. Вспомни, что было прошлую осень. Бѣдная мама всѣ глаза выплакала. Ну а братъ какъ?—прибавила она, помолчавъ.

Маруся махнула рукой.

— Лучше не спрашивай. Пьетъ, злится, ругается, а то вдругъ замолчитъ—слова не добъешься, только глядитъ изъ-подлобья, точно собирается кого заръзать.

Сестры подошли къ дому.

Мать выбъжала имъ на встръчу, спотыкаясь и путаясь въ своемъ длинномъ шлейфъ. Явились Дмитрій Гавриловичъ и André. Опять раздались поцълуи. Татьяна, пожелавшая отдохнуть съ дороги, ушла на верхъ, Маруся завладъла дътьми, а Александръ Алексъевичъ усълся на широкія ступеньки крыльца и снисходительно вступилъ въ бесъду съ тестемъ и тещей.

IV.

Есь, кромь дьтей, убъжавшихъ въ паркъ, сошлись опять на балконъ за чаемъ. Дмитрій Гаврилычъ нъсколько разъ поцьловалъ Татьяну въ лобъ и подобострастно пододвинулъ зятю свое глубокое, мягкое кресло.

Александръ Алексевичъ Ширяевъ былъ человекъ, лътъ сорока пяти, небольшого роста, широкоплечій, съ откинутой назадъ, лысвющей головой и умнымъ, смвлымъ, почти нахальнымъ лицомъ. Онъ глубоко презиралъ родныхъ жены и обращался съ ними свысока, что ему не мъщало, въ видахъ экономіи, каждое льто отправлять семейство въ Покровское. Въ юности онъ нъсколько будировалъ и фрондировалъ, но, поступивъ на службу по учебному въдомству, обнаружилъ удивительно тонкую способность примъняться ко всякаго рода въяніямъ: бываль, по обстоятельствамь, и либераломь, всегда, впрочемъ умъреннымъ, и народникомъ, и славянофиломъ, и охранителемъ. Въ настоящее время, Александръ Алексвевичъ служилъ въ какомъ-то крупномъ акціонерномъ обществъ, состоя кромъ того усерднымъ сотрудникомъ одной большой Х-ской газеты неуловимаго направленія.

Старики Обуховы его замѣтно побаивались. André терпѣть его не могъ и не упускалъ случая вонзить въ него свое жало.

- А хорошо у васътутъ на чистомъ воздухѣ, если-бы не страхъ, что ваши хоромы обрушатся и погребутъ подъ своими развалинами недостойныхъ потомковъ знаменитыхъ предковъ,—произнесъ Александръ Алексѣевичъ, намазывая на хлѣбъ желтое масло.
- Поэтому, въроятно, вы оставляете здъсь только жену и дътей, выбирая для собственной особы болъ́е безопасное мъстопребываніе,—замътилъ André, котораго бъсилъ равнодушный виръ beau frère'a.
- Не считаю возможнымъ состязаться съ вами въ остроуміи,—отвътилъ Александръ Алексъевичъ.
- Ну-съ, какъвы тутъ живете-можете? Дачи сдали?— обратился онъ къ Катеринъ Андреевнъ.

Она вздохнула.

- Только павильонъ; флигель наняла было какаято дама и задатокъ дала, да вотъ до сихъ поръ не переъзжаетъ.
 - Такъ! Кто-же у васъ въ павильонъ?
- Мартынова какая-то, вдова съ сыномъ. Кажется, со средствами люди, только дикари страшные,—отрапортовала Катерина Андреевна.
- Мартынова... Софья Петровна, произнесъ, какъ бы припоминая, Александръ Алексвевичъ, слышалъ... Старика я даже знавалъ, очень умный человвкъ былъ. Она съ придурью но сыну, говорятъ, дала хорошее воспитаніе. Совсвиъ молодой человвкъ, а ужъ магистръ. Книга его въ прошломъ году надвлала шуму. Да ты, въдь, ихъ знаешь, спросилъ онъ жену.
- Очень мало,—отозвалась Татьяна.—Я ихъ встръчала у Вальховскихъ—они родственники. Сынъ какой-то нелюдимъ... а мать! только и слышно: мой Гриша, ахъ, мой Гриша!..
- Посмотрите, какъ Маруся слушаетъ, прервалъ André, пари держу, что она уже влюбилась въ интереснаго дачника.

Всѣ засмѣялись Маруся вспыхнула.

- Вотъ и неправда, сказала она, совсѣмъ не влюбилась. Это только твои петербургскія барышни влюблялись въ тебя съ перваго взгляда.
- А скажите, пожалуйста, что это у васъ за судьбище сълюбимовскимъ арендаторомъ, —перебилъ Марусю Александръ Алексвевичъ и строго посмотрвлъ на тестя.

Маруся и мать опустили глаза, а Дмитрій Гавриловичь какъ-то неловко заерзаль на стуль.

- Вамъ кто-же сказалъ?—спросилъ онъ вмъсто отвъта.
- Да всъ объ этомъ говорять, никуда показаться нельзя—тетки, кузины, oncle Ширяевъ.

André вдругъ ударилъ ложкой по столу.

- Oncle Ширяевъ, воскликнулъ онъ, нашли къмъ стращать! Ну я, я виновать! прогулялся спьяну въ одномъ бъльъ передъ арендаторшей и обругалъ ее, когда она завизжала — "mein Karl". Нъмцы вломились въ амбицію и, чортъ ихъ знаетъ, можетъ они правы,-но ужъ во всякомъ случать не oncle'ю Ширяеву меня стыдить. Доброд'втель какая выискалась, подумаешь! Чужія имінья закладываль, якобы свои собственныя, изъ полка выгнали par ce qu'il aidait la fortune dans les cartes! вотъ онъ и принялся за добродътель, да за халдейскіе языки! Всю жизнь быль благороднымъ россійскимъ дворяниномъ, собаку черезъ "ять" писалъ и вдругъ не угодно-ли, клинообразныя надписи сталъ разбирать!.. А вы, небось, гордитесь такимъ родствомъ? шутка-ли его пре-вос-хо-ди-тель-ство, oncle Ширяевъ!..—передразнилъ André.—Такъ вотъ что я вамъ доложу! ужъ лучше бы вы гордились родствомъ со мной. Я пьяница, дрянь, отпътый человъкъ, а все же не такой бездушный развратникъ, какъ вашъ oncle...
- André, перестань, ну чего ты, останавливала его старшая сестра.
- Нѣтъ, постой, возразилъ онъ, все болѣе раздражаясь, у меня противъ твоего супруга давно накипѣло. Онъ вѣдь меня презираетъ, а передъ oncle'мъ и его дражайшей половиной мелкимъ бѣсомъ разсыпается. Такъ плевать мнѣ на его презрѣніе. Каковъ я ни на есть, а вотъ не стану лизать ручекъ у та tante Ширяевъ, этой старой ханжи. Благотворительница! подъ Свѣтлый праздникъ размѣняетъ три рубля на мѣдные гроши и раздаетъ нищимъ, а у родной дочери жениха себѣ въ любовники отбила... Апdré разсмѣялся сухимъ, желчнымъ смѣхомъ.
 - Позвольте вамъ замътить, Андрей Дмитріевичъ,

что я съ вами разговоривать не желаю, такъ какъ вашимъ языкомъ не владъю, а иного вы не понимаете! произнесъ весь блъдный Александръ Алексъевичъ.— Прекрасная семейка, добавилъ онъ, ни къ кому въ частности не обращаясь, и ушелъ въ паркъ къ дътямъ.

Всъ сидъли, понуривъ головы, André пронзительно насвистывалъ и барабанилъ пальцами по столу. У Маруси текли по щекамъ слезы.

— Хорошій мы пріемъ тебѣ устроили, Таня, прошептала она, обнимая сестру.

Татьяна, смотръвшая до тъхъ поръ куда-то въ сторону, перевела свой усталый вглядъ на заплаканное личико Маруси,—и сколько грусти было въ ея красивыхъ темныхъ глазахъ, когда, не находя словъ, она прижала къ себъ головку дъвушки и стала ее гладить своей тонкой, нъжной рукой.

— Les soeurs modèles, воскликнуль André. Сознаюсь, недостоинъ созерцать такую умилительную картину и удаляюсь въ болѣе подходящее для меня мѣсто, сирѣчь—въ кабакъ. Votre valet! и, повернувшись на каблукахъ, онъ убѣжалъ.

V.

Было уже довольно поздно. Жара начинала спадать. Татьяна сидъла наверху, въ библіотекъ—большой комнатъ, уставленной шкафами съ разбитыми стеклами. Шкафы были на половину пусты, но, судя по остававшимся тамъ книгамъ, они когда-то заключали богатую и разнообразную библіотеку. Теперь здъсь царило то же запустъніе, что и во всемъ домъ. Дорогія гравюры, засиженныя мухами, занесенныя слоемъ пыли, валялись въ безпорядкъ, и широкія тонкія паутины, освъщенныя

солнцемъ, тихо покачивались надъ ними, точно золотое кружево. Татьяна съла на подоконникъ и распахнула окно. Струя теплаго ароматнаго воздуха ворвалась въ унылую комнату, сладкій запахъ сирени и ландышей захватилъ грудь молодой женщины.

"Какъ запущенъ паркъ, —подумала она, —и церковь какая старая, точно она вросла въ землю. А тамъ... цълое поле голыхъ пней—это березовую рощу снесли... прошлое лъто она еще стояла"...

- Таня, ты здѣсь?—послышался голосъ Александра Алексѣевича.
 - Здъсь.

Онъ вошелъ, поискалъ глазами стула и, не найдя его, сълъ на подоконникъ рядомъ съ женой. Та подвинулась. Александръ Алексъевичъ замътилъ это движеніе и сдълалъ неопредъленную гримасу губами и носомъ.

— Я боюсь,—началь онь,—что тебъ невозможно будеть туть остаться послъ сегодняшней выходки твоего милаго братца. По крайней мъръ, я бы не желаль оставлять васъ въ этомъ сумасшедшемъ домъ.

Татьяна отлично знала, что Александръ Алексъевичъ не думаетъ того, что говоритъ, а говоритъ такъ, для самоуслажденія. И Александръ Алексъевичъ зналъ, что жена его понимаетъ, и это его особенно злило и особенно подмывало сказатъ ей что-нибудь непріятное.

- Что-жъ ты молчишь? въдь это прежде всего касается тебя, — произнесъ онъ уже съ нъкоторой досадой.
- Мнъ все равно, отвътила она, могу туть остаться, могу въ городъ вернуться... какъ хочешь.
 - Какая ангельская кротость,—возразилъ мужъ. Жена промолчала.

- Въ такомъ случаѣ собирайся, мы сегодня ѣдемъ назадъ,—сказалъ онъ.
 - Хорошо.

Александръ Алексвевичъ струсилъ.

- Но ты должна знать, что эта проклятая поъздка стоила пропасть денегъ,—замътиль онъ,—это разстраиваеть всъ мои планы. Нанять кое-какую дачу я не могу. Это меня сейчасъ-же уронить въ просвъщенныхъ глазахъ нашихъ коммерціи совътниковъ. Придется прожить лъто въ городъ.
 - Ну, что-жъ?....
- Ничего, только дѣтей жалко. Коля ужасно блѣденъ; эта гимназія его въ одинъ годъ свернула.

Александръ Алексвевичъ попалъ мвтко. Коля былъ его сынъ отъ перваго брака. Когда онъ женился на Татьянв, мальчику было уже пять лвтъ. Это былъ хилый, слабый, нервный ребенокъ. Она страстно къ нему привязалась, и мальчикъ платилъ ей твмъ-же.

— О чемъ же тогда разговаривать, —промолвила она, — мы останемся здъсь.

Александръ Алексъевичъ вздохнулъ съ видимымъ облегченіемъ и перешелъ въ нъжный тонъ.

— Пожалуй, это будеть благоразумное,—согласился онь. — Только ты, ради Бога, Таня, не волнуйся и не принимай къ сердцу здешнихь безобразій. Их вёдь не исправишь. Держись въ сторонь, благо мъста много. Постарайся отдохнуть и вернуться ко мнъ здоровой, славной женкой. Хорошенькая ты и теперь, только злая, какъ оса. Ты въдь подобръещь, а?

Онъ обнялъ ее и поцъловалъ въ шею. Она приняла ласку мужа совершенно равнодушно, какъ нъчто не-избъжное.

— Осенью, если мои разсчеты оправдаются,—а они должны оправдаться— меня выберуть въ директоры и

тогда, братъ, мы съ тобой не такъ заживемъ,—заключилъ Александръ Алексъевичъ.

Тать яна и эту въсть приняла равнодушно. Ей въ сущности хотълось только одного, — чтобы мужъ поскоръй уъхалъ.

Онъ словно угадалъ ея желаніе.

— Пойдемъ къ дътямъ, —предложилъ онъ, —я думаю еще сегодня вечеромъ убраться отсюда.

VI.

Дъти сидъли съ Марусей на круглой лужайкъ въ концъ липовой аллеи. Маруся плела вънокъ изъ колокольчиковъ и розовой кашки, а дъти подавали ей цвъты, цълымъ ворохомъ разсыпанные на ея колъняхъ. Дъвочка, черноглазая, румяная говорунья, подбъжала къ отцу и повисла у него на шеъ. Она была похожа на него и онъ ее очень любилъ.

- Что, Катя, напрыгалась?—спросиль онь, сажая ее кь себъ на плечо.
- Папочка, меня комары закусали,— пожаловалась дъвчурка.
- Ахъ, они разбойники! вотъ мы ихъ сейчасъ дымомъ прогонимъ, костеръ разведемъ. Коля, набери-ка хворосту, да сухихъ листьевъ.

Коля нехотя поднялся. Онъ замътиль, что мать разстроена, но при отцъ не хотъль ее разспрашивать. Притащивъ сухихъ сучьевъ и листьевъ, онъ дальнъйшаго участія въ разведеніи костра не приняль, а подошель къ матери и шепнуль:

- Мама, ты плакала?
- Нътъ, съ чего ты это взяль?
- Ужъ я по глазамъ вижу, что плакала.

- Право-же нѣтъ,—сказала она,—просто у меня голова болитъ съ дороги. Не думай, пожалуйста, ни о чемъ непріятномъ. Бѣгай побольше, да отдыхай. Какой ты у меня худой,—она погладила его по щекѣ.—Нравится тебѣ здѣсь, Коля?
- Да, тутъ хорошо. И знаешь, мама, мы ужъ съ здъшнимъ дачникомъ познакомились.
 - Когда это вы успъли?
- Да тетя Маруся зачёмъ-то ушла въ домъ и велёла мнё смотрёть за Катей. Я сталъ съ ней бёгать, а она шлепнулась и заревёла. Дачникъ ее поднялъ, посадилъ къ себё на колёни и сталъ уговаривать. Вотъ мы и познакомились. Его зовутъ Григорій Васильичъ. Онъ съ нами въ прятки игралъ и на лодкё обёщался насъ покатать, если ты позволишь.
- Хорошо, только вы къ нему все-таки не очень приставайте.

Сучки разгорълись и затрещали. Изъ кучки новалилъ дымъ бъловатымъ длиннымъ столбомъ. Комары и мошки завились и закружились надъ нимъ съ сердитымъ жужжаньемъ. Катя была въ восторгъ. "Еще, еще!"—кричала она, хлопая въ ладоши.

— Посмотрѣлъ-бы кто на насъ со стороны, навѣрнобы подумалъ, — какая идиллія... А, Маруся? — сказалъ Александръ Алексѣевичъ.

Маруся улыбнулась.

— И въ сущности, — продолжалъ Александръ Алексавичъ, — оно такъ и есть. Теперь идиллія, давеча была трагикомедія. Послѣ дождика — солнце, это законъ природы. Il faut prendre la vie comme elle est. У тебя я замѣчаю такую-же склонность, какъ у ней (онъ кивнулъ на жену) toujours broyer du noir. Къ чему это? къ чему создавать себѣ какіе-то неосуществимые идеалы, ставить себя на ходули, съ которыхъ навѣрно не сегодня, завтра

шлепнешься. Ходи по землъ, гляди подъ ноги и не упадешь. Это старо, да здорово. Посмотри на меня: у моего дъда было двънадцать тысячь душъ, а мнъ отецъ не оставилъ ничего. Что-же мнъ? ныть о кръпостномъ правъ, какъ твой папа, или скрежетать зубами и безобразничать, какъ André?... Я человъкъ практическій и за призраками не гонюсь. Понимаю, что другое время-другія и пъсни. Теперь время жельзныхъ дорогъ, телефоновъ, биржевыхъ спекуляцій, банковыхъ разсчетовъ (ты этого не понимаешь-ну, все равно!)... Словомъ, прошла псовая охота, крепостной балетъ и прочія затьи. Теперь царь—деньги! А всь эти приторныя слезы о меньшей братіи, о свободь, парламентскомь режимъ-или ребячество, или комедія. Я и самъ болталь эти пустяки, и Таня — она въдь ухъ какая красная-до сихъ поръ не можетъ мнв простить этой измвны и презираетъ меня. Но когда я ей подарю виллу на Ривьеръ, она, я думаю, помирится со мной... N'est ce pas, ma belle?

- Конечно, отозвалась Татьяна, но пока я всетаки считаю для дътей подобныя бесъды слишкомъ философскими.
- Нисколько, та chère, возразиль мужь, пусть поучаются. А то я боюсь, что Коля выйдеть у тебя Донъ-Кихотомъ и будеть разить деревяннымъ мечемъ вътряныя мельницы.

VII.

Ужъ совствиь стемить, когда Александръ Алекствевичь утваль. Дти, похлебавъ молока съ хлтбомъ, улеглись спать. Остальная семья собралась въ залт. Дмитрій Гаврилычь сидть въ своемъ креслт, упиваясь новымъ романомъ Зола, котораго онъ всегда порицалъ

за черезчуръ грубый реализмъ, потому что, après tout, l'homme n'est pas une brute, quoi!

Катерина Андреевна расположилась у круглаго стола съ цѣлой кипой тетрадей. То были — произведенія ея пера: романы, драмы, трагедіи, комедіи, водевили, стихотворенія. Все это перебывало въ разныхъ редакціяхъ и цензурныхъ комитетахъ и все возвращалось назадъ съ печальнымъ отзывомъ "не подходитъ". Но Катерина Андреевна не падала духомъ. Съ недоумѣніемъ, бывало, она получитъ свое дѣтище, съ недоумѣніемъ-же прочтетъ роковое слово "не подходитъ" и безпомощно поглядитъ кругомъ своими дѣтскими глазами. Потомъ начнетъ перелистывать тщательно исписанныя красивымъ стариннымъ почеркомъ страницы, остановится на какойнибудь патетической сценѣ и прочтетъ ее вслухъ.

- Маруся, отчего-же это "не подходить",—обращалась она къ дочери чуть не со слезами. И Марусъ такъ станетъ жаль свою бъдную мать и такъ ей захочется ее утъщить.
- Ты не огорчайся, мамочка,—говорить она, гладя ее по сёдой головё, просто они (т. е. редакторы журналовь) не понимають тебя. Воть, погоди, мы съ Таней разбогатёемь и напечатаемь всё твои сочиненія. А самое лучшее, не посылай ты больше никуда своихь вещей. Видишь, мамочка, теперь такъ не пишуть, какъ ты. Я не умёю тебё этого хорошо объяснить, но мнё кажется, что твои герои черезчуръ торжественны... теперь все обыкновенныхъ людей описывають, а настоящіе герои оптретов leur prestige...
- C'est vrai, c'est vrai, печально промолвить Катерина Андреевна... и глядишь, черезъ нѣсколько дней она уже снова сидитъ надъ тетрадью, и образы великодушныхъ рыцарей, безпорочныхъ красавицъ, коварныхъ злодѣевъ и демоническихъ женщинъ опять мелькаютъ

волшебной чередой въ ея наивномъ воображеніи, волнуя ея наивное сердце. Было что-то глубоко трогательное въ этихъ безсильныхъ порывахъ Катерины Андреевны къ творчеству, словно она искала въ немъ отвъта на стремленіе къ въчному идеалу, заложенное природой въ ея кроткую, любящую, ограниченную душу.

- Что ты теперь пишешь, мама?—спросила Татьяна.— Катерина Андреевна встрепенулась. Она немножко стъснялась старшей дочери и была польщена ея вниманіемъ.
- Это, Таня,—"Дочь вельможи", драма въ 5-ти дѣйствіяхъ, 8 картинахъ, съ прологомъ и эпилогомъ. Марусъ нравится. Хочешь я тебъ почитаю?

Дочь сдълала незамътную гримаску.

- Нътъ, я ужъ лучие сама, дай-ка посмотръть.

Она перевернула нъсколько страниць.—"Графъ даетъ лакею десять рублей на чай", — прочла она. — "Графъ бросаетъ извозчику десять рублей", — прочла она дальше и засмъялась, говоря— "экій счастливецъ этотъ графъ! онъ-бы и намъ красненькую пожаловалъ»...

- Не сердись, мама, я въдь шучу, прибавила она, увидавъ, что старуха огорчилась. Я увърена, что твоя драма—восторгъ, и завтра буду ее весь день читать. А теперь, Маруся, отыщи мнъ какой-нибудь платокъ и пойдемъ вь липовую аллею. Я слышала тамъ соловей щелкнулъ.
- О, Таня, ихъ у насъ эту весну цѣлыхъ четыре прилетѣло, воскликнула Маруся.

Онъ быстрыми шагами шли по дорожкамъ парка. Ночь была тихая, теплая, лунная. Въ воздухъ чуялась точно сладкая тревожная истома. Роса дымчатымъ пологомъ подернула большой лугъ и, медленно клубясь, сползала къ ръчкъ. Старая аллея была полна таинствен-

ныхъ просвътовъ. Сестры съли на деревянную скамейку. Темная фигура, скрытая густымъ кустомъ оръшника, обернулась въ ихъ сторону. Это былъ "дачникъ", котораго тоже притянула въ паркъ благоухающая ночь Онъ его не замътили. Прямо надъ ними щелкалъ и заливался страстными трелями соловей. Съ противоположнаго дерева трепетно и робко откликался другой.

- Какъ тутъ хорошо! прошептала Маруся.
- Да,—тоже шепотомъ сказала Татьяна,—и главное хорошо, потому что никого нѣтъ. (Эти слова заставили улыбнуться фигуру за кустомъ).
- Какая ты нелюдимка стала,—замѣтила дѣвушка, можно подумать, что ты въ лѣсу живешь.
- Насмотрълась я, голубушка, до-сыта на разныхъ милыхъ человъковъ. А ты развъ очень соскучилась тутъ, Маруся!
- Какъ тебъ сказать! скучать мнъ въ сущности некогда... то папа сердится—надо маму утъщать, то Andre бушуеть, то кто-нибудь захвораеть. Оглянуться не успъешь, какъ ночь подойдеть, а на утро опять тоже самое. Воть, когда я подумаю, что, пожалуй, вся жизнь такъ пройдеть—мнъ и станеть жутко. Сейчасъ-бы, кажется, взяла да убъжала. Только, въдь, вездъ должно быть одно и тоже... а, Таня?

Татьяна съ любопытствомъ посмотръла на сестру.

— Вотъ ты какая, —произнесла она послѣ небольшого молчанія, тоже задумываться стала... Ты спрашиваешь, вездѣ-ли также? Если не такъ, то въ томъ-же родѣ. Здѣсь по моему, даже лучше, притворства меньше. А у насъ!.. Ничего нѣтъ, а дѣлаешь видъ, что есть. Зачѣмъ это, для кого, для чего! Пріѣзжаютъ гости. Изволь ихъ занимать, угощать... Языкъ болтаетъ всякіе пустяки, одинаково для всѣхъ безразличные, а въ головѣ бро-

дять, положимь, такія мысли "завтра придеть прачка, которой должны за два мъсяца, горничную нечъмъ разсчитать, сегодня быль срокъ квартиръ". И ради чего только такъ мучить себя, къ чему эта въчная, безвыходная ложь, которою люди сами себя опутываютъ... Александръ Алексвичъ говоритъ, будто это необходимо для карьеры. Онъ увъряеть, что стоить человъку прямо объявить: господа, я бъденъ, но способенъ, образованъ, честень, дайте мив работу, -- ему дадуть грошь за каторжный трудъ и почтуть еще это за благодъяніе. Успехъ, по его мивнію, льнетъ къ тому, кто глядитъ побъдителемъ. У меня, молъ, всего по горло, но отъ скуки я не прочь послужить обществу. Такому сейчасъ и книги въ руки и поклонъ въ поясъ... Можетъ быть, это и такъ. Но если-бы ты знала, Маруся, до чего мнъ противно это повальное шарлатанство! я готова въкъ ходить въ одномъ платьв, лишь-бы не одваться въ долгъ, готова всть сухой хлвбъ, лишь-бы не лгать мяснику, что меня дома нътъ, когда онъ приходить за деньгами. Вотъ почему мнъ больше нравится здъсь. Здесь тоже притворство, но въ меньшей степени, а я такъ утомлена, что не геройствую и изъ двухъ золъ предпочитаю меньшее.

- Неужели всъ такъ живутъ?!—воскликнула Маруся.
- Въ нашемъ кругу почти всв, потому что у насъ надо всвмъ царитъ одинъ идеалъ—жить въ свое удовольствіе, а тамъ хоть трава не рости. Женщины и мужчины приносятъ въ жертву этому идеалу все—красоту, молодость, семью, любовь, убъжденія, совъсть, таланты... Все становится предметомъ купли-продажи. Кто больше дастъ, тотъ и господинъ. Есть, конечно, и у насъ другіе люди. Я сама знаю двухъ-трехъ и даже взжу къ нимъ, когда мнъ становится не вмоготу. Но въ обществъ на нихъ глядятъ такъ: если это бъднякъ-

труженикъ, значитъ, онъ идіотъ: если богатъ и ни въ комъ не нуждается, стало быть—оригиналъ: отчего, дескать, ему не позволить себъ и такой фантазіи...

"Дачникъ" осторожно раздвинулъ вътки орѣшника. Сестры сидъли, тъсно прижавшись другъ къ другу. Луна мягко освъщала ихъ лица. Объ были очень красивы въ ея серебряномъ сіяніи.

— Вотъ она какая, — подумалъ молодой человѣкъ— эта холодная, чопорная дама, еле кивающая головой въ отвѣтъ на поклоны... Бѣдная женщина...

Тихо ступая по травѣ, чтобы не спугнуть сестеръ, онъ добрался до своей террасы, а черезъ мгновеніе по парку неслась и звенѣла прекрасная мелодія Crucifix'a:

..."Vous qui pleurez, venez à ce Dieu, car il pleure" пълъ молодой, ласкающій голосъ.

"Vous qui souffrez, venez à Lui, car il guérit, Vous qui tremblez, venez à Lui, car ll sourit, Vous qui passez, venez à Lui, car Il demeure".

— Какъ онъ славно поетъ,—сказала Маруся,—я люблю его слушать.

Татьяна слушала молча.

— Да, хорошо,—промолвила она наконецъ,—только странно, точно онъ намъ это въ утъщение пропълъ.

VIII.

Дъто шло. Погода въ этотъ годъ стояла жаркая. Жизнь въ Покровскомъ текла довольно однообразно съ мелкими и крупными непріятностями и постоянными денежными недочетами, составлявшими въ семействъ Обуховыхъ родъ хроническаго недуга. Татьяна слегка загоръла и вообще смотръла бодръе, чъмъ въ началъ своего

прівзда. Она аккуратно занималась съ Колей, стараясь, чтобы изъ его головы не окончательно испарилась гимназическая премудрость. Занятія обыкновенно происходили недалеко отъ дома подъ огромнымъ серебристымъ тополемъ, гдв всегда была твнь. Коля, съ помощью Никиты и "дачника", приладиль здёсь скамейки и столь. Тутъ же возилась Катя съ своими игрушками и Маруся съ шитьемъ или книгой. Съ "дачникомъ" (мать его показывалась рёдко) всё сощлись очень скоро. Этотъ молодой человъкъ съ добрымъ лицомъ, задумчивымъ взглядомъ и мягкимъ задушевнымъ голосомъ, какъ-то само собою сдёлался для всёхъ старымъ знакомымъ. Дёти и Маруся вънемъ души не чаяли. Дмитрій Гаврилычъ повърялъ ему свои проекты, Катерина Андреевна свои страданія и сны. Татьяна говорила ему съ ласковой усмъшкой:

— Григорій Васильичъ, пожалуйста, спойте что-нибудь, или—пожалуйста, Григорій Васильичъ, просмотрите Колино латинское упражненіе, и еще ласковъе усмъхалась, видя, съ какой готовностью онъ бросался исполнять ея желаніе.

Татьяна цвнила въ Мартыновв образованнаго собесвдника, который никого не подавляеть и не отпугиваеть своимъ знаніемъ. Въ ея воображеніи мелькали знакомые силуэты молодыхъ людей, подающихъ блестящія надежды, самоуввренное критиканство, споры ради того только, чтобы перещеголять или унизить противника, самообожаніе и фразы, фразы, фразы... И вдругъ такая простота... Человвкъ говоритъ, а не экзаменуетъ, не кичится количествомъ прочитанныхъ книгъ, не уничтожаетъ презрительнымъ сожалвніемъ бвднаго профана, не понимающаго такой-то знаменитой картины... "Ахъ, какъ жаль,—думала иногда Татьяна, —какъ жаль будетъ, если и онъ одеревенветъ"...

Даже André (онъ хотя и пилъ, но довольно умъренно), даже André его жаловалъ. Правда, онъ называлъ его "кисейной барышней", любилъ подразнить и привести въ смущеніе какимъ - нибудь пикантнымъ анекдотомъ, особенно въ присутствіи сестеръ, но со стороны André это было только выраженіемъ явной благосклонности.

Иногда, по вечерамъ, Татьяна читала вслухъ. У ней быль звучный голосъ и она мастерски имъ владѣла— большая рѣдкость между русскими женщинами. Разъ, среди лѣта, вдругъ выпалъ совершенно осенній, холодный, дождливый вечеръ. Всѣ сидѣли пасмурные, хмурые. Маруся сводила какіе-то счеты. Татьяна развернула Мюссе и стала читать сначала про себя, а потомъ громко "Nuit d'octobre".

"C'est une dure loi, mais une loi suprême", читала она, будто разсказывая повъсть собственнаго сердца—

"Vieille comme le monde et la fatalité, Qu'il nous faut du malheur reçevoir le bâpteme, Et qu'à ce triste prix tout doit être acheté"...

Она давно кончила, а Мартыновъ все не сводилъ съ нея глазъ. André поймалъ этотъ полный нѣмого обожанія взглядъ и расхохотался.

- Чему ты?—удивилась Маруся.
- Да вотъ поглядълъ на Григорія Васильича и подумалъ: хорошо бы ему жениться.
- Почему это мнв, —возразилъ Мартыновъ, —я думаю скорве вамъ.
- Нѣтъ, батенька, сказалъ André, куда мнѣ? Я вѣдь изъ тѣхъ, которые, сколько ихъ ни корми—все въ лѣсъ норовятъ. Я на бракъ придерживаюсь воззрѣнія одной моей знакомой, говаривавшей, что это такой серьезный шагъ, о которомъ слѣдуетъ только думать, но никогда его не совершать. Будь женщина ангелъ во плоти, но

одного сознанія, что я къ ней прикованъ, какъ Прометей къ скалѣ, довольно, чтобъ она мнѣ опротивѣла хуже вѣдьмы... А вы—другое дѣло. У васъ вся повадка такая—дескать, голубушка, запряги меня поскорѣй!... Образцовымъ мужемъ будете!...

— Весьма въроятно, — отвътилъ нъсколько сконфуженный Мартыновъ и сталъ прощаться.

Не смотря на свою видимую уступчивость, Мартыновъ быль не безъ упорства. Застънчивость и молодое самолюбіе часто мъшали ему высказываться. Но когда ръчь заходила о предметъ, особенно для него близкомъ, онъ отстаивалъ свои мнънія очень опредъленно, и только краска, внезапно смънявшаяся на его щекахъ смертельной блъдностью, указывала на степень его внутренняго волненія.

Однажды André, который ужъ нѣсколько дней на всѣхъ влился (его-таки приговорили къ недѣльному аресту по жалобѣ арендатора)— сталъ къ нему придираться. Мартыновъ сначала отшучивался, потомъ отмалчивался, но André не унимался. Добродушіе Мартынова точно подзадоривало его къ дальнѣйшимъ вылазкамъ. Между прочимъ, онъ самымъ серьезнымъ образомъ сталъ утверждать, что нѣтъ того человѣка, котораго бы нельзя было купить—разница только въ цѣнѣ—одинъ продаетъ себя за пятачокъ, другой за 25 цѣлковыхъ.

— Если это такъ, — возразилъ Мартыновъ, — то напрасно вы не заплатили арендатору вмѣсто того, чтобъ сидѣть въ кутузкѣ.

André свиснулъ.—Э, голубчикъ, пока меня посадятъ, я еще десять разъ успъю ему насолить А купить всетаки всъхъ можно, даже васъ, мой благородный рыцарь,—сказалъ онъ, посматривая на него съ какимъ-то влорадствомъ.

Мартыновъ принужденно улыбнулся.

- Что-жъ, попробуйте.
- Мнъ-то изъ чего хлопотать, —замътилъ André, какая мнъ въ васъ корысть! Душевное удовлетвореніе я все равно отъ васъ получу, когда, лътъ эдакъ черезъ десять, прочту въ газетахъ, что почтенный земскій дъятель, имя-рекъ, внезапно скрылся за-границу, захвативъ по разсъянности солидный кушъ изъ земскихъ суммъ...
 - Вы сами не върите тому, что говорите.
- Чему не върю? отозвался André, что въ земствъ крадутъ, что въ печати лгутъ, что въ адвокатуръ лгутъ и дерутъ съ живого и мертваго... Върю, мой ангелъ, какъ этому не върить!
- Я совсьмъ не такъ наивенъ, какъ вы предполагаете, Андрей Дмитріевичъ,—произнесъ Мартыновъ,—и отлично знаю, что въ земствъ есть воры, а между газетчиками и адвокатами не мало пройдохъ и негодяевъ, но я знаю также, что земство, свободная печать, гласный судъ—великія силы, и не будь ихъ, тъ-же ядовитые гады, только подъ другими кличками, въ милліонъ разъ безнаказаннъе обдълывали бы свои темныя дълишки. Что касается меня, то ни черезъ десять, ни черезъ двадцать лътъ, я не доставлю вамъ наслажденія услышать, что я проворовался. Я въдь буду учителемъ, а эта сфера, слава Богу, ничего общаго съ хищничествомъ не имъетъ.
- Надовстъ вамъ, миленькій, донъ-кихотствовать, охъ, какъ сейчасъ вижу, надовстъ.
- Нѣтъ, не надоѣстъ,—съ спокойной увѣренностью промолвилъ Мартыновъ,—не можетъ надоѣсть,—повторилъ онъ настойчиво,— школа единственная область, которая всегда остается чистой. Какъ бы ни были суровы внѣшнія условія—на школу они почти не производятъ пагубнаго вліянія. Она сама себя охраняетъ, И

если дъйствительность уродуетъ ея питомцевъ, превращая ихъ въ хлыщей, аферистовъ, кулаковъ, —это все таки не умаляетъ ея величія. Я твердо убъжденъ, что какой бы прочной корой не окутала пошлость преуспъвающаго дъльца, —онъ, встрътясь съ старымъ товарищемъ, вспомнитъ, что въ школъ стоялъ за Чацкаго, а не за Молчалина и Чичикова.

- Непремънно вспомнить, согласился André, и при этомъ подумаетъ: какой-же я былъ шутъ гороховый.
- Одинъ подумаетъ, а другой нътъ, и хоть на минуту устыдится своей духовной нищеты,—отвътилъ Мартыновъ.

Его спокойный тонъ окончательно разозлилъ André.

— Вы, душенька, какъ будто на манеръ Рудина валяете,—проговорилъ онъ ехидно.

Мартыновъ покраснълъ; ръзкій отвътъ чуть было не сорвался съ его губъ, но онъ сдержался.

- Нътъ, промолвилъ онъ, Рудинъ художникъ по натуръ, онъ въруетъ въ прекрасное, но для вдохновенія ему нуженъ блескъ, нужны яркія краски. А такіе, какъ я—простые труженики, преданные своему дълу на столько, что оно само по себъ заслоняетъ для нихъ самую неприглядную декорацію.
- Пай-мальчикъ, ухмыльнулся André, но пока ваша храбрость напоминаетъ мнѣ извѣстную пѣсню о лордѣ Пальмерстонѣ, поражающемъ "Русь на картѣ указательнымъ перстомъ". Послушаемъ, что вы запоете, хлебнувъ горькой водицы. А впрочемъ, мнѣ-то что, прибавилъ онъ, нравится человѣку изъ себя дурака ломать, ну и пусть себѣ ломаетъ...

Онъ вышелъ, сердито хлопнувъ дверью.

Мартыновъ тоже поднялся, чтобъ уйти. Татьяна, молча присутствовавшая при ихъ разговоръ, отодвинула въ сторону пяльцы, подошла къ нему и протянула

ему руку. Ея выразительное, живое лицо безъ словъ говорило, что она понимаетъ его, что все, что онъ высказалъ, близко и ея душъ.

- Вы удивительно искренни, произнесла она, подавляя свое волненіе, и этимъ вы меня привлекаете на свою сторону, даже когда я признаю, что другіе умнъе васъ.
- Да? въ такомъ случав я очень радъ своей глупости.

Татьяна взгиянула на него и засмъялась.

— Вотъ не ждала отъ васъ подобной любезности. Я принимаю это какъ дань моему почтенному возрасту. Avec les vieilles femmes ça ne tire pas à consequence.

Григорій Васильичь покусаль свою бородку.

— Для меня вы не vieille femme, — промолвиль онъ очень тихо, —и я сказаль вамъ правду, —для меня нътъ высшей отрады, какъ чувствовать, что вы со мною согласны.

Татьяна немного смутилась.

— Какой вы экзальтированный, — замътила она, покачавъ головой, — нельзя каждое слово принимать такъ... трагически. Ну, полно серьезничать. Позовите дътей и Марусю, и отправимся на мельницу.

Послѣ этого случая Татьяна нѣкоторое время ощущала какую-то неловкость, оставаясь съ Мартыновымъ, но онъ держался такъ просто, что это чувство неловкости скоро исчезло.

IX.

До праздникамъ прівзжаль изрвдка Александръ Алексвевичь, всегда оживленный, умный, насмвшливый. Татьяна какъ-то сразу опускалась съ его прівздомъ. Она двлала надъ собой самыя добросоввстныя

усилія, чтобы быть ласковой съ мужемъ, сама себѣ доказывала, что ни въ чемъ существенномъ не можетъ его упрекнуть, что онъ, по своему, все-же любитъ и ее, и дѣтей, и если у нихъ обо всемъ почти разныя мысли, то это во всѣхъ семьяхъ такъ, а между тѣмъ тысячи женщинъ живутъ и мирятся съ этимъ. И какое, наконецъ, она имѣетъ право предъявлять какія-то особенныя требованія на идеальное счастье, на гармонію душъ. Да и существуетъ-ли такое счастье, такая гармонія. Не значитъ-ли это создавать себѣ фантастическія страданія, когда на каждомъ шагу не оберешься настоящаго горя...

Подъ вліяніемъ этихъ мыслей, Татьяна улыбалась мужу блѣдными губами и проводила холодной, какъ ледъ, рукой по его сѣдѣющимъ волосамъ. Но не было свѣту въ этой улыбкѣ, не было тепла въ этой ласкѣ...

А Александръ Алексвевичъ былъ со всвми милъ и любезенъ. Марусв и двтямъ привозилъ конфектъ, съ тестемъ игралъ въ шахматы, тещв совалъ тайкомъ нвсколько рублей. Онъ познакомился съ Мартыновымъ и, казалось, рвшилъ очаровать и его мимоходомъ. Онъ разсуждалъ съ нимъ о философскихъ и политическихъ вопросахъ, литературв, музыкв, университетской наукв и нашей общественной нескладицв, о земствв и рабскомъ положеніи печати. Когда, на вопросъ о карьерв, Мартыновъ сообщилъ, что желаетъ быть учителемъ, Александръ Алексвевичъ выразилъ полный восторгъ и съ такимъ краснорвчіемъ и горячностью распространился о "благородномъ призваніи учителя", точно собирался посвятить этому призванію собственную особу.

André, молчаливо улыбавшійся ораторству beaufrère'a, не выдержаль:

— И какой-же вы фигляръ, почтеннъйшій Александръ Алексъичъ,—ввернулъ онъ свое любимое словечко.

Тотъ поглядълъ на него съ-боку.

- Что это въ вашихъ устахъ комплиментъ или порицаніе?
- Комплиментъ-съ, комплиментъ-съ... отвътилъ Алdré, воодушевляясь. Я самъ такой-же. Глядя на васъ, я всегда вспоминаю, какъ меня еще въ лицев мать одного моего товарища донимала. Важная была княгиня, набожная, мужа—чтобъ не сбъгалъ—на замокъ запирала. Вотъ и говоритъ она мнъ. Скажите, молодой человъкъ, я слышала, будто Дарвинъ утверждаетъ, что мы отъ обезьянъ произошли. Но развъ это возможно! Въдь въ человъкъ есть искра. Не правда-ли? Конечно, говорю, княгиня, есть искра... (Мнъ-то что, думаю, искра, такъ искра, не все-ли мнъ равно). Вотъ и вы такъ съ Григоріемъ Васильичемъ. Будетъ онъ учителемъ, или частнымъ приставомъ, для васъ все единственно...
 - Вашъ анекдотъ довольно подержанный, нетерпъливо прервалъ Александръ Алексъевичъ.
 - Что-жъ, я и самъ не съ иголочки, я самъ человъкъ подержанный, заявилъ André, точно радуясь.— Это даже любопытно. Со мной, кажется, ничего не случается въ первый разъ. Вотъ, говорятъ, первая любовь вдохновляетъ тамъ, что-ли. Не знаю, право, я въ первый разъ полюбилъ, точно прямо во второй...
 - Ну, повхалъ,—замвтилъ Мартыновъ,—просто удивительно, до чего Андрей Дмитріевичъ любитъ рисоваться цинизмомъ.

Татьяна, конечно, не раздѣляла мнѣнія брата, что Александръ Алексѣичъ "фигляръ", но ей и самой было какъ будто стыдно при его бесѣдахъ съ Григоріемъ Васильевичемъ. "И къ чему онъ притворяется", — думала она, глядя на холодные глаза мужа, устремленные на открытое лицо Мартынова, довърчиво излагав-

шаго свои мечты о необычайномъ интересъ, который представляетъ дъятельность учителя. Ей было обидно за его наивность, хотълось подойти къ нему, сказать: "перестаньте, онъ смъется надъ вами". Она съ облегчениемъ вздыхала, когда Александръ Алексъевичъ уъзжалъ. Это чувство ее раздражало, точно ей было совъстно самой себя. Нъсколько дней она ходила блъдная, капризная, на всъхъ сердилась. Катерина Андреевна недоумъвала, что такое съ ней и, съ свойственной ей догадливостью, дълала замъчанія.

— Какая ты, Танюша, всегда нервная послѣ отъѣзда Александра. Скучно безъ мужа, милочка?

Татьяна вспыхивала, какъ спичка.

— До, скучно, — говорила она отрывисто, — оставь меня въ покоъ, мама. Коля, пойдемъ заниматься.

Мартыновъ никогда не навязывался ей въ такихъ случаяхъ ни съ сочувстејемъ, ни съ утѣшенјемъ, но лицо его дышало такой грустью, такимъ желанјемъ помочь ей, что это невольно трогало Татьяну. Онъ старался отвлечь отъ нея общее вниманје, игралъ съ дѣтьми, пѣлъ ея любимыя вещи... и морщины, малопо-малу, разглаживались на ея лбу. Она выходила на старый искривившійся балконъ и, облокотившись на перила, опускала голову на руки...

Съренькія сумерки дождливаго дня спускаются на деревенскія крыши. Убогая нищета скрадывающаяся при веселомъ солнечномъ сіяніи, печально глядитъ въ глаза, какъ безнадежно больная. Вотъ идетъ, согнувшись подъ коромысломъ, Анна, жена печника, беременная... (она всегда беременна). Мужъ ея самый отчаянный мужикъ въ околоткъ,—воръ, пьяница, бъетъ ее нещадно, и всегда билъ, и всегда будетъ бить, а она все также будетъ изнывать подъ ярмомъ, голодать, носить, рожать... И не жалуется, не ноетъ, не интересни-

чаетъ... Слезы закапали изъ глазъ Татьяны. Она ихъ не удерживала.

— О чемъ вы плачете?—спросилъ Мартыновъ, садясь подлѣ нея.

Она не отвъчала, а слезы еще сильнъе полились изъ глазъ.

- Татьяна Дмитріевна, не плачьте, вѣдь всѣмъ скверно.
 - Я оттого и плачу, что встьмо скверно.

Онъ взяль ея свъсившуюся руку и осторожно погладиль.

- Надо работать, надо нести въ сердцъ своемъ тяжесть со всъми, —сказалъ онъ.
- Вы—ребенокъ. Что можетъ сдѣлать одинъ человѣкъ?
- Многое... гораздо больше, чёмъ обыкновенно думаютъ. Не нужно только приходить въ отчаяніе, что мы не увидимъ осуществленія конечной цёли. Этого вёдь никто никогда не увидитъ. Нужно отрёшиться отъ чина героя,—это я себё уяснилъ, несмотря на свою молодость,—тогда, мнё кажется, и жить легче.
 - Вы думаете, это такъ просто?
- Нѣтъ, я знаю, что это тяжело... тяжело, какъ всякая закулисная работа. Но вѣдь всѣ не могутъ дѣйствовать на сценѣ. Не умирать-же изъ-за этого. Возьмите вашего брата. Онъ вообразилъ, что рожденъ произносить монологи, а весь родъ человѣческій, чтобы подавать ему реплику. Вотъ онъ и точитъ всѣхъ... и себя, конечно. Онъ считаетъ себя умницей, куда умнѣе, напримѣръ, Маруси. А на самомъ дѣлѣ, Маруся умнѣе и лучше насъ всѣхъ. Она еще ребенокъ, но ее никакая среда не заѣстъ, никакія обстоятельства не испортятъ, потому что она вся—любовь къ людямъ. Она

изъ тѣхъ, что умираютъ съ улыбкой на устахъ, чтобы не огорчать другихъ.

Татьяна глядёла на него съ изумленіемъ.

— Вотъ вы какой, — произнесла она, — я считала васъ чуть не младенцемъ, а вы въ это время занимались интересными наблюденіями. Продолжайте! Объ André и Марусъ я слышала. Любопытно знать, какимъ ярлыкомъ надълили вы мою особу.

Онъ помолчалъ немного.

— О васъ я не могу судить безпристрастно, —промолвилъ онъ, вздохнувъ.

X.

Въ августъ вдругъ стало холодно и каждый день пошли дожди. Въ кудрявой зелени березъ проглянули желтые листья. Это было похоже на первое предостереженіе. Въ Покровскомъ всъ хандрили. André запилъ съ такимъ ожесточеніемъ, точно сразу хотълъ всъмъ за что-то отомстить. Дмитрій Гаврилычь продаль на срубъ послъднюю рощу и получивъ задатокъ, отправился въ Х* подъ предлогомъ вносить проценты въ банкъ. Вернулся оттуда франтомъ, въ новой паръ, подстриженный, раздушенный, и привезъ Катеринъ Андреевнъ въ подарокъ голубыя атласныя туфли. По-**Ъздка** въ городъ совс**ъмъ** отуманила старика. Онъ только и говориль, что о необходимости для порядочнаго человъка "встряхнуться" отъ времени до вревъ обществъ себъ подобныхъ, доказывалъ, что отъ этого "невозможнаго прозябанія" въ глуши какой хотите мудрецъ отупфетъ, что онъ вовсе не намфренъ себя за-живо погребать, что онъ еще не сказалъ son dernier mot, о non! — у него въ головъ еще кипятъ мысли

ит. д. Въ заключение онъ торжественно возвъстиль, что никогда не быль эгоистомъ и всегда думалъ о семьъ, въ подтверждение чего онъ въ первый же ясный праздничный день намъренъ устроить пикникъ въ "Зеленую Поляну". Можно позвать сосъдей и коекого изъ города (лукавый взглядъ въ сторону Татьяны). Дъвушки и парни будутъ пъть и плясать, онъ навезъ для нихъ изъ городу всякой дребедени. Это напомнитъ намъ старину. N'est-се pas, ma vieille?—обратился онъ къ женъ.

Катеринъ Андреевнъ очень понравилась затъя мужа. Она глядъла на его прилизанные височки и ду-мала—comme il est encore beau! Дочери украдкой переглянулись между собой. Татьяна пожала плечами. Маруся тихонько вздохнула и потупилась. Объ отлично понимали, чего будетъ стоить этотъ "сюрпризъ", но зная по опыту, что малъпшее возражение вызоветъ со стороны отца цълую бурю упрековъ—молчали. Только старикъ Никита, стоявшій у дверей, угрюмо проворчаль:--"Одинь у вась характерь съ Андрей Митричемъ. Нѣтъ у васъ денегъ, — и на васъ сто болѣстей, а завелась радужная въ карманѣ, — вы и здоровы, и пригожи. Вы съ деньгами и умереть не можете"... Дмитрій Гавриловичь снисходительно пропустиль мимо ушей философію "върнаго Личарды". Онъ не хотъль портить себъ настроенія. Но кто дъйствительно быль въ восторгь отъ предстоящаго праздника, такъ это дъти. Они поминутно выбъгали на дворъ посмотръть, не измънилась-ли погода, и громко возвъщали, что видять кусочекь голубого неба...

А въ павильонъ у "дачниковъ" ужъ давно собирались тучи. Мать явно дулась на сына. Она положительно не понимала, что съ нимъ сталось. Онъ, до сихъ поръ посвящавшій ей все свое свободное время, те-

перь цѣлые дни проводилъ въ обществѣ совершенно чужихъ людей. И какой онъ тамъ находитъ интересъ, недоумѣвала она.

Но еще больше барыни негодовала на Обуховыхъ ея горничная, Анисьюшка. Она считала глубочайшимъ оскорбленіемъ это вторженіе посторонняго элемента въ их жизнь. И что всего возмутительнъе, это, что она здёсь--не при чемъ. Прежде Григорій Васильевичъ всегда косвенно обращался къ ея содъйствію. Придетъли поздно изъ гостей, деньги-ли понадобятся, — сейчасъ: Анисьюшка, нътъ-ли у васъ-или, -- Анисьюшка, я сегодня пирую у товарища, дайте мнв ключь отъдвери, чтобъ маменьку не безпокоить. И ужъ она бывало сквозь замочную скважину пролъзетъ, а его, голубчика, не выдасть, -- все шито-крыто. Къ стриженой барышнь цылую зиму отъ него записки таскала, сколько денегъ на извозчика провздила... И добро-бы она изъ корысти для него хлопотала, а то грошикомъ отъ него никогда не пользовалась... И вотъ-благодарность!

— Ну, погоди, соколикъ, молодъ еще ты надо мной куражиться,—мысленно погрозила Анисьюшка своему барину,—все разскажу Софъв Петровнъ.

Софья Петровна вышла въ столовую къ завтраку. Столъ былъ накрытъ на два прибора. Она съла. Анисьюпка подала самоваръ и котлеты.

- Позови Григорія Васильевича, сказала барыня.
- A гдѣ его звать-то? Его ужъ давно и слѣдъ простылъ.
 - Неужели онъ гулять ушель въ такую погоду?
- Гу-лять! иронически протянула горничная, одно у него гулянье, воно (она ткнула пальцемъ по направленію къ большому дому). Точно панятый, и днюетъ, и ночуетъ... Люди ихніе, и тѣ смѣются, озорники.

Дайте, говорять, чего-нибудь поъсть, а то наши "графы" послъднюю корку вашему кавалеру скормили...

- И что онъ тамъ дълаетъ, не постигаю! воскликнула барыня.
- Мало-ли дѣла!—возразила Анисьюшка. Старой чертовкѣ ручки цѣлуетъ, задабриваетъ, значитъ, мальчишку учитъ, дѣвчонку замѣсто няньки на рукахъ таскаетъ. Няньку нанять не по карману, ну а нашъ простой, —даромъ походитъ. А Маруська-то, Маруська! вылупитъ на него бѣльмы и грохочетъ... какъ есть деревенская дѣвка. И на барышню не похожа—рожа красная, сама—печь-печью.

Анисьюшка остановилась перевести духъ, но, видя, что барыня безмолствуетъ, продолжала съ возрастающимъ азартомъ:

— А ужъ пуще всѣхъ, матушка, властвуетъ надънимъ Татьяна Дмитріевна. И чѣмъ только она его обошла! Пи красы въ ней, ни радости, вся желтая,—суха, какъ щепка, никогда ни усмѣхнется, ровно сейчасъ съ погосту. Мужъ у нея, на что поганый, и то, говорятъ, на сторонъ французинку держитъ. А нашъто несмышленокъ глядитъ на нее и млѣетъ. Намедни у нея голова болѣла, такъ онъ, сказываютъ, цѣлый часъ возлѣ нея на колѣнкахъ простоялъ — горячія тряпки ей къ головъ прикладывалъ, инда всъ руки ошпарилъ. Ну, конечно, ей лестно, что такой красавчикъ на нее зарится.

Софья Петровна молча кусала губы. На лицъ ея выступили красныя пятна отъ Анисьюшкиныхъ сообщеній. А та, между тъмъ, неслась во весь опоръ, какъ закусившая удила лошадь.

— Давно ужъ, сударыня, у меня языкъ чешется глаза вамъ открыть,—нашептывала она,—да все васъ жалѣла. И теперь-бы не сказала, да ноетъ мое сердце,

какъ-бы этотъ разбойникъ, Андрей Дмитричъ, Григорія Васильевича пить не пріучилъ. Вѣдь нашъ Григорій Васильевичъ точно дитё малое. Долго-ли его съпути сбить...

- Что ты врешь, Гриша никогда не пьетъ,—прервала барыня.
- А яразвѣ сказала "пьетъ"! Я говорю—не ровенъ часъ... Вѣдь этотъ Андрей Дмитричъ самый что ни на есть безстыжій безобразникъ.—Я-ста, говоритъ, могу ведро вина выпить.—Я ему и скажи на это: нашли чѣмъ хвалиться, сударь. Вы-бы сказали, что за невѣстой двѣсти тыщъ возьмете, это дѣло, а то, на-ко-ся—ведро вина выпью. Мужикъ больше вылакаетъ, такъ вѣдь на то онъ мужикъ! росъ въ лѣсу, пнямъ богу молился, а на васъ, говорю, сколько денегъ убито... Такъ ужъ онъ меня за эти слова порочилъ, порочилъ...
- Ступай за Григорьемъ Васильичемъ и скажи ему, что я требую его *сію минуту* къ себѣ,—приказала барыня.

Минутъ черезъ десять Григорій Васильевичъ стоялъ передъ матерью и съ изумленіемъ смотрѣлъ на ея заплаканные глаза.

- Что съ тобой, мамаша?-тревожно спросиль онъ.
- Скажи, пожалуйста, гдѣ ты пропадаешь?—воскликнула мать.
 - Нигдъ, я былъ въ саду.
 - Одинъ?
 - Это что-же, допросъ?
- Ага, вотъ какъ ты съ матерью разговариваешь! Я ужъ не имъю право спросить....
- Имъешь, имъешь, только я не понимаю, за что ты сердишься...

Онъ взялъ ея руки и, несмотря на ея сопротивленіе, поціловаль. Ласка сына ее смягчила.

- Съ къмъ-же ты гулялъ? спросила она почти спокойно.
 - Съ дътьми Татьяны Дмитріевны.

Она опять разсердилась.

- Что-жъ она, другого гувернера не нашла своимъ дътямъ?
- Она тутъ не причемъ. Я самъ очень люблю ея дътей и охотно съ ними вожусь.
- Скажите, какія нѣжныя чувства! Не собираешься-ли ты жениться?
 - Нътъ, не собираюсь.

Софья Петровна закрыла лицо платкомъ и основательно расплакалась.

- И подумать, говорила она, всхлипывая, что пустая кокетка можеть отнять у матери сына. Ты воображаешь върно, что она отъ тебя безъ ума! Очень ей нужно! Ей только-бы лишній поклонникъ. Самъ разсказываль, что въ городъ она на тебя никакого вниманія не обращала. А туть, въ деревнъ, отъ скуки, и ты хорошъ... И ради такой дряни жертвують матерью.
- Мамаша, перестань. Ты сама знаешь, что неправа. Я никогда тебя не приносиль въ жертву и не принесу. Но я прошу тебя, серьезно прошу, не отзываться такъ о Татьянъ Дмитріевнъ. За что ты ненавидишь ее и всю ея семью! Ты ихъ совсъмъ не знаешь...
 - И знать не хочу...
- Я ихъ тебъ не навязываю и не заставляю любить, но прошу еще разъ, не брани ихъ при мнъ.

Онъ быль такъ блъденъ, что мать испугалась.

— Гриша, — сказала она, — я никогда о нихъ не заикнусь, только перестань туда ходить.

Онъ отрицательно покачалъ головой.

— Не хочешь! не хочешь такого пустяка сдѣлать для матери.

- Зачьмъ тебь это?
- Потому что она, эта женщина, тебя погубить, Гриша. Пожалъй себя, не ходи туда. Если тебъ неловко, мы можемъ завтра-же переъхать въ городъ, и ты еè забудешь, пока еще не поздно.
- Да зачъмъ мнъ ее забывать?—чуть не со слезами произнесъ сынъ, ты выдумала какіе то небывалые ужасы и мучишь себя и меня. Увъряю тебя, что Татьяна Дмитріевна не вампиръ и мнъ не грозитъ ни малъйшая опасность.

Въ отвътъ на это Софья Петровна истерически зарыдала.

Григорій Васильевичь стиснуль руки такъ, что пальцы хрустнули.

— Хорошо,—проговорилъ онъ глухо,— если ты ужъ непремѣнно этого хочешь, я перестану тамъ бывать, но позволь мнѣ, по крайней мѣрѣ, сдѣлать это прилично.

И не дожидаясь возраженія, онъ быстро вышель изъ комнаты, не замътивъ притаившуюся за дверью Анисьющку.

XI.

Даконецъ выдался ясный день. Дъти, въ ожиданіи поъздки, съ утра подняли возню и суматоху. Изъ приглашенныхъ никто не явился, даже Александръ Алексъевичъ не прівхалъ. За отсутствіемъ болве важныхъ гостей пригласили батюшку съ молоденькой свояченицей да сына сосъдняго помъщика, золотушнаго юношу, лътъ восемнадцати, извъстнаго подъ именемъ "бъднаго Вовочки" за неудачи, преслъдовавшія его во всевозможныхъ учебныхъ заведеніяхъ, такъ что въ концъ

концовъ бъдный Вовочка махнулъ рукой на науки. За то одъвался онъ щегольски. На немъ и теперь былъ какой-то пестрый сюртукъ, необычайнаго покроя, и вязаная шапочка съ помпономъ, изъ-подъ которой онъ бросалъ молніеносные взгляды на Марусю, лихо насвистывая арію изъ "Корневильскихъ колоколовъ". André свлъ съ батюшкой и свояченицей въ ихъ тарантасъ. Дмитрій Гавриловичь и Катерина Андреевна плелись въ допотопномъ, немилосердно визжавшемъ шарабанѣ. Татьяна съ дътьми, Марусей и Мартыновымъ ъхали въ большой телъгъ. Рядомъ съ ними на тощей лошаденкъ, съ отвислымъ брюхомъ, гарцовалъ Вовочка. Изъ тарантаса поминутно слышались варывы смъха — это André потвшаль батюшкину свояченицу. Шарабань, то и дъло, останавливался: то постромка лопалась, Дмитрій Гаврилычъ ронялъ кнутъ, то просто лошадь упиралась мордой въ землю и ни за что не хотвла двигаться впередъ. Въ телъгъ весело болтали дъти и Маруся-ихъ очень забавляль Вовочкинъ помпонъ.

Татьяна пристально смотрёла на убёгающія вдаль оголенныя поля. Мартыновъ усердно понукалъ лошадей, передавая на ровномъ мёстё возжи Колё, которому ужасно хотёлось "поправить". Изрёдка онъ взглядывалъ на Татьяну, точно хотёлъ допытаться, что таилось въ ея печальныхъ глазахъ, какія невысказанныя слова хранили ея плотно сжатыя губы. Но она упорно молчала и даже на вопросы дётей отвёчала больше кивкомъ головы. Въ Зеленую Поляну пріёхали часовъ въ шесть. Это была огромная луговина, врёзавшаяся въ длинный заросшій прудъ, охваченный, какъ-бы кольцомъ, темнымъ сосновымъ лёсомъ.

Господа выгрузились. Поляна была полна народу. Бабы и дѣвки, разодѣтыя въ пестрыя платья, чинно прогуливались кучкой. Парни держались въ сторонѣ.

Преобладали сапоги бутылками, шаровары на выпускъ, жилетки и пиджаки поверхъ рубащекъ-косоворотокъ. Не мало, впрочемъ, было босоногихъ и простоволосыхъ. И въ манерахъ, и въ костюмахъ чуялась близость города. Вся почти молодежь была фабричная или мастеровая, являвшаяся въ деревню только на побывку. Господскіе гостинцы, въ вид' бусь, ленть, ор ховь, пряниковъ, леденцовъ и изюму, -- не произвели особаго впечатльнія. Все принималось какъ-то снисходительно, иронически. Никто не былъ "осчастливленъ", никто не бросался къ "барской ручкъ". И самимъ господамъ было не по себъ, точно они вдругъ почувствовали что-то нескладное въ своемъ фестивалъ. Изънеловкаго положенія выручиль общество André. По его команд'в притащили два ведра водки. По рукамъ замелькали чашки и кружки. Пили всв, даже дввушки, за немногими исключеніями. Не прошло часу, какъ смущеніе устунило мѣсто полному взаимному удовольствію. André co всъми чокался. Его худыя щеки покраснъли, въ глазахъ сверкнулъ недобрый огонекъ.

— Сліяніе сословій! Единеніе съ народомъ! — воскликнуль онъ, размахивая стаканомъ. — Пей и нои водкой! вотъ тебѣ и единеніе. Доблестные граждане и очаровательныя гражданки, — крикнуль онъ толпъ, съеживъ въ какую-то уморительную гримасу свое обезьянье лицо, — не брезгайте барскимъ подношеніемъ, ибо оно взято изъ того-же цѣлебнаго источника, откуда и вы черпаете свою живительную влагу.

Мужики пересмъивались. — Ужъ и Андрей Митричъ! ужъ и скажетъ! нарочно не придумаешь... "Гражданки!" Это онъ про васъ, дъвки! — Дъвки хихикали. Маруся съ поповной хозяйничали за самоваромъ, поочереди разливая чай, который важно разносили Коля и Вовочка. Дмитрій Гавриловичъ толковалъ съ батюшкой

и какимъ-то съдобородымъ мужикомъ. Катерина Андреевна ловила Катю, вертъвшуюся, какъ волчокъ, подъногами, и трудно было ръшить, утопаетъ она въ блаженствъ, или изнемогаетъ отъ усталости. Татьяна присъла на копну свъжаго съна. Къ ней присоединился Мартыновъ.

Раздались залихватскіе звуки гармоники. Изъ толпы вышель совсёмъ плохенькій мужичокъ и сталь отплясывать трепака съ энергіей, которую трудно было предположить въ его тіцедушномъ тѣлѣ. Противъ него сѣменила ногами дебелая баба. Когда они притомились, на смѣну имъ явилась другая парочка съ тѣмъ-же подрыгиваніемъ ногъ, классическимъ подергиваніемъ плечъ и жеманнымъ помахиваньемъ платочка.

Пляску смънило пъніе. Пъсни были все "благородныя".

...., Ай, Ваня, Ваня, гдъ ты быль, Да у портного Швета, Заказаль себъ пальто Малинава цвъта"...

запъвалъ жиденькій тенорокъ, а хоръ съ безпощаднымъ бабымъ визгомъ подхватывалъ:

...., Ахъ, за то ты мев хорошъ, Что на франтика похожъ—
При манишечкъ, въ часахъ,
Съ папиросочкой въ зубахъ"...

- Какая мерзость, сказала Татьяна.
 Мартыновъ засмѣялся.
- Помилуйте, цивилизація, —воскликнуль онъ.

Она даже не улыбнулась. Ей не хотълось разговаривать. Тоска, чувство надвигающагося горя давили ей грудь. И она знала, что это за горе, она ощущала его

всъмъ своимъ существомъ... ей только страшно было назвать его по имени.

— Тать яна Дмитріевна, отчего вы такая грустная, нездоровы?— спросилъ Мартыновъ.

Она повела плечами.

- Сама не знаю... такъ, хандра напала. Это со мной бываетъ... И въ городъ не хочется перевзжать.
 - А вы когда собираетесь?
- Дня черезъ два. Коля и такъ ужъ опоздаль въ гимназію. Ахъ, какъ они визжатъ! (Она заткнула уши).
- Пройдемтесь немного,—предложиль онь,—тамъ не такъ шумно.

Они тихо пошли по лужайкъ. У пруда они остановились. Солнца уже не было видно. Оно растопилось въ багровое зарево, отъ котораго во всъ стороны ползли огневыя искры и полоски по быстро темнъющему небу. Сосны, важныя и неподвижныя, лъниво смотрълись въ зардъвшійся прудъ, наполняя воздухъ своимъ смодистымъ запахомъ. Въ травъ поквакивали лягушки...

— Посмотрите, сколько здѣсь водяныхъ лилій,—сказала Татьяна, достаньте мнѣ одну.

Онъ зацѣпилъ палкой цвѣтокъ и подалъ ей. Она стала разглаживать пальцами мокрые лепестки.

— Я очень люблю эти цвѣты, — проговорила она, будто извиняясь.

Онъ глядълъ на нее съ печальной улыбкой.

- Не могу себъ представить, какъ это я буду жить, не видясь съ вами, я такъ къ вамъ привыкъ, —произнесъ онъ трепетнымъ голосомъ.
 - Развъ въ городъ вы не будете у насъ бывать?
 - Буду, конечно... но это все-таки не то...
- Ничего, привыкнете, спокойно возразила Татьяна,—это еще не особенно большое горе. Однако, тутъ сыро...

Они медленно повернули назадъ. На полянъ становилось все шумнъе. Забористыя пъсни, хохоть и пискъ дъвокъ смъшивались съ куплетами изъ "Прекрасной Елены", во весь голосъ распъваемыми Вовочкой, и тяжеловъсными тумаками, сыпавшимися на спины слишкомъ любезныхъ кавалеровъ. Апdré громко хохоталъ, острилъ и кричалъ, поминутно врываясь въ хороводъ, откуда его безцеремонно выталкивали бабы съ укоризненнымъ замъчаніемъ—"а еще баринъ".

Григорій Васильевичь подсёль къ Марусё и шепнуль ей что-то на ухо. Она отрицательно покачала головой, улыбаясь своей милой улыбкой.

Татьяна почти съ завистью посмотръла на нее.

"Этакая ясность, —подумала она, — этакое спокойствіе. Со всѣми ровна, со всѣми одинакова... Никого она не ждетъ... ни къ кому не стремится... А я! тѣнь проскользнетъ между деревьями, дверь стукнетъ... и я холодѣю... Вся жизнь плыветъ мимо... Время останавливается... біеніемъ сердца отсчитываешь минуты, которыя кажутся часами... часы, долгіе, какъ годы... Такъ вотъ что это значить!.. Боже мой, такъ поздно, такъ не кстати"...

Кровь прилила къ ея вискамъ. Ей хотѣлось крикнуть, заплакать, убѣжать... Она подошла къ матери, заговорила съ Марусей, взяла на руки Катю и крѣпкокрѣпко прижала ее къ своей груди, точно ей хотѣлось силой стряхнуть съ себя докучное бремя.

- О чемъ вы тутъ шепчетесь съ Марусей?—обратилась она къ Мартынову.
- Да я просилъ Марью Дмитріевну спъть со мной, а она не соглашается.
- Отчего-же, Маруся? Пой, пой, милая, пока поется. А то... пройдеть время, и захочется пъть, да голосу

не будетъ, —проговорила Татьяна какимъ-то страннымъ тономъ.

- Таня, что съ тобой, ты нездорова? съ тревогой спросила Маруся.
- Да... мнѣ не по себѣ,—отвѣчала она слабо,—поѣдемъ домой,—холодно... Какъ-бы еще дѣти не простудились...

Мартыновъ поспѣшно усадилъ ихъ въ телѣгу. Катя свернулась на колѣняхъ у матери и сейчасъ-же заснула. Коля дулся,—зачѣмъ его рано увезли,—и молчалъ. Ночь была темная, безлунная. Приходилось ѣхать шагомъ. Деревья мелькали по дорогѣ черными тѣнями, а поднявшійся вѣтерокъ доносилъ, выводимую тончайшимъ фальцетомъ, пѣсню.

...."Блеснулъ, какъ молнія, и скрылся, На въкъ спокойствія ръшился"...

долетьло, какъ насмышка, до Татьяны.

XII.

Те успъла Татьяна забыться тревожнымъ сномъ, какъ почувствовала, что ее толкаютъ. Она въ испугъ раскрыла глаза и увидала передъ собой горничную.

- Что такое?
- Матушка, Андрей Дмитричъ опился, торопливымъ шепотомъ объяснила горничная. Бѣгаетъ по парку съ пистолетомъ... какъ-бы онъ чего не надѣлалъ...
 - Дома никто не знаетъ?
- Нѣтъ-съ. Тамъ съ нимъ Никита и Григорій Васильевичъ. Прикажете разбудить стараго барина?
- Не надо. Я сейчасъ одънусь. Засвъти лампу въ библіотекъ, я пройду тамъ.

Она на-скоро одълась и въ сопровожденіи горничной, несшей фонарь, почти бъгомъ направилась въ паркъ. Изъ липовой аллеи доносились голоса. Татьяна бросилась туда. Ей представилась странная сцена. André, растрепанный, весь въ грязи, стоялъ на холмикъ, прижавшись къ дереву и грозилъ револьверомъ подступающимъ къ нему съ разныхъ сторонъ Мартынову и Никитъ. Рубашка на немъ была вся въ клочьяхъ. Худая, обнаженная грудь тяжело вздымалась и опускалась, лицо судорожно подергивалось. Онъ задыхался и кричалъ: "не подходите, убъю, не подходите!". Увидавъ сестру, André яростно затопалъ ногами.

- Ты зачѣмъ притащилась? съ ожесточеніемъ накинулся онъ на нее. — Кто тебя привель? Этотъ миндальный герой (онъ указалъ на блѣднаго, какъ полотно, Мартынова), ну, и цѣлуйся съ нимъ у себя въ комнатѣ. Вонъ, вонъ! тебѣ говорятъ — вонъ! чтобъ духу твоего здѣсь не было!
- Андрюша, произнесла она умоляющимъ голосомъ, — отдай мнъ револьверъ, и я даю тебъ слово, что сдълаю все, что ты ни захочешь.

Онъ посмотрълъ на нее въ упоръ и нъсколько секундъ молчалъ.

- Дашь водки?-проговориль онь отрывисто.
- Дамъ, только отдай мнѣ револьверъ и пойдемъ домой.
 - Не соврешь?—спросиль онъ опять.

Она покачала головой.

Послѣ нѣкотораго колебанія онъ протянуль ей револьверъ. Она, не глядя, передала его Мартынову и, взявъ André за руку, повлекла за собой.

— Ну, Танька,— еказалъ онъ,— если ты меня обманешь, я не посмотрю, что ты грандъ-дама и исколочу тебя, какъ самую послъднюю дъвку.

Она не отвъчала и быстро шла, таща его за собой. У порога его флигеля она остановилась перевести духъ. Комната André представляла такой видъ, какъ будто въ ней только что хозяйничали разбойники. Опрокинутая мебель, разорванныя и разбросанныя по всъмъ угламъ книги, груда пустыхъ бутылокъ, осколки посуды...

André присълъ на смятую постель и повелъ кругомъ блуждающимъ взоромъ.

- Водки, прохрипълъ онъ.
- Никитушка, достань, сказала Татьяна.

Черезъ нѣсколько минутъ полштофъ былъ на столѣ. André припалъ къ его горлышку... и долго не отрывался. Въ его мутныхъ, тоскующихъ глазахъ что-то просіяло.

- Понимаешь, обратился онь къ сестрѣ, этотъ дуракъ (жестъ въ сторону Мартынова) "спасать" меня вздумалъ. Спаситель тоже объявился. И кто васъ проситъ соваться въ мою душу?.. Кто! закричалъ онъ гнѣвно. Да и много вы смыслите въ чужой душѣ... Вамъ нравится болтать красивыя фразы? Ну, и Богъ васъ люби, болтайте себѣ на здоровье... Да меня то вы не трогайте!.. Чѣмъ удивить вздумалъ словами! Эка невидаль! И я сколько хотите хорошихъ словъ наговорю. Что-жъ faites се que je dis et non се que je fais. Важность какая, хорошія слова! Да вамъ вѣкъ не придумать такихъ словъ, какія я придумаю, потому что умнѣе я васъ во сто разъ и плевать я хотѣлъ на то, что вы магистръ...
- Андрей Дмитричъ, началъ Мартыновъ, опомнитесь, вы на себя не похожи!

André злобно и принужденно захохоталь:

— A очень миѣ нужно на себя походить. Этакій, подумаешь, я душка, этакій красавець, что непремѣнно мнѣ нужно въ своемъ образѣ быть... Только такіе птенчики, какъ вы, воображають, что лучше ихъ физіономіи и на свѣтѣ быть не можетъ. Мы, молъ, призваны дѣйствовать на пользу человѣчества. А вся то и польза отъ васъ, что будете вдвоемъ съ какой-нибудь свихнувшейся барышней распѣвать: "грудью впередъ мы на смерть и на муки". Двадцать балбесовъ провозгласятъ васъ апостоломъ свободы, за что ихъ въ надлежащее время выпорютъ гдѣ слѣдуетъ! Ха-ха-ха... Это называется — на грошъ амуниціи и на рубль амбиціи. Охъ, суета суетъ и всяческая суета...

Онъ остановился и опять хлебнуль изъ полштофа. Татьяна сидъла, закрывъ лицо руками. Мартыновъ помогалъ Никитъ подбирать на полу черепки.

— Философъ!—презрительно продолжалъ André,—интересно, какъ-бы вы стали философствовать въ моей шкуръ. Не угодно-ли выслушать краткую мою біографію, тогда и судите, если пороху хватить. Исторія, доложу вамъ, прелюбопытная. (Онъ плотнъе усълся и закурилъ было папиросу, но тотчасъ-же сплюнуль и затопталь ее ногой). Начать хоть съ того, что мои прогоръвшіе рете и mére nobles продали меня бабушкъ въ чаяніи, что она имъ за это наслъдство оставитъ. А бабушка-то только пошутила. Знатная была лицемърка, наша бабуся, даже теперь смъшно вспомнить. Чуть что бывало не по ней, сейчасъ начнетъ стращать, что умираетъ. Глаза заведетъ, ахъ, ахъ... Помнишь, Таня? Тутъ напускали на нее меня. Я подойду и строго такъ: "бабушка, если вы сію минуту не оживете, я пошлю за попомъ". Ну, она и начинаетъ мгновенно оживать... Потъха!.. Вы, чай, ежедневно молились о ниспосланіи всякихъ благъ вашимъ начальникамъ, родителямъ, учителямъ, а я дрался съ своими учителями и щипалъ своихъ гувернантокъ. То-то вотъ и есть!—наставительно прибавилъ André. —

Въ семнадцать лѣтъ, дружочекъ, я уже былъ похожъ на мочалку, и бабушкиному самолюбію втайнѣ льстило, что я такой mauvais sujet. Въ концѣ концовъ я ей опротивѣлъ. Она промѣняла меня на итальянскаго цырюльника, умерла и оставила насъ всѣхъ съ носомъ.

Татьяна встала съ своего мъста и подошла къ нему.

- André, голубчикъ, ложись спать, -- сказала она.
- Не мѣшай (онъ отстраниль ее рукой), видишь, я разговариваю. Ну-съ, мой милый юнецъ, тогда, т. е. послѣ смерти бабуси, я началъ пожинать плоды моего блестящаго воспитанія. Нѣтъ того вертепа, гдѣ-бы я не побывалъ, нѣтъ той грязи, въ которой я бы не вымазался. И узналъ-же я жизнь, узналъ такъ, какъ никогда ее не узнатъ такому размалеванному купидончику, какъ вы. И вотъ я пьяница! что-же! всѣ порядочные люди на Руси были пьяницы. Вы, пожалуй, думаете, что я все это разсказываю, потому что мнѣ стыдно передъ вами? Нисколько! Чего мнѣ стыдиться! Вы всѣ такіе-же фигляры, какъ я... только вы свое фиглярство продѣлываете съ серьезными гримасами и драматическими жестами, а я умнѣе васъ, и знаю, что это бутафорскіе аттрибуты. Финалъ, душа моя, все равно одинъ...

Онъ смолкъ на минуту, опрокинулъ въ горло оставшуюся въ полштофъ водку и мрачно продекламировалъ:

> ...,И схоронять въ сырую могилу, Какъ пройдешь ты тяжелый свой путь, Безполезно угасшую силу, И сивухой разбитую грудь".

При словъ "сивуха" онъ упалъ на кровать лицомъ въ подушку и застоналъ. Онъ рвалъ на себъ волосы, билъ себя кулаками въ грудь, кричалъ, проклиналъ свою долю. Глухія рыданія смънялись пронзительнымъ надорваннымъ, пьянымъ плачемъ.

— Андрюша, голубчикъ, Андрюша, голубчикъ, — безсмысленно повторяла Татьяна, хватая его руки.

Вдругъ онъ повернулся къ стѣнѣ и затихъ. Всѣ моментально замерли. Мартыновъ, на цыпочкахъ, подошелъ къ кровати—André крѣпко спалъ.

- Идите, я васъ провожу, шепотомъ сказалъ онъ Татьянъ.
- Да вы теперь хоть на-крикъ кричите, не услышить,—совершенно громко заявилъ Никита.—Онъ завсегда такъ: набуянитъ, потомъ за бабушку примется и заснетъ.

Мартыновъ и Татьяна вздрогнули отъ громкаго голоса Никиты. Имъ стало душно и жутко въ этой комнатъ, какъ въ жилищъ бъсноватаго.

— Уведите, сударь, Татьяну Дмитріевну. Ступайте, матушка, ишь, на васъ лица нѣтъ,—говорилъ Никита, запирая за ними дверь.

Ихъ охватилъ сырой холодный воздухъ. Они шли молча. Только у дома Татьяна сказала, что пройдетъ маленькимъ ходомъ, чтобы никого не будить. Онъ подалъ ей руку, и они ощупью стали взбираться по темной узкой лъстницъ. Въ библютекъ тускло мерцала оставленная горничной лампочка.

Татьяна почти упала на стоявшій у окна сундукъ. Въ ея широко раскрытыхъ глазахъ стояло такое выраженіе муки и такого безъисходнаго отчаянія, что у Мартынова сердце заныло отъ жалости. Она хотѣла что-то сказать, но губы ея безсильно шевелились, не издавая ни одного звука. Онъ сѣлъ съ ней рядомъ, положилъ ея голову къ себѣ на грудь и сталъ гладить дрожащей рукой ея волосы. Ея блѣдныя губы опять зашевелились.

— Молчите, молчите,—шепталь онъ, привлекая ее къ себъ,—я все знаю, все понимаю...

XIII.

иряевы давно перевхали въ городъ. Григорій Васильевичь не сдержаль даннаго матери объщанія и ходиль къ нимъ очень часто. Онъ такъ привыкъ къ Татьянъ, что отсутствіе ея мучило его, какъ бользнь. Ему необходимо было сознаніе, что она туть, въ комнатъ, двигается, улыбается, читаетъ, говоритъ съ другими, что онъ слышить ея голосъ, шелесть платья, звукъ шаговъ. При одномъ бъгломъ взглядъ на нее, онъ угадывалъ, что она разстроена или огорчена. Обыкновенно бледное лицо становилось еще бледне. Она вся сжималась, умолкала, точно уходила внутрь. На вопросы отв вчала разсвянной улыбков, иногда вспышкой гивва. Съ Мартыновымъ она говорила охотно, даже когда была не въ духв. Она жила очень уединенно. Александра Алексвевича никогда итроп дома было, особенно съ тёхъ поръ, какъ его выбрали въ директоры того общества, гдв онъ служилъ. Онъ ввчно быль въ хлопотахъ, въчно спъшиль на какое-нибудь засъданіе или совъщаніе, а вечера проводиль въ клубъ. Дамы-патронессы были безъ ума отъ его любезности и щедрости и наперерывъ ловили его въ свои комитеты и пріюты. За то дома Александръ Алексвевичь быль не только экономень, но прямо скупь, и благотворительныя дамы, в фроятно, не мало-бы удивились, увидавъ жену своего кумира сгорбленную надъ счетами, волнующеюся изъ-за каждаго истраченнаго гроша. Татьяна не жаловалась, но видимо слабъла и никуда не вывзжала, ссылаясь на нездоровье. Иногда это очень сердило Александра Алексвевича, и онъ начиналъ распространяться о прелести веселыхъ энергическихъ женщинъ, противополагая имъ дряблыхъ и вялыхъ, которыя своимъ постояннымъ нытьемъ поневолъ гонятъ мужей изъ дому, заставляя ихъ искать развлеченій на сторонъ.

- Я сама завидую такимъ счастливымъ натурамъ, отвъчала Татьяна на эти филиппики, только, по правдъ сказать, терпъть ихъ не могу.
- Завидую и терпъть не могу, коротко, но неясно, замъчалъ мужъ.

Всего ненавистнъе были для нея парадные вечера и объды у "нужныхъ людей", на которыхъ Александръ Алексвевичь заставляльее присутствовать. Послв одного такого объда, за которымъ ей пришлось три часа сряду слушать елейную рвчь какого-то важнаго генерала о смягчающемъ вліяніи женщины, ръчь, сопровождаемую краснор вчивыми взглядами и подавленными вздохами. — Татьяна вернулась домой особенно утомленная, внутренно давая себъ слово, что это "въ послъдній разъ". Дома она застала Мартынова. Онъ сидълъ съ Колей и помогалъ ему приготовлять уроки. Катя ужъ спала. Татьяна прошла въ дътскую, рекрестила спящую дівочку и туть же стала сбрасывать съ себя парадное платье. Горничная подала ей широкую блузу и освъдомилась, не желаетъ-ли она чаю.

- Непремънно, подай ко мнъ въ комнату.

Коля, кончивъ уроки, пришелъ къ ней проститься. Она его благословила. Горничная внесла на подносъ два дымящихся мельхіоровыхъ чайника, посуду и поставила все это на круглый столъ передъ кушеткой, на которой полулежала Татьяна.

- Что съ вами?—спросилъ Мартыновъ, когда горничная вышла,—у васъ совсвиъ больной видъ.
 - Ужасно устала.

- Прикажете удалиться?
- Напротивъ, сидите. Я рада видъть, наконецъ, человъческое лицо.

Онъ низко поклонился.

- Полно, пожалуйста, я совсѣмъ не расположена шутить. Господи! чего я только ни наслушалась! а пуще всего о семейномъ счастіи...
 - Это очень интересная тема, сказаль онь серьезно.
 - Конечно, согласилась она и задумалась.
- Татьяна Дмитріевна, началь онъ, отчего вы всегда такъ иронически относитесь къ...
- Къ семейному счастію? досказала она. По очень простой причинѣ: мнѣ не приходилось встрѣчать ни одной счастливой семьи. Съ виду иной разъ все кажется мирно, гладко, но подъэтой гладкой поверхностью всегда скрыто глухое клокотанье. Чаще всего еще это хваленое счастье попадается у людей болѣе или менѣе ограниченныхъ, а такъ называемая культурная среда (по крайней мѣрѣ, та милая ея часть, къ которой я имѣю честь принадлежать) положительно не можетъ имъ похвастаться. И потому, какъ это ни удивительно, но самыя жалкія, больныя, изуродованныя дѣти выходятъ именно въ тѣхъ семьяхъ, гдѣ отцы и матери донимаютъ ихъ своимъ педагогическимъ умничаньемъ.

Татьяна пом'вшала ложечкой свой чай и отхлебнула н'всколько глотковъ.

— А рядомъ, —продолжала она, —смотришь, здоровая, простенькая парочка вывела цёлое гнёздо цыплять. И ростуть они себё, не мудрствуя лукаво, ядреные, румяные, среди родного насёста. Туть и перебранки съ кухарками, перебранки и перемирія между родителями, сюрпризы ко дню ангела, подзатыльники и слезы по по воду дурныхъ отмётокъ; болёзни, облегчаемыя нёжнымъ

уходомъ, передълка стараго трянья на новый ладъ, строгія внушенія—неразсуждать, потому что молоко еще на губахъ не обсохло... И такъ, неустанно, безостановочно кипитъ работа въ этомъ маленькомъ курятникъ. Окръпшіе птенцы вылетаютъ изъ него съ умиленіемъ и благодарностью... Но имъ некогда долго умиляться. Ихъ зоветъ жизнь, процессъ жизни, имъ нужно вить новыя гнъзда, чтобы продолжать туже незамътную, необходимую работу... А тъмъ временемъ нашъ худосочный отпрыскъ, изнервничавшійся, хилый, радъ бы душой обнять весь міръ,—и не можетъ доставить ни минуты покоя ни себъ ни другимъ.

Она прошлась по комнать и остановилась у окна. Луна освътила ея грустное лицо и влажные глаза, въ которыхъ стояли непролитыя слезы.

- Хотите послушаться моего совъта, сказала она, улыбаясь, никогда не женитесь на умной дъвушкъ: слишкомъ много риску.
- Когда сильно, по настоящему, любишь, никакой рискъ не страшенъ, возразилъ онъ.
- A вы върите въ такую всепоглощающую любовь?— спросила Татьяна.
 - Върю.
- А я нътъ. Т. е. я допускаю ее на короткое время, какъ тифъ, напримъръ, или горячку, но какъ хроническое состояніе—мудрено. Я понимаю, что можно до самозабвенія любить дъло, искусство, природу, но не человъка. Человъкъ непремънно натворитъ гадостей...
- Вы, въроятно, никогда не любили, Татьяна Дмитріевна,—сказалъ онъ.

Она засмѣялась.

- Вфроятно.
- Нътъ, серьезно, Татьяна Дмитріевна, вы въ самомъ

дълъ убъждены, что счастливы могутъ быть только ограниченные люди?

- При чемъ тутъ убъжденіе?—промолвила она.—Я не говорю—могутъ бытъ, я говорю—бываютъ, только такіе... простые, безъ затъй, люди съ здравымъ смысломъ, со сметкой... такіе, словомъ, которые не ищутъ... midi à quatorze heures.
 - A вамъ самой хотвлось-бы такого счастья? Она сильно покраснвла.
- Тутъ дѣло не въ хотѣньи, —проговорила она нерѣшительно, —а въ возможности. Я не могу. Есть мастерицы, которыя умѣютъ обмануть не только публику, но даже себя. Публикѣ я тоже не прочь отвести глаза—пускай не жалѣютъ. Ну, а съ собой подруднѣй управиться. Все, кажется, перегорѣло, нигдѣ ни искорки, и вдругъ подъ смиреннымъ пепломъ зашевелятся коварные, живучіе духи. ну, и конецъ. Впрочемъ, что это мы съ вами какъ сойдемся—сейчасъ философствовать. Лучше спойте что-нибудь.
 - Не хочется, Татьяна Дмитріевна. Она помолчала.
- Что-то въ Покровскомъ дѣлается, вздохнула Татьяна, Маруся давно не пишетъ.
- Милое Покровское,—сказалъ онъ.—А знаете, мнѣ, кажется, выйдетъ, наконецъ, мѣсто въ N-ской гимназіи, о которомъ я давно хлопочу.
- Въ самомъ дѣлѣ! воскликнула она. Какъ это хорошо! Уѣзжайте, голубчикъ, это будетъ лучше для всѣхъ, а если нельзя уѣхать, то... ходите къ намъ порѣже, прибавила она тихо и, подойдя къ нему, чуть-чуть провела рукой по его волосамъ, какъ-бы желая этой лаской смягчить жесткость своихъ словъ.

У него закружилась голова. Онъ схватилъ ея руки и прижалъ ихъ къ своей груди.

- Таня,—прошепталь онь, и вь его шепоть зазвучала беззавътная страсть,—Таня, въдь вы меня любите, скажите?
- Люблю,—отвътила она медленно,—но я давно ръшила, что въ глаза своихъ дътей всегда буду смотръть съ спокойною совъстью, чего-бы это мнъ ни стоило.

XIV.

Дрошло около года. На дворѣ стояла глубокая осень. Александръ Алексѣевичъ ходилъ взадъ и впередъ по своему большому кабинету, заложивъ руки за спину. Онъ былъ доволенъ. Ему удалось, наконецъ, стать во главъ очень распространенной газеты, исповъдывавшей самые "трезвые" принципы. Правда, дъло не обошлось безъ публичнаго покаянія въ нікоторыхъ заблужденіяхъ-Александръ Алексевичъ написаль такую отважную статью о спасительномъ вліяніи невѣжества и страха на массу, которая должна была самыхъ отчаянныхъ скептиковъ убъдить въ его солидности. Справедливость требуеть сказать, что Александру Алексвевичу было какъ-то не по себъ первое время послъ этого тріумфа. Онъ избъгалъ встръчаться глазами съ женой, но потомъ это ему надовло, и онъ кончилъ твмъ, что разсердился на нее:--"И чего ей нужно,--разсуждаль онъ,--развъ это ея дъло! Въдь ей же теперь будеть лучше"... Послъдній доводъ его совершенно успокоилъ. Въ кабинетъ постучались.

- Войдите.

Вошла Татьяна.

— Я къ тебъ съ просьбой, Александръ Алексъевичъ,— сказала она.

Онъ разсмъялся и обнялъ ее за талію.

- Какъ это торжественно! Въ чемъ дѣло?
- —Я получила письмо отъ Маруси, —проговорила она, тихонько отстраняя его руки, —она зоветъ меня въ деревню. Пишетъ, что у André отнялись ноги. Папа тоже хвораетъ... Ей одной трудно. Если ты ничего противъ этого не имъещь, я бы съъздила туда.
 - А какъ-же дъти?-возразилъ онъ.
- Катю я бы взяла съ собой, а съ Колей останется m-lle Berthe; онъ все равно до трехъ часовъ въ гимназіи.

Александръ Алексевичъ призадумался.

— Что-жъ, повзжай съ Богомъ,—сказалъ онъ наконецъ,—не захворай только тамъ съ тоски.

Татьяна просидъла нъсколько минутъ молча и поднялась, чтобы уйти. Мужъ ее остановилъ.

- Скажи, кстати, я давно собирался тебя спросить, да все забываль,—отчего это Мартыновъ пересталь къ намъ ходить? Или вы поссорились? и онъ пытливо заглянулъ ей въ лицо.
 - Да, поссорились, отвъчала она, вся зардъвшись.
- Неужели! Вотъ и върь послъ этого женской дружбъ, иронически воскликнулъ Александръ Алексъевичъ.

Дня черезъ три Татьяна, уъхала въ Покровское. Тамъ было тихо какъ въ гробу. Дмитрій Гавриловичъ сильно постарълъ, опустился и почти совсъмъ оглохъ. Онъ по цълымъ днямъ не выходилъ изъ комнаты, читая книги о спиритизмъ и гипнотизмъ. Это сдълалось его маніей. Катерина Андреевна вздыхала, жаловалась и попрежнему писала безконечныя драмы. Домъ держался одной Марусей. Она заботилась и объ объдъ, и объ ужинъ, и о теплъ. Она отвлекала вниманіе отца отъ спиритическихъ книгъ, выслушивала безощибочные разсчеты матери о томъ, что послѣ смерти oncle'я Сержа они ужъ

навърно получать наслъдство. Единственнымъ ея развлеченіемъ были деревенскіе ребятишки, ходившіе къ ней учиться. Ея импровизированная школа вскоръ такъ прославилась, что къ ней стали посылать дътей и изъ другихъ деревень. Но мъстный урядникъ, недовольный высокомърнымъ обращеніемъ Дмитрія Гаврилыча, донесъ куда слъдуетъ, что Обуховская барышня безъ надлежащаго разръшенія занимается не своимъ дъломъ,— и школа Маруси отцвъла, не успъвши расцвъсть. Дома ей тоже досталось.

- Не желаешь ли ты въ соціалистки, брюзжалъ Дмитрій Гавриловичь, въ душъ сильно задътый нанесеннымъ его дочери афронтомъ.
 - Филантропка, язвилъ André.

Катерина Андреевна, не знавшая, чѣмъ утѣшить огорченную Марусю, предложила ей соединенными усиліями нарисовать гербъ Обуховыхъ. Но дочь уклонилась, занявшись, вмѣсто этого, починкой семейнаго гардероба. Маруся очень измѣнилась, похудѣла, поблѣднѣла и смотрѣла совсѣмъ женщиной. Пріѣздъ Татьяны ее несказанно обрадовалъ. Но ее поразилъ видъ сестры. Она никогда не видала на ея лицѣ такого безжизненнаго выраженія. Понявъ своимъ чуткимъ сердцемъ, что не нужно разспрашивать Татьяну, Маруся старалась занять ее разсказами о домашней жизни.

— Ты себъ представить не можешь, что у насъ пропсходить, — говорила она, — André допился до того, что ужъ ходить не можеть. Онъ съ осени перебрался въ павильонъ и живетъ тамъ одинъ съ Никитой. Его комната до того пропахла водкой, что когда войдешь туда, дыханіе захватываетъ. Мама все о наслъдствъ гадаетъ, а папа духовъ вызываетъ. Вчера, вишь, духи ему сообщили, что у насъ въ болотъ торфъ... Теперь будетъ торфъ искать...

- А ты, конечно, бътаешь отъ одного къ другому, уговариваешь, ублажаешь, сказала Татьяна.
 - Что дълать, голубка, у всякаго свой кресть.
- Это правда, промолвила Татьяна, тяжело только отдавать свою свѣжую кровь... даромъ, ни за что. Ты вѣдь не виновата, что крѣпостное право уничтожено, не виновата, что Андрюшенька пьетъ водку со злости, отчего другой, а не онъ, пьетъ шампанское...

Потянулись однообразные осенніе дни. Татьяна читала, работала, играла съ Катей, помогала Марусв по хозяйству. А то просто сядетъ у окна и глядитъ. Мокрая земля усвяна сплошь бурыми и желтыми листьями. Небо заслонили тяжелыя тучи. Деревья оголены, и только кое-гдв мелькаетъ на поникшей въткъ березы ярко-красный листъ, точно пятно румянца на щекъ бъднаго чахоточнаго. Сыро, холодно, туманно... Босоногіе ребятишки шлепаютъ по грязи... Татьяна была почти довольна этой тоскливой осенней неурядицей, приходившейся подъ ладъ ея душевному настроенію.— "Все-таки тутъ спокойнъе",—думала она. И вдругъ вбъгаетъ Маруся, блъдная, съ помутившимся взоромъ.

- Что съ тобой?
- André, лепечетъ она, André чуть на смерть не убился. На четверенькахъ проползъ изъ угольной на балконъ и совсъмъ было ужъ полетълъ внизъ головой... Никита его за ногу усиълъ схватить...
 - Пьянъ?
- Конечно. Господи, есть-ли еще гдв такой адъ, какъ у насъ!

Бъдная дъвушка схватилась за голову и отчаянно зарыдала.

— Маруся, милая, дитя мое... — говорила Татьяна, цълуя и лаская сестру, какъ ребенка.—Въдь я же съ тобой, я тебя никогда не оставлю. Подумай о бъдной мамъ, ей въдь еще хуже, чъмъ намъ. Пойдемъ къ ней...

XV.

Даступили и прошли Рождественскіе праздники. André ужъ съ мъсяцъ не пилъ, притихъ, но кромъ Ни-киты никого къ себъ не пускалъ. Настало двънадцатое января—именины Татьяны. Она провела весь день одна. Маруся съ родителями отправилась въ увздъ, куда Дмитрій І'авриловичь быль вызвань мировымь судьей по дёлу о какой-то давнишней неустойкв. Александръ Алексфевичъ прислалъ письмо, въ которомъ поздравляль жену съ ангеломъ и выражаль сожалфніе, что діла мішають ему прівхать. На дворів гудівла метель. Ночь была темная. Татьяна прошла въ дътскую и, посадивъ на колвни Катю, стала ей разсказывать сказку. Дъвочка слушала-слушала и заснула. Татьяна осторожно раздъла ее, уложила и вернулась къ себъ въ комнату. Ей не хотълось зажигать огня и она сидъла въ темнотъ. Вдругъ ей почудилось точно далекое звяканье колокольчиковъ. – "Должно быть, Маруся, —подумала она и насторожилась. Колокольчики забренчали совсвиъ близко. Она прильнула лбомъ къ окну, но за кружившейся вьюгой трудно было что-нибудь различить. Минуть черезъ десять по лёстницё заскрипфли тяжелые шаги. Нътъ, это не Маруся... Дверь распахнулась. Съ фонаремъ въ рукъ показался Никита, а за нимъ — занесенная снъгомъ, фигура въ енотовой шубъ.

— Къ вамъ, матушка, гость прівхалъ, — объявилъ Никита.

Гость снялъ мохнатую намокшую шапку, и передъ Татьяной очутился Мартыновъ.

- Вы?-еле проговорила она.
- Да, я. Не ждали? Здравствуйте, Татьяна Дмитріевна! Ну, ужъ и погода. Я думаль, не довду.

Никита засвътилъ лампу и ушелъ, сообщивъ, что сейчасъ подастъ самоваръ.

Они остались вдвоемъ. Мартыновъ подошелъ къ Татьянъ и, взявъ ея руки, поцъловалъ.

- Я прівхаль съ вами проститься, сказаль онь, я получиль місто въ N. Мы не скоро увидимся... можеть быть, никогда. Подарите-же мні нівсколько часовь, чтобь было, по крайней мірів, чімь жизнь помянуть. О чемъ-же вы плачете?
 - Я... я рада-промолвила она.

Онъ сълъ съ ней рядомъ и, взявъ опять ея руки, сталъ глядъть на нее. Ее смущалъ этотъ пристальный взглядъ, и она провела рукой по его глазамъ. Онъ улыбнулся.

- Думали вы обо мив? -- спросиль онъ.
- Думала, я часто о васъ думаю.

Никита принесъ самоваръ. Татьяна сама накрыла небольшой столъ въ углу передъ диваномъ, перетерла шитымъ полотенцемъ посуду, сама придвинула Григорію Васильевичу кресло и налила ему чаю.

— Объясните мнв, отчего все что вы ни двлаете, даже самыя простыя движенія, все выходить такъ удивительно хорошо?—спросиль онъ.

Она пожала плечами.

- Никогда не знала за собой такихъ качествъ, и думаю, что они существуютъ только въ вашемъ воображени.
- Я вовсе не такъ слъпъ, а просто вы не такая, какъ другія.
- Ну, конечно, я самая необыкновенная женщина въ міръ,—пошутила она.

- Именно! вотъ съ этимъ я вполнъ согласенъ.
- Оба засмъялись. Она налила ему еще стаканъ.
- Какая у васъ тишина, проговорилъ онъ, оглядываясь, — право, здѣсь можно забыть, что гдѣ-то мучатся, любятъ, ненавидятъ и надрываются люди.

Татьяна вздохнула.

- Ошибаетесь, мой другь, сказала она печально. И на этомъ ничтожномъ клочкъ идетъ своимъ чередомъ въчная исторія нашей земной юдоли. Туты и отцы, и дъти, и старческій эгоизмъ, и отжившее барство, и великій, ежедневный, ежечасный подвигь любви и самоотверженія... А тамъ (она подвела его къ окну), видите, брезжитъ огонекъ, тамъ доигрывается послъдній акть безобразнаго и страшнаго фарса. Тамъ, среди батареи пустыхъ полуштофовъ, въ воздухв, пропитанномъ сивухой, умираетъ послъдній отпрыскъ старинной дворянской фамиліи. Кто правъ, кто виноватъ, — Богъ въсть! Върно, такъ этому и надо быть. Выросла-же на этой гнили такая чистая, любящая душа, какъ Маруся. Помните, тогда, льтомъ, вы говорили о ней. Я только теперь поняла, какая она. Я у нея жить учусь. Когда я прівхала сюда, мив было такъ тяжко-ни на что глядъть не хотълось, даже къ Катъ чувствовала что-то враждебное, точно злилась, зачемъ она стоитъ мне на дорогъ... Но когда я присмотрълась къ Марусиной жизни, меня будто освнило — стыдно, совъстно стало за свой эгоизмъ, за свое малодушіе... Теперь мий легче... Я любию вась по-прежнему, Григорій, даже сильнье, но ужъ не боюсь... Я знаю, что изъ-за этого никто не пострадаетъ.
- А я, Таня?.. Обо мив вы совсвмъ не думаете? произнесъ онъ съ упрекомъ.
 - Нътъ, думаю. Но вы такъ молоды. У васъ еще

все впереди-и любимое дъло, и надежды на личное счастье.

— Не надо, не надо мнѣ безъ тебя никакого счастья,— заговорилъ онъ прерывающимся голосомъ и приникъ головой къ ея колѣнамъ.—Такъ, какъ я тебя люблю, я ужъ больше никого любить не буду... не могу и не хочу.

Она погладила его наклоненную голову

- Заснуть-бы такъ лѣтъ на пятьдесятъ, прошепталь онъ.
- Развъ можно желать сна, т. е. смерти, когда жизнь только начинается,—возразила она.—Вы молоды, здоровы, свободны.
 - На что мнъ моя свобода!
- Не говорите такихъ дѣтскихъ рѣчей, замѣтила она строго.—На что свобода!.. Да вѣдь свободный человѣкъ и страдаетъ иначе, чѣмъ рабъ!

Въ ея голосъ послышалось подавленное рыданіе. Она прислонилась къ спинкъ дивана и закрыла глаза. На церковныхъ часахъ мърно и гулко пробило двънадцать ударовъ.

— Скоро мив вхать, — сказаль онъ.

Она встала съ своего мъста, прошлась по комнатъи, приблизившись къ нему, вдругъ обвила его шею руками.

— Вотъ теперь, —заговорила она, —и слезы заструились одна за другой по ея щекамъ, теперь, когда нужно быть твердой — меня покидаетъ мужество. Чтобы ни говорилъ разсудокъ, я чувствую только одно, что ты увзжаешь, что тебя не будетъ со мной... и я останусь одна... хуже, чѣмъ одна. О, Господи, какое это счастье быть одной... Я сейчасъ говорила о Марусѣ, о томъ, что ей хуже, чѣмъ мнѣ... Неправда! Въ сравненіи съ моей, ея судьба — блаженство. Ее мучатъ отецъ, мать, братъ... Но она придетъ въ свою комнату и хоть въ грезахъ можетъ представить себѣ иную жизнь. Для меня нѣтъ

надежды. Я кругомъ запечатана... Эти мгновенья, которыя ты провелъ со мной... развъ они мнъ въ радость! Въдь они краденыя, милый мой, пойми, краденыя, ворованныя.

Она упала головой къ нему на плечо и зарыдала.

- Дорогая, успокойся,—просиль онь, осыпая поцълуями ея волосы, влажные глаза, щеки.—Твое отчаяніе отнимаеть у меня силы, я ни о чемъ думать не могу.
- Быть на-въки прикованной къ человъку, съ которымъ у тебя все чужое, —продолжала Татьяна, и суровое, почти жестокое выраженіе блеснуло въ ея обыкновенно мягкомъ взоръ, —нътъ предмета, на которомъ-бы мы сошлись. Даже дъти насъ не связываютъ, а разъединяютъ. Что по моему для нихъ полезно, по его—вредно, по моему необходимо, по его—совершенно не нужно. Всъ эти ссоры, крики, дрязги, пошлыя примиренья, весь этотъ угаръ и чадъ жизни вдвоемъ... обязательныя нъжности, законные поцълуи...

Онъ слушалъ ее блъдный, дрожащій.

- Таня!.. но въдь это ужасно такъ жить, —воскликнулъ онъ, —въдь это безнравственно! Отчего вы не уходите!
 - А дъти?
 - Возьмите ихъ съ собой.
- Кто-же мнъ ихъ отдастъ. Да, наконецъ, какое я имъю право лишать отца дътей. Онъ ихъ любитъ. Его жизнь тоже не особенно пріятна, а тутъ я еще дътей отниму. Удивительная справедливость.

Мартыновъ поглядълъ на ея исхудалыя, нъжныя черты.

— Уйди одна, безъ дѣтей... Я тебя увезу съ собой, милая...—произнесъ онъ съ неудержимымъ порывомъ.

Она грустно покачала головой.

— Не могу, - прошептала она. - Я думала объ этомъ,

не разъ думала... Не могу .. Я не выдержу... Вы не знаете, что значить близость съ детьми, постоянная забота о нихъ, сознаніе, что ты для нихъ все. До такой степени сливаещься съ ними, что внъ ихъ прекращается собственное существованіе. Колю было пять лють, когда я вышла за Александра Алексвича. больной, нелюдимый мальчикъ, а ко мнъ прильнулъ съ первой минуты. Скарлатину, тифъ, дифтеритъ—все это я перенесла съ нимъ. Сколько разъ онъ умиралъ на моихъ рукахъ... я своимъ дыханіемъ, своимъ тъломъ согръвала его коченъющіе члены... Я отнимала его у смерти. И теперь, ночью мив иногда вдругъ почудится его кашель, и я ужъ не могу спать. Правда, иной разъ невольно подумаешь: эхъ, кабы не дъти... А тутъ вдругъ придетъ Коля: мамочка, помоги мнв сдвлать задачу... Или Катя прибъжитъ, вся красная, обнимаетъ, лепечетъ: ты моя, ты моя... а я чувствую, что я-не ея... и такъ стыдно станетъ, такъ жалко... Бъдныя дъти! Да... самая страшная, мертвая петля, это-дътскія ручки, которыя обвиваются вокругъ вашей шеи... изъ нея ужъ не вырвешься.

Голосъ у нея пресъкся. Она прижала къ губамъ платокъ.

- Но выходять-же другія женщины изъ подобныхъ положеній? сказаль Мартыновъ.
 - -- Очень немногія: большинство терпить ради дітей.
 - Это ужасно.

Она подняла на него заплаканные, прекрасные глаза.

- Да... не легко отдавать капля по каплѣ свою жизнь... когда въ сердцѣ кровь бьетъ ключомъ, когда рядомъ счастье... А вы сказали—"безнравственно",—промолвила она съ горечью.
 - Прости меня, Таня, прости, моя милая, моя чи-

стая!.. Я тебя не стою, —произнесъ онъ, глубоко растроганный, и заплакалъ.

На дворъ попрежнему выла метель. Вътеръ жалобно стучался въ окна. У крыльца затявкали собаки.

— Это—вашъ ямщикъ. Пора,—промодвила она беззвучно.

Онъ вытеръ глаза и подощелъ къ ней.

— Да, Таня, пора!—сказаль онъ съ усиліемъ. — Но знай, куда-бы я ни увхаль, гдв-бы я ни жиль, что бы со мной ни произошло—память о тебв сохранить меня отъ всего нечистаго. Я буду честнымъ челов вкомъ, Таня. Прощай... Благослови меня.

Она перекрестила его и поцъловала холодными, какъ у мертвой, губами.

Онъ на-скоро накинуль шубу и, открывь дверь, быстрыми шагами сбъжаль съ лъстницы. Черезъ минуту раздался протяжный звонъ колокольчиковъ, еще минута,—и вмъсто звона долеталъ лишь заунывный, замирающій звукъ... все тише... все дальше... наконецъ, и онъ смолкъ... А наверху, прижавшись лицомъ къ замерзшему стеклу, стояла Татьяна и, глядя въ мглу, повторяла:

— Кончено... кончено... кончено.

XVI.

Татьяна точно замерла. Она даже не хандрила, а какъ-то застыла въ своей печали. Каждое утро, когда она просыпалась, ей приходила въ голову одна и та же мысль: вотъ опять день наступиль, и зачѣмъ только онъ наступиль, поскорѣй-бы ночь... Она старалась скрыть свое состояніе отъ домашнихъ, но это ей плохо удавалось. Маруся замѣчала, какъ она сидитъ надъ книгой, и, машинально перевертывая страницы, дѣлаетъ видъ,

что читаетъ,—какъ безмолвно выслушиваетъ нескончаемыя родительскія сѣтованія, или разсказываетъ Катѣ сказки и вдругъ, забывшись, умолкаетъ на полусловѣ. Дѣвочка начинаетъ ее теребить:—мама, дальше...

- Дальше,—словно просыпаясь, повторяеть мать,— да въдь ужъ я все сказала.
- Нътъ, не все! ты сказала Иванушка вырвалъ у жаръ-птицы изъ хвоста перо! — и остановилась.
 - Ну, тутъ и конецъ.
- Неправда, а какъ Иванушку къ царю повели, ты пропустила.
 - -- Такъ въдь ты это знаешь, Катя.
 - А ты все-таки разскажи!
- Поди ко мнѣ, Катя,—вмѣшивается Маруся,—мама устала.
- Не хочу, чтобы мама устала,—капризно заявляетъ дъвочка и приготовляется заревъть.
- Пожалуйста, не кричи,—говорить мать,—у меня голова болить... иди ужъ сюда.

Катя, довольная своей побъдой, забирается къ ней на кольни, и она опять принимается мърнымъ, равнодушнымъ голосомъ за прерванную сказку.

- Tu la gâtes, —замѣчаетъ Маруся.
- Не все-ли равно...
- Elle sera égoiste, —продолжаетъ Маруся.
- Tout le monde est égoiste, ma chère, elle sera comme tout le monde.

Маруся вздыхаеть и прекращаеть разговоръ.

Ночью Марусю, спавшую въ одной комнатѣ съ сестрой, разбудилъ какой-то неясный шумъ. Она раскрыла глаза и увидала Татьяну, сидящую на кровати и глухо, неудержимо рыдающую. Дѣвушка въ одинъ мигъ спрыгнула на полъ и подбѣжала къ ней.

- Милая, Господь съ тобой, чего ты?..

— Ничего, Маруся, просто нервы... это сейчасъ пройдетъ.

Маруся недовърчиво покачала головой.

- Развъ я не вижу, какъ ты мучишься, промолвила она грустно. У тебя горе, Таня, ты несчастна... да?
- А ты счастлива? возразила Татьяна.—А мать наша счастлива! всъ несчастны. Есть о чемъ разговаривать...
- Но у тебя особенное несчастіе... я знаю! Таня, прошептала она, обнимая ее,— Таня, ты не любишь мужа?
- Удивительное открытіе, съ горечью промолвила Татьяна.

Маруся заплакала.

- Это ужасно, это самое ужасное, что только есть на свътъ...
- Нѣтъ, есть еще болѣе ужасное, это любить другого,—какимъ-то безучастнымъ тономъ проговорила Татьяна.

Маруся испуганно взглянула на сестру.

— Ты любишь другого, этого...—воскликнула она и не докончила.

Татьяна не отв'ячала.

- Это грѣхъ, это страшный грѣхъ,— говорила, волнуясь, Маруся.
 - Ну, гръхъ, и прекрасно. Оставь меня.
- Зачѣмъ ты сердишься?—кротко промолвила Маруся. Вѣдь я не съ тѣмъ говорю, чтобы укорять... Мнѣ тебя жалко, Таня... Ты вѣдь потому чахнешь, что это грѣхъ, тебя совѣсть мучитъ.
- — Да я ничего такого преступнаго не совершила,
 — какъ бы защищаясь, прошептала Татьяна.
 - Въ душъ совершила—измънила мужу и дътямъ.
- Какъ ты сурова, Маруся, и какъ трудно знать, была-ли бы ты сама лучше въ моемъ положеніи.

- Можетъ быть, была бы гораздо хуже... Вѣдь не осуждаю я тебя, дорогая моя, пойми—я говорю только— надо взять себя въ руки.
- Я... я стараюсь, произнесла Татьяна слабымь, упавшимъ голосомъ.
- Уъхать бы тебъ куда-нибудь подальше, размышляла вслухъ Маруся, отдохнуть среди незнакомыхълицъ... ты бы скоръй пришла въ себя.

Татьяна усмъхнулась.

- Куда я повду... Это только въ романахъ, герои, для излвченія сердечныхъранъ, отправляются въ интересныя путешествія. Въ двиствительности двло обходится проще, потому что никому въ сущности двла нвть до того, болитъ у тебя душа, или блаженствуетъ. Все кричитъ—вшь, пей, спи, когда мы вдимъ, пьемъ, спимъ; подавай лвкарство, когда мы больны, смвися, когда намъ весело, развлекай, когда скучно,—словомъ, живи...
- Что дѣлать! со вздохомъ возразила Маруся,— насильно ничего не возьмешь. Можетъ быть, есть такіе счастливцы, у которыхъ все течетъ, какъ по маслу, такъ вѣдь это исключенія. И, знаешь, если-бы мнѣ предложили попасть въ число этихъ счастливцевъ... я бы, кажется... отказалась. Таня!—воскликнула она,—и голосъ ея зазвенѣлъ, какъ натянутая струна, милая, дорогая сестра, вспомни, вѣдь ты же меня учила, что нельзя наслаждаться, когда вездѣ, вездѣ, куда ни заглянешь, столько горя. Таня, одолѣй себя, ради дѣтей... ради меня... Если я потеряю вѣру въ тебя, я пропаду.

Она протянула впередъ дрожащія руки. Изъ ея прекрасныхъ глазъ текли слезы, скатываясь крупными, свътлыми каплями на пылающія щеки, на плечи, на трепещущую молодую грудь... Татьяна тяжело дышала.

— Перестань, Маруся, —тихо произнесла она, —не плачь такъ, не дълай мнъ больно... Я тебъ даю слово, что справлюсь съ собой. Такія вещи не даются сразу. Надо перетерпъть... Ты мнъ поможешь?

Вмѣсто отвѣта, Маруся схватила руки сестры и страстно прижала ихъ къ своимъ губамъ.

XVII.

Тасталь марть. Солнце весело засіяло съ помолодівшаго неба. Съ деревьевь закапала вода. Сквозь талый бурый снівгь містами выступила черная земля. Птицы цізлыми стаями різяли въ воздухів. Татьяна съ виду почти оправилась. И она, и Маруся, точно по молчаливому обоюдному соглашенію, никогда не касались той ночи, когда Татьяна выдала сестрів свою тайну. Приближалась Пасха, и Маруся напрягала всіз усилія своего ума, какъ бы получше ее справить. Къ празднику ждали Александра Алексівича съ Колей. На Страстной Маруся собиралась говіть.

- А ты будешь?—спросила она Татьяну.
- Нять, —односложно отвътила та.

Но Марусъ тоже не пришлось говъть.

На пятой недълъ поста у André начались припадки удушья. Вызванный изъувзднаго города докторъ объявилъ, что это смерть идетъ. André догадался о своемъ положеніи и упалъ духомъ, но старался это скрыть подъ усиленной грубостью. Катерина Андреевна стала его упрашивать принять священника. Онъ глянулъ на нее мелькомъ и пропълъ дребезжащимъ фальшивымъ голосомъ:

..... "Въ могилъ гробъ",

но вдругъ остановился и насмъппливо проговорилъ:

— А знаете, maman, пьяницы въдь долго не гніютъ... И вдругъ...

Катерину Андреевну объялъ настоящій ужасъ отъ словъ Апdré, и она только съ большимъ трепетомъ рѣшалась приближаться къ нему. Но сестры не отходили отъ него. Онъ, казалось, не обращалъ никакого вниманія на ихъ присутствіе. Однажды, зайдя къ нему, онъ услышали, какъ онъ поетъ: "Господи, упокой душу усопшаго раба твоего Андрея". Онъ подумали, что онъ бредитъ. Маруся подошла къ кровати. Апdré поглядълъ на нее совершенно сознательно.— "Это, говоритъ, я маленькую репетицію произвожу. Ты, Маруся, будешь обо мнъ плакать? Ну, конечно, будешь! Ты, въдь, моя милая, заячья душа, какъ же тебъ не плакать?"

За нѣсколько часовъ до смерти онъ сказалъ ей:

— Вотъ тебъ мой завътъ, Маруся! отдай ты нашихъ père и mère nobles въ богадъльню и уходи изъ "Прогорълаго", куда глаза глядятъ... хоть къ Танъ, если тебъ не очень претитъ ея милый супругъ.

Маруся присъла къ нему на кровать и, приподнявъ съ подушекъ его высохшую, посъдъвшую голову, насильно прижала къ своей груди.

— Андрюша,—заговорила она, лаская и цѣлуя его, милый, примирись, прости, не ожесточайся, прости...

Онъ отвернулся къ стѣнѣ и заплакалъ. Сердце его умилилось. Онъ велѣлъ позвать родителей и принялъ священника. Послѣ причастія онъ долго цѣловалъ руку матери. Никита опустился на колѣни у изголовья своего барина, слезы струились ручьемъ по его старымъ щекамъ, и онъ все твердилъ:

- Простите меня, батюшка, Андрей Дмитричъ.
- Былъ Андрей Дмитричъ, да весь вышелъ! Прощай, Личардушка, другъ единственный,— сказалъ ему André.

Онъ скончался ночью, прислонившись щекой къплечу Маруси.

Апdré опустили въ фамильный склепъ, надъ которымъ онъ столько острилъ при жизни, вычистили, вымыли и заперли павильонъ, въ которомъ онъ провелъ послъднюю зиму, и какъ-то такъ скоро забыли о немъ, точно прошло не двъ недъли послъ его смерти, а, по крайней мъръ, два года. Всъ испытывали какъ-бы смутное чувство облегченія, что его нътъ. Одинъ только Никита не могъ привыкнуть къ исчезновенію своего барина. Ему словно чего-то недоставало. Онъ осунулся и на всъхъ посматривалъ съ укоризной – дескать обрадовались...

На праздники прівхали Александръ Алексвевичъ и Коля. На Татьяну напаль безотчетный страхъ. Она говорила, улыбалась, ласкала Колю, и въ то-же время ей казалось, что все это двлаеть не она, а кто-то другой, посторонній, что она туть не при чемъ, и какъ удивительно, что никто этого не замвчаетъ.

Александръ Алексвевичъ быль въ духв, острилъ, разсказывалъ новости, подшучивалъ надъ женой, что она молчалива и блвдна, какъ Пушкинская Татьяна, и спрашивалъ, нвтъ-ли тутъ гдв по близости Онвгина. Татьяна не отввчала. Она въ эту минуту вспомнила, что на диванчикв, гдв теперь развалился Александръ Алексвевичъ, сидвлъ, понуривъ темно-волосую голову, Мартыновъ. Александръ Алексвевичъ, обиженный молчаніемъ жены, всталъ, потянулся и хотвлъ было уйти, но раздумалъ, подошелъ къ Татьянв и обнялъ ее. Она содрогнулась.

- -- Что съ тобой?--спросилъ овъ.
- Ничего, просто холодно немножко.
- Право, можно подумать, что ты недовольна нашимъ пріъздомъ, такая ты кислая.

— Нѣтъ, я довольна,—отвѣтила она, а въ груди томительно заныло сердце...—«Лжешь, лжешь», звучало ей въ каждомъ его замираніи, «и всегда будешь лгать, и сегодня, и завтра, и до могилы»...

Александръ Алексвевичъ былъ раздраженъ.

"Вотъ житье, —думалъ онъ, —работаешь, не разгибая спины, въ кои-то въки узришь супругу, а она физіономію воротитъ. Охъ, эти серьезныя женщины! чортъбы ихъ побралъ"...

Онъ сажалъ къ себъ на спину Катю и бъгалъ съ ней по комнатамъ, продълывая разныя акробатическія штуки. Разъ онъ повезъ ее кататься въ цъломъ обществъ деревенскихъ ребятишекъ. Пріъхали домой поздно. Катя была необыкновенно оживлена, болтала, прыгала, такъ что ее съ трудомъ уложили.

Ночью Татьяну разбудиль пронзительный крикъ дѣвочки. Она бросилась къ ея кроваткѣ и увидала, что она лежить, разметавшись, въ жару, и бредить. Въ головѣ Татьяны, какъ ударъ ножа, пронеслась мысль—"это мнѣ въ наказаніе"... У Кати открылась скарлатина. Татьяна не отходила отъ нея ни днемъ, ни ночью... Вся ея апатія разомъ исчезла. Исчезло все, что такъ терзало и грызло ее больше году; поблѣднѣлъ и стушевался образъ Мартынова. Все вдругъ показалось ей мелкимъ, ничтожнымъ передъ страданіями этой крошечной дѣвочки.

- Это мив въ наказаніе, это мив въ наказаніе, безпрестанно повторяла она себв, глядя на воспаленное личико Кати, на ея пылающее, сплошь усвянное красными пятнами, твло.—Господи, спаси ее, и я все забуду, все, кромв двтей, страстно взывала она въ безконечныя, безсонныя ночи.
- Танюща, ты бы пошла отдохнуть, я вмёсто тебя посижу,--ласково говориль ей мужъ.

Она только головой качала.

Одна Маруся понимала, что ей не слъдуетъ мъшать, что въ этомъ страданіи ея исцъленіе.

— Таня,—говорила она своимъ кроткимъ голосомъ,— Таня, милая, не бойся, она выздоровъетъ.

Татьяна сидѣла надъ дѣвочкой ужъ десятую ночь. Въ комнатѣ слабо теплилась лампадка. Катя спала, тяжело дыша. Усталые глаза Татьяны стали смыкаться. Вдругъ она заслышала у двери какой-то шорохъ... встрепенулась—и въ полумракѣ увидала Колю, босоногаго, съ разстегнутымъ воротомъ рубашки.

- Коля, чего тебъ, милый?
- Мамочка, мамочка,— прошепталъ мальчикъ и, обнявъ ея шею, горько заплакалъ.
- Что ты, голубчикъ, о чемъ?—спрашивала она, посадивъ его къ себъ на колъни и гладя по головъ.
- Мамочка,—истерически всхлипывалъ онъ,—лучшебы мнъ быть больнымъ вмъсто Кати. Ахъ, какъ я хочу умереть!..
- Что съ тобой, Коля, перестань. Развъ можно говорить такія слова! Это гръшно.
- Нѣтъ, нѣтъ! если-бы я умеръ, ты бы не такъ огорчалась.
 - Съ чего это ты взялъ?
- Потому что я не настоящій твой сынъ, а Катя твоя родная дочь.
- И тебъ не стыдно, Коля! Развъ я тебя меньше люблю? Ты меня очень, очень обидълъ.
- Мама, прости меня, но что-жъ мнѣ дѣлать! Мнѣ показалось, что ты меня разлюбила. А я... а я... я вѣдь тебя больше всѣхъ люблю, больше папы, больше всѣхъ на свѣтѣ.

Коля совсёмъ захлебывался отъ слезъ.

— Полно, мой мальчикъ, полно, успокойся. Въдь ты

ужъ не маленькій, ты долженъ понимать. Если я не была съ тобой такъ ласкова, какъ всегда, это не потому, что я тебя разлюбила... Я сама была больна, разстроена... Потомъ Катя захворала. Развѣ тебѣ ее не жаль! Посмотри, какъ она, бѣдная, страдаетъ! Ну что, ты успокоился?

- Да, мамочка, прости меня. Я гадкій мальчишка. Только знаешь, прівзжай назадъ въ городъ. Мнѣ безъ тебя такъ не хорошо... и учусь плохо. Скучно очень... Папы никогда дома нѣтъ, а когда и прівдетъ, то все съ m-elle Berthe сидитъ и ссорится съ ней.
- Теперь ужъ недолго, Коля. Къ экзамену ты постарайся, а лѣтомъ опять будемъ вмѣстѣ заниматься. Катя, Богъ дастъ, поправится... Но если ты меня любишь, никогда не поддавайся такимъ дурнымъ мыслямъ. Нельзя требовать, чтобы всегда были заняты только тобой. Нужно и о другихъ думать, мой мальчикъ... А теперь ступай спать, а то мы своимъ шушуканьемъ еще Катю разбудимъ.
 - Позволь мий посидить съ тобой?
- Нътъ, милый, иди; хоть у тебя и была скарлатина, а все-таки я боюсь...

Она нъжно поцъловала его и тихонько толкнула къдвери.

Оставшись одна, она кръпко задумалась.

— "И этотъ мальчикъ почувствовалъ, что я ужъ не та... Дѣтямъ своимъ измѣнила, какъ говоритъ Маруся. Видно, нельзя служить двумъ богамъ .. Только-бы она выздоровѣла, только-бы выздоровѣла—и я уйду въ нее, въ Колю. Пусть они будутъ хорошіе, честные... Мнѣ ничего больше не нужно"...

Она опустилась на полъ и приникла головой къ ногамъ дъвочки. Безмолвныя, горячія слезы падали изъ

ея глазъ на простыню и одъяло. Вдругъ Катя повернулась, протянула свои исхудалые пальчики и коснулась ими лица матери.

— Мама, мит лучше, — промолвила она слабымъ голоскомъ, — не плачь! — и, вздохнувъ, опять заснула.

XVIII.

Минуло шесть лътъ.

Почтовый повздъ съ визгомъ и свистомъ подкатилъ къ X-скому вокзалу. Носильщики бросились къ вагонамъ, наперерывъ предлагая свои услуги пассажирамъ. Изъ купэ второго класса выпрыгнулъ господинъ, лѣтъ тридцати двухъ-трехъ, передалъ носильщику сакъ и багажную квитанцію и отправился нанимать извозчика. Это былъ нашъ старый знакомый, Григорій Васильевичъ Мартыновъ. Онъ возмужалъ, поширѣлъ, окрѣпъ. Круглая, темнорусая борода солидно обрамляла его загорѣлое лицо. Но общее выраженіе мало измѣнилось; также мягко и задумчиво смотрѣли изъ-подъ тонкихъ бровей черные глаза, таже добродушная усмѣшка блуждала на полныхъ губахъ.

Всё эти годы Григорій Васильевичъ провель въ N*, одномъ изъ южныхъ приморскихъ городовъ, учителемъ словесности, сначала въ мужской, а впоследствіи и въ женской гимназіи. Вмёстё съ нимъ туда поёхала и мать его съ неизмённой Анисьюшкой. Софья Петровна была наверху блаженства. Въ N* ея Гриша снова и всецёло принадлежалъ ей. Никуда онъ, кромё гимназіи, не ходилъ, ни съ кёмъ не желалъ знакомиться. Конечно, отъ ея ревниваго взора не могла укрыться молчаливая грусть сына, блёдность его щекъ, дрожащія капли слезъ, которыя нётъ-нётъ блеснуть на его рёс-

ницахъ и мгновенно высохнутъ, какъ-бы поглощенныя внутреннимъ огнемъ... Она ловила его долгіе вздохи и утѣшала себя мыслью, что главная опасность миновала, что рана не серьезна и скоро заживетъ. Дѣйствительно, мало-по-малу, здоровая натура Григорія Васильевича взяла верхъ. Образъ Татьяны еще царилъ въ его душѣ. Но этотъ милый, печальный образъ уже не простиралъ къ нему трепетныхъ рукъ въ безсонныя ночи, а кротко сіялъ, уходя глубже и глубже въ туманную и сладостную даль, которая зовется воспоминаніемъ.

Григорій Васильевичь полюбиль учениковь, и ученики его полюбили. Онъ не блисталъ краснорвчіемъ, не торопился навязывать свои симпатіи, но въ его простой ръчи, задушевномъ голосъ, мягкихъ глазахъ теплилась глубокая, продуманная любовь къ избранному делу. Ему никогда не надовдало повторять одно и то-же; напротивъ, казалось, что, разбирая въ десятый разъ какоенибудь произведеніе, онъ самъ находиль въ немъ чтото такое, чего не замътилъ раньше. Ясный умъ, благоговъніе передъ знаніемъ, откуда-бы оно ни шло, отсутствіе національных в и других в предуб вжденій влекло къ нему учениковъ, съ которыми онъ обращался совершенно свободно, неръдко выручая ихъ изъ бъды. Онъ не останавливаль своего вниманія исключительно на "звъздахъ" класса, а стремился, наоборотъ, пробудить мысль и въ слабыхъ ученикахъ, и они чувствовали, что они близки сердцу учителя не менве своихъ блестящихъ товарищей. Въ классъ Мартынова слышались смъхъ, шутки, но вмъсть съ тъмъ въ его манерь держаться чувствовалась деликатная осторожность, устраняющая всякую возможность фамильярничанья. Начальство и товарищи относились къ нему снисходительно: онъ не совался впередъ, не возбуждаль ничьей зависти и не даваль частныхъ уроковъ.

Такъ прошло пять лътъ. Въ это время, внезапно, прохворавъ всего нъсколько дней, скончалась Софья Петровна. Эта потеря его ошеломила. Онъ остался одинъ, и его охватила гложущая тоска одинокаго человъка, сознающаго, что до него никому нътъ дъла.

Анисьюшка своимъ въчнымъ хныканьемъ и причитаньемъ только раздражала его. И вотъ изъ окутывавшей его мглы опять выплыль образъ Татьяны, и ему неудержимо захотълось взглянуть на нее. Всъ эти годы онъ не теряль ее изъ виду. Изъ рѣдкихъ писемъ Маруси онъ зналъ, что она здорова. Объ Александръ Алексъевичъ Маруся никогда ничего не сообщала, но, по газетамъ и доходившимъ до него слухамъ, Мартынову было извъстно, что мужъ Тани давно "особа", что мнънія его пользуются большимъ авторитетомъ въ вліятельныхъ сферахъ, что единомышленники передъ нимъ раболъпствують, а противники боятся, ибо Александръ Алексвевичъ не стъсняется въ выборъ средствъ для борьбы. "Каково-то ей теперь живется съ этимъ современнымъ героемъ?" — думалъ Мартыновъ о Татьянъ, и чъмъ больше онъ объ этомъ думалъ, тёмъ сильнее хотелось ему увидать ее. Это желаніе перешло наконець въ бользненную потребность и, воспользовавшись пасхальными каникулами, онъ убхалъ въ Х*. Мартыновъ остановился въ скромныхъ меблированныхъ комнатахъ, съ лихорадочной торопливостью привель въ порядокъ свой туалетъ и помчался въ адресный столь справиться объ адресъ Ширяевыхъ. Они жили на аристократической улицъ, въ хорошенькомъ зеленомъ домикъ съ колоннами. Съ сильно бьющимся сердцемъ дотронулся онъ до пуговки воздушнаго звонка. Дверь открыль степенный лакей, во фракъ и бъломъ галстукъ.

[—] Дома Татьяна Дмитріевна?

- Дома-съ, только онъ заняты. Какъ прикажете о васъ доложить?
- А вы совствить не докладывайте, —мить не къ ситъху, я подожду, пока она кончитъ.

Лакей въ нервшительности посмотрвлъ на него. Мартыновъ почувствовалъ, что краснветъ.

— Я старый знакомый Татьяны Дмитріевны, — поясниль онь, и хочу ее удивить.

Лакей чуть-чуть осклабился.

- Слушаю-съ, пожалуйте, я проведу васъ въ ихній кабинетъ, -- сказалъ онъ, -- и снявъ съ гостя пальто, повелъ его, тихо ступая по коврамъ, черезъ анфиладу чопорно убранныхъ комнатъ. Въ кабинетъ лакей оставиль его одного. Это была небольшая, очень просто обставленная комната. Ситцевая свётлая мебель, ситцевыя драпировки на дверяхъ и окнахъ. Въ углу піанино. Надъ письменнымъ столомъ три большихъ портрета, въ плюшевыхъ рамахъ: Маруси, Коли и Кати. Единственную роскошь составляли цвъты. Ихъ было множество на окнахъ, на полу, на подставкахъ. Въ глиняныхъ горшкахъ доцвътали голубые гіацинты, рядомъ бълъли пышнымъ кустомъ азаліи. Надъ кушеткой, очень низко, такъ что до нея можно было достать рукой, висвла полка съ книгами. Тутъ были шедевры европейской литературы. На самой кушеткъ лежала раскрытая книжка. Мартыновъ узналь небольшой томикъ стихотвореній Гюго, который когда-то подариль Татьянь. Онъ взяль книжку и съ какою-то благоговъйною нъжностью поднесь ее къ губамъ. Вдругъ до него донесся голосъ... Да, это-милый, грудной голосъ Тани, но какой-же онь усталый.
 - Кончила, Катя?
- Нѣтъ, мама, погоди немножко, сейчасъ допишу. Ахъ, мамочка, я все путаю эти противныя прилагатель-

ныя. Вотъ и тутъ не знаю, какъ написать: бидныя дивочки или бидные дивочки. Кажется, совсѣмъ твердо знаю и вдругъ запнусь.

- То-то и есть, что не совсѣмъ твердо. Ты вникни хорошенько въ правило. Прилагательное согласуется съ существительнымъ, къ которому относится, въ родѣ, числѣ и падежѣ. Ты вѣдь не скажешь—"бѣдный дѣвочка". Постарайся запомнить родовыя окончанія единственнаго и множественнаго числа, тогда не будешь путать. Къ слѣдующему разу напиши побольше склоненій.
- Хорошо, мамочка. А "Les hommes illustres" мы не будемъ сегодня читать?
 - Нътъ.
- Мама, можно мнъ съ Матрешей къ тетъ Марусъ поъхать?—вкрадчиво попросила дъвочка.
- Тетя сегодня прівдеть къ намъ, а въ воскресенье я тебя отпущу къ ней. Собирай книги, Катя, одвнься и побъгай по двору.
- Татьяна Дмитріевна, васъ какой-то господинъ дожидается,—произнесъ голосъ лакея.
 - Кто такой, не знаешь?
- Никакъ нътъ-съ! онъ фамиліи не сказываетъ. Я, молъ, барынинъ знакомый.

Татьяна удивилась. Она подумала: върно, кто-нибудь просить занятій, и ей уже представилось, какъ она сейчась будеть произносить банальную фразу, что она "постарается", хотя, конечно, это зависить отъ Александра Алексъевича... Нельзя-же разсказывать первому встръчному, что она Александра Алексъевича никогда ни о чемъ не просить, да если бы и попросила, изъ этого ровно ничего-бы не вышло.

Размышляя такимъ образомъ, она быстро открыла дверь кабинета и, вся вспыхнувъ, остановилась на по-

рогъ. Передъ ней, протягивая руки, стоялъ Мартыновъ и глядълъ на нее влажными глазами. Первое изумленіе прошло. Она оправилась и дружески подала ему руку. Онъ такъ и припалъ къ ней.

- Какъ я радъ, какъ-же я радъ васъ видѣть! говорилъ онъ восторженно. Вѣдь я тутъ давно сижу, подслушивалъ, какъ вы Катъ урокъ давали.
- Это вы въ N* пріобрѣли похвальную привычку подслушивать у дверей?—спросила она, смѣясь.
- Въ N*, тутъ, гдѣ хотите... Боже, до чего я счастливъ! Ну, какъ-же вы, милая, дорогая, родная! какъ здоровье? Все такая-же... прелестная, только похудѣла немножко.

Онъ окинулъ вглядомъ ея изящную, стройную фигуру, въ простомъ темномъ платьъ.

- "Такая-же" проговорила она, это я принимаю прямо за комплименть. Посмотрите, хорошенько: пожелтьла, постарыла, посыдыла; выдь у меня ужь сынь сы вась ростомы. А воты вы такъ молодецы! Боже мой, какъ все это давно было, т. е. наше знакомство. Право, даже не вырится, что это было, точно старую сказку вспоминаешь, такъ все измынилось кругомы.
 - Я не измѣнился, -сказалъ онъ тихо.
- Полноте, полноте, и вы измѣнились, и я, и Маруся, и Катя, и всѣ, и все...

Она говорила необыкновенно быстро, точно заранѣе сердясь, что ей могутъ не повърить.

- Зачыть вы такъ со мной говорите? произнесь онъ съ какимъ-то печальнымъ укоромъ.
 - Какъ?
- Да такъ, неискренно. Въдь я другъ вашъ, въдь я люблю васъ, какъ самую милую, дорогую сестру. Всъ эти годы я слъдилъ за вами. То чувство, отъ котораго я бъжалъ шесть лътъ тому назадъ, прошло. Если-бъ

оно не прошло, я бы не прівхаль. Я сохраниль его въ своей душв, какъ лучезарную грезу юности. А вы—вы какъ будто стыдитесь, какъ будто боитесь, чтобъ я не напомниль вамъ прошлаго.

Она поблѣднѣла и опустила голову. Онъ взялъ ея руку.

- Таня, хорошая моя, какъ вамъ живется?
- У меня діти, промолвила она, я вся въ нихъ, я прижилась къ своей жизни... А себя я какъ-то не чувствую. Иной разъ мнв кажется, что настоящая лумерла. Право, иногда я даже себя во снъ вижу такою, какою я была прежде. Другъ мой, не подумайте, что я притворяюсь. Ну да, сначала вы застали меня врасплохъ, я растерялась... но теперь я совершенно искренна. Тяжело было очень... Меня спасли любовь дътей и Маруся. Что это за дъвушка! Отецъ и мать въдь умерли. Она до того привыкла няньчиться съ нашими бъдными стариками, что послъ смерти мамы, которая пережила отца на одинъ мъсяцъ-бродила какъ въ воду опущенная. Наконецъ, послъ долгихъ хлопотъ, ей удалось, благодаря протекціи Александра Алексвича, получить мъсто начальницы въ здъшнемъ Сиротскомъ пріють. Тутъ Маруся ожила. Она перенесла всю любовь своего сердца съ семьи на пріютскихъ дітей, и если-бъ вы видъли, какъ они обожаютъ ее! Дъло идетъ у нея превосходно. Она всегда весела, никогда не устаетъ... Старикъ Никита, вы помните его, у ней живетъ. Я тоже занимаюсь въ пріютъ русскимъ языкомъ.
- И жалованье отдаете оканчивающимъ курсъ воспитанницамъ?
 - Вы почемъ знаете?
 - Мнъ Марья Дмитріевна писала.
 - Какъ?

— Да такъ! Мы съ ней изръдка переписываемся о васъ.

Татьяна раскрыла глаза.

- Какая скрытная, вотъ никогда-бы не подумала, воскликнула она.
- Дёлать-то было нечего. Какъ вы мнв не отвътили письма на три, я поняль, что вы не хотите писать. Ничего не знать о васъ... съ этимъ было слишкомъ трудно помириться, и послъ долгаго колебанія я обратился къ вашей сестръ. Меня очень пугало, какъ она отнесется къ моей просьбъ, но отвътъ ея успокоиль и очароваль меня-столько въ немъ было доброты и тонкаго женскаго пониманія. Года полтора она никогда не упоминала о себъ, только вдругъ нъсколько мѣсяцевъ отъ нея ни слова. Я просто на стѣну лѣзъ. Наконецъ, коротенькая записка: "Спѣшу васъ успокоить. Таня здорова, но очень утомилась, ухаживая за мной. У меня быль тифъ, отъ того я вамъ такъ долго не отвъчала. Какъ только окръпну, буду писать попрежнему". Не могу вамъ выразить, какъ глубоко меня тронула эта постоянная забота о другихъ. Мало-по-малу ея образъ слился у меня съ вашимъ, и теперь мы съ ней совсемь друзья.

Татьяна внимательно слушала. Когда онъ кончилъ, она прошептала:—"милая Маруся".

- Въдь я ее увижу, не правда-ли?
- Конечно. Я сегодня жду ее къ себъ. Если она не пріъдетъ, мы отправимся къ ней.
- Мама, можно къ тебъ́?—спросилъ за дверью юношескій голосъ.
 - -- Можно, Коля.

Вошелъ высокій, худощавый, бълокурый молодой человъкъ, въ гимназическомъ мундиръ и, подозрительно

взглянувъ изъ подлобья на гостя, перевелъ свои большіе синіе глаза на мать.

— Ты развѣ не узналъ Григорія Васильевича,—сказала она,—онъ у насъ бывалъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ?

Коля поклонился.

- Я васъ помню, но не узналъ, промолвилъ онъ.
- А я васъ сейчасъ узналь, хотя вы очень измънились,—сказаль Мартыновъ.
- Вы, кажется, учительствуете гдѣ-то въ провинціи? —довольно пренебрежительно спросилъ Коля. (Татьяну передернуло отъ этого тона, она бросила на сына недоумѣвающій взглядъ).
- Да, я преподаю словесность въ N—ской гимназіи, въжливо отвътилъ Мартыновъ.
- Вотъ у насъ учитель словесности ужасный іезуитъ, — развязно заявилъ Коля. — Передъ нами корчитъ либерала, а какъ увидитъ инспектора, сейчасъ и хвостъ поджалъ. Впрочемъ, всѣ наши учителя такіе.
- Вы, можеть быть, черезчурь строги,—замѣтилъ, слегка усмѣхаясь, Мартыновъ. Быть по настоящему времени порядочнымъ учителемъ весьма не легко. Со стороны даже трудно себѣ представить, сколько бѣдный учитель себѣ предварительно крови испортитъ, разбирая какую-нибудь "Фелицу". А молодежъ требуетъ фейерверка, трескотни, хотя-бы и холостыми зарядами... Есть, конечно, и у насъ утѣшеніе,—это мысль, что по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ ученики поймутъ и помянутъ добрымъ словомъ того, кто "хвостъ поджималъ". Однако я у васъ засидѣлся.

Онъ поднялся и сталъ раскланиваться. Татьяна протянула ему объ руки.

- Прівзжайте непременно сегодня вечеромъ, -- ска-

зала она.—Вы себъ представить не можете, другъмой, какъ я рада, что свидълась съ вами.

Онъ поціловаль протянутыя руки, низко поклонился Колів и вышель.

Оставшись наединъ съ сыномъ, Татьяна хотъла было что-то сказать ему, но раздумала и, взявъ съ полки книгу, стала ее перелистывать. Коля, нахмурившись, постукивалъ пальцами по столу.

- Мама, ты мной недовольна, сказаль онъ, помолчавъ.
- Мит было стыдно за тебя, произнесла она грустно. Я ушамъ своимъ не втрила. Скажи, за что ты обошелся грубо съ человткомъ, не подавшимъ тебт къ этому ни малтишаго повода и котораго ты знаешь, какъ моего друга?
- Я самъ понимаю, что кругомъ виноватъ, сознался онъ, но меня словно толкало наговорить ему дерзостей. Я его ужъ давно терпъть не могу. Мнъ всегда казалось, что онъ стоитъ между тобой и нами. У него видъ совершенно порядочнаго человъка, и я даже увъренъ, что онъ хорошій человъкъ, но мнъ трудно справиться съ чувствомъ безсознательной вражды, которую я къ нему питаю.

Коля выговориль эту тираду залпомъ, будто торопясь свалить съ себя давившую его тяжесть.

Татьяна взглянула прямо въ лицо сыну.

— Ты несправедливъ къ нему... и ко мнъ, —промолвила она очень тихо. —Не будемъ объ этомъ говорить теперь. Если Катя отдохнула, — прибавила она — займись съ ней музыкой.

Долго просидѣла Татьяна неподвижно, не замѣчая бѣгущихъ изъ глазъ слезъ...

— И о чемъ это я,—проговорила она съ досадой, точно сантиментальная институтка.

XIX.

Вечеромъ прівхала Маруся. Она почти не измѣнплась, немного пополнѣла и была хороша по-прежнему, только волосы уже не вились пышными волнами по плечамъ, а лежали золотистымъ вѣнцомъ вокругъ головы, придавая ей величавый, нѣсколько строгій видъ.

Когда вошелъ Мартыновъ, Маруся не могла удержаться отъ восклицанія. Онъ привѣтливо протянулъ ей руку.

- Развъ Татьяна Дмитріевна вамъ не сказала, что я тутъ?—спросилъ онъ.
- Нътъ, съ улыбкой замътила Татьяна, мнъ то-же захотълось посекретничать и наказать Марусю, чтобы она не вела тайной переписки.
 - Таня! Да развѣ ты знаешь?
 - Какъ-же! Тебя выдаль твой корреспондентъ.
- Вотъ это мило, —возмутилась Маруся, —какая черная неблагодарность, а еще говорять, будто женщины—болтушки.

Завязалась оживленная бесъда. Говорили больше Мартыновъ и Маруся. Татьяна прислушивалась къ ихъ молодымъ радостнымъ голосамъ, изръдка вставляя какое-нибудь слово.

Она испытывала странное чувство. И хорошо ей было, и грустно. Прошлое, какъ долго сдерживаемая волна, хлынуло ей въ душу.—"Мелочи... мелочи... мелочи... мелочи... дъти! для нихъ было задавлено собственное сердце... А что изъ нихъ выйдетъ: Катя еще ребенокъ, но Коля... Коля эгоистъ... Нътъ, нътъ, онъ не эгоистъ, онъ славный, милый мальчикъ".

Она такъ глубоко ушла въ свои думы, что ужъ не слышала, что кругомъ нея говорится. Мартыновъ не то съ жалостью, не то съ любопытствомъ взглядывалъ украдкой на ея поникшую красивую голову и переводилъ свои взоры на милое, ясное, улыбающееся личико Маруси.

Раздался оглушительный звонокъ.

Татьяна вздрогнула и замътно перемънилась въ лицъ. Черезъ нъсколько минутъ въ комнату вошелъ Александръ Алексъевичъ. Онъ потолстълъ, постарълъ, обрюзгъ. Голова его болъе чъмъ когда-либо, была закинута назадъ. Вся его внъшность, съ окладистой черной бороды до кончиковъ его лакированныхъ ботинокъ, имъла какой-то особенно внушительный видъ. Даже сюртукъ, казалось, сидълъ на немъ солиднъе, чъмъ на плечахъ обыкновенныхъ смертныхъ.

Вмъстъ съ нимъ вошли дъти.

Коля нерѣшительно подалъ руку Мартынову и сѣлъ поодаль у окна. Катя, хорошенькая и нескладная, какъ всѣ подростки, въ короткомъ платьѣ, изъ-подъ котора-го выставлялись длинныя ноги, немедленно повисла на шеѣ у Маруси. Александръ Алексѣевичъ соблаговолилъ тотчасъ-же узнать гостя.

— Ба, ба, ба, сколько лѣтъ, сколько зимъ? Ну-ка, покажите себя,—говорилъ онъ густымъ басомъ, сильно раскачивая руку Мартынова.—Молодецъ, молодецъ,—повторялъ Александръ Алексѣевичъ,—оглядывая пріѣзжаго съ ногъ до головы,—похорошѣлъ-то какъ, а! Что значитъ молодость! Не то что мы со старухой... Воп soir, Marie, я тебя не замѣтилъ.

Онъ съль въ кресло и попросиль у жены чаю.

— Да, да, — продолжалъ онъ, — время бъжитъ, не справляясь съ нашимъ желаніемъ. Ну, что вы, какъ? все еще красный, россійскаго монтаньяра изображаете?

- Сколько помнится, Александръ Алексвичъ, я никогда ничего подобнаго изъ себя не изображалъ.
- Полно, полно отнѣкиваться, какъ бы съ участіемъ настаиваль Александръ Алексѣевичъ. Если не монтаньяра, то, по крайней мѣрѣ, жирондиста. И Татьяна Дмитріевна моя туда-же за вами вообразила себя теме Roland. Ха-ха-ха! захохоталъ онъ, откидываясь въ креслѣ, какъ это все смѣшно, подумаешь... то есть, доморощенные наши либералы, радикалы, конституціоналисты... При одномъ появленіи урядника геройская душа въ пятки, языкъ прильпе гортани: помяни-де, Господи, царя Давида и всю кротость его.
- Съ какихъ это поръ вы такъ *облагонампърились*?— полюбопытствоваль гость. Не дальше какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ, вы даже въ печати выражали мысли во всякомъ случаѣ далекія отъ вашихъ настоящихъ возэрѣній.

Александръ Алексвевичъ изумился.

- Не знаю, на что вы собственно изволите намекать,—сказаль онь съ преувеличенною вѣжливостью.— Кромѣ научныхъ статей, я въ то время ничего, кажется, не писалъ, и положительно не помню, чтобы я когда-либо проливалъ гражданскія слезы за реалистовъ, семинаристовъ, возвышенность повивальныхъ бабокъ (pardon, mesdames), или за вашу пресловутую гласность...
- Вы и гласностью недовольны?—съ нескрываемой насмѣшкой, перебилъ Мартыновъ,—вотъ это ужъ чистая неблагодарность; положимъ, это пресловутое", по вашему выраженію, начало отвоевано либералами, но воспользовались вѣдь имъ вы...
- Вотъ тебъ разъ!—а нынъшая литература,—произнесъ, возвысивъ голосъ, Александръ Алексъевичъ, развъ она не порожденіе вашей гласности? Что вы сдъ-

лали съ литературой!—(Онъ окинулъ Мартынова грозрымъ взглядомъ). Вмъсто идеаловъ-худосочное, золотушное нытье, кръпкія словца, слюнявое юродство, мъщанскія претензіи, le tout пропитанное сивушнымъ смрадомъ, отъ котораго свъту Божьяго не видать... наши люберальные салоны! О! эти салоны!... Соберется пятнадцать дураковъ и возведуть на пьедесталь Петра Иваныча: ахъ, Петръ Иванычъ!—Какую Петръ Иванычъ статью написаль, кричить одинь. А какь Петръ Иванычь того мерзавца NN отдълалъ, подхватываетъ другой.—У Петра Иваныча быль обыскъ, докладываетъ третій, на него дворникъ донесъ-ну, и какъ-же онъ говориль съ этими жандармами, – ахъ, какъ онъ съ ними говорилъ... А весь-то Петръ Иванычъ взошелъ какъ на дрожжахъ. Сболтнулъ нелъпость, пострадалъ и немедленно затрезвонилъ, "я-де мученикъ идеи", а свита возопила: "геній, ахъ, геній". Онъ и повърилъ: и въ самомъ дълъ въдь бываютъ-же другіе геніи, отчего-же мнв не быть... ну, и занесся. А тутъ еще барыни-извъстно какія: все непонятыя натуры, несчастныя въ семейной жизни-составятъ такому господину хвостъ. Смотришь, черезъ годикъ-другой Петръ Иванычь ужъ перестаеть говорить, а речеть, что твой пророкъ. И вдругъ сплетня, пущенная поклонниками новой восходящей звъзды,—поклонниками, которымъ становится тяжеловато сносить ломанье зазнавшагося пророка. Начинается взаимное обливаніе помоями, попреки старыми благод вяніями, интимныя разоблаченія, выгружается, словомъ, le fond du sac... И это называется партіей, и такіе господа требують къ себв уваженія!—презрительно воскликнуль Александръ Алексвевичъ, всплеснувъ своими выхоленными руками.

— Точно такъ-же, какъ герои противоположнаго лагеря,—возразилъ Мартыновъ.—Все, что вы изволили

разсказывать про либераловъ, можно съ буквальною точностью примфнить къ нашимъ охранителямъ, да и къ кому угодно, если вмъсто людей выхватывать каррикатуры, какъ вы это сдълали. Смешное можно найти вездъ и во всемъ. Вамъ не нравится названіе "партія"? Въ этомъ я съ вами, пожалуй, готовъ согласиться. Помилуйте, о какихъ партіяхъ можетъ быть у насъ ръчь! Мы внезапно умнъемъ, внезапно глупъемъ... Покажуть издали пряникъ, мы приходимъ сразу въ восторгъ. Щелкнутъ кнутомъ, — и вмъсто вчерашнихъ восторговъ, моментально наступаетъ постъ и покаяніе. И философія нашихъ мудрецовъ примитивная: держи пось по вътру, а въ минуту опасности прячься за чужую спину. Есть чудаки, которымъ это не нравится и они жмутся кое-какъ вмёстё, вмёстё втихомолку и поплачуть, и помечтають. Такихъ чудаковъ у насъ не мало, потому что тянуть лямку-наша спеціальность. На что другое, а на это русскіе-молодцы.

Мартыновъ замолчалъ. Онъ былъ блѣденъ и очень взволнованъ.

— Вы и своимъ ученикамъ внушаете такія отрадныя воззрѣнія на ихъ отечество?—насмѣшливо спросилъ Александръ Алексѣевичъ.

Татьяна испуганно взглянула на мужа. Маруся углубилась въ разсматривание альбома.

- Нътъ, —просто отвътилъ Мартыновъ, —такія внушенія дастъ имъ сама жизнь.
- Охъ, ужъ мив эти деликатныя жертвы грубой двиствительности, сказалъ Александръ Алексвевичъ и зввнулъ. Однако, заболтался я съ вами, батенька, а тутъ двло ждетъ. Надо посчитаться съ однимъ ученымъ финансистомъ, который бумажныхъ денегъ не признаетъ, а до радужныхъ ассигнацій большой охотникъ. Заходите, пожалуйста, мы еще съ вами подиспутируемъ.

Всѣмъ какъ-то легче стало съ уходомъ Александра Алексѣича. Маруся, все время молчавшая, обратилась къ Мартынову съ вопросомъ, занимается-ли онъ еще пѣніемъ.

- Не занимаюсь, но пою часто и съ удовольствіемъ.
- Спойте, пожалуйста, чтобъ отдохнуть, попросила она, намъ всвиъ тяжело стало отъ вашихъ разговоровъ,—и, подойдя къ рояли, приподняла крышку.

Онъ взялъ нѣсколько аккордовъ и запѣлъ Шубертовскаго "Wanderer'a". Маруся, облокотившись на рояль, внимательно слушала, подавшись впередъ всѣмъ корпусомъ.

Онъ посмотръль на хорошенькую дъвушку, и голосъ его точно окръпъ и согрълся подъ обаяніемъ ея лучистыхъ глазъ. Чудная пъсня лилась скорбнымъ потокомъ, охватывая страстной тоской сердце Татьяны. Что-то старое, знакомое проникало вмъстъ съ этими звуками, какъ жгучая, сладкая струя, въ ея наболъвшую грудь... и вдругъ ей стало ясно, что шести лътъ какъ не бывало, что она любитъ, любитъ, какъ въ ту незабвенную ночь въ Покровскомъ, когда онъ рыдалъ у ея ногъ...

Звуки оборвались.

- Марья Дмитріевна, вы позволите мнѣ проводить васъ,—спрашивалъ Мартыновъ.
 - Пожалуйста.

Татьяна вышла съ ними въ прихожую. Григорій Васильичь подаль Марусѣ тальму и накинуль ей на голову пушистый бѣлый платокъ.

— "Какая славная парочка", — подумала Татьяна и что-то больно кольнуло ее въ сердце.

XX.

Дрошло почти четыре мѣсяца. Татьяна съ дѣтьми жила въ Покровскомъ. Старый домъ, за-ново оштукатуренный, окрашенный, подправленный, точно помолодѣлъ. Цѣльныя стекла привѣтливо блестѣли на солнцѣ. Паркъбылъ расчищенъ, подъ балкономъ разбитъ цвѣтникъ. На всемъ проглядывала властная рука Александра Алексѣича.

Передъ отъвздомъ въ деревню Татьяна вдругъ расхворалась. Здоровье ея какъ-то сразу пошатнулось. Александръ Алексвичъ испугался и, бросивъ свой обычный, холодно-оффиціальный тонъ съ женой, сталъ ее осаждать цвлой арміей докторовъ.

— Освободи ты меня отъ нихъ, ради Христа, —просила она мужа, — они меня уморятъ. Да у меня и не болитъ ничего. Уъду въ деревню и поправлюсь безъ всякихъ докторовъ.

Въ деревнъ она въ самомъ дълъ скоро оправилась. Дъти нъжно за ней ухаживали, особенно Коля, который уже кончилъ гимназію и отдыхалъ передъ поступленіемъ въ университетъ. Этотъ юноша словно угадывалъ своимъ пытливымъ умомъ происходившую въ душъ матери борьбу и незамътно старался облегчить ея молчаливое страданіе. Онъ уговорилъ мать освободить Катю на лъто отъ всякихъ уроковъ, кромъ музыки, которою занимался съ нею самъ (онъ прекрасно игралъ на фортепіано), и вмъстъ съ дъвочкой придумывалъ хитрые способы, какъ заставить маму пить молоко, гулять и т. д.

По праздникамъ прівзжала иногда Маруся, привозя каждый разъ партію пріютскихъ дввочекъ, Катиныхъ подругъ. Съ ней прівзжалъ иногда и Мартыновъ, который совсвмъ перевелся въ Х*.

Татьяна тогда необыкновенно оживлялась, безъ умолку говорила, шутила, возилась съ дътьми и своимъ безпечнымъ, беззаботнымъ видомъ обманывала даже Марусю, такъ что та искренно убъждалась, что для сестры прошлое умерло. То-же, казалось, думалъ и Мартыновъ. Однажды онъ позвалъ ее гулять съ собой. Это было ужъ въ концъ августа. День стоялъ ясный, не жаркій. Вътерокъ едва шевелилъ пожелтъвшія верхушки липъ. Пчелы и бабочки жужжали и кружились въ прозрачномъ воздухъ. Вътравътрещали кузнечики; птицы шумя крыльями, проносились цълыми вереницами на югъ.

Мартыновъ присѣлъ съ Татьяной на ступеньки заколоченнаго павильона, въ которомъ умеръ André.

- Таня, другъ мой,—заговорилъ онъ взволнованнымъ голосомъ,—скажите мнѣ, будете вы довольны, если я женюсь на Марусѣ? Я люблю ее не такъ, какъ любилъ васъ (такъ любятъ только разъ въ жизни), но все-же я чувствую, что съ ней—спокойное счастье... Таня, милая сестра, скажи мнѣ что-нибудь.
- Я рада... очень рада... дай вамъ Богъ счастья... милые,—выговорила Татьяна, улыбаясь поблѣднѣвшими губами и тихонько высвобождая изъ его рукъ свои помертвѣвшіе пальцы. Только отчего-же Маруся мнѣ объ этомъ не сказала?
 - Она не ръшалась...
 - Глупая дъвочка! Позовите ее ко мнъ, Григорій.

Пришла Маруся, вся розовая, со слезами на глазахъ, и, не говоря ни слова, обвилась вокругъ шеи сестры и заплакала.

— Будь счастлива... будь счастлива, — какъ-то безсознательно повторяла Татьяна.

День прошель очень шумно. Женихъ и невъста строили планы будущаго, включая въ нихъ и Татьяну. — Ты всегда будешь съ нами, будешь съ нами жить, отдыхать, успокоишься, глядя на наше счастье, говориль то одинь, то другой.

Свадьба была назначена черезъ двв недвли. Это время прошло для Татьяны въ какомъ-то бреду: ей ни минуты не давали очнуться. Она была посаженной матерью'невъсты, которой Александръ Алексъевичъ преподнесъ роскопный брилліантовый съ чернымъ жемчугомъ браслеть. Марусю вънчали въ старой Покровской церкви, тихо, просто. Она была очаровательна въ своемъ бѣломъ платьв, съ померанцами на золотистой головкв. За обвдомъ Александръ Алексвевичъ произнесъ торжественный спичъ. Послъ объда — молодые увзжали ночьювсь отправились отдыхать. Татьяна ушла къ себъ на верхъ и, облокотившись на подоконникъ, устремила свои померкшіе глаза вдаль. Въ сумракѣ промелькнула бълая фигура Маруси и опустилась на низенькую скамью подъ тополемъ. Къ ней подошелъ Мартыновъ. Онъ сълъ у ногъ жены, обвилъ ее руками и склонилъ голову къ ея колънамъ. А Татьяна все смотръла... смотрѣла... Холодъ сковалъ ея члены... Отчаяніе, ревность, мертвая тоска, -- сжимали ей грудь. Рука ея соскользнула съ подоконника, и она упала на полъ, въ своемъ нарядномъ платьъ, и долго лежала такъ, какъ покойница, съ цвътами на волосахъ и на груди. По временамъ она раскрывала глаза, обводила ими ствны потолокъ и опять закрывала... Наконецъ она встала, расправила свои застывшіе члены.

— Что-же,—проговорила она вслухъкакимъ-то сдавленнымъ, чужимъ голосомъ,—въ сущности, ничего не случилось... Не Маруся, такъ другая... Глупо, конечно, что они воображаютъ, будто своей любовью мнѣ одолженіе оказываютъ, но глупость простительна счастливымъ...

Вдругъ Татьянъ стало стыдно. Краска прилила къ ея щекамъ.

— Боже, что со мной,—прошептала она въ какомъ-то ужасъ,—я завидую Марусъ... Марусъ, моей бъдной милой дъвочкъ .. какъ будто она мало страдала... Да нътъже, нътъ, это невозможно, я съ ума сошла.

Что-то теплое, хорошее шевельнулось въ ея груди... Это что-то поднималось, росло, расширялось, подступило къ горлу,—и слезы неудержимо брызнули изъ ея сухихъ, напряженныхъ глазъ. То были добрыя, успо-каивающія слезы, и что больше она плакала, тто свътлто и тише становилось у нея на душто, точно въ этихъ слезахъ таяла ея долгольтняя печаль.

— И чего я,—думала она,—вѣдь самое тяжелое пройдено, теперь только доживать осталось... Пора уступить мѣсто дѣтямъ... и пошли имъ Богъ больше счастья, чѣмъ намъ.

Она совсёмъ пришла въ себя, какъ приходять въ себя люди послё тяжелой операціи. Въ тёлё еще слабость и голова кружится, и рана еще ноеть, но острая боль прошла, не страшно повернуться, по жиламъ заструилась кровь и жизненная волна ужъ подхватила тебя и понесла въ общій водовороть. Татьяна отколола цвёты, сняла платье, надёла бёлый капотъ и, почти успокоенная, раскрыла дверь. Изъ Колиной комнаты доносились звуки рояли. Она прислушалась. Коля игралъ ея любимый Шумановскій концерть, который онъ выучиль нарочно для нея. Она подошла къ нему сзади и положила ему обё руки на плечи. Онъ обернулся.

- Это ты мама, я думаль, ты еще спишь.
- Нътъ, голубчикъ, я не спала. Какъ ты славно играешь, мой мальчикъ, я такъ люблю тебя слушать.

Онъ посмотрълъ на нее въ недоумъніи.

— Что съ тобой, мама?

- А что?
- Да ты совсемъ какая-то другая стала.
- Какая-же?
- Да совсѣмъ здоровая, даже потолстѣла какъ будто. Она улыбнулась.
- Я въ самомъ дѣлѣ чувствую себя гораздо лучше. —сказала она.
 - Ты рада, что тетя Маруся вышла замужъ?
 - Очень.
- И я тоже. И знаешь, мама, я вѣдь совсѣмъ подружился съ нимъ... съ дядей Гришей.
 - Давно пора.
- Мнѣ нравится, что тетя не бросаетъ пріюта. Оба будуть заниматься дѣломъ... прелесть, восторгался Коля. Они помолчали.
- Ахъ, мама, въдь у меня тоже есть мечта, —робко началъ онъ и запнулся.
 - Какая, мой мальчикъ?
- Я хочу быть музыкантомъ, композиторомъ,—прошепталъ онъ, краснѣя. Кончу университетъ — раньше папа не пустить—и уѣду за-границу учиться музыкѣ. Ты мнѣ поможешь, моя мамочка, моя старая красавица.

Онъ обнялъ ее и сталъ цъловать.

- Конечно, помогу, только ради Бога выпусти меня, ты меня задушишь,—произнесла она тронутымъ голосомъ.
- Какъ я радъ, какъ я радъ, что сказалъ тебѣ; про мою тайну знала только Катя. Она даромъ, что маленькая, а умная, и знаешь, мама, она будетъ отлично играть. У этой дѣвочки такая душа, говорилъ онъ, увлекаясь.
 - Интересно, что скажеть на это папа. Коля засмъялся.

— Ну, ужъ это твое дъло съ нимъ въдаться.

Дверь скрипнула, и въ комнату впрыгнула Катя, закутанная въ длиннъйшую шаль.

- Какъ ты вырядилась, замътила мать.
- Это мнъ тетя свою шаль подарила на память,— серьезно произнесла дъвочка, усаживаясь къ брату на колъни.
- Такъ ты бы ее лучше убрала, а то гляди, она за тобой по полу тащится.
- Я уберу, я только сегодня хочу ее поносить. Позволь, мамочка,—и Катя просительно сжала свои пухлыя губки.
- Хорошо, —разрѣшила мать, —только я тебѣ сложу ее вдвое.
- Катя, я въдь разсказалъ мамъ про наши планы. Она одобряетъ.
- Видишь! я тебъ говорила, торжествующе провозгласила лъвочка.

Татьяна съ улыбкой глядѣла на ихъ прильнувшія другь къ другу головы, и кроткая радость наполнила все ея существо.

"А я еще ронтала, — подумала она, — считала себя одинокой, когда у меня столько, столько дѣла".

Вошелъ старикъ Никита, сгорбленный, съ бѣлой, какъ лунь, бородой, и объявилъ, что молодые собираются уѣзжать. У Татьяны сильно забилось сердце. Дѣти схватили ее за руки и увлекли внизъ.

Маруся, совсѣмъ одѣтая, стояла на крыльцѣ съ Александромъ Алексѣевичемъ. Ночь была свѣжая, звѣздная, лунная. Григорій Васильевичъ укладывалъ въ коляску вещи. Маруся, то и дѣло, обращала къ нему свое свѣтившееся счастьемъ лицо.

Александръ Алексвевичъ взглянулъ на часы и велвлъ подать шампанскаго.

— Пора, господа, а то не поспъете къ поъзду. Дай вамъ Богъ...—сказалъ онъ, поднимая бокалъ.

Всъ чокнулись и присъли.

Первая поднялась Татьяна.

Маруся бросилась въ ея широко раскрытыя объятія, и нѣсколько мгновеній ничего не было слышно, кромѣ прерывистаго рыданія обѣихъ сестеръ. Всѣ плакали. Александръ Алексѣевичъ сдвинулъ брови и отвернулся въ сторону, чтобы скрыть свое волненіе. Никита всхлипывалъ.

Григорій Васильевичь подошель къ женѣ.

— Маруся, голубушка,—проговорилъ онъ, беря ее за руку.

Новобрачные уже сидъли въ коляскъ.

Татьяна подошла къ дверцъ.

— Дитя мое, будь счастлива... Гриша, люби ее,—лепетала она, цълуя то того, то другого.

Экипажъ тронулся. Татьяна провожала его глазами, пока онъ не пропалъ въ ночной мглѣ, и когда она вернулась въ домъ, на ея заплаканномъ, вдругъ постарѣвшемъ лицѣ лежало лишь одно выраженіе нѣжной, спокойной грусти.

Она благословила дѣтей, простилась съ мужемъ и пошла къ себѣ наверхъ.

- Татьяна Дмитріевна, спросила ее горничная, сегодня будете принимать серебро?
- Нътъ, завтра, тихо отвътила Татьяна и заперлась въ своей комнатъ.



не ко двору.

(повъсть.)



Давелъ Абрамовичъ Бергъ сердито расхаживалъ по своему богатому кабинету, уставленному всевозможными предметами роскоши и почти похожему на галантерейную лавку. Наконецъ онъ остановился, заложилъ руки въ карманы брюкъ и, насупивъ брови, обратился къ женѣ:

— Что-жъ, ты и теперь не хочешь отдать ее въ пансіонъ?

Жена, блѣдная и красивая брюнетка, лѣтъ тридцати, вздохнула, опустила внизъ робкіе черные глаза и въ замѣшательствѣ стала перебирать бахрому на шелковой подушкѣ.

— Это ни на что не похоже, — кипятился Павелъ Абрамовичъ, — мало того, что я бъгаю съ утра до ночи, хлопочу, наживаю, выбиваюсь изъ силъ, — мнъ еще нужно заботиться, чтобы дъти мои не выросли торговками. Неужели ты воображаешь, что любовь къ дътямъ заключается въ томъ, чтобы ихъ пичкать съ утра до ночи?! Такъ я тебъ говорю, что ты не любишь своихъ дътей, ты ихъ ненавидищь, ты ихъ губишь, ты...

Видя, что жена всхлипываетъ, Павелъ Абрамовичъ совсъмъ вышелъ изъ себя.

— Опять слезы,—закричаль онъ,—это чорть знаеть что такое: я слова не могу сказать, точно я нищій, пришедшій съ улицы... Вы меня въ могилу сведете, я изъ дому убъгу...

— Въдь я тебъ ничего не говорю, — промолвила Берта Исаковна, на-скоро утирая слезы, — дълай какъ хочешь.

Поводомъ къ этой семейной сценъ послужилъ очень небольшой человъкъ, а именно—дочка супруговъ Бергъ, Сара, прелестная дъвочка, лътъ одиннадцати, съ черными огненными глазами и смуглымъ, правильнымъ личикомъ. Дъвочка была вспыльчивая, ръзвая, впечатлительная и причиняла не мало непріятностей родителямъ, т. е. отцу (мать всегда умъла побороть ее своей добротой). Но Павелъ Абрамовичъ!.. Онъ представлялъ яркое олицетвореніе народившагося на Руси літь тридцать тому назадъ типа еврея-самоучки и богача. Неглупый, самолюбивый и способный, онъ вынесъ смолоду тяжелую лямку бедности, даже нужды, сталкивался съ людьми самыхъ различныхъ характеровъ и общественныхъ положеній и со всёми умёль поладить, постепенно превращался изъ Пейсаха въ Herr Paul'a, а изъ этого послъдняго въ Павла Абрамовича и, пройдя, какъ говорится, черезъ огонь, воду и мъдныя трубы-достигь того идеальнаго состоянія, когда уже не еврей умильно заглядываеть въ глаза квартальному, а квартальный сладко лепечеть еврею: "чего изволите?" Но Павелъ Абрамовичь не забылъ горькихъ дней юности и его мечтою, честолюбіемъ, idée fixe—стали дѣти. Онъ главнымъ образомъ стремился, чтобы ихъ никто не могъ "узнать", и вмъстъ съ тъмъ не допускалъ даже и мысли о возможности ихъ формальнаго перехода въ христіанство. Вообще всъми его дъйствіями точно руководило затаенное мстительное желаніе — доказать им, т. е. русскимъ, что вотъ мы, дескать, какіе, не хуже васъ,желаніе естественное и присущее освободившемуся невольнику. И что-жъ! ребенокъ, дъвчонка-препятствуетъ его планамъ. Еп велятъ передъ гостями

читать, — она молчить, какъ убитая, а въ дътскойдекламируетъ нянькъ съ такимъ паеосомъ, что у той только голова трещитъ. Гувернантки смънялись у Сары чуть-ли не каждую недълю. Она ихъ обыкновенно закидывала вопросами — зачвиъ, отчего, почему, и, не получая удовлетворительных отвътовъ, забрасывала книжки и, вм' сто того, чтобы учить уроки, возилась по цълымъ часамъ со своимъ любимымъ пуделемъ Валдаемъ. Единственное, чъмъ можно было ее привлечь, это-музыкой. Ей попалась одна гувернантка, худенькая старушка изъ обрусвлыхъ англичанокъ, почти безграмотная. Сара, по обыкновенію, не замедлила б' жать отъ нея къ своему пуделю, но, услыхавъ разъ вечеромъ, какъ покинутая гувернантка играла какую-то страстно-задумчивую шотландскую балладу, она оставила собаку и тихо усвлась возлв рояли.

- Что это вы играете, миссъ?-спросила она.

Гувернантка принялась объяснять.

— Сыграйте еще, -- властно сказала дъвочка.

Та повиновалась.

Когда она кончила, двочка молчала и, казалось, продолжала слушать.

— Я тоже хочу такъ играть,—выучите меня,—объявила она наконецъ.

Благодаря своей музыкъ, гувернантка продержалась у Берговъ съ годъ. Сара выучилась бъгло болтать поанглійски, а старинныя баллады она играла и пъла съ такимъ неизъяснимымъ, не дътскимъ чувствомъ, что у старой миссъ навертывались слезы, слушая ее. Любимцу своему Валдаю Сара все-таки не измънила, и онъ былъ невольнымъ виновникомъ ея удаленія изъ родительскаго дома. У Павла Абрамовича былъ лакей, хитрый, пронырливый парень, франтъ и наушникъ, пользовавшійся неограниченнымъ довъріемъ барина. Во всемъ

дом' не было челов ка, начиная съ хозяйки, которому-бы Алексви (такъ звали лакея) не надвлалъ непріятностей. Сара ненавидъла его до такой степени, что изъ его рукъ никогда ничего не принимала. Лакей мстиль ей по своему. Однажды, онь на ея глазахъ отдавиль лапу Валдаю. Несчастный пудель завизжаль, Сара расплавалась и подбѣжала къ нему. Нѣсколько дней собака хромала. Дѣвочка нѣжно за ней ухаживала перевязывала ей лапу, носила ей сама всть, и вотъ разъ, когда она осторожно, чтобы не разлить тарелки съ супомъ, пробиралась къ Валдаю, она увидъла въ полураскрытую дверь, какъ Алексви, привязавъ пуделя къ ножкъ дивана, стегалъ его по больной ногъ арапникомъ. Валдай только вылъ да безпомощно вскидывался кверху. У Сары потемнёло въ глазахъ. Не помня себя, она уронила тарелку, въ одно мгновеніе очутилась въ комнатъ, вырвала изъ рукъ остолбенъвшаго лакея арапникъ и принялась имъ хлестать его по лицу съ какимъ-то изступленнымъ бъщенствомъ... Черезъ недълю послъ этого случая ее отвезли "для перемъны характера" въ аристократическій московскій пансіонъ m-me Roger.

Пансіонъ былъ не лучше и не хуже другихъ подобныхъ заведеній, но отличался отъ нихъ особенной замкнутостью, съ которою живая натура дѣвочки никакъ не могла помириться. Она страстно любила мать, скучала и томилась разлукой съ ней и только оживала по воскресеньямъ, когда та пріѣзжала въ пансіонъ. Чуть только она, бывало, завидитъ подъѣхавшій къ крыльцу экипажъ, какъ уже несется со всѣхъ ногъ въ пріемную, бросается ей на шею, цѣлуетъ ея блѣдныя руки, щеки, прекрасные, черные глаза, жалуется, что "Рожа" ихъ совсѣмъ не кормитъ и на этой недѣлѣ ее, Сару, три раза безъ обѣда оставила.

— Пожадничала на свою "бурду", а я за то два ломтя хлѣба съ сыромъ украла,—повъствуетъ она о своихъ подвигахъ.

Мать укоризненно качаетъ головой, она начинаетъ оправдыветься.

- Ахъ, мама, я и сама знаю, что это не хорошо, но отчего ты не хочешь, чтобъ я жила дома; отдала-бы меня въ гимназію, я бы отлично стала учиться, а тутъ мнѣ такъ все противно, не могу ничего дѣлать, только и думаю, какъ-бы кого позлить. Возьми меня домой.
- Нельзя, мой ангелъ, отвъчала обыкновенно мать на эти приставанья, ты въдь знаешь, что папа этого не хочетъ.

За то на каникулахъ — какая радость! Въ Рождественскій сочельникъ m-me Roger устраивала елку, дѣлала всѣмъ ученицамъ подарки: ученицы, въ свою очередь, обязаны были выражать ей вниманіе разными сюрпризами, — и какъ она, бывало, злится, если сюрпризъ оказывался не изъ дорогихъ. Занятія оканчивались дня за три до праздника. Съ самаго утра начиналось печенье пирожковъ изъ сладкаго тѣста, которое пансіонерки воровали изъ-подъ рукъ у m-me Roger и, притащивъ въ дортуаръ, съѣдали сырымъ. Но вотъ, слава Богу, послѣдняя свѣчка на елкѣ погасла... ученицы начинаютъ разъѣзжаться по домамъ. У Сары сердце падаетъ при мысли, что за ней могутъ пріѣхать не сегодня, а завтра.

Наконецъ появляется экономка, Амалія Карловна,

- On vient te chercher,—говоритъ m·me Roger Capъ,—mais il faut tard, veux tu pas aller demain, petite?
- У Сары начинаеть стучать въ вискахъ отъ такой заботливости.

Оћ, madame, il ne m'arrivera rien, bien sûr,—бормочетъ она и, не дожидаясь отвъта, убъгаетъ; черезъ минуту она, уже совсъмъ одътая, бъжитъ по лъстницъ, второпяхъ спотыкается и летитъ съ нъсколькихъ ступенекъ. Амалія Карловна ее удерживаетъ, но она успокоивается только въ саняхъ.—"Теперь ужъ не оставятъ",—думаетъ она вслухъ чуть не бросается на шею кучеру и умоляетъ его ъхать "ради Бога, скоръе".— "Еще четыре улицы осталось, еще три, двъ", говоритъ она Амаліи Карловнъ, довольно хладнокровно раздъляющей ея нетерпъніе.

Лошади останавливаются у свраго каменнаго дома съ внушительнымъ чугуннымъ подъвздомъ. Сара чуть не опрокидываетъ лакея, мчится въ шубкъ и сапогахъ прямо въ комнату матери, и такъ и повисаетъ у ней на шев. Какъ-то странно звучатъ въ тихомъ, чинномъ дом'є см'єхь и возня дівочки, которая стремится, какъ можно шире, насладиться своей свободой, тормоша и теребя все, что попадется ей подъ руку, начиная съ матери и кончая пятилътней сестренкой Лидочкой, которая отъ ея нъжностей заливается громкимъ плачемъ. Двъ недъли каникулъ кажутся ей нескончаемымъ временемъ, пансіонъ исчезаетъ въ какой-то туманной дали, и потомъ, какъ знать, мало-ли что можетъ случиться въ двъ недъли: вдругъ совсъмъ домой возьмуть. Но часы летьли за часами, наступаль послыдній вечеръ. Отецъ обыкновенно уважавшій послв объда въ клубъ, оставался нарочно дома, чтобы побыть съ дочкой, но дочка, зная, что это оно заставляеть ее киснуть у "Рожи", принимаетъ его любезность довольно холодно. У ней даже является непреодолимое желаніе позлить его.

[—] Папа, въдь мы евреи?-говорить она.

- Конечно,—отвѣчаетъ отецъ,—точно ты этого не знаешь.
- A правда, что всѣ евреи такіе гадкіе обманщики, что они послѣ смерти всѣ до единаго въ аду горятъ?
- Кто это тебѣ сказалъ, Сара?—надѣюсь, не m-me Roger?
 - Нътъ, не она; я отъ многихъ слышала.
- Это—чистъйшая глупость, совътую тебъ не повторять такого вздора,—говорить отецъ.
- Еще я слышала, невозмутимо продолжаеть Сара, будто евреи съ мацой въ Пасху пьютъ человъческую кровь.
- Ты пила ее когда-нибудь въ Пасху? сердито спрашиваетъ отецъ.
- Hy, вотъ, обиженно возражаетъ дѣвочка, вѣдь мы не настоящіе евреи.
 - А какіе-же?
- .— Да ужъ не знаю какіе, только не настоящіе; настоящіе всѣ грязные.
- Евреи, какъ и русскіе, грязны, когда они бѣдны и необразованы. Если не хочешь быть грязной—учись, я ничего не жалѣю для твоего образованія, ты должна это чувствовать.
- А я все-таки терпъть не могу жидовъ и непремънно крещусь, когда выросту большая,—выпаливаетъ на это Сара, досадуя, что ей не удалось разозлить его.
- Ступай вонъ, дерзкая дѣвчонка, все лѣто просидишь въ пансіонѣ.

Она уходить, но въ корридоръ останавливается. До нея доносится кроткій голось матери.

- Вотъ плоды воспитанія въ чужомъ домѣ,—говоритъ она,—иначе и быть не можетъ.
 - Оставь, пожалуйста,—отвъчаетъ отецъ,—я знаю, что дълаю. Она должна пробыть въ пансіонъ, по край-

ней мъръ, три года; я хочу, чтобы она свободно владъла языками, чтобы у неябыли свътскія манеры, дома она этого пріобръсти не можетъ. А на философію ея—я плюю. Надо только сказать m-me Roger, чтобы глядъла за ней построже.

Услыша такой приговоръ, Сара бросилась на кроватку и плакала до тъхъ поръ, пока не уснула.

II.

Дрошло около четырехъ лътъ. Сара все еще была у m-me Roger. Многое измънилось для нея въ это время. Мать умерла отъ чахотки, черезъ два мѣсяца послѣ ея смерти скончался отъ удара отецъ, оставивъ дъла крайне запутанными. Продали домъ, лошадей, мебель. Лидочку взяла къ себъ сестра покойнаго Павла Абрамыча, Анна Абрамовна Позенъ, прівхавшая изъ О*. Она думала увезти и Сару, но потомъ ръшила оставить ее еще на годъ въ пансіонъ для приготовленія къ экзамену на учительницу. Изъздороваго, веселаго ребенка, Сара обратилась въ бледную, худенькую, высокую, не полътамъ задумчивую дъвушку. Смерть родителей сильно повліяла на нее. Она, бывшая душой пансіонскихъ проказъ, вдругъ отъ всъхъ уединилась, стала прилежно учиться, много занималась музыкой. Но занятія не могли утишить ея горя, и когда ей становилось особенно тяжело, она забивалась въ темный уголокъ и принималась плакать. Потомъ въ ней произошель какой-то странный переломъ. Одна изъ пансіонерокъ дала ей Евангеліе и Четіи-Минеи. Она жално принялась за чтеніе и скоро увлеклась имъ. воображеніи постоянно носились образы мучениковъ

мученицъ, умиравшихъ за въру среди пытокъ и костровъ, и она вздыхала, что не имъла счастья родиться въ первыя времена христіанства. М-me Roger смотрѣла на увлеченіе Сары, какъ на "grâce", не смотря на то, что въ душъ относилась къ религіи довольно хладнокровно, подчасъ была даже не прочь повольнодумствовать, и хотя въ пріемной, на столъ, у ней красовались "Génie du christianisme", Шатобріана, и "Oraisons funébres "Flechier," въ роскошныхъ бархатныхъ переплетахъ, она въ глубинъ души предпочитала имъ Бальзаковскую "Cousine Bethe". Сара твердо ръшилась принять христіанство и, чтобы испытать силу своей въры, налагала на себя добровольныя эпитиміи. Когда наступала ночь, все кругомъ засыпало и въ длинномъ дортуаръ раздавалось лишь мърное дыханіе спящихъ дъвочекъ, Сара осторожно откидывала одъяло и въ одной рубашкъ, босая, опускалась голыми колвнами на холодный полъ и начинала отмъривать по четкамъ земные поклоны. О чемъ она молилась-она и сама не знала, какъ не понимала печали, наполнявшей ея дътскую душу. Изъ благогов в приподнятых в в образу больших в, чистыхъ глазъ градомъ катились слезы по влажнымъ, нъжнымъ щечкамъ; пересохшія губы шептали: "Господи, просвъти меня, наставь меня напуть истины". И долго, часто цёлые часы простаивала она на колёнахъ, не чувствуя усталости, вздрагивая при малъйшемъ торохв. Когда, завернувшись въ одвяло, она снова ложилась въ постель, ей казалось, что она испытываетъ какое-то неясное чувство блаженства и облегченія, и думала, засыная, что это благодать Божія. Скоро она перестала довольствоваться ночными молитвами и начала поститься, отдавая потихоньку свой и безъ того скудний завтракъ Трезору, прекрасному черному водолазу, общему любимцу пансіонерокъ, говорившихъ,

что Трезоръ—лучшій членъ семейства m me Roger. За неимѣніемъ настоящихъ веригъ, Сара закручивала тесемкой руки, съ плеча до кисти, выкалывала булавкой на груди имена мучениковъ. Съ каждымъ днемъ она все болѣе худѣла. Ея лихорадочно блестѣвшіе глаза обратили на себя наконецъ вниманіе m-me Roger.

- Qu'as-tu, ma fille? es-tu malade?—ласково спращивала она ее, зазвавъ къ себъ въ комнату.
- Non, madame, je n'ai rien,—отвѣчала Сара, думая въ это время,—какая она добрая, какъ я была несправедлива къ ней, а она еще обо мнъ заботится.
- Не слѣдуетъ такъ мучить себя, продолжала m-me Roger, Господь послалъ тебѣ тяжелое испытаніе, но мы должны покоряться Его святой волѣ.
- Мамочка, дорогая, милая,—начинала рыдать Сара послъ причитаній наставницы.
- Calme-toi, ma pauvre enfant, утѣшала ее m-me Roger, — vois comme tu es pâle. Va vite prendre une tasse de tisane, ça te rechauffera...

Но "tisane" не помогала, и Сара все слабъла; къ тому же она еще простудилась во время своихъ ночныхъ бдъній, и ее перевели въ infirmerie—пансіонный лазаретъ. Дъвочки приходили ее навъщать, но она безучастно относилась къ ихъ вниманію и только жаловалась, что тель водет отняла у нея всъ книги. Разъ вечеромъ пришелъ къ ней учитель французскаго языка, те Auber. Это былъ старикъ-швейцарецъ, лътъ шестидесяти, высокій, худой и сгорбленный, съ бълою, какъ лунь головой и ясными глазами. Онъ пользовался въ пансіонъ большой популярностью за свой замъчательно кроткій и справедливый нравъ, за умънье устраивать всевозможныя игры, которыми увлекался не менъе своихъ ученицъ. Онъ превосходно читалъ Мольера, часто подъ

праздники являлся въклассную и, спросивъ ученицъ-"voulons nous rire ou méditer", принимался, смотря по отвъту, или за "Bourgeois gentilhomme", или за "Misanthrope". Особенною его любовью пользовались маленькія, только что поступившія въ пансіонъ дівочки. Усадивъ ихъ въ кружокъ, онъ по цълымъ часамъ разсказывалъ имъ сказки и, глядя на разгорфвшіеся дфтскіе глазенки, казалось, вмъстъ съ своей аудиторіей всецъло уносился въ чудный поэтическій міръ Гофмана Гримма (зная въ совершенствъ нъмецкій и англійскій языки, онъ ръшительно отвергалъ французскую дътскую литературу). Въ нансіонъ училась и дочка его, дъвочка, лътъ тринадцати, которую онъ безумно любилъ. Дфвочка была волотушная, болфвиенная и скоро умерла. M-r Auber горько плакалъ на ея похоронахъ. Печально бродиль онъ по классамъ, и когда дввочки окружили его, особенно старательно отвъчая уроки, онъ поглядълъ на нихъ своими ясными, полными слезъ глазами и, покачавъ головой, прошенталъ, какъ готовый расплакаться ребенокъ: "c'est bien, mes enfants"... Но его любящая натура не могла существовать безъ постоянной заботы о комъ-нибудь: онъ скоро усыновилъ какого-то юнкера и на всв доводы m-me Roger о безразсудствъ подобнаго поступка только лукаво подмигивалъ и улыбался. Сара и удивилась, и обрадовалась, когда къ ней вошелъ m-r Auber. Въ infirmerie кромъ ея никого не было. Сидълка дала ей лекарство, опустила на лампу зеленый колпакъ и ушла. Сара лежала въ средней кроваткъ, какъ разъ противъ тлъющаго камина, и ей какъ-то безотчетно-жутко становилось отъ ряда пустыхъ коекъ, освъщенныхъ зеленоватымъ свътомъ лампы.

— Eh bien, mon petit chat, comment allons nous? — спросилъ старикъ, усаживаясь въ лоснящееся коричневое кресло и, вытащивъ изъ кармана сюртука два огромныхъ апельсина, положилъ на кровать больной.

— Merci infiniment, m-r, et surtout merci d'être venu,—сказала Сара, чуть не плача.

M-r Auber сдълалъ видъ, что не замъчаетъ ея волненія.

- А вёдь я пришель къ вамъ, Сара, съ коварною цёлью отбить практику у доктора Trofimoff. Ко мнё ночью прилетёла маленькая птичка и разсказала мнё, что у васъ болитъ: vous savez, та самая птичка, которая мнё сообщаетъ, отчего вы уроковъ не выучиваете.
 - Что-же она вамъ сказала, m-r Auber?
- Oh, elle m'a dit bien des choses et d'abord que vous êtes une malade imaginaire.
- Я?! М-г Auber, это несправедливо, ваша птичка—противная лгунья, и если-бъ она мнѣ попалась, я бы ее задушила.
- Voilà des sentiments tres реи chrétiens,—сказалъ улыбаясь старикъ; и все-таки я увъренъ, что птичка сказала правду. Ну, скажите откровенно, что у васъболитъ?
 - Bce.
- Все—значить—ничего, или, ещехуже, это значить, что вы поддались чувству слабости и ничего не дълаете, чтобы побороть его.
- —Бользни посылаеть намъ Богъ, чтобы испытать насъ. Люди должны безропотно переносить страданія.
 - Кто это вамъ сказалъ?
- Господь посылаеть людямь страданія, чтобы они могли сподобиться въчнаго блаженства, продолжала она, не отвъчая на вопросъ.
- Неправда, Богъ созданъ людей для труда, для борьбы со зломъ; люди, для оправданія своего божественнаго начала, должны стремиться къ торжеству

идеала добра, а орудіями къ этой великой цѣли служать наука, свободная человѣческая мысль, мужественное, честное сердце, уваженіе чужихъ убѣжденій,—сказаль m-r Auber.—Если бы всѣ склоняли, какъ вы, голову передъ горестными испытаніями и ограничивались только тѣмъ, что покорно укладывались въ постель,—люди бы ушли недалеко.

- Я вовсе не намърена всегда лежать, m-r Auber. Со всъмъ, что вы говорите, я тоже согласна, только мнъ кажется, что вы не назвали главнаго орудія спасенія—религію. Вы развъ невърующій?
- Dieu m'en préserve, chère enfant! Я гляжу на чудеса природы, любуясь закатомъ солнца, а тамъ, на моей далекой, прекрасной родинъ, просиживая цълые часы на берегу нашего чуднаго озера, я научился преклоняться предъ Творцомъ вселенной... Но тому, что въ общежити считаютъ религіей, т. е. той массъ обрядовъ, внъшнихъ пріемовъ и названій, которые всъ, конечно имъютъ свое историческое основаніе,—я придаю мало значенія.
 - Нужно въровать, а не разсуждать.
- Нѣтъ, дитя мое, это ложно; Господь далъ человѣку разумъ именно для того, чтобы онъ не принималъ всего на вѣру.

Сара оперлась головкой на руку и нѣсколько минутъ пристально глядѣла на m-r Auber'a.

- Не думала я, что вы такой...—сказала она въ замъщательсвъ.
 - Какой?-спросилъ старикъ.
- Не знаю, какъ вамъ сказать: я считала васъ настоящимъ христіаниномъ и думала, что вы потому такъ кротко перенесли кончину маленькой Магіе, что върите, что она стала ангеломъ и что вы послъ смерти съ ней свидитесь. Я вотъ никакъ не могу забыть тамап. Я ръ-

шилась принять христіанство, но меня мучить мысль, что maman умерла еврейкой.

- Отчего-же это васъ мучитъ?
- Оттого, что она не будеть въ раю.
- Гм... Скажите, Сара, кто вамъ втолковалъ эту идею о принятіи христіанства?
 - Никто, M-r Auber, я сама.
- Этого быть не можеть. Постойте, года два тому назадъ здѣсь была короткое время одна ученица, Серафимова; une tète exaltée... Она, кажется, имѣла на васъ вліяніе.

Сара покраснъла.

- Она миѣ только дала Евангеліе и проповѣди и сказала, что евреи прокляты Богомъ, но что отъ этого проклятія можно избавиться крещеніемъ.
 - Вы съ ней съ тъхъ поръ не видались?
- Нѣтъ, но я знаю, что она поступила въ монастырь.
- Ну, не совсѣмъ въ монастырь,—я ее недавно слышаль въ оперѣ. Она пѣла, и даже недурно, хотя по отзывамъ знатоковъ, изъ нея ничего особеннаго не выйдетъ,—спокойно сказалъ старикъ.
 - -- Неужели это правда?--воскликнула Сара.
- Какъ-же! Можете сами убъдиться. Выздоравливайте скоръе, и я упрошу m-me Roger взять васъ въ театръ. Но отчего это васъ такъ удивляетъ? Я не нахожу въ этомъ ничего дурного.
- Это не хорошо, я этого отъ нея не ожидала, проговорила Сара.—Впрочемъ, это не касается христіанства,—оно выше еврейства.
 - А вы, Сара, хорошо знакомы съ іудействомъ?
- Нѣтъ, m-r Auber, я знаю только, что евреевъ всѣ презираютъ, знаю также, что они Христа распяли.

- Ça c'est encore un problème à résoudre, усмѣхнулся старикъ. — А вотъ, ренегатство, по моему, очень некрасивая вещь. Вы говорите, что евреевъ всѣ презираютъ. Кто же это всп,—христіане?
 - Конечно.
- А въдь по христіанскому ученію слъдуеть даже враговь любить. Какъ-же это?

Сара молчала.

- Въдь христіанство это религія мира и любви, правда?
 - Да, да...
- А вы вотъ ужъ проходили среднюю и новую исторію. Вспомните-ка, сколько безчеловѣчнаго варварства было совершенно во имя этихъ пресловутыхъ мира и любви.
- Но вѣдь въ первыя времена христіанства язычники мучили христіанъ, а они выносили всѣ пытки и муку, оставаясь вѣрными ученію Спасителя,—возразила Сара.
- Это, положимъ, такъ. Но за то, когда христіане пріобрѣли силу, они въ свою очередь принялись убивать и жечь не только тѣхъ, кто исповѣдывалъ другое ученіе, но даже и своихъ единовѣрцевъ, осмѣливавшихся не соглашаться съ тѣмъ или другимъ отцомъ церкви. Костры инквизиціи, по моему, ужаснѣе костровъ Нерона: эти прямо зажигались во имя силы, а не принципа общечеловѣческой любви.
- Это въ самомъ дѣлѣ было ужасно, прошептала Сара. Такъ, по вашему, еврейство лучше? продолжала она.
- Этого вопроса, мой другъ, я не берусь ръшить, потому что его, по совъсти, никто ръшить не можетъ. Но я того мнънія, что если мы родились въ какой-нибудь религіи, то измънить ей мы можемъ лишь въ томъ

случав, когда, по основательномъ изученіи ея, мы придемъ къ заключенію, что она не можетъ насъ удовлетворять. Вы, Сара, принадлежите къ великому народу. Ни одно племя не можетъ похвалиться такою грандізною и вмѣстѣ трагическою исторіей, какъ іудейское, которое дало человѣчеству столько великихъ людей, независимыхъ, геніальныхъ мыслителей, пламенныхъ патріотовъ, несравненныхъ поэтовъ. Послушайтесь меня, милое дитя, выкиньте изъ вашей молодой головы всякія религіозныя крайности, познакомьтесь съ исторіей вашего народа, читайте не Четіи-Минеи, а великія общечеловѣческія произведенія, и прежде всего будьте человѣкомъ.

Дъвушка слушала его, блъдная, сосредоточенная, и, когда онъ всталъ, чтобы уйти, она схватила его за руку своей дрожащею рукой и спросила:

- M.r Auber, вы придете завтра?
- Приду и принесу вамъ кое-что.

На слъдующій день онъ дъйствительно пришелъ, принесъ старую, истрепанную книгу и сталь читать. Книга была "Натанъ Мудрый". Сара ни разу его не прервала. Когда онъ кончилъ, она, вся заплаканная, проговорила съ улыбкой:

- "Wohl uns, denn was mich euch zum Christen macht, macht euch mir zum Juden" и, горячо поцъловавъ руку учителя, промолвила:
- M-r Auber, вы правы, я постараюсь быть такой, какъ вы говорите.
- C'est bien, mon enfant,—отвътилъ m-r Auber, будь же умница и выздоравливай скоръе.

III.

Трошелъ еще годъ. Сара превратилась въ цвътущую, изящную красавицу. Она сдала экзаменъ при университетъ, получила дипломъ учительницы и вся, казалось, кипъла молодой жаждой начать скоръе жить. Хотя тетка ей не особенно нравилась своими ръзкими манерами, ничъмъ несмущаемымъ апломбомъ, крикливымъ голосомъ, — тъмъ не менъе она обрадовалась ея пріъзду, такъ какъ съ нимъ осуществлялась наконецъ ея мечта-покинуть пансіонъ. Къ тому-же ей очень хотълось видъть сестру. Она строила воздушные замки о томъ, какъ она будетъ ее учить, какъ будетъ стараться замънить ей мать и просила m-r Auber'а указать ей всевозможные учебники.

Старикъ ей совътовалъ не увлекаться воображениемъ, а лучше приготовиться къ неудачамъ.

— Да я въдь никакихъ особыхъ плановъ не строю, m-г Auber, — отвъчала Сара. — Мои желанія такъ скромны: буду учиться сама, учить сестру, какія-же тутъ могутъ быть неудачи? Развъ вотъ тетка... сказать откровенно, не нравится она мнъ что-то. И все-таки я ужасно рада, что уъзжаю отсюда. Господи, до чего надоълъ мнъ пансіопъ! Пять лътъ безвыъздно, да это хуже всякаго института. Иной разъ такъ хотълось раздвинуть эти стъны и посмотръть, что тамъ дълается въ широкомъ, вольномъ міръ. Я часто задумывалась въ послъднее время о такомъ воспитаніи, какъ наше, и мнъ кажется, что оно никуда не годится. Ну, скажите, пожалуйста, что мы знаемъ о жизни! Я еще, благодаря вамъ, что-нибудь хоть читала и то въдь книга—одно, а живая жизнь — другое. Да вотъ вамъ примъръ: недъли двъ тому назадъ,

какъ разъ возлѣ нашего сада открылась мелочная лавка. Мы стали потихоньку бѣгать къ рѣшеткѣ, чтобы посмотрѣть, какъ покупаютъ. М-те Roger узнала о нашихъ путешествіяхъ и строго-на-строго запретила ихъ. Но страхъ быть пойманной и наказанной ни на кого не подѣйствовалъ, и мы бѣгаемъ туда попрежнему. А что же мы тамъ видимъ особеннаго?... Входитъ какой то человѣкъ: дайте мнѣ, говоритъ, огурцовъ на три копѣйки, да такихъ, которые не плюются. Мы хохочемъ. Кухарка соль разсыпала, —мы опять хохочемъ. Настоящія божьи коровки.

— Воспитаніе въ закрытомъ заведеніи, конечно, оставляетъ многаго желать и не можетъ сравниться съ воспитаніемъ въ родной семьъ, — зам'ьчалъ старикъ на жалобы молодой дъвушки, — но, къ несчастью, хорошую разумную семью можно встрътить очень ръдко, а такихъ, которыя способны загубить въ молодой душъ всъ благородныя задачи—не оберешься. Берегитесь предъявлять жизни слишкомъ большія требованія, дитя мое, иначе васъ ждетъ много разочарованій.

Сара увхала съ Анной Абрамовной въ О*. Ей съ первыхъ-же дней не понравилось въ новомъ домѣ; не то, чтобы тетка была къ ней строга, напротивъ, она ничего не пожалѣла, чтобы доставить племянницѣ удовольствіе. Приготовила ей прехорошенькую комнату, надарила цѣлую кучу разныхъ цѣнныхъ бѣздѣлокъ и нарядовъ, но Сару какъ-то безотчетно леденилъ холодный блескъ ея свѣтлыхъ глазъ, ея сухой, недопускающій возраженія тонъ, ея высказывавшаяся на каждомъ шагу мелочность. Сестру свою Лидочку, которую Сара оставила избалованной шалуньей, она нашла спокойной, степенной дѣвочкой, очень мило и чисто одѣтой. Тетка, повидимому, любила ее, часто ласкала и даже баловала. Но чуть только она бывала не въ духѣ, или просто

стоило кому-нибудь разсердить ее, какъ она обрушивалась на Лидочку цълымъ потокомъ брани, упрекала ее въ неблагодарности, въ лвни, непослушании, придиралась къ ея работъ, заставляла двадцать разъ перепарывать какой-нибудь рубецъ. Лидочка довольно терпъливо переносила эти вспышки, стараясь угодить теткъ, но когда всъ старанія ея ни къ чему не приводили, она запрятывалась въ дальнюю комнату и начинала тихо плакать, утирая глаза кулачкомъ. Эти тихія слезы мгновенно смиряли сварливую Анну Абрамовну. Не желая, однако, ронять свой авторитеть открытымъ объясненіемъ, она начинала заговаривать съ дъвочкой издалека, предлагала ей идти гулять, дарила ей игрушку. Лидочка охотно сдавалась на дипломатическіе подходы тетки и черезъ часъ забывала всв свои горести. Тъмъ не менъе, она чувствовала несправедливость подобныхъ нападокъ; не имъя силь защищаться, она ихъ молчаливо сносила, но за то, несмотря на баловство тетки, никогда къ ней сама не ласкалась, и было замътно, что она ее сильно побаивается.

Совсѣмъ другое дѣло было съ Сарой. Она не замедлила стать въ открытую оппозицію къ Аннѣ Абрамовнѣ. Предлогъ къ неудовольствію представился вскорѣ послѣ ея пріѣзда. Увидѣвъ, что Сара особенно старательно запечатываетъ какой - то конвертъ, Анна Абрамовна подошла къ ней и спросила своимъ отрывистымъ голосомъ:

- Кому ты пишешь?
- Я пишу m-r Auber'y, тетя,—вы его знаете.
- Покажи письмо.
- Не могу, тетя.
- He можешь показать что ты пишешь этому старому болвану?
 - Онъ не болванъ, а очень хорошій человъкъ.

- Ты еще не можешь судить, кто хорошій человѣкъ, кто нѣтъ: молода слишкомъ. Такъ ты не дашь мнѣ нисьма?
 - Нътъ.
 - Отчего?
- Оттого, что я не люблю, чтобы мои письма читались не тъми, кому они адресованы.

Анна Абрамовна вся вспыхнула отъ этого отвъта.

- Какъ вамъ это нравится? обратилась она къ воображаемымъ слушателямъ: она не любитъ... важная особа... ей не нравится! Да кто ты такая, а? накинулась ужъ она прямо на Сару, червякъ, дѣвчонка, которую я взяла изъ жалости. Ты, можетъ быть, думаешь, что отецъ оставилъ вамъ милліоны! Дай Богъ мнѣ столько тысячъ, сколько долговъ онъ оставилъ...
 - Тетя!..
- Если-бъ не я, вы бы объ на улицъ валялись, кричала Анна Абрамовна, ничего не слушая.
- Тетя, вы упрекаете насъ своими благодъяніями, это неблагородно,—въ свою очередь, крикнула Сара.
- Что? Благодъяніе? Кто говорить о благодъяніяхъ? Я исполняю свой долгь!—еще громче закричала Анна Абрамовна, совершенно забывая, что сейчась только говорила о жалости.—Вы дъти моего брата, я отвъчаю за васъ передъ Богомъ и передъ людьми, я должна слъдить за вашей нравственностью... А ты—дура, ты должна слушаться старшихъ, а не разсуждать, не говорить дерзости. Ты думаешь, тебъ семнадцать лътъ, такъты ужъ большой человъкъ! Меня еще въ эти годы съкли...—и выхвативъ у ошеломленной дъвушки письмо, Анна Абрамовна быстро вышла изъ комнаты.
 - Это гадко! съ отчаяніемъ взвизгнула Сара.

Рыданія сдавили ей горло; она сердито хлопнула дверью и уб'вжала.

Нѣсколько дней обѣ стороны дулись. Сара не выходила изъ своей комнаты. Анна Абрамовна, не найдя въ письмѣ ничего особеннаго, — Сара писала только, что никакъ не можетъ освоиться съ новымъ положеніемъ, что тетка добра, но очень вспыльчива, что сестру она нашла запуганной и т. д., — сожалѣла, что слишкомъ погорячилась. Видя, что племянница не торопится приносить повинную, она отрядила къ ней парламентеромъ Лидочку. Когда Лидочка вошла къ сестрѣ, то нашла ее лежащею на постели съ красными щеками и красными опухшими глазами.

- Сара, робко начала дѣвочка, попроси у тети прощенія.
 - Это за что?
 - Да въдь она на тебя сердится.
 - Я сама на нее сержусь.
 - Ахъ, Сара...
- Ну, что ахъ, чего ты ко мнѣ пристала? Тебѣ, върно, дали конфетку, чтобы ты меня усовъстила...

Личико дъвочки вспыхнуло, она съ упрекомъ взглянула на сестру и закусила губки, чтобы не расплакаться. Саръ сейчасъ же стало стыдно. Она вскочила съ кровати, притянула къ себъ Лидочку и стала ее цъловать.

— Прости меня, милочка, не сердись, я такъ разстроена, что сама не знаю, что говорю. Ахъ, Лидочка, бъдныя мы съ тобой.

Лидочка разрыдалась.

- Не плачь, моя дорогая, чего ты? Я вѣдь пошутила, ну, полно; вотъ увидишь, какъ мы славно заживемъ. Хочешь, я тебя буду учить? Ты у меня выростешь умницей, хочешь?
- Хочу, только помирись, пожалуйста, съ теткой, а то она тебъ не позволить меня учить.

 Хорошо, Лидочка, я посмотрю; только, ради Бога, не реви.

Чтобы ввести племянницу въ общество, Анна Абрамовна дала балъ. Собрались такъ называемыя сливки. Сара была очень эфектна въ своемъ воздушномъ бъломъ платъъ. Роскопныя черныя косы, перевитыя пучками ландышей, падали ниже колбнъ, оттягивая назадъ ея красивую маленькую головку. Въ большихъ глазахъ и то вспыхивавшемъ, то пропадавшемъ румянцъ горъло дътское любопытство и какой-то смутный страхъ. Ей казалось, что на нее всв глядять, что всв знають, что она недавно вышла изъ пансіона и не умветь себя держать, — и она совсъмъ растерялась отъ этой мысли: не смъла улыбнуться, не смъла прислониться къ спинкъ стула. Особенно мъщали ей руки: она положительно не знала, куда ихъ дъвать, ухватилась, наконецъ, за висввшій у ея пояса вверь, стала его вертвть и вертвла, пока не сломала. Тутъ она совсъмъ обмерла. Въеръ былъ теткинъ и очень дорогой. Она позабыла въ одну минуту и гостей, и балъ, и только думала о томъ, бы выйти изъ бъды. Это маленькое несчастіе обошлось, впрочемъ, безъ всякихъ прискорбныхъ послъдствій. Анна Абрамовна, очень довольная удавшимся баломъ, почти не обратила вниманія на злополучный въеръ и только замътила, что въ другой разъ надо быть осторожнье. Посльдующие дебюты Сары были благополучнье. Она перестала бояться и съ увлеченіемъ отдавалась всвмъ представлявшимся удовольствіямъ, —танцовала цёлыя ночи напролеть, каталась верхомъ, слушала комплименты, участвовала въ благотворительныхъ концертахъ и спектакляхъ и скоро заняла въ О* мъсто первой красавицы. Тетка съ гордостью ее вывозила, сіяла при видъ восторженнаго поклоненія, встръчавшаго повсюду племянницу, и таяла отъ наслажденія, подмѣчая злобно устремленные на нее взгляды маменекъ перезрѣвшихъ дочекъ. Одѣвала она Сару скромно (скромность эта стоила, впрочемъ, очень дорого), но увы, Сара все-таки не осуществляла ея тайныхъ надеждъ: она только веселилась, а о настоящей побѣдѣ въ смыслѣ выгодной партіи, повидимому, даже не помышляла.

Мало-по-малу, Сарѣ стали надоѣдать эти постоянные выѣзды. Первый чадъ прошелъ. Наступила скука, а вмѣстѣ съ ней наступили размышленія. Ей вдругъ опротивѣла эта постоянная выставка. Она вдругъ точно прозрѣла и увидала, сколько лжи, обмана и лицемѣрія, злобы и зависти, грубости и алчности скрывалось подъмасками добродушія, довѣрчивости, любви къ ближнему...

Вотъ, напримъръ, m-me X. Она, кажется, слышать не можетъ равнодушно о голодныхъ, сирыхъ и убогихъ. Она извъстная благотворительница, предсъдательница разныхъ филантропическихъ обществъ и пріютовъ. Какъ она тонка, перетянута, прозрачна, какія у ней чудныя кружева — совсъмъ неземное существо. Съ ея блъдныхъ губъ, точно вздохъ, слетаютъ слова—"мой пріютъ", "въ засъданіи нашего общества", "кройка", "мастерскія", "ремесленные классы". "Ахъ, какую дивную статью я прочла въ "Revue pédagogique", или "какую чудную ръчь о женскомъ вопросъ сказалъ Каро!" "Я, въдь, посъщала его лекціи въ "College de France"..

Сарѣ очень нравилась эта дама, пока она не увидала какъ-то утромъ у тетки оборванную женщину, жестоко ее бранившую. Всего больше удивило Сару то, что тетка ея, всегда встрѣчавшая m-me X. съ нѣжными лобзаніями, теперь за одно съ гостьей честила ее на чемъ свѣтъ стоитъ. Оказалось, что оборванная женщина ни больше, ни меньше, какъ родная тетка аристократической m-me X., которая тщательно скрывала это компрометирующее родство передъ свътомъ, отдълываясь отъ слишкомъ назойливой тетушки филантропическими подачками въ видъ поношенныхъ платьевъ, старыхъ шляпокъ и т. д.

— Върите-ли, — разсказывала тетушка, — у меня зимой Саша съ Анютой въ скарлатинъ лежали, такъ онова все время дала мнъ пять рублей и обтрепаньую юбку...

А вотъ господинъ У., красноръчивый адвокатъ съ въчной улыбкой на румяныхъ устахъ. Въ голодные дни студенчества онъ былъ обрученъ съ прелестной дъвушкой, надорвавшей всю грудь надъ шитьемъ, уроками и переводами, чтобы какъ-нибудь помочь возлюбленному окончить курсъ. Возлюбленный курсъ окончилъ, окръпъ, потолстълъ, обзавелся практикой и... женился на барышнъ съ богатымъ приданымъ. И всъ его одобрили. Анна Абрамовна, посвящая Сару въ О*—скую общественную хронику, замътила по поводу этого случая: "вольно-же ей, дуръ (т. е. обманутой невъстъ), было върить".

А какъ милъ жирненькій подрядчикъ Z. съ своими масляными глазками, сь зачесанными à la Capoul лоснящимися волосами и цѣлой грудой брелоковъ на толстомъ брюхѣ; коротенькіе красные пальцы его унизаны перстнями; на пухломъ носѣ глубокомысленно торчитъ золотое пенсне. Онъ глупъ, пошлъ и необразованъ; но это не бѣда. Къ нему льнутъ хорошенькія женщины, почтенныя мамаши за нимъ ухаживаютъ, наперерывъ стараясь обратить его вниманіе на своихъ юныхъ цвѣтущихъ дочерей,—на, молъ, батюшка, выбирай. И все это обезьянничанье, это вѣчное стремленіе казаться русскимъ, французомъ, англичаниномъ и только изъ великодушія считаться евреемъ... Какъ это все вдругъ

опротивѣло Сарѣ. Она съ отчаяніемъ задавала себѣ вопросы:—неужели нѣтъ ничего лучшаго, неужели это все, и такъ оно должно быть?...

IV.

кара стала придумывать всевозможные предлоги, чтобы какъ-нибудь избъжать вывздовъ. Она запиралась въ своей комнатъ, сказывалась больной, проводила цълые часы за книгами, учила Лидочку. Анна Абрамовна изъ себя выходила, и то пилила ее съ утра до ночи, то смирялась и старалась донять ее ласками и уступками: но когда Сара перестала даже выходить къ гостямъ, Анна Абрамовна дала полную волю своему гнъву и первымъ дъломъ пригласила къ Лидочкъ учителя, устранивъ такимъ образомъ Сару отъ ея любимаго занятія. Но мъра эта привела къ совершенно неожиданнымъ результатамъ. Учитель, Адольфъ Леонтьевичъ Нордъ, филологъ безъ мъста, высокій молодой человъкъ съ длинными рыжеватыми кудрями и симпатичнымъ, нъсколько болфэненнымъ лицомъ-явился открытымъ и тайнымъ союзникомъ Сары. Онъ познакомилъ ее съ своей сестрой, немолодой уже, доброй и образованной дъвушкой, и Сара стала бывать у нихъ, большей частью украдкой отъ Анны Абрамовны, очень косо гляэто знакомство. Норды дъвшей на ициж маленькой квартиркъ царила чистота въ ихъ тотъ неуловимый отпечатокъ порядочности, которымъ комната располагаетъ къ хозяину даже въ сутствіе.

Сестра Норда, Розалія, содержала училище. Ученики (дъти ремесленниковъ и мелкихъ торговцевъ-евре-

евъ)-человъкъ тридцать мальчиковъ и дъвочекъ-собирались въ школу съ девяти часовъ утра и просиживали до двухъ. Сара больше всего любила ходить къ Розаліи въ это время. Она перезнакомилась со всъми дѣтьми, помогала m-elle Нордъ ихъ учить и только мечтала о томъ, какъ бы ей сдълаться постоянной помощницей въ школъ. Къ Розаліи часто приходили родные учениковъ, то съ просьбой отстрочить плату, то потолковать о своихъ дълишкахъ, то просто пожаловаться на лъность сорванца-сынка или озорницы-дочки. Сара никогда не видала такихъ людеп. Приниженные, пришибленные, загнанные и въ то же время рабски наглые и увертливые словно собаки въ напряженномъ ожиданіи плети. И что за жизнь! трудъ съ утра до ночи, трудъ до кроваваго пота, а въ видъ духовнаго наслажденія—ублаженіе начальства въ особъ дворника или околоточнаго. Особенно часто приходилъ къ Нордамъ одинъ старикъ, отставной солдатъ, израненный еще подъ Севастополемъ. Онъ былъ очень словоохотливъ и, считая себя болве или менве образованнымъ, любилъ отводить душу въ обществъ умныхъ людей. Семья у него, какъ и увсякаго добраго сына Израиля, была большая: своихъ дътей человъкъ семь, да еще вдова сестра съ ребятишками у него пріютилась. Вернувшись съ войны, онъ долго не могъ придумать, какъ прокормить всю эту ораву. Добрые люди посовътывали ему торговать старьемъ, и вотъ ужъ лътъ двадцать, какъ онъ цълые дни ковыляетъ на своей деревяшкъ, изогнувъ старую спину подъ огромнымъ узломъ. Сара особенно жаловала этого старика за его веселый нравъ и кроткій, незлобивый юморъ, и всегда что-нибудь у него покупала. Нордъ обыкновенно подсмвивался надъ ними: "Филантропка и эксплуататоръ-что за назидательная картина!"-восклицаль онъ шутливо.

Но всфмъ сердцемъ Сара отдалась матерямъ. Она со юности преклонилась передъ этимъ пыломъ полнымъ отреченіемъ отъ себя, отъ всёхъ радостей жизни, которымъ поражаетъ безпристрастнаго наблюдателя простая еврейская женщина. Когда мужъ оказывается неспособнымъ, праздношатающимся или просто больнымъ, жена энергически становится во главъ дома, бадить, торгуеть, служить, унижается, выносить обиды. Молодость, красота, любовь проходять и утрачиваются еврейской женщиной безсознательно, почти безъ сожальнія, среди грязи, копоти, за стойкой, у лотка на базаръ, улюльки золотушнаго, укутаннаго въ жалкія лохмотья ребенка, п все искальченное существованіе, всв ея надломленныя въ зародышв чувства перерождаются въ одно страстное, высокое, всепревозмогающее и всеискупающее чувство материнства.

Домашняя жизнь Сары становилась между тъмъ все тяжелъе. Она находилась постоянно въ ожиданіи нападенія, Маленькія и большія схватки происходили изъза каждаго пустяка, оставляя послъ себя осадокъ желчи, горечи, озлобленія, къ которымъ прибавлялось еще мучительное ощущеніе пошлости и мизерности этой борьбы. То ей доставалось за то, что она не любезна, никому не умфетъ понравиться, одфвается какъ старуха: то оказывалось, что она слишкомъ громко смфется, вмъщивается въ разговоръ, несвойственный ея возрасту, сидить согнувшись, точно прачка надъ корытомъ; то громы обрушивались на ея книги: -- "молоденькая дъчортъ знаетъ что, — физіологію! о вушка читаетъ воспитаніи дітей! какъ будто прежде не воспитывали дътей въ милліонъ разъ лучше безъ всякихъ физіологій".

Грустно было Саръ подъ это въчное, одуряющее шипенье; она старалась по возможности не поддаваться, но подчасъ ей все-таки становилось невыносимо; она злилась на себя, на свою молодость, на свои способности.

— Къ чему все это, —думала она, —для того развъ, чтобы сгнить въ этой проклятой трущобъ?!..

А сцены за неблагодарность продолжались и становились съ каждымъ днемъ бурнъй.

- Тетя,—заявила какъ-то Сара,—я вамъ буду очень благодарна, если вы исполните одно мое желаніе.
- Что еще?—удивилась Анна Абрамовна неожиданному обороту ръчи.
 - Позвольте мит давать уроки.
 - Какіе такіе уроки?
- Да какіе случатся, я хорошо знаю языки, музыку...
- Ага! по чужимъ домамъ бъгать захотълось! и безъ тебя много дуръ шляется! Этимъ, голубушка, никого не удивишь.
- Ахъ, тетя, отчего вы не можете говорить, не обижая. Развъ я у васъ прошу позволенія шляться или удивлять. Я здорова, молода, у меня нътъ состоянія, я хочу трудиться—что-жъ тутъ дурного!
 - Кажется, я для тебя не жалью куска хльба?
- Тетя, милая, вы не жалѣете, но я-то не могу пользоваться вашей добротой; я вамъ не доставляю никакой радости, вы постоянно мной недовольны, я...
- Отчего-же ты не постараешься, чтобы я была тобой довольна?
- Я старалась, тетя, да мнѣ это никакъ не дается: у насъ слишкомъ противоположные характеры, слишкомъ различный взглядъ на вещи.
- Ну, что-жъ, ты помоложе меня, тебъ легче перемъниться,—замътила Анна Абрамовна,—а у тебя нътъ,

желанія чтобы уступить теткъ... какъ-же! надо на своемъ поставить, гордость свою показать! что тетка! тетка—старая дура, мы умнъй...

- Никогда мы съ вами, должно быть, другъ друга не поймемъ,—вздохнула Сара.
- Да что понимать-то! Чего тебѣ не хватаетъ? Слава Богу, сыта, одѣта, обута,—чего тебѣ больше? Другая, на твоемъ мѣстѣ, благодарила-бы Бога, а ты съ жиру бѣсишься. Хочешь послушаться моего совѣта?—Выходи скорѣе замужъ! Весь этотъ твой характеръ и взглядъ на вещи—какъ рукой сниметъ.

Сара даже засмъялась отъ неожиданнаго совъта.

- За кого-же мнѣ выходить, тетя, я никого не знаю,—сказала она.
- Какъ никого не знаешь! Другой подумаль бы, что она у тетки какъ въ лѣсу живетъ, —воскликнула Анна Абрамовна, но уже гораздо мягче: ей показалось, что разговоръ принимаетъ благопріятный для нея оборотъ. Да хоть за молодого Розенберга, чѣмъ не женихъ! Онъже такъ за тобой ухаживаетъ.
 - Я его не люблю.
- Выйдешь замужъ—полюбить; а если ты будешь дожидаться романа, то, попомни мое слово, просидишь до съдыхъ волосъ, или выскочишь за голыша. И чъмъ тебъ не нравится Розенбергъ? молодецъ собой, образованъ, богатъ,—высчитывала тетка.
 - Фразеръ и карьеристъ, добавила племянница.
 Анна Абрамовна даже руками развела.
- Вотъ нашла недостатокъ—карьеристъ! А тебъ мужа нигилиста, что-ли, хочется?
- Оставьте, тетя, вы сами знаете, что я совсёмъ не думаю о замужестве. Прошу васъ еще разъ, позвольте мне давать уроки.

- Никогда, слышишь, никогда! Пока ты въ моемъ домѣ—думать объ этомъ не смѣй. Это негодяй этотъ Нордъ и его умная сестра тебя научили!
- Они честные люди, лучше насъ съ вами!—вспыльчиво вскричала Сара.
- A?! Что?! Лучше меня[?]! Я сегодня-же выгоню вонъ этого мерзавца, и если ты только посмѣешь къ нимъ пойти...
- Я уйду отъ васъ совсѣмъ,—перебила Сара, зады-хаясь отъ волненія,—уйду въ гувернантки.
- Хоть на всѣ четыре стороны,—согласилась Анна Абрамовна,—только знай впередъ, что съ той минуты, какъ ты переступишь мой порогъ—мы чужія.

Такъ протянулось еще нѣсколько мѣсяцевъ. Отношенія между Анной Абрамовной и Сарой приняли, мало-по-малу, тотъ враждебный характеръ, когда малѣйшее, безъ всякаго умысла, сказанное слово принимается возбужденнымъ умомъ за преднамѣренное желаніе обидѣть, кольнуть, задѣть... Обѣимъ было тяжело. Анна Абрамовна возмущалась непонятнымъ ей явленіемъ непокорности со стороны молоденькой дѣвушки, всѣмъ ей обязанной и которой она вдобавокъ самымъ искреннимъ образомъ желала добра. Она считала для себя унизительнымъ уступить, какъ она выражалась, ,,глупымъ бреднямъ сумасбродной дѣвчонки".—Да она сама на меня послѣ всю жизнь будетъ плакаться,—говорила она знакомымъ и рѣшила устроить судьбу племянницы наперекоръ ей самой.

А Сарапроводила безсонныя ночи, придумывая какъ-бы ей, вырваться", и ничего не могла придумать. Она продолжала украдкой отъ тетки бывать у Нордовъ и печально жаловалась имъ на свою слабость и безпомощность. Разъ, въ отвътъ на горькія слезы Сары, прибъжавшей къ своимъ друзьямъ послъ крупной ссоры съ

теткой, Адольфъ Леонтьичъ (сестры его не было дома) произнесъсмущеннымъголосомъдлинную-длинную сбивчивую тираду, изъ которой, однако, ясно, какъ день, выходило, что онъ давно ее любитъ, былъ-бы счастливъ, если-бъ она согласилась выйти за него замужъ, что стъснять онъ ее никогда ни въ чемъ не будетъ и т. д.

Сара не была влюблена въ Норда, но онъ ей нравился, нравился, по крайней мъръ, больше всъхъ, кого она знала..

Съ одной стороны—невыносимая, зависимая жизнь у тетки, съ другой—возможность осуществить неясныя и тъмъ болъе сильныя стремленія къ труду, къ свободъ... Она дала слово Норду.

Когда она сказала объ этомъ теткъ, та, вмъсто отвъта, указала ей на дверь прибавивъ:

— Если даже будете издыхать съ голоду, ко мив не обращайтесь.

V

Прошло два года. На дворѣ стояла глубокая осень. Погода была сырая, туманная, та спеціально петербургская погода, которая пронизываеть до мозга костей укутанныхъ въ мѣха счастливцевъ и вызываетъ разлитіе желчи у обреченныхъ носить на спинѣ заплатки и защищать носъ дырявымъ вязанымъ шарфомъ. По Большому проспекту Васильевскаго острова быстро шагалъ высокій, нѣсколько сутуловатый господинъ. Лица его не было видно изъ-за приподнятаго воротника и нахлобученной на глаза шляпы. Господинъ повернулъ въ одну изъ безчисленныхъ линій, остановился у деревявнаго двухъ-этажнаго дома съ мезониномъ и нетерпѣливо

дернулъ за ручку звонка. Его впустила горничная, недовольно проворчавшая ему вслёдъ: "Чего вы такъ шибко, словно пожаръ; хозяйка и то сердится: говорить—звонокъ оборвете". Онъ ничего ей не отвътилъ; взбъжаль на узенькую лъстницу, прошель, не останавливаясь, длинный корридоръ и, толкнувъ въ концъ его дверь, вошелъ въ комнату. На него пахнуло тепломъ. Въ комнатъ было темно, въ раскрытой печкъ тлъли подъ сизымъ пепломъ угли, бросая красноватый отблескъ на крашеный полъ. По комнатъвзадъ и впередъ ходила женщина, укачивая на рукахъ ребенка, и тихо напъвала какую-то пъсенку. Замътивъ вошедшаго, она прошентала: ,,Адольфъ, ты? Тише голубчикъ, она сейчасъ заснетъ". Походивъ еще немного, она прошла въ смежную комнату, ловко откинула одной рукой одвильце у двтской колясочки-кроватки и осторожно положила въ нее свою ношу. Наклонившись надъ малюткой, она съ минуту прислупивалась, и только убъдившись, что она дышетъ ровно и спокойно, вышла изъ спальни. Мужъ, съежившись, лежаль на диванъ противъ печки. Она съла возлъ него.

- Ты озябъ, Адольфъ?
- Да ужасная погода и, какъ на гръхъ, ни одного свободнаго мъста въ конкъ, такъ съ Бассейной и перъ пъшкомъ.
- Я сейчасъ тебъ чаю приготовлю,—сказала она и хотъла встать.
- Погоди, Сара, успѣешь послѣ.—Онъ взялъ ея руку и положилъ подъ свою голову. Оба молчали. Она встала и засвѣтила лампу. Свѣтъ, упавшій на нее, освѣтилъ ея красивое лицо. Сара очень похудѣла, но это ее не портило,—изящныя черты ея лица опредѣлились и стали выразительнѣе; еле замѣтная линія легла на чистый, нѣжный лобъ. Гладкое черное, съ

отложнымъ воротникомъ и рукавчиками, платье охватывало ея стройную, величавую фигуру. Она поставила на столъ лампу, взяла съ коммода спиртовую машинку и, наливъ въ мѣдный чайникъ воды, зажгла спиртъ. Адольфъ Леонтьичъ слѣдилъ за нею глазами. Онъ сильно постарѣлъ и исхудалъ. Обыкновенно блѣдное лицо его пріобрѣло какой-то сѣроватый цвѣтъ и выглядѣло жалкимъ и измученнымъ. Густые, рыжеватые кудри порѣдѣли и посѣдѣли; на лбу сіяла лысина. Сара заварила чай и, придвинувъ къ дивапу столикъ, поставила на него посуду. Она замѣтила пристально устремленный на нее взглядъ мужа и спросила:

- Что ты такъ глядишь на меня?
- Я часто такъ на тебя гляжу, Сарочка, только ты этого не замъчаешь. Знаешь, ты производишь удивительно странное впечатление въ этой безобразной меблированной комнать, съ ребенкомъ на рукахъ, съ твоими хлопотами около этого убогаго чайника... точно сказочная принцесса, обращенная злой феей въ жену угольщика. И лицо у тебя въ это время такое гордоенеподвижное, словно хочетъ сказать: здъсь съ вами, презрѣнные угольщики, только мое тѣло, а душа моя тамъ, въ моемъ прекрасномъ бирюзовомъ дворцъ. Пробьеть чась, — и чудный витязь умертвить злую колдунью и прівдеть за мной на быстромь быломь конв. ІІ сброшу я это міщанское черное платье, надіну парчевое, а витязь накинеть на мои плечи мантію изъ горностая, и я, красавица-принцесса, умчусь на бѣломъ конъ dahin, dahin... Что-то будетъ тогда съ нами, бъдными угольщиками.

Сара разсмъялась.

— Однако, я не подозрѣвала, что у тебя такое воображеніе... На этоть разь, впрочемь, ты ошибаешься. Если я и заколдованная принцесса, то мой вкусь ужъ слишкомъ испортился отъ вліянія земной прозы, и я не перемѣню своихъ чумазыхъ угольщиковъ на гарцующаго на конѣ рыцаря, который въ сушности вѣдь никто иной, какъ вѣчный удачникъ и счастливчикъ— Иванушка-дурачокъ... Но Богъ съ ними, со сказками. Скажи мнѣ лучше, отчего ты такой хмурый? Видно, опять ничего не получилъ въ редакціи?

- Ничего ровно.
- Какъ это только имъ не стыдно заставлять человъка даромъ работать,—сказала Сара, вздохнувъ.
- Говорятъ—теперь денегъ нътъ; розничную-то продажу запретили, вотъ они и съли на мель.
- А знаешь, я сегодня чуть-чуть хорошаго урока не получила.
 - Въ самомъ дълъ?
- Право. По объявленію нашему явилась какая-то дама, не старая еще, богато одътая. Сонечка спала, такъ что я могла говорить съ ней безъ помъхи. Сказала, что дочка у ней десяти лътъ, и вотъ эту дочку нужно готовить въ гимназію, - языки, предметы и т. д... Назначила пятьдесять рублей въ мъсяцъ. Я такъ обрадовалась, что чуть не запрыгала. Совсвмъ сговорились, даже дни занятій назначили, и она ужъ встала, чтобы упти. Вдругъ я вспомнила, что забыла о главномо:-извините, говорю, я не успъла васъ предупредить: я-еврейка. Какъ она вспыхнеть!-Что же вы, говорить, раньше объ этомъ молчали, ужъ это вы напрасно, я къ своимъ дътямъ жидовки не Да вы, можетъ, и по русски-то путемъ не знаете. Я было заикнулась о дипломв.-Ньть, говорить, что-жь мнъ дипломъ, я лучше русскую безъ диплома возьму... Ушла, даже не простившись.

Сара разсказывала шутя, но при последнихъ словахъ

у нея задрожалъ голосъ, и она отвернулась, чтобы скрыть набъжавшія слезы.

- Какой ты ребенокъ, Сара, замѣтилъ мужъ,— сколько разъ съ тобой повторялась та-же исторія, а тебѣ все мало. Ну, кто тебя толкалъ ей докладывать, что твои знаменитые предки за панибрата съ Господомъ Богомъ бесѣдовали?
- Ахъ, Адольфъ, не насмъхайся, пожалуйста; что же мнъ дълать, когда я не могу, когда мнъ противна эта ложь. Мнъ тяжело, меня мучить-за что они меня презирають, чъмъ я хуже ихъ? Мнъ, наконецъ, больно и стыдно, отчего я не плачу имъ твмъ-же, отчего я не могу отвыкнуть считать родиной страну, которая меня считаетъ паріей. Нфтъ, знаешь, это невыносимо... въчный этотъ разладъ въ душъ... когда чувствуешь, что ты ни то, ни се. И къ чему только насъ учатъ!-чтобы сильнее страдать всю жизнь. Зачемъ развивать понятіе о человъческомъ достоинствъ въ человъкъ, осужденномъ на безконечное рабство. Это, по моемупреступленіе. Гораздо было бы лучше, если бы выросла я забитой Хайкой среди забитыхъ моихъ единовърцевъ. Тогда бы я, по крайней мъръ, могла ненавидъть безъ угрызенія совъсти и спокойно вела бы безпощадную борьбу за существованіе... а теперь что? Я хочу любить, а меня заставляють ненавидёть.
- Ну, ты, кажется, не можешь пожаловаться на особенную ненависть...
- Ты намекаешь на то, что за мной удостоивали ухаживать твои знакомые? Но вѣдь это еще большее оскорбленіе; вѣдь въ то время, когда мнѣ говорять любезность, въ душѣ думають—ишь ты, какъ разговариваеть, зазналась жидовка... Но ты, Адольфъ, меня удивляешь. Я тебя считала такимъ горячимъ юдофи-

ломъ, а теперь ты какъ-то совсѣмъ опустился. Неужели тебя такъ наши денежныя дѣла удручаютъ?

Онъ посмотрълъ на нее своими впалыми глазами.

- Нътъ, Сара, не то; просто я старше сталъ, утомился и... устыдился. Увидель, что и наши, и ваши, и ихніе—всв хороши. Посмотри на нашихъ тузовъ пошлъе и отвратительнъе ничего себъ представить нельзя. Вся гадость холопа, почувствовавшаго себя на минуту господиномъ, такъ и брызжетъ изо всвхъ его поръ. И надъ къмъ онъ всего больше ломается?! Конечно, надъ своимъ же Беркой и Шлемкой, которымъ не удалось схватить куша. Передъ Сидоромъ и Карпомъ онъ лебезитъ... И чъмъ только онъ вдругъ ни становится! И меценатомъ, и благодътелемъ человъчества... Я самъ зналъ одного такого артиста. Совсъмъ былъ бъдный мальчишка, жилъ на хлъбахъ у тетки, торговки старымъ платьемъ. Только вдругъ сей герой проявилъ необыкновенные финансовые таланты, началъ служить по откупамъ, потомъ попалъ въ директоры какой-то акціонерной компаніи, получилъ какую-то удивительную концессію, купиль палаццо и провозгласиль себя меломаномъ. На вечерахъ этого господина ты можешь встрътить кого угодно, только не евреевъ. Дъти его—спортсмены, жена филантропка... А тетку, которая его двадцать лътъ кормила, онъ пересталъ на порогъ пускать. Неприлично, видишь-ли, для его сана, что она такой неблагородной профессіей занимается. Вотъ тебъ типъ нашего туза. Варіанты, конечно, встръчаются разные: одинъ жертвуетъ на больницы, другой на церкви, третій покупаеть дачу любовниць сановнаго барина, которому прямо въ руки неловко дать... Тошно жить, Сара, такъ бы и удралъ отсюда безъ оглядки.
- Но если тебѣ такъ здѣсь опротивѣло,— сказала Сара,—уѣдемъ въ провинцію. Тамъ легче достать ра-

боту, и мы заживемъ тѣсной семейной жизнью. Развѣты насъ съ Сонечкой такъ мало любищь, что мы не можемъ дать тебѣ успокоенія!

Онъ охватилъ рукою ея голову и прижалъ ея щеку къ своей щекъ.

— Дорогая моя, я только тебя и люблю на свътъ,— промолвилъ онъ съ страстною тоской;—но я запутался, Сара, боюсь, что и тебя запуталъ, боюсь, что поздно...

Въ спальнъ въ эту минуту заплакалъ ребенокъ. Сара бросилась туда и черезъ минуту вернулась, держа на рукахъ прелестную бълокурую дъвочку. Она сморщила отъ свъта свое заспанное личико и стала тереть кулачкомъ глазки и носикъ; увидъвъ отца, засмъялась, пролепетала "папа" и потянулась къ нему своими розовыми рученками. Онъ взялъ ее на руки и сталъ быстро поднимать и опускать сверху внизъ. Дъвчурка такъ и заливалась отъ восторга. Потомъ она перешла къ матери, та напоила ее молокомъ, и она опять уснула.

- Адольфъ, скажи мнѣ правду, отчего ты сказалъ, что намъ поздно начать другую жизнь?—спросила шопотомъ Сара, продолжая прерванный разговоръ.
- Я сказалъ это не подумавши, милая, ты не безпокойся, пожалуйста; просто я сегодня не въ своей тарелкъ, — отвътилъ онъ, слегка смутившись.

Она пристально посмотрѣла на него и прошентала:

- Ты говоришь неправду.

Онъ вспыхнулъ.

— Сара, я тебя прошу, не распрашивай меня ни о чемъ, я тебъ пока ничего не могу сказать, не мучь меня.

Она умолкла. Дъвочка мирно спала на ея колъняхъ. За стъной у хозяйки монотонно тикали часы.

— А я забыла тебъ сообщить, — начала Сара, прерывая молчаніе, — я сегодня письмо получила отъ тетуш-

ки Анны Абрамовны. Представь, она приглашаетъ меня съ Сонечкой къ себъ, пишетъ, что ей безъ меня скучно, что слышала, будто у насъ дъла плохи, что она на меня больше не сердится и т. д. Вообще письмо очень любезное.

Адольфъ Леонтьевичъ опустилъ голову на руки и, казалось, соображалъ что-то.

- Сара, голубушка,—промолвиль онь умоляющимъ голосомъ,—поважай къ теткъ хоть на время, прошу тебя.
- Что ты говоришь, Адольфъ,—возразила Сара,—подумай хорошенько! Вхать къ теткъ, которая такъ оскорбительно отнеслась къ нашему браку, ъхать теперь на ея милости! Никогда и ни за что. Я понимаю, тебъ должно быть грозитъ бъда, и ты хочешь избавить меня отъ нея. Жаль только, что ты такъ мало меня знаешь: я тебя не покину въ нуждъ.

Адольфъ Леонтьевичъ вздохнулъ, снялъ съ полки книгу и огромный словарь, вынулъ изъ ящика тетрадь и засълъ за работу.

VI.

Жла Нордовъ шли все хуже. Сара по цѣлымъ часамъ просиживала надъ пяльцами. Она вышивала бѣлье для одного большого магазина; работа оплачивалась грошами, но она и этому была рада. Адольфа Леонтьевича, казалось, грызло какое-то тайное горе. Онъ совсѣмъ осунулся, помутнѣвшіе глаза безпокойно бѣгали и угрюмо смотрѣли изъ-подъ насупленныхъ бровей, щеки ввалились и представляли глубокія впадины. На него напала какая-то лихорадочная подвижность, онъ не могъ усидъть часу на одномъ мъстъ и, то и дъло, убъгалъ изъ дому; уходилъ даже иногда ночевать къ товарищамъ, оправдываясь передъ женой, что дъвочка мъщаетъ ему заниматься ночью, а у него спъшная и выгодная работа, которую надо скорфе кончить. Неясное предчувствіе біды томило Сару, и она провоодинокіе часы и дни въ тоскливомъ ожиданіи катастрофы. Она старалась забыться въ заботахъ о дъвочкъ и прилежной работъ, но это ей плохо удавалось. Сидить она и вышиваеть по мелкой-мелкой канвъ малороссійскую сорочку. Противъ нея, въ колясочкъ, сидить малютка и усердно царапаеть лицо истерзанной восковой куклы. Сковырнеть пальчикомъ кусочекъ воску, серьезно его разсматриваеть и, поднявь свътлые глазки, настойчиво кричить -- мама! Мать машинально протягиваетъ руку, ребенокъ опускаетъ въ нее свою добычу и снова принимается за діло. "Сегодня, - думаетъ Сара, -- непремънно потребую отъ него объясненія; я хочу, наконецъ, знать, что съ нимъ. Два мъсяца ужъ тянется эта пытка"....

За дверью у хозяйки бьеть четыре часа. Въ комнатъ становится темно. Сара совсъмъ почти приникла къ ияльцамъ и торопливо дошиваетъ краснымъ шелкомъ звъзду. Въ глазахъ у ней рябитъ, въки горятъ, она ихъ смыкаетъ и видитъ чудные круги—золотые, зеленые, розовые...

Дѣвочка начинаетъ плакать. Сара встаетъ, выпрямляетъ усталую, ноющую спину и беретъ ребенка на руки.

— Чего ты, моя птичка,—говорить она, цѣлуя дѣвочку,—соскучилась моя крошка, мамка противная забыла свою дочку, воть мы ее, негодную—(она хлопаетъ ручонкой дѣвочки по своей щекѣ, и та ужъ смѣется),—воть такъ, не забывай дочку!

Она открываетъ дверь и кричитъ: "Аннушка, Аннушка!"

Входитъ сердитая горничная.

- Чего вамъ?
- Подайте мнъ, пожалуйста, объдать.
- Да въдь нътъ еще вашего-то.
- Онъ, должно быть, пообъдаль въ городъ.
- Какъ-же, въ городъ... двадцать разъ вамъ подавай. Сара вспыхиваетъ.
- Я не желаю слышать вашихъ разсужденій,—говорить она,—подавайте объдать и ступайте вонъ.

Горничная уходить и за дверью изъявляеть свою обиду.

— Ишь-ты, барыня какая выискалась: "вонъ!" Самой жрать нечего, а добрыхъ людей шпыняетъ... "вонъ!"... Жидовское отродье!

Сара стискиваеть зубы до боли, кровь заливаеть ей щеки, она вся дрожить.

Аннушка вносить лампу, ставить на столь чашку съ мутнымъ супомъ и кусочекъ чернаго, какъ уголь, мяса. Она безмолвствуетъ, но вся ея фигура выражаетъ оскорбленное достоинство и дышетъ полнымъ презрѣніемъ къ жилицѣ.

— Подайте кипятокъ, --командуетъ Сара.

Аннушка только глазами на нее метнула, хлопнула дверью и, вернувшись съ кипяткомъ, такъ стремительно швырнула чайникъ, что чуть не обварила Сару, державшую на ложечкъ кусокъ либиховскаго экстракта. Приготовивъ бульонъ и накрошивъ туда хлъба, она накормила сначала ребенка, а потомъ ужъ принялась за свой супъ.

— "Что это, какъ его долго сегодня нътъ!"—подумала она.

Ребенокъ заснулъ, она прилегла на продавленномъ

жесткомъ диванѣ и стала ждать. У ней расходились мысли. "Такъ это", —думалось ей, — "та жизнь, къ которой я стремилась... гдѣ же тутъ общій трудъ, взаимная поддержка, —даже простого довѣрія нѣтъ... Одинъ въ одну сторону, другой въ другую. Неужели тетенька Анна Абрамовна была права, что эти всѣ мои "идеи", какъ она ихъ называла, —только блажь, а то болото, которое я оставила, грязное, ничтожное—это и есть настоящая жизнь... А Лидочка—что съ ней будетъ, куда она кинется—въ мою "блажь", или окунется съ головой въ ихъ болото?.. Гдѣ-же правда?"

Часы опять забили; она оперлась на руку и стала считать: девять, десять, одиннадцать..., Господи, да чтоже это съ нимъ... Со вчерашняго вечера пропалъ"... Сердце у нея то безпокойно билось, то вдругъ падало и жутко замирало въ груди. Она подошла къ окну и, прислонившись лбомъ къ стеклу, стала глядъть... Улица была окутана туманомъ. Фонари тускло мерцали, освъщая овчинныя шубы и бляхи торчавшихъ у воротъ дворниковъ. Въ коридоръ вдругъ слабо дрогнулъ звонокъ. Сара бросилась въ прихожую. Вошелъ знакомый студентъ. Она почти втащила его въ комнату и заговорила, вся блъдная, задыхающаяся:

- Вы отъ него? Что съ нимъ, гдъ онъ?

Студентъ растерялся. Онъ, повидимому, готовился приступить къ своей миссіи исподволь, постепенно, и вдругъ его сразу огорошили.

— Да вы успокойтесь,—началь онь, заикаясь,—опасности никакой нъть, его скоро выпустять, право.

Сара испуганно смотрѣла на него, ничего не понимая, — Какъ выпустятъ? Что это значитъ, Ивановъ?

Ивановътолько рукой махнулъ, — словно говоря: "чортъ съ ними, съ этими бабами, полъзъ въ карманъ, вытащилъ

оттуда письмо и подалъ ей. Она его схватила и стала поспъщно рвать конвертъ.

"Дорогая моя, милая—писаль ей мужъ,-не вини и прости меня. Я давно собирался сказать тебъ все, но у меня духу не хватало пришибить тебя на своихъ глазахъ. Мнъ хуже, Сара, потому что я гибну безъ въры въ дущъ... Итти назадъ я не могу; для меня открытъ только одинъ путь назадъ-путь подлости и предательства. Я тебя знаю, ты сама бы не захотъла такого возврата. Пусть идеалы, въ которые я въроваль, несостоятельны, но я увлекался ими честно, искренно; я отдаль имъ лучшія силы моей молодости... и убъдился, что мы не болье, какъ безсильныя пышки... Когда я въ этомъ убъдился, было уже поздно. Да я и не хочу этого. Пъшкой измученной и раздавленной я еще могу быть, но жирной, самодовольной пъшкой нътъ и нътъ. Отчего я тебя не пріобщилъ къ своей внутренней жизни? Я хотълъ избавить тебя отъ сомнънія, которое изглодало мою душу... Я не шлю проклятія своему прошлому, -я не трусъ, но я былъбы трусомъ, если-бы привилъ къ твоей здоровой натуръ свой больной нарывъ. Не отчаявайся, моя прекрасная, милая; въ сущности — такъ лучше. Въдь ты-бы раньше или позже разлюбила меня; ты, сама того не замъчая, уже и теперь разочаровалась во мнъ, для тебя въра безъ дъль—мертва. А такъ ты, можетъ быть, со хранишь обо мнъ доброе воспоминание. Воспитай наше дитя такъ, чтобы оно не проклинало своего отца. Послъдняя просьба, Сара, уважай къ теткъ. Тебъ надо собраться съ мыслями и силами. Прости еще разъ и забудь скорве твоего неудачника-мужа. Адольфой.

Сара безсильно опустилась на стуль; ей показалось, что она не поняла письма, и она стала его перечитывать. Пальцы у ней вдругь похолодъли; она опустила

письмо на колѣни и повернула свое помертвѣлое лицо къ студенту. Тотъ, ждавшій слезъ и истерикъ, испугался этого безмолвнаго горя. Онъ съ участіемъ подошелъ въ молодой женщинѣ, пробормоталъ какое - то утѣшеніе. Она подняла на него свои ушедшіе въ глубь глаза.

— Что?.. Хорошо, уходите, пожалуйста... благодарю васъ.

Студентъ постоялъ, помялся, раскланялся и ушелъ. Сара не отвътила на его поклонъ. Она все сидъла, неподвижно вперивъ глаза въ одну точку, съ протянутыми на колъняхъ руками. Прошелъ часъ, другой... Въ комнату тихо вошла Аннушка. Сара скользнула по ней равнодушнымъ взглядомъ.

- Хозяйка велѣла вамъ сказать, чтобъ безпремѣнно завтра съ квартиры съѣзжали, важно объявила она Сарѣ.
 - Xopomo...

Аннушку взорвало отъ такого хладнокровія.

— Мы *этаких* держать не можемъ, — прибавила она злобно.

Сара вдругъ точно проснулась.

- Какихъ "этакихъ?" спросила она, вставая.
- Извъстно какихъ; сама небось знаешь, за что людей въ острогъ сажаютъ,—отвътила съ ехидной усмъщкой горничная.

Эта грубая наглость, это "ты" — заставили очнуться Сару. Такъ люди, отупѣвшіе отъ глубокихъ душевныхъ страданій, иногда вдругъ приходять въ себя отъ безсмысленной, пошлой выходки человѣка, котораго они въ нормальномъ состояніи не замѣчаютъ. Сара порывисто вскочила съ своего мѣста, схватила лежавшій на столѣ ножъ и, замахнувшись имъ, прохрипѣла:

— Вонъ, гадина, убыо!..

Аннушка мгновенно исчезла. Придя въ кухню, она долго еще не могла успокоиться и все твердила:

— Господи помилуй, Господи помилуй...

Сарѣ вдругъ стало очень жарко; она вся дрожала, хотя голова у ней горѣла; что-то мучительно-тяжелое подымалось у нея къ горлу и сдавило его. Она взяла ламиу и прошла въ спальную. Въ кроваткѣ, разметавшись, спала дѣвочка. Сара долго глядѣла на ея голыя ручки и ножки, и слезы, горькія, жгучія, необлегчающія, покатились крупными каплями по ея пылающему лицу. Она испытывала безконечную боль, обиду и жалость къ самой себѣ; слезы лились все неудержимѣе, переходя въ судорожное рыданіе, и она зажала ротъ платкомъ, чтобы не разбудить ребенка.

VII.

Сара перевхала на Пески. Она наняла комнату у двухъ сестеръ-бвлошвеекъ, жившихъ въ подвальномъ этажв. Комната была маленькая, темная, низкая; въ ней пахло мятой, сушеными грибами и какой-то затхлою сыростью, но хозяйки говорили, что это отъ тепла. Обвонв казались такими добродушными созданіями; это расположило Сару въ ихъ пользу,—"по крайней мърв не будутъ пилить меня", — подумала она и дала задатокъ. Когда въ комнату поставили кроватку дввочки, въ ней еле осталось мъста для стула и стола.

Сара старалась занять себя хозяйственными хлопотами. Она боялась остаться наедин съ своими мыслями и дъятельно занялась уборкой комнаты — вытирала пыль, укладывала книги, вбивала гвозди, довольная, что любезныя хозяйки взяли къ себъ ея Сонечку. Но вотъ комната убрана; дълать больше нечего; пыльная

тряпка повисла на ея рукъ. Ей становится страшно. Она чувствуеть, что она одна, одна въ цёломъ мірів, и въ ней вдругъ просыпается злое чувство къ мужу. Онъ кажется ей эгоистомъ, ушедшимъ отъ ежедневной мелочной борьбы; онъ предпочелъ исключительное, интересное страданіе, а ее оставиль одну съ ребенкомъ... пусть выпутывается какъ знаетъ... И смъетъ еще совътовать ей эту низость - вхать съ повинной къ теткъ, которая ее выгнала.. какая нъжная заботливость... Но Саръ уже стыдно за эти мысли, и она уже сама себъ кажется гадкой. И въ самомъ дълъ! Неужели она такъ безсильна, что сама не можетъ пробиться? Пустяки! она пробьется, не весь-же свъть клиномъ сошелся. Найдутся уроки, переводы, и она сама поставить на ноги свою дочку. Въ глазахъ ея вспыхнулъ молодой огонекъ. Она гордо подняла голову и почти улыбающаяся отправилась къ хозяйкъ. Дочку свою она нашла сидящею на широкой кровати, среди всякихъ лоскутковъ и обръзковъ, съ мятнымъ пряникомъ въ рукъ. Увидя мать, она кинулась къ ней и стала ей совать въ ротъ пряникомъ.

— Какая она у васъ занятная, — сказала Авдотья Петровна, старшая изъ хозяекъ, толстая, высокая дѣвушка, лѣтъ сорока, съ добрымъ, усѣяннымъ веснушками лицомъ.

Младшая сестра, Настя, была гораздо моложе и красивъе. Свътлые сърые глаза глядъли прямо; русая съ желтизной коса была высоко закручена на затылкъ; красныя губы поминутно улыбались, выказывая рядъ крупныхъ, бълыхъ зубовъ; вздернутый носъ придавалъ лицу немного задорное выраженіе. Она опростала стулъ отъ лежащаго на немъ коленкора и подвинула его Саръ.

— Садитесь, имени и отчества вашего не знаю, — проговорила она,—гостьей будете.

Сара присъла.

- Меня зовуть Сарой Павловной, сказала она.
- Изъ иностранокъ будете? освъдомилась Авдотья Петровна.
 - Да... иностранка, подтвердила она.
- То-то лицо у васъ не русское, а ужъ какая вы писаная красавица,—восхитилась Настя.

Сара улыбнулась этому наивному комплименту.

- II по русски чисто говорите, не отличишь,—замътила Авдотья Петровна. А муженекъ вашъ гдѣ находится?—продолжала она.
 - Онъ умеръ, промолвила Сара и вздрогнула вся, зачъмъ это она такъ сказала.

Сестры выразили собользнованіе.

- Экое горе, подумаень! И давно вы его схоронили?
- Нътъ, недавно.
- Ишь ты... чай трудно вамъ теперь одной съ ребенкомъ?
 - Да, я хочу искать работы, уроковъ...
 - Такъ, такъ.
- Вамъ, коли уйти нужно или что, такъ вы ужъ не безпокойтесь, Сара Павловна, я присмотрю за дитей,— предложила Настя.
 - Благодарю васъ, Настасья Петровна.
- Ну, что тамъ за Петровна, зовите просто Настей, не велика барыня.
- Благодарю васъ, Настя, вы очень добры. А теперь я васъ оставлю, надо дочку спать укладывать; спасибо за ласковый пріемъ.
 - Не на чемъ, Сара Павловна.

VIII.

ара принялась за поиски. Воспользовавшись предложеніемъ Насти, она оставляла на ея попеченіе дѣвочку, а сама отправлялась по адресамъ, которые она списывала изъ приносимыхъ тою же заботливой Настей газетъ. По большой части, мѣсто оказывалось уже занятымъ. Дернетъ она усталой рукой за звонокъ, откроется дверь, и въ нее выглянетъ равнодушное лицо лакея или горничной: "Вы учительница?—не надо: уже наняли"—и она тоскливо бредетъ дальше. Въ одномъ домѣ ее, наконецъ, впускаютъ. Выходитъ барыня, съ измятымъ лицомъ, въ блузѣ и папильоткахъ. Она прищуриваетъ глаза и молча оглядываетъ смущенную Сару.

— Я не могу васъ взять, — объявляетъ она, наконецъ, — вы слишкомъ хороши собой, а у меня ужъ вотъ гдѣ, — она показала на шею, — сидятъ красивыя гувернантки.

Сара не могла удержаться отъ усмѣшки, услыхавъ такое оригинальное заявленіе.

- -- Что же онъ вамъ сдълали?--спросила она.
- Какъ что! съ мужемъ кокетничаютъ.
- Да въдь я не гувернантка, а учительница, такъ что могу не встръчаться съ вашимъ мужемъ, и кромъ того, могу васъ увърить, что не буду кокетничать.

Дама поколебалась съ минуту.

— Впрочемъ, нѣтъ, нѣтъ,—сказала она рѣшительно;—если вы даже не станете дѣлать ему авансовъ, онъ все равно будетъ ухаживать за вами. Я ищу урода, понимаете— урода; мнѣ нуженъ покой въ домѣ...

Сара обратилась къ конторщицамъ. При словъ "ев-

рейка", всв обнадеживанья мгновенно смолкали. "Оh, c'est bien difficile dans votre pays", съ снисходительнымъ сожалвніемъ говорили француженки. Ей указали на одну изъ самыхъ извъстныхъ "placeuses" m-me Dubois, и она отправилась къ ней. Въ прихожей на нее съ громкимъ лаемъ накинулась жирная, лохматая собаченка, изъ полуоткрытой двери послышался громкій голосъ:

— Bijou, Bijou, petit vilain,—выбъжала перетянутая горничная съ горбатымъ носомъ и взбитой гривой на лбу, протрещала картавымъ голосомъ:—entrez, m-lle, m-me est au salon...

Сара вошла въ просторную комнату, всю заставленную разнокалиберною пестрою мебелью, цвътами, дешевенькими эстампами и статуэтками. Въ каминъ ярко пылали угли. Полная женщина, съ съдыми, почти бълыми волосами, выразительнымъ лицомъ и огромными черными на выкатъ глазами, сидъла у письменнаго стола и что-то записывала въ толстую прошнурованную книгу. На колъняхъ у нея лежала большая сърая кошка. Въ углу, на диванчикъ, сидълъ молодой человъкъ, въ щегольской жакеткъ, завитой барашкомъ, съ невыразимо закрученными усиками, и вертлявая, накрашеная француженка,—должно быть, гувернеръ и гувернантка безъ мъстъ. Увидъвъ Сару, m-me Dubois окинула ее взглядомъ знатока и, протянувъ ей лъвую руку—въ правой она держала гусиное перо—сказала.

- Bonjour, ma belle enfant, quel bon vent vous amène?

Сара очень удивилась этой простоть, показавшейся ей любезной и милой; ее только смущало безцеремонное любопытство француза, который, втиснувь въ глазъмонокль, посматривалъ на нее съ одобрительной улыбкой. М-те Dubois это замътила и выслала гувернера и гувернантку вонъ изъ комнаты. Видя, что Сара продрогла, она заставила ее снять пальто, любезно придви-

нула къ камину кресло и только тогда, когда она нѣсколько пришла въ себя,—вступила съ ней въ обстоятельную бесѣду. Искусными вопросами она заставила Сару высказаться больше, чѣмъ та желала. Когда она кончила, француженка сказала:

- Я не хочу подвергать васъ лишнимъ разочарованіямъ: въ русскомъ семействѣ вамъ трудно пристроиться, но не хотите-ли попытать счастія у вашихъ единовѣрцевъ?
- Съ большимъ удовольствіемъ,—отвѣтила Сара; для меня это безразлично, даже пріятнѣе.
- Oh, ne vous flattez pas trop du succés,—замѣтила конторщица, съ хитрой улыбкой;—ils ne sont pas non plus tout sucre vos bourgeois gentilhommes. Вотъ адресъ одного изъ вашихъ богачей, банкира Кранца. А теперь позвольте старой опытной женщинѣ дать вамъ совѣтъ: pour réussir il faut se faire valoir.

Обласканная m-me Dubois, Сара съ новыми помчалась по данному адресу. Она попала въ настоящій дворецъ. Высокая прихожая съ причудливыми колоннами подавляла своими размърами. Широкая, ослъпительно-бълая мраморная лъстница, устланная бархатнымъ ковромъ, уставленная роскошными деревьями и цвътами, и огромное зеркало, отразившее фигуру Сары въ мокромъ, поношенномъ пальто, съ люстриновымъ зонтикомъ въ рукахъ, -- смотръли, казалось, съ неудовольствіемъ презрительнымъ непривычную на гостью. Ливрейный швейцаръ и лакей, съ бакенбардами, въ черномъ фракъ и бълыхъ перчаткахъ, оглядъли ее съ нескрываемой насмъшкой, не двигаясь съ мъстъ. Сара больно прикусила себъ губу-, они принимають меня за попрощайку", --подумала она, и повелительно обратилась къ бакенбардисту:

— Доложите барынъ, что одна дама желаетъ ее видъть.

Лакей обидълся.

- Барыня не принимаютъ всѣхъ; коли вамъ за пособіемъ, пожалуйте въ контору.
- Я не за пособіемъ,—ступайте и доложите барынѣ. Лакей нехотя поплелся; вернулся онъ почти черезъ четверть часа и пробурчалъ:
 - Пожалуйте.
- "Вотъ они сейчасъ будутъ смъяться надъ моими рваными калошами" подумала опять Сара и тутъ же внутренно упрекнула себя въ мелочности.

Лакей провель ее въ небольшую комнату, удивительно уютную. Темнозеленая бархатная мебель, низенькая, мягкая, такія же портьеры и гардины; поль весь обить пушистымъ ковромъ; надъ диваномъ, въ углу —картина, въ тяжелой золоченой рамѣ; съ потолка спускается китайскій фонарь, освѣщая комнату нѣжнымъ матовымъ полусвѣтомъ.

Явилась хозяйка, въ длиннъйшемъ голубомъ шелковомъ пеньюаръ съ красными бантами и цълымъ ворохомъ желтыхъ кружевъ. Въ ушахъ у ней сверкали два крупныхъ брильянта; на костлявыхъ рукахъ съ короткими пальцами блестъли кольца и браслеты. Ея высокая фигура, съ желтымъ, сухимъ лицомъ, кромъ напускной надменности, ничего не выражала.

- Что вамъ угодно? спросила она нараспъвъ.
- Я отъ m-me Dubois; она мнъ сказала, что вамъ нужна учительница.
- Учительница?! Къ моимъ дѣтямъ ходятъ профессора. Я хочу только репетиторшу, чтобы готовить съ ними уроки.—Какой у васъ дипломъ?
 - Домашней учительницы.

- А гдв вы были прежде, въ хорошихъ домахъ?
- Я до сихъ поръ не нуждалась въ заработкъ и не давала уроковъ чужимъ.

Банкирша почувствовала нѣкоторое почтеніе къ посѣтительницѣ.

- Ваши родители были богатые люди?
- Да, со средствами.
- Отецъ, върно, былъ военный?
- Нѣтъ, купецъ.

Почтеніе уменьшилось на нѣсколько градусовъ.

- А какъ ваша фамилія?
- Нордъ.
- Нъмка?
- Нътъ, еврейка, и мнъ было бы пріятно найти занятія у евреевъ.

Почтеніе мгновено испарилось; желтое лицо выразило разочарованіе и даже какъ будто негодованіе.

— Еврейка? Извините, мы не можемъ, у насъ такой кругъ... моимъ дътямъ нужны манеры... вы понимаете, у насъ такое положеніе... Мы и такъ дълаемъ столько добра... Извините...

Сара опять очутилась на улицъ; было ужъ совсъмъ темно. Она тоскливо поплелась домой. Еще цълую недълю она бъгала по разнымъ адресамъ, которые ей вручала madame Dubois, и все безуспъшно. Написала Auber'у, но получила въ отвътъ письмо отъ m-me Roger, въ которомъ та ее извъщала, что Auber уъхалъ путешествовать за границу съ какимъ-то семействомъ.

- Vous n'avez pas de chance, говорила ей m-me Dubois, далеко не такъ любезно, какъ въ первый разъ.
- Voyons,—сказала она ей какъ-то;—faut pas faire la petite fille, quoi! la vie n'est pas un roman. Avec une figure, comme la vôtre, on doit rouler en équipage... c'est pas gai les petits morveux.

Сара подняла на нее изумленные глаза.

- Что вы подъ этимъ подразумѣваете? спросила она.
- Ne soyez donc pas nigaude, vous l'entendez aussi bien que moi, avec ces beaux yeux, ma chére, on n'a qu'à vouloir...

Но Сара ужъ ее не слушала, она опрокинула свой недопитый стаканъ чая и почти бѣгомъ пустилась домой. Добравшись, наконецъ, до своей комнаты, она съ какимъ-то ужасомъ оглядѣлась кругомъ, словно боясь, не гонятся-ли за ней... Настя принесла ей дѣвочку. Оставшись одна съ ребенкомъ, Сара схватила ее на руки и стала цѣловать, повторяя сквозь рыданія: "за что, за что"... Испуганная малютка заплакала и потянулась къ дверямъ за ушедшей Настей.

IX.

Брустно сидъла Сара въ своей каморкъ. Она сознавала, что тонетъ, что нътъ ни одной руки, которая бы протянулась поддержать ее, и не знала, что дълать, что еще предпринять. Денегъ оставалось всего нъсколько рублей,—ни продать, ни заложить нечего. Она ужъ дня три, кромъ хлъба и завалявшагося куска сыра, ничего не ъла... Надо за комнату платить—спасибо, хозяйки не напоминаютъ... попросить ихъ развъ, чтобы взяли ее въ долю, хорошо бы, право... Съ нагоръвшей сальной свъчки капалъжиръ. Она сняла свои промокшіе чулки, свернувшись, легла на кровать и задремала. Возлъ нея глухо закашлялъ ребенокъ. Она раскрыла глаза.—Нътъ, она не ошиблась, ребенокъ дъйствительно кашляетъ. У Сары захватило дыханіе.

— Господи, только не это — промелькнуло какимъто ръжущимъ холодомъ у ней въ головъ.

Она соскочила, босая, съ кровати и, взявъ свѣчку, подошла къ дѣвочкѣ. Дѣвочка, казалось, крѣпко спала; изъ полуоткрытыхъ губокъ вылеталъ по временамъ сухой кашель. Сара только теперь замѣтила, какъ похудѣла малютка. Не довѣряя себѣ, она подошла къ двери и стала звать: Настя, Настя!

- Чего вамъ, Сара Павловна?-отозвалась Настя.
- Посмотрите, милая, на Сонечку; мнѣ кажется, что она нездорова, слышите, какъ она кашляетъ?
- Ну, что вы какая, право, безпокойная,—сказала входя Настя:—эка важность, что кашлянуль ребенокь. —Да будеть вамъ на нее глядъть, еще сглазите,—и она отвела Сару отъ кровати... никакъ вы босикомъ! вотъ съ Соничкой-то ничего не будетъ, а какъ вы сляжете—тогда что?
 - Настя, мив очень нехорошо!-вырвалось у Сары.
- Не вижу развъ?—Да не надо такъ убиваться, Сара Павловна,—плетью, матушка, обуха не перешибешь.
- Знаю и крѣплюсь, промолвила Сара, только сегодня мнѣ какъ-то особенно грустно... Спасибо, милая Настя, что хоть вы не оставляете меня одну.
 - Вы бы заснули...
 - Не спится, Настя. Слышите, какъ она кашляетъ?
- Да не безпокойтесь вы о ней, покашляеть—перестанеть. Принесть вамъ чаю, Сара Павловна?
 - Долго ставить самоваръ Настя.
- Ничего, мигомъ поспѣетъ, онъ еще совсѣмъ теплый, только подогрѣть.

Она убъжала въ кухню и скоро вернулась, неся на подносъ два чайника, стаканъ и мягкую булку. Сара съ наслажденіемъ пила чай. Настя сидъла у нея въ ногахъ и усердно подливая изъ чайника, приговаривала: кушайте, матушка. Ея добрые глаза, устремленные на Сару, выражали чистую, сердечную жалость,—такъ глядятъ только совсѣмъ простые люди: ихъ жалость не обижаетъ...

- Что вы такъ на меня глядите, Настя?
- Да ужъ больно мнѣ васъ жалко, Сара Павловна, какая вы слабая, нѣжная... не тутъ-бы вамъ жить,— она повела рукой по комнатъ.
- Что дѣлать, Настя, на свѣтѣ вѣдь никому особенно весело не живется. У всякаго свое.
- Это-то правда, матушка, что говорить, —подтвердила Настя, особливо нашей сестръ жутко приходится.—Я воть и простая и то разъ чуть на себя руки не наложила. Былъ со мной грвхъ, Сара Павловна, баринъ меня спуталъ. Семнадцати лътъ мнъ не было... ну, извъстно, поигралъ да бросилъ... Маменька покойница, царство ей небесное, еще жива была, строгая, чуть въ гробъ меня не вколотила... Два дня всего прожиль мой ребеночекь, дівочка тоже была. Заливаюсь, бывало, плачу, а маменька повдомъ меня встъ - "ишь, говорить, безстыжая тварь эдакая"...Върители Богу, Сара Павловна, — такъ мив тошно стало... не вытеривла, убъжала, да въ Фонтанку и кинулась. Вытащили меня чуть живую, въ часть поволокли... сраму одного что! Маменька опосля того въ скорости померла. Мы и зажили съ сестрой вдвоемъ. Спасибо ей, словомъ никогда не попрекнетъ. Ну, да и я тоже зарокъ дала... А ужъ какъ он мнъ быль любъ, окаянный... Такъ вотъ какія діла, Сара Павловна. Вы только не говорите сестръ, что я вамъ разсказала.
 - Что вы, Настя, Богъ съ вами. Объ умолкли.

- А что, Сара Павловна,—начала опять Настя,—вы только не сердитесь, коль не впопадъ спрошу, развъ у васъ совсъмъ родныхъ нътъ?
 - Есть-тетка.
 - Богатая?
- Да, богатая. Я у ней жила послъ смерти родителей года три; сестра моя младшая и теперь у ней.
- Чего-же вы унываете: написали-бы ей, неужто она бы вась въ такой нуждъ оставила?
- Не могу я этого сдълать, Настя, мы съ ней въ ссоръ.
- Ахъ, вы... точно дитё малое, право! Эка важность, въ ссорв! Поссорились помирились, не чужія въдь.
- Нѣтъ, Настя, это невозможно. Не будемъ объ этомъ говорить. А вотъ что, не возьмете-ли вы меня въ помощницы? я очень хорошо шью и вышиваю.

Настя вспыхнула до корней волосъ.

— Голубушка вы моя,—проговорила она, запинаясь, въдь у насъ самая простая работа, да и та не всегда бываетъ...

Сара молчала, зажмуривъ глаза.

— Да вы не огорчайтесь очень Сара Павловна, вѣдь я для васъ же. Если вы непремѣнно желаете, я скажу сестрѣ. А теперь ложитесь спать, поздно. Авось, Богъ дастъ, все будетъ хорошо—утро вечера мудренѣе. Я у васъ на полу лягу.

Онъ улеглись и скоро заснули. Только что стало разсвътать, когда Настя встала и хотъла тихонько выйти изъ комнаты, чтобы не разбудить кръпко спавшую Сару. Ее остановиль странный, хриплый звукъ, вылетавшій, какъ ей показалось, изъ кроватки ребенка. Она быстро отдернула ситцевую оконную занавъску. Слабый, грязноватый свътъ проникъ въ комнату сквозь тусклое стекло. Настя нагнулась надъ кроваткой и замерла отъ страха. Дѣвочка лежала, закинувъ назадъ головку; ручкой она схватилась за шею: тяжелое дыханіе, точно звуки пилы, вылетало изъ ея груди.

А Сара спала, какъ убитая. Настя подошла къ ней и стала ее будить.

- Хорошо, хорошо, --бормотала она сквозь сонъ.
- Да вставайте скоръй, поглядите на Соничку.

Сара съла на постели и смотръла на Настю непонимающими безсмысленными глазами.

- Что вы говорите, Настя?
- Да вы не пугайтесь: мнѣ кажется, что Соничка не хорошо дышеть. Не сбѣгать-ли за докторомъ, тутъ недалеко.

Сара совершенно очнулась отъ сна. Она ясно услышала хрипъ дѣвочки, вынула ее изъ кроватки и положила къ себѣ на колѣни. Дѣвочка раскрыла большіе испуганные глазки и, устремивъ ихъ на мать, съ усиліемъ, словно моля о помощи, пролепетала: "мама".

— Ступайте скоръе за докторомъ, Настя, — сказала Сара тихимъ, но твердымъ голосомъ.

Она торопливо одълась и, взявъ на руки малютку, стала осторожно вливать въ ротъ холодный чай, оставшийся въ стаканъ. Дъвочка еле глотала, на лбу у ней блестъли капельки пота, ручки и ножки были холодны, какъ ледъ. Если-бы не смертельная блъдность, покрывавшая лицо Сары, можно-бы подумать, что она совершенно спокойна, такъ методически она проводила ложечкой по краю стакана, словно стараясь, чтобы повисшія внизу ложечки капли не упали на ребенка. Вошла Настя въ сопровожденіи доктора, еще молодого человъка, съ недовольнымъ, заспаннымъ лицомъ. Онъ подошелъ къ Саръ и, почти не взглянувъ на нее, присъль на подставленный Настей стулъ и сталъ разсматривать хрипящую дъвочку.

- Гм... давно она такъ дышетъ?
- Нѣтъ, только что замѣтили, вчера она была совсѣмъ здорова.

Докторъ надавилъ двумя пальцами горло дъвочки; она страшно закашлялась, вся посинъла и, казалось, вотъ-вотъ задохнется.

— Докторъ, ради Бога!

Докторъ взглянулъ на искаженное отчаяніемъ лицо Сары—и точно проснулся. Недовольное выраженіе физіономіи сразу исчезло.

— Что вы, сударыня, можно-ли такъ пугаться,—сказалъ онъ привътливо.—Успокойтесь, пока еще ничего опаснаго нътъ.

Онъ ловко вынулъ мокроту изъ горла малютки, и она стала дышать не такъ тяжело.

— Квартира у васъ неподходящая, —проговорилъ онъ, оглядывая комнату, — воздуху мало да и сыровата. Я пропишу микстурку, — если малютку будетъ рвать, вы не безпокойтесь, нарочно для этого и дамъ; къ ногамъ теплыя бутылки прикладывайте, поите тепловатымъ молочкомъ... вечеромъ я заъду еще разъ.

Видя, что Сара въ замѣшательствѣ шаритъ въ карманѣ, докторъ любезно произнесъ,—"не извольте безпокоиться"—и поспѣшно вышелъ.

X.

ещень дъвочкъ стало немного лучше, хотя она очень ослабъла отъ рвотнаго. Сара, блъдная и серьезная, молча сидъла у кроватки, слъдя своими горящими полными безконечной нъжности и страха глазами за каждымъ движеніемъ ребенка. Къ вечеру дъвочкъ сдълалось опять хуже. Пріъхалъ докторъ, но на этотъ разъ

не сказалъ никакого утъщенія и на вопрошающій взоръ Сары отвътиль лишь неопредъленнымъ пожатіемъ плечъ. Онъ скользнуль глазами по комнатъ, казавшейся еще унылъе при жалкомъ свътъ лампы съ растресканнымъ колпакомъ, по заплъсневъвшимъ стънамъ, по наклоненной головъ молодой женщины, угрюмо смотръвшей въ полъ.

Она подняла голову и сильно схватила доктора за руку.

— Послушайте, — сказала она глухимъ, прерывающимся голосомъ, — это дитя для меня все, у меня больше ничего нътъ на свътъ... скажите, что ее можно спасти, докторъ, скажите!..

Докторъ вздохнулъ.

- Нельзя... вы говорите—нельзя... нѣтъ... вы этого не говорите... вы добрый человѣкъ, вы не захотите меня убить.
- Сударыня, я ничего не говорю, я самъ не знаю, какъ-то мямля и глядя въ сторону, произнесъ докторъ; вѣдь врачъ не Богъ; мнѣ кажется, что у вашего ребенка крупъ, но я могу ошибиться. Нужно бы консиліумъ.

"Консиліумъ"... а у ней въ карманъ рубль съ копъйками. Докторъ ушелъ, поставивъ собственноручно піявки къ шеъ дъвочки, и велълъ придти за нимъ, если будетъ хуже.

Вопіла Настя и молча сѣла въ уголку съ какой-то работой. Въ комнатѣ раздавалось зловѣщее хрипѣніе дѣвочки. Сара сидѣла, опустивъ голову на руки; казалось, каждый вздохъ ребенка отдавался болью въ ея груди... Наконецъ она встала, подошла къ столику, на которомъ докторъ прописывалъ рецептъ, и быстро, обмакнувъ перо въ баночку съ чернилами, написала дро-

жащею рукой: "О". Аннъ Абрамовнъ Позенъ. Мой ребенокъ умираетъ. Простите. Прівзжайте".

— Настя, пошлите сейчасъ эту депешу, — выговорила она своими побълъвшими губами, —вотъ вамъ, — она сорвала съ пальца обручальное кольцо, —продайте.

Настя посмотрвла на бумажку.

-- Я перепишу, а то никто не разбереть, да и адресь нашь вы забыли написать.

Сарѣ стало какъ-то легче на душѣ. Сердце ея вдругъ умилилось. Она схватила маленькую ручку дѣвочки и, припавъ къ ней пылающими устами зашептала:

- Сокровище мое... радость моя... жизнь... не оставляй меня... дитя мое ненаглядное... и крупныя, жгучія слезы катились по ея піскамъ.
- Мама, ту... чуть слышно прохрипъла дъвочка, показавъ рукой на шею.

Пропіло три мучительныхъ дня. Малютка то оживала, то умирала. Сара, исхудалая и мрачная, не отходила отъ нея; ея глаза, точно прикованные, не отрывались отъ посинъвшаго личика дъвочки, впавшей къ концу третьяго дня въ сонливое, почти безсознательное состояніе. О чемъ думала Сара въ томительные, безкопечные часы гнетущаго ожиданія чего-то, да и думаютъли вообще о чемъ-нибудь въ такіе часы...

Стало смеркаться. Въ окна заглянула плачущая ночь. Настя внесла въ комнату лампу.

— Сара Павловна, вы бы хоть чего-нибудь покушали,—начала она просящимъ тономъ.

Сара даже не взглянула на нее. Настя вздохнула и принялась за шитье, но ее тяготила эта тишина, прерываемая лишь взмахами и щелканіемъ иголки по полотну. Она встала, заглянула въ кроватку и, пошатнувшись, выронила изъ рукъ работу. Дъвочка лежала спокойная, неподвижная; изъ полуоткрытаго ротика вид-

нълись, будто при улыбкъ, четыре бъленькихъ зуба. Сара вскочила, какъ раненый звърь, однимъ толчкомъ оттолкнула Настю и нагнулась надъ ребенкомъ.

— Умерла!..—закричала она съ налившимися кровью глазами, —умерла!..

XI.

Малютку схоронили. На Сару точно столбнякъ нашелъ. Она не раскрывала рта и сидъла вся застывшая и окаменълая, вперивъ глаза въ пустую кроватку ребенка. Когда Настя хотъла ее вынести, она вцъпилась руками въ дерево и не дала. Спустя день послъ похоронъ, пріъхала вечеромъ Анна Абрамовна. Пошушукавшись предварительно съ хозяйками, она осторожными, робкими шагами вошла къ Саръ.

— Милая, дорогая, прости, я не виновата; я поздно получила телеграмму,—громко плача, проговорила Анна Абрамовна, бросаясь обнимать Сару.

Сара отвернулась и ничего не сказала.

— Сарочка, скажи что-нибудь, ради Бога.

Сара поглядъла на нее застывшими, какъ у мертвеца, глазами и глухо промолвила— «поздно», указавъ блѣднымъ пальцемъ на пустую кроватку. Анна Абрамовна еще громче заплакала.

— Пожальй меня, —говорила она, всхлинывая, —если даже я и виновата предъ тобой, такъ въдь не съ злымъ умысломъ: я человъкъ стараго воспитанія, у меня другія понятія... въдь я тебъ добра желала... Я много горя въ жизни перенесла, Сара, я тебъ никогда не говорила... трехъ дътей схоронила, дочь у меня пятнадцати лътъ ужъ была. Когда я васъ взяла къ себъ, видитъ Богъ, я хотъла вамъ быть родной матерью. У тебя ха-

рактеръ неуступчивый, я вспыльчивая... воть и вышло. Ты не виновата, ты была дитя: думала, что въ жизни все должно идти какъ по книжкъ. Я—необразованная женщина, не могла тебъ объяснить... требовала, чтобы ты меня слушалась, какъ я своихъ родителей слушалась. А сколько я горькихъ слезъ пролила, какъ ты уъхала, это только Богъ одинъ знаетъ: въдь кромъ тебя и Лидочки, у меня никого на свътъ нътъ...

Сара все сидъла, не шевелясь, отвернувъ голову.

- Неужели твоя душа такъ ожесточилась, что ты не можешь со мной помириться? Ну, не ради меня, хоть ради Лидочки,—продолжала, рыдая, Анна Абрамовна и, схвативъ руки Сары, стала ихъ цъловать, обливая слезами. Сара высвободила свои руки, закрыла ими лицо и заплакала.
- Успокойся, дитя мое, не плачь, все еще будетъ хорошо.
- Нѣтъ, тетя, хорошо уже никогда не будетъ, дайте мнъ выплакаться.

Сара вдругъ совершенно затихла и покорно отдалась въ руки тетки.

Та рѣшила немедленно увезти ее въ О"., но, какъ практическая женщина, она, конечно, хотѣла воспользоваться своей неожиданной поѣздкой въ Петербургъ, чтобы накупить разныхъ разностей по части туалета, которыхъ въ О*., говорила она, ни за какія деньги не достанешь. Гардеробъ Сары тоже требовалъ ремонтировки; это давало Аннѣ Абрамовнѣ предлогъ таскать ее съ собой по магазинамъ. Желая утѣшить Сару, она накупила ей цѣлую груду ненужныхъ вещей: кружевъ, браслетъ, брошекъ; говорила безъ умолку о Лидочкѣ,—какая она прелесть, какая красавица, хозяйка, умница; сообщала всевозможныя новости и сплетни, происшедшія въ отсутстіе Сары въ О*.

— Представь, — разсказывала она, — Поль Розенбергъ, помнишь, тотъ, который за тобой ухаживалъ, — женился на страшномъ уродъ; говорили, будто милліонъ приданаго, а на самомъ-то дълъ оказалось — однъ тряпки. Старики просто на стъну лъзутъ, что ихъ такъ поддъли, а молодые, говорятъ, какъ кошка съ собакой живутъ. Поля мнъ немножко жалко, хотя онъ въ сущности фатъ и дрянь, но старикамъ—по дъломъ, пусть не задираютъ носа.

Сара молчала, а Анна Абрамовна, сѣвъ на свой конекъ, неслась далыше.

- А помнишь, Сарочка, Неймановъ?
- Помню, тетя.
- Вообрази, они окончательно раззорились. Изъ такого-то дворца-въ двѣ комнаты перепти! Что-жъ, сами виноваты, жили бы себъ тихо; нътъ, какъ можно, надо изъ себя герцоговъ корчить. Помнишь дочь ихъ Женюкто ни сватался, всёмъ отказъ, хотёла вёрно за графа выпти, да забыла, что у евреевъ есть всего какихънибудь два-три барона, да и тъ заняты. Знаешь, за кого она вышла? За подрядчика Абрамсона-противный такой, толстый, старый, имени своего подписать не умветъ... Что значатъ деньги! Я была на свадьбв. Этотъ плѣшивый дуракъ, Абрамсонъ, стоитъ подъ "хупой" и облизывается, а Женя-вся въ брилліантахъ, а лицо какъ у мертвеца. Подъ конецъ не выдержала. Сталъ раввинъ ръчь говорить и-ну расхваливать жениха-и красивъ-то онъ, и уменъ, и образованъ. Какъ она захохочетъ и хлопъ въ обморокъ...
 - Бъдная Женя, сказала Сара.
- Ужасно бѣдная! Поѣхала черезъ мѣсяцъ на воды и живетъ себѣ припѣваючи.

Сара откинулась въ уголъ кареты и закрыла глаза.

- Что съ тобой, тебъ дурно?
- Нътъ, я только очень устала.
- Кръпись, Сара, сегодня увдемъ.

Все наконецъ закуплено и уложено. Иззвочики стали выносить вещи. Сара медленно обвела глазами комнату; ея блѣдныя губы задрожали. У дверей суетились хозяйки. Настя, съ краснымъ лицомъ и опухшими отъ слезъ глазами, со злостью впихивала въ сакъ-вояжъ какой-то никому ненужный чайникъ.

- Присядемте,—сказала Анна Абрамовна. Всъ съли.
- Ну, съ Богомъ, —проговорила она и поднялась. Сара поцъловала Авдотью Петровну и кръпко обняла Настю.
 - Настя, я васъ никогда не забуду.
- Охъ, батюшки, что-жъ это такое!—въ голосъ вонила Настя.

Сара сидъла ужъ въ каретъ, когда Настя опять бросилась къ ней

 Голубушка, напишите хоть когда словечко,—просила она, плача.

Сара всю дорогу промолчала, довольная тѣмъ, что Анна Абрамовна, разговорившись съ пассажирами, оставляла ее въ покоъ.

На второй день къ вечеру прівхали къ мъсту. Лидочка, высокая, розовая дъвочка, съ пышными золотистыми волосами и въ необычайно короткомъ платьъ, съ визгомъ бросилась на шею сестръ.

— Сара, Сара, тетя, милая, какъ я рада, что вы ее привезли.

Въ уставленной темной дубовой мебелью большой столовой трещалъ огонь. На столъ, покрытомъ бълосиъжной скатертью, пыхтълъ на мъдной доскъ огром-

ный самоваръ, красиво пестрѣли чашки и румяныя булки; густыя, желтыя сливки въ серебряномъ сливочникѣ, масло и обильная закуска придавали комнатѣ пріятный, уютно-жилой видъ.

- Тетя, это я сама все приготовила, спросите Мареу,—тараторила Лидочка, усаживая сестру.
- Сара, пей, Сара, ѣшь, говорила безпрестанно тетка.
- Смотри, Сара, сколько я тебѣ пѣнокъ кладу, я вѣдь помню, что ты любишь пѣнки,—прибавляла Лидочка.

Но Сара не можетъ всть. Въ этой удобной, комфортабельной комнать ей вспоминается ея бъдная дъвочка, умершая чуть не въ подваль. Кусокъ останавливается у нея въ горль, и горькое рыданье вырывается изъ ея груди. Тетка ее утъщаетъ. Лидочка всхлипываетъ и все повторяетъ:

— Ну, пожалуйста, Сара, ну, пожалуйста...

XII.

Медленно приходила въ себя Сара. Анна Абрамовна приглашала къ ней цълую толиу докторовъ, пичкала ее лъкарствами и если случалось, что въ минуту гнъва у нея нечаянно вырвется какой-нибудь укоризненный намекъ на прошлое—она тотчасъ старалась загладить его усиленно-нъжнымъ ухаживаньемъ. Къ великому ея удовольствію, блъдныя щечки Сары стали покрываться легкой краской, она сдълалась разговорчивъе и ласково улыбалась шалостямъ сестры, которая, казалось, только о томъ и думала, какъ-бы ее развеселить. Лидочка страстно къ ней привязалась.

- Ахъ, Сара, какъ я тебя люблю, говорила она, душа ее въ своихъ объятіяхъ.
 - За что это, моя дурочка?
 - Ты такая... такая...
 - Какая?-улыбаясь, спросила Сара.
 - Неземная, —патетически вскрикнула Лидочка
- Не говори глупостей, Лида; не достаеть еще, чтобы ты сдёлалась сантиментальной фантазеркой. Где это ты такихъ словь нахваталась—"неземная!"
- Зачъмъ же ты сердишься, Сара, я въдь не хотъла тебя обидъть. Мы въ гимназіи проходимъ теперь Корнеля и Расина, и мнъ кажется, что ты ужась какъ похожа на героиню.
- Удивительно! Столько же, сколько наша Мареа на Сципіона Африканскаго. Ты бы вмѣсто этихъ нелѣпостей, Лида, лучше занялась чѣмъ серьезно. Я какъто заглянула въ твои тетрадки и нашла, что ты ужасъ какъ безграмотно пишешь. Хочешь, я тебѣ буду давать уроки, какъ въ былое время?
 - Пожалуйста, Сара.
 - А не будешь лъниться?
 - Ну, вотъ, точно я маленькая!

Лидочка, дъйствительно, училась очень прилежно. Сара обрадовалась этимъ занятіямъ,—они наполняли время и мъшали думать. Она съ виду почти опралась, но на блъдномъ, похудъвшемъ лицъ легло выраженіе, не то равнодушія, не то утомленія. Она пыталась нъсколько разъ узнать что-нибудь о мужъ; попытки ея долго оставались тщетными; наконецъ ее извъстили, что мужъ ея умеръ отъ чахотки. Хотя она и привыкла къ мысли, что онъ для нея потерянъ, но въсть о его смерти ужалила ея наболъвшее сердце. Такъ, часто поражаетъ какъ-бы внезапностью ожидавщаяся съ часу на часъ смерть безнадежно больного—

съ физическимъ уничтоженіемъ людямъ тяжелѣй всего примириться. Сара не сказала никому о полученномъ извѣстіи, она только еще больше ушла въ себя. Глядя, какъ она ходитъ взадъ и впередъ по комнатамъ, съ рѣзкой складкой между бровями, Анна Абрамовна часто задавала себѣ вопросъ—ужъ не рехнулась-ли племянница? Ей вообще было не по себѣ съ этой молчаливой, странной женщиной, ради которой она старалась сдерживать свои порывы, которыя—она чувствовала это—была ей въ одно и то же время и родная, и чужая, которая невольно тяготила ее своимъ присутствіемъ, хотя она-бы, конечно, никому, даже самой себѣ, въ этомъ не призналась. Кромѣ того, она дрожала, какъ-бы Сара не заразила своими идеями Лидочку.

- О чемъ ты все думаешь, Сара,—спросить она ее иногда, когда та примется за свое обычное хожденіе по комнатамъ.
- Да ни о чемъ особенно, тетя. Думаю, какъ мы въ сущности всѣ глупы... изъ-за чего мы столько терпимъ, бъемся, когда развязка такъ проста.
- Что ты, Богъ съ тобою! Если-бы всв такъ разсуждали,—и жить-бы никто не захотвлъ. Ввдь человъку дай только волю, онъ такъ заломается, что и не угодишь. Вотъ хоть ты, Сара,—только не сердись за правду—знаешь, отчего ты страдаешь?
 - Отчего?
- Отъ гордости своей, вотъ отчего. Вообразила, что ты не такая, какъ всв, захотвла устроить себв какуюто особенную жизнь, силой захотвла взять—вотъ Богъ и наказалъ: не возвышайся.
 - Можетъ быть, тетя.
 - Capa!..
 - Что?

— Ты... не толкуй ничего такого Лидочкъ... Пусть она лучше будеть счастлива по обыкновенному...

Сара посмотрѣла на нее долгимъ взглядомъ.

— Хорошо, тетя, только вы это напрасно, я сама не хочу, чтобы Лида вышла такимъ уродомъ, какъ я.

Прошли зима и лѣто, опять наступила осень. Сара, казалось, совсѣмъ выздоровѣла и на постороннихъ производила впечатлѣніе очень красиваго, но холоднаго существа. Сама она все сильнѣе чувствовала, что составляетъ въ аккуратномъ домѣ тетки чуждый, нарушающій общую гармонію элементъ. Она стала подумывать объ отъѣздѣ. Возвратившійся въ это время въ
Россію m-r Auber прислалъ ей отечески-нѣжное письмо,
въ которомъ выражалъ глубокое сожалѣніе по поводу
того, что не могъ оказать ей поддержки, когда она въ
ней такъ нуждалась. Онъ предлагалъ ей мѣсто гувернантки у вдовы - генеральши, живущей, какъ онъ писалъ, въ одной изъ большихъ приволжскихъ губерній.
Сара обрадовалась этому предложенію и, несмотря на
протесты Анны Абрамовны, рѣшилась уѣхать.

XIII.

у оспода! пора садиться! первый звонокъ...

Толпа волною хлынула на платформу, суетясь и толкаясь. Какой-то мастеровой сшибъ съ ногъ бабу; она уронила мѣшокъ и громко ругалась, собирая свои пожитки. Мокрый снѣгъ, смѣшанный съ дождемъ, падалъ крупными лепешками съ хмураго, точно больного неба. У купэ второго класса стояли красивый старикъ, въ мѣховомъ пальто съ бобровымъ воротникомъ, дама среднихъ лѣтъ, укутанная въ бархатную ротонду, и хорошенькая дѣвочка, лѣтъ пятнадцати, въ синей

плюшевой шубкѣ и мохнатой бѣлой шапкѣ, повязанной больщимъ платкомъ. Это были m r Auber и Анна Абрамовна съ Лидочкой, пріѣхавшія изъ О* проводить уѣзжавшую въ Энскъ Сару.

Они сбились вмѣстѣ, силясь протиснуться къ окну вагона, изъ котораго она смотрѣла на нихъ, наклонившись всѣмъ корпусомъ впередъ. На ея утомленномъ лицѣ блуждала слабая улыбка, большіе черные глаза, опушенные длинными рѣсницами, устало смотрѣли изъподъ тонкихъ, почти прямыхъ бровей.

- Не скучай, поправляйся! говорили отъважающей.
- Пиши чаще!
- N'oubliez pas votre vieil ami, mon enfant!
- Ахъ, Сарочка, зачѣмъ ты опять уѣзжаешь! жалобно вскрикнула Лидочка и, схвативъ узенькую, прозрачную руку сестры, припала къ ней лицомъ.

Та сдвинула брови, губы ея нервно дрогнули.

- Не плачь, сказала она рыдающей дъвочкъ, въдь ты же мнъ объщала; будь умница, Лидочка, а то мнъ еще грустнъе станетъ.
- Хорошо, я перестану, согласилась Лидочка, только ты пиши мнѣ отдѣльно обо всемъ, обо всемъ. Увъряю тебя, что я все пойму...

Раздался второй звонокъ. Анна Абрамовна вошла въвагонъ.

- Сара, заговорила она, всхлипывая, объщайся мнъ, что если тебъ тамъ хоть что-нибудь не понравится ты сейчасъ же вернешься назадъ. Какъ дома ни плохо, а все лучше, чъмъ у чужихъ.
 - Хорошо, тетя, только, пожалуйста, не плачьте.
- Не могу я не плакать, чувствуетъ мое сердце, что изъ этой новой затъи не выйдетъ добра. Въдь придетъ же фантазія идти въ гувернантки, точно у нея дома ъсть нечего, —продолжала всхлипывать тетка.

Племянница молчала. Тетка вынула маленькое портмоне.

- Я положила сюда еще денегъ, сказала она, чтобъ ты, по крайней мъръ, не нуждалась въ копъйкъ.
- Merçi, тетя, только, право, это лишнее, у меня и такъ много денегъ.

Послышался третій звонокъ, тетка поспѣшно выскочила изъ вагона. Сара опять наклонилась въ окно и стала прощаться.

— Adieu, monsieur Auber, тетя, не поминайте лихомъ... Прощайте всъ, будьте здоровы... Лида, я разсержусь...

Тамъ и сямъ раздались звонкіе, торопливые поцѣлуи. Пронзительно взвизгнулъ свистокъ, запыхтѣлъ локомотивъ, и поѣздъ медленно тронулся. Сара кланялась, не сводя глазъ съ провожавшихъ; ей махали платками. Аuber съ непокрытой головой улыбался грустной, доброй улыбкой. Лидочка рванулась было къ вагону, но благоразумная тетка энергически удержала ее за руку. Поѣздъ пошелъ быстрѣе. Платформа убѣжала изъ виду, замелькали длинные ряды товарныхъ вагоновъ, въ послѣдній разъ взвизгнулъ и замеръ свистокъ.

Сара отошла отъ окна, сняла шубку, шляпку, положила въ уголъ диванчика подушку и легла, закинувъруки за голову.

— "Опять въ дорогъ", — вздохнула она и стала разсматривать пассажировъ, чтобы ни о чемъ ни думать. Но воспоминанія, какъ нарочно, лъзли ей въ голову длинной, мучительной вереницей. — "Бродячая я, видно, птица", — ръшила она, — "то туда, то сюда... такъ, върно, и умру гдъ-нибудь въ дорогъ... въ ожиданіи лучшаго".

А пассажиры между тѣмъ успѣли оглядѣться и разговорились. Двѣ купчихи,—одна въ платочкѣ, другая въ шиньонѣ, — повидимому, родственницы, поставили на диванъ плетеную корзинку и, вытащивъ оттуда цѣ-

лую гору пирожковъ, хлѣба, ветчины и яблокъ, стали кушать.

- Что-же вы, Лизавета Ивановна, дочитали фельетончикъ?—спрашивала купчиха въ платочкъ, отрывая зубами огромный кусокъ ветчины.
- Дочитала, Марья Павловна, еще вчерась, даже всенощную пропустила.
 - Чъмъ-же кончилось?
- Ахъ, ужъ и не говорите, Марья Петровна! Такъ чувствительно... читаю, а у самой слезы такъ и бъгуть. Въдь графъ-то больше не свидълся съ княжной.
- Неужто не повънчались?!—воскликнула, на сколько это допускалъ набитый ротъ, Марья Петровна.
- Гдв ужъ тамъ ввнчаться! Ввдь у княжны-то въ домв пожаръ случился: она и сгорвла. Узналъ это графъ, взялъ да и застрвлился.

— Ахъ!..

Рядомъ съ Сарой какая-то дама, въ старомодной собольей шапкъ съ бархатными наушниками, обложенная цълой кучей шалей, пледовъ и платковъ, всевозможныхъ цвътовъ и размъровъ, горячо убъждала солиднаго господина въ очкахъ, что у насъ всъ несчастія происходятъ отъ чрезмърной свободы.

— Помилуйте, — говорила она, — на что это похоже, какіе-нибудь мальчишки заявляють неудовольствіе профессору. А отчего это позвольте спросить?! Оттого, что мы утратили всякое чувство сословнаго достоинства. Вёдь теперь всякій сапожникь, да что я говорю—сапожникь, — всякій жидь норовить своего сына въ гимназію сунуть. Можете себё представить — какіе примёры такой мальчикъ видёль у себя дома, и вдругь его сажають рядомъ съ ребенкомъ de bonne maison. Натурально, имъ должна овладёть зависть: онъ не имёсть ни такихъ манеръ, ни вообще той distinction, кото-

рая дается только происхожденіемъ. Вотъ онъ и начинаетъ мечтать, что оръ умнѣе всѣхъ, возводить въ боги сиволапаго мужика, о которомъ понятія не имѣетъ, и въ итогѣ получается нигилистъ.

- Но позвольте, сударыня,—возразиль господинь,— если предоставить исключительное пользованіе образованіемъ привилегированнымъ сословіямъ, мы рискуемъ затормазить прогрессъ.
- Нътъ, зачъмъ-же, —перебила барыня, вынимая изо рта папироску, —я сама не противъ прогресса, у меня въ имъніи школа, я выписала учителя изъ Петербурга—не какого-нибудь пономаря, а совершенно приличнаго. —Какой онъ уменя хоръ устроилъ! Выучилъ мальчишекъ пъть мотивы изъ Моцарта, но вмъстъ съ тъмъ внушаетъ имъ, чтобы они знали свое мъсто и не забывались. Увъряю васъ, все зависитъ отъ направленія. У меня у самой два сына въ университетъ, тъмъ не менъе они до сихъ поръ, слава Богу, не похожи на семинаристовъ ..

Сара зѣвнула. — "Все одно и то-же" — подумала она. У ней разболълась голова отъ смъшаннаго гула незнакомыхъ голосовъ и однообразнаго подпрыгиванія стукающаго вагона. Она повернулась на бокъ, и закрыла глаза. Воспоминанія безпорядочно вставали и смънлись въ ея утомленномъ мозгу, словно пестрыя картины въ панорамъ. Дътство... юность... Аибег съ своей всепримиряющей философіей... Адольфъ Леонтьевичъ, толкнувшій ее невъдомо куда и самъ сгинувшій, потому что назадъ ему стыдно было идти, а впередъмивныя не хватало... Анна Абрамовна съ своими птичьими идеалами и строгимъ приговоромъ: — не возвышайся, живи по обыкновенному... даже Настя, простодушная, милая Настя, и та: "плетью, матушка, обуха не перешибешь", "особливо нашей сестръ жутко прихо-

дится"... Господи, да что-жъ это за хаосъ такой?! Въ чемъ, наконецъ, мой гръхъ, моя вина... Положимъ, я не сила, но неужто-же однимъ великанамъ и жить... и развъ я требовала чего-нибудь особеннаго... Меня ненавидъли, я захотъла узнать, за что... Нельзя-же преслъдовать двъ тысячи лътъ человъка за миоъ. Ну, ячервякъ, ничтожество... но въдь это и для червяка безсмыслица... И къ чему привели мои порывы?. Не усивла даже порядкомъ дать себв отчетъ, чего мнв нужно... И баста... не удалось, значить виновата... неумълымъ нътъ мъста за общимъ столомъ... не нужно, по крайней мъръ, ничьихъ сожальній; ужъ если умирать-то въ одиночку"... Она вздохнула, досадуя, что не можетъ заснуть, и съла. Въ вагонъ было почти темно, фонари, задернутые синими занавъсками, едва пропускали слабый дрожащій світь. Пассажиры, изогнувшись въ дугу, мирно похрапывали на разные лады, издавая по временамъ тяжелое кряхтвнье, Сара прислонилась лбомъ къ холодному стеклу и стала глядъть въ мракъ. По темному небу тянулись кое-гдъ молочными струйками облака. Повздъ быстро скользилъ по рельсамъ. Лъса сплошной черной тънью мчались мимо въ какой-то бъщеной круговой пляскъ. Локомотивъ извергалъ цълые снопы огненныхъ искръ, разметая ихъ сверкающимъ столбомъ далеко по воздуху. Одинокія избушки сторожей уныло мелькали то зеленымъ, то краснымъ фонаремъ въ общей тьмъ, да жалобно, точно надрывающій душу похоронный вопль крестьянской бабы, взвизгивалъ свистокъ, да кондуктора выкрикивали охриплыми голосами названія станцій... Сара уже ни о чемъ больше не думала и все глядъла въ окно. Наконецъ, усталые глаза ея стали смыкаться, она опустила голову на подушку и заснула кръпкимъ. тяжелымъ сномъ...

XIV.

З енеральша Серафима Алексъевна Зубкова—маленькая, худая старушка, съ зачесанными на виски съдыми букольками и беззубымъ ртомъ, въчно одътая въ черное, обшитое плерезами, платье, казалась-да и на самомъ дълъ была существомъ весьма незначительнымъ. Привыкши всю жизнь подчиняться волъ мужапокойный генераль взяль ее изъ купеческаго дома и по всякому поводу упрекаль плебейскимъ происхожденіемъ-Серафима Алексвевна послв его смерти совсвиъ растерялась, точно испугавшись, что некого ей будеть слушаться. Опасенія ея скоро разсвялись. Старшая дочь, Ора Николаевна-ее собственно звали Ирина, но она находила это имя недостаточно благозвучнымъ и передълала его, скоро прибрала къ рукамъ мать и весь домъ. Это была барышня, перешедшая за роковой тридцатилътній возрастъ, длинная, высохшая, съ блъдными глазами и какими-то вылинявшими бълокурыми волосами. Прическу она носила высокую, взбитую, съ поэтическимъ блъдно-голубымъ бантомъ на боку. Она вообще любила томные цвъта и глазамъ своимъ въ обществъ обыкновенно придавала томное выраженіе. Часто, впрочемъ, по свойственной женской натуръ непослъдовательности, она вдругъ измъняла своему предпочтенію къ меланхолическому и мечтательному, начиная капризничать и наивничать, какъ институтка. Несмотря на свою поэтическую внъшность, Ора Николаевна была, что называется, девица съ душкомъ, а по неучтивымъ отзывамъ горничныхъ-даже прямо "ехида" и "змъя подколодная". При жизни отца, она принуждена была сдерживать свои властолюбивыя наклонности-покойный генераль быль человъкъ крутой и твердо держался принципа, что "яйца курицу не учатъ". При отцъ, впрочемъ, легче было справляться съ собой—и жилось веселъе, и надеждъ было больше. Со смертью генерала обстоятельства измънились: денегъ онъ оставилъ мало, а на пенсію можно было жить лишь очень скромно; отъ баловъ и выъздовъ приходилось отказаться или, по крайней мъръ, ограничить ихъ до ничтожества. Мать, изложивъ старшей дочери эти резоны, робко предложила переселиться для сокращенія расходовъ въ деревню, находившуюся въ 20 верстахъ отъ Энска и доставшуюся ей послъ какой-то двоюродной тетки.

- Закопать свою молодость въ глуши, —отвъчала на эти резоны дочь.
- Да какъ-же иначе, Орочка, ты посуди, въдь если останемся въ городъ, придется нынъшнюю зиму начать вывозить Оленьку, а съ двумя вами мнъ не справиться.
- Вывозить Ольгу! ха-ха-ха... это мило! Вывозить пятнадцатилътнюю дъвчонку, которой еще за книжкой надо сидъть. Такія вещи могуть приходить въ голову только вамъ, maman.

Матап хотъла было замътить, что Оленькъ не пятнадцать, а восемнадцать лътъ, но она благоразумно промолчала и только вкрадчиво проговорила:

- Нельзя знать, мой другь, можеть быть, какъ разъ въ деревнъ тебъ представится хорошая партія.
- Ужъ не за старосту-ли вашего вы намърены меня просватать, колко отозвалась дочь.
- Ахъ, Ора, всегда ты такъ перевернешь все по своему. Въдь сама знаешь, что при нашихъ средствахъ нельзятакъ жить. Нужно Костю въ гимназію готовить.
 - Отдайте его въ увздное училище.

Серафима Алексъевна возмутилась.

- Въ уъздное училище! Моего единственнаго внука! сына покойнаго Андрюши!.. Кажется, тебъ не два года было, когда братъ умиралъ, помнишь, чай, какъ онъ поручалъ намъ своего ребенка...
- Ну, пошло! прервала Ора Николаевна и нетерпъливо передернула плечами.

Генеральша вздохнула и замолчала.

- Такъ какъ-же, Ора, начала она опять, вѣдь такъ нельзя... Если ты не хочешь, чтобы Оля выѣзжала—такъ надо ей учителя музыки взять.
- Еще-бы, конечно! Для любимицы найдутся деньги и на учителей, и на вывзды, а когда мив нужна шляпка—начинается съ утра до вечера нытье: и долги-то, и нищета, и чего-чего только не перечтутъ. Знаю, что вы бы рады меня хоть за дворника сбыть, толькобы вашей Оленькв побольше досталось.
 - Гръхъ тебъ, Ора, такъ нападать на сестру.

Подобные разговоры повторялись между матерью и дочерью очень часто. Послѣ одной изъ такихъ бесѣдъ, слишкомъ надоѣвшихъ уже Орѣ Николаевнѣ, она отчеканила:

— Въ деревню я не пойду, такъ вы и знайте, — и, хлопнувъ дверью, ушла къ себъ въ комнату.

Комната ея, если можно такъ выразиться, дышала невинностью. Съренькіе, съ голубыми и розовыми птичками, обои, на окнахъ цвъты и занавъски тоже съ птичками. Кровать, покрытая розовымъ одъяломъ, въ бъломъ чехлъ, туалетъ тоже розовый съ бълой кисеей и безчисленнымъ количествомъ всякихъ альбомчиковъ, коробочекъ, подушечекъ для булавокъ, сткляночекъ съ духами, щеточекъ, гребеночекъ; тутъ-же подъ стекляннымъ колпачкомъ пучекъ засушенныхъ цвътовъ, перевязаный голубой ленточкой—какой-нибудь сердеч-

ный сувенирь; на столь симметрично, какъ за витриной магазина, расположены письменныя принадлежности; вдоль стыть чинно разставлены стулья и ситцевые табуреты; на висячей шифоньеркъ красуются Лермонтовъ, цылый годъ "Русскаго Въстника", Евангеліе... у образа въ углу розовая лампадка.

Ора Николаевна осталась, должно быть, очень недовольна разговоромъ съ матерью. Она бросилась на кровать, не откинувъ даже одъяла, чего она, по своей аккуратности, никогда-бы не сдълала въ нормальномъ состояніи, и стала задумчиво грызть ногти. Потомъ она встала, расправила и свернула одъяло, достала изъ коммода книгу и бумажный свертокъ и опять улеглась. Въ сверткъ были конфекты-тянучки, до которыхъ Ора Николаевна была большая охотница, а книга была — "Nana", Эмиля Золя, до котораго Ора Николаевна тоже была охотница. Она совершенно погрузилась въ чтеніе и, медленно посасывая конфетку за конфеткой, забыла, казалось, весь міръ, какъ вдругъ раздавшійзвонокъ заставилъ ее вздрогнуть. Она ся внезапно оперлась на локоть и, вытянувъ впередъ голову, стала прислушиваться. Послышалось звяканье шпоръ и незнакомый мужской голосъ.

— Кто-бы это могъ быть, — проговорила Ора Николаевна и съла на кровати.

Черезъ мгновенье къ ней влетѣлъ кубаремъ Костя, черноволосый, краснощекій мальчикъ, тотъ самый, котораго она предлагала отдать въ уѣздное училище, и, запыхавшись, доложилъ:

— Тетя Ора, чужой полковникъ прівхаль, бабушка приказала вамъвыйти, и кубаремъ-же вылетвль назадъ.

Еще черезъ мгновенье къ Орѣ Николаевнъ вбѣжала младшая сестра, свѣженькая дѣвушка, съ пухлявымъ

розовымъ личикомъ, вздернутымъ носикомъ и круглыми испуганными глазками.

- Ора, полковникъ какой-то изъ Москвы прівхаль; мама велвла мнв одвться.
 - Такъ что-жъ, одъвайся, я въдь тебъ не мъшаю.
- Да видишь, Ора, мой корсетъ совсъмъ развалился, я стала его надъвать, да второпяхь и сломала объ планшетки. Дай мнъ, пожалуйста, надъть твой старый.
 - Чтобъ ты и мой сломала? благодарю покорно,
- Ей-Богу, не сломаю. Ну, Ора, пожалуйста, дай, прошу тебя.
- Не приставай, мой корсеть на тебя не влъзеть.
- Право, влѣзетъ, онъ мнѣ только въ груди узокъ, а въ таліи даже широкъ.
- Что?! У тебя, можеть быть, тоньше моей талія! Скажите, воть новость! Ну, такь при такой стройной фигуръ можно обойтись и безъ корсета.
 - Ора, дай.
 - Отстань, Ольга, не дамъ.
 - Не дашь?
 - Не дамъ.
- Жадная, противная уродина, только и знаеть, что обжираться тянучками, читать всякія гадости, да дёлать глазки всёмъ мужчинамъ.
 - Вонъ, дрянь!
- Сама дрянь.—И сказавши эту послѣднюю любезность, храбрая Оленька пустилась бѣжать.

Не смотря на эту маленькую перебранку, объ барышни какъ ни въ чемъ не бывало вошли въ гостиную, въ которой Серафима Алексъевна, сидя какъ на иголкахъ, занимала гостя въ ожидании дочерей. Увидавъ ихъ, она съ облегчениемъ вздохнула.

- Полковникъ Раздеришинъ, дочери мои, Ора и Ольга,—отрекомендовала она.
- Имълъ удовольствие быть сослуживцемъ и закадычнымъ пріятелемъ покойнаго вашего брата,—отрекомендовалъ себя полковникъ, звякнувъ шпорами.

Ора Николаевна граціозно склонила головку и пролепетала:

- Очень пріятно.
- -- Очень пріятно, повторила за ней, какъ эхо, Оленька.
- Вы уже давно въ нашихъ краяхъ? начала разговоръ Ора Николаевне, съ какой-то особенной граціей опирая голову на изогнутую руку.
- Нѣтъ-съ, недавно. Только вчера пріѣхалъ. У меня тутъ недалеко имѣньице послѣ жены осталось, такъ вотъ хочу его привести въ порядокъ.
- Неужели вы намърены поселиться въ деревнъ? изумилась Ора Николаевна.
- Да, на одну зиму, для сына; онъ былъ у меня очень боленъ, я и хочу его выдержать годикъ въ деревнъ.
 - Но кто-жъ его будетъ здъсь учить?
- Я надъюсь самъ съ нимъ управиться. Онъ въдь у меня еще не очень ученая особа.

Серафима Алексъевна громко вздохнула.

- И я,—сказала она,—хотвла было въ деревню перебраться...
- Что-жъ вы! подхватилъ полковникъ, и прекрасно, вмъстъ поъхали-бы. Въдь ваши Дубки недалеко отъ моей Осиновки.
- Я-то бы душой рада отсюда, да вотъ Орочка не хочетъ,

Орочка бросила на мать молніеносный взоръ, кото-

рый, будь онъ одаренъ силой электричества, навърнобы уложилъ на мъстъ старуху.

— Матап! какъ вамъ, право, не совъстно сочинять на меня, —воскликнула она тоненькимъ голоскомъ, полнымъ очаровательнаго негодованія, —когда-же я говорила, что не хочу? Я только сказала, что тамъ трудно достать доктора, а вы такъ часто хвораете, да вотъ Ольгъ придется музыку запустить. А что до меня, вы знаете, что мнъ все равно, гдъ ни жить, — добавила она нъсколько горькимъ тономъ.

Серафима Алексъевна широко выпучила глаза; ей, повидимому, пришло въ голову, что, можетъ, она въ самомъ дѣлѣ не такъ поняла Орочку, Оленька вся вспыхнула и съ ея сложенныхъ сердечкомъ красныхъ губокъ, казалось, вотъ-вотъ слетитъ:—Ахъ, лгунья!

Полковникъ крутилъ усы и улыбался.

- Чего-жъ лучше! значить, всё согласны; Серафима Алексевна обещаеть не хворать (Серафима Алексевна отъ радости чуть было не сказала, что она сроду больна не была, да удержалась и только утвердительно закивала головой). Ну, а съ Ольгой Николаевной действительно затруднительно.
- Я, что-жъ... я ничего... я и одна могу играть, краснъя и запинаясь, выговорила Оленька.

Серафима Алексъевна совершенно растаяла.

— Зачъмъ-же, Оленька, я не хочу тебя лишать музыки; съ перевздомъ въ деревню расходы сократятся, я выпишу для тебя изъ Москвы гувернантку. Она и Костю будеть учить.

Ора Николаевна кротко улыбалась.

— Вотъ и чудесно, -- сказалъ полковникъ, — я свою Осиновку живо устрою, и вы не мѣшкайте. Эхъ, какими славными сосѣдями мы съ вами заживемъ! А гувер-

нантку, если позволите, я вамъ доставлю черезъ швейцарца, который Сашъ моему уроки даетъ,—онъ знаетъ весь свътъ.

— Ахъ, какъ хорошо, —восторгалась Серафима Алексвевна, —да что мы тутъ въ гостиной сидимъ? Ужъ если деревенскіе сосвди, стало быть, безъ церемоніи, пожалуйте въ столовую чай пить.

Перешли въ столовую. Разговоръ велъ полковникъ. Онъ разсказывалъ о Москвѣ, Петербургѣ, театрахъ: сообщилъ нѣсколько пикантныхъ анекдотовъ про общихъ знакомыхъ... Говоря, онъ исключительно обращался къ Орѣ Николаевнѣ. Такое вниманіе было ей, видимо, пріятно; на щекахъ ея горѣли сквозь пудру два яркія пятна, а устремленные на полковника, глаза глядѣли, казалось, не на полковника, а куда-то въ безконечную даль.

- Вы, въроятно, много читаете, освъдомился у нея полковникъ.
- 0, да! книги, цвъты и музыка составляють всю мою жизнь, отвътила она томно.
- А людямъ, Ора Николаевна, развѣ вы совсѣмъ не отводите мѣстечка въ вашей жизни,—спросилъ съ коварной усмѣшкой полковникъ.
- Люди...—медленно произнесла Ора Николаевна, люди меня не понимаютъ. И она презрительно небрежно махнула рукой.
- А вы, Ольга Николаевна, тоже людьми не довольны?—обратился Раздеришинъ къ младшей сестръ.
- Добрыхъ люблю, а злыхъ терпѣть не могу,—выговорила Оленька.

Полковникъ засмѣялся.

- Какъ это хорошо, сказалъ онъ.
- -- Ребенокъ!--снисходительно замѣтила Ора Николаевна.

Послъ чая Раздеришинъ уъхалъ, пообъщавъ въ тотъ-же вечеръ написать швейцарцу Auber'у о гувернанткъ. Зубковы остались очень довольны гостемъ, и даже Ора Николаевна, сдълавъ матери и сестръ краткое внушеніе относительно того, что онъ не умъютъ держаться въ обществъ, —была весь вечеръ очень любезна со всъми.

XV.

Дuber отрекомендоваль генеральшѣ въ гувернантки Сару. Мысль, что она еврейка, очень смутила Серафиму Алексвевну и предоставленная самой себв, она, въроятно, не ръшилась-бы на такой смълый подвигъ. Но туть случились два побочныхъ обстоятельства. Вопервыхъ, рекомендуемая гувернантка вмѣщала въ себъ, по отзывамъ швейцарца, сосудъ всевозможныхъ знаній и искусствъ за весьма дешевую цвну, такъ что единственнымъ пятномъ въ ней являлось еврейство. Во-вторыхъ, привезшій эту новость Николай Иванычъ Раздеришинъ замътилъ-, неужели у васъ еще раздъляютъ этотъ предразсудокъ" — такимъ тономъ, какъ будто для него не только этотъ, но и вообще никакихъ предразсудковъ не существовало. Присутствовавшая при разговоръ Ора Николаевна, не желая отстать отъ столичнаго гостя въ либерализмъ, воскликнула:-Полно, татап, что вы, точно не всв люди равны! — Серафима Алексвевна, сбитая съ толку, пролепетала, что она сама, конечно, ничего, но что вотъ другіе могутъ осудить-сами знаете, у насъ провинція.

— Да зачъмъ вамъ всъмъ докладывать, *кто она*, скажите француженка, и дъло съ концомъ, — посовътовалъ полковникъ.

Совъть этотъ пришелся по душъ Серафимъ Алексъевнъ. Она даже подумала про себя, что, кто знаетъ, пути Господни неисповъдимы, можетъ, онъ нарочно посылаетъ жидовку въ генеральскій домъ, дабы она просвътилась. Она даже повеселъла отъ этой мысли, тъмъ болъе, что Орочка, оставшись съ ней наединъ, замътила:

- Знаете, maman, даже лучше, что она жидовка: будеть, по крайней мъръ, знать свое мъсто и не важничать, а то съ нашими въдь не оберешься претензій.
- Конечно, Орочка, конечно, согласилась мать.— Ахъ, какой милый этотъ полковникъ, всегда все устроитъ, и право-же, Орочка, мнѣ кажется, что онъ къ тебѣ неравнодушенъ.

Ора Николаевна покраснъла. Еп очень нравился Раздеришинъ, и предположение матери было ей пріятно. Она стала вообще гораздо мягче и кротко позволила перевезти себя въ деревню. Гувернантку она приготовилась встретить снисходительно, взять ее подъ свое покровительство и вообще, такъ сказать, поразить ее величіемъ своей души. Когда отъ Сары пришла телеграмма, что она вдеть, генеральша выслала за ней на станцію "плетенку". Она хотвла было послать коляску, но, разсудивъ, что жалко даромъ гонять туда и назадъ тройку, ръшила, что не бъда, если евреечка прокатится въ "плетенкъ", и велъла накласть побольше свна. Сара прівхала ночью, совершенно разбитая. Всв ужъ спали. Ее встрътила сонная горничная, со свъчею въ рукъ, и отвела прямо въ отведенную для нея на антресоляхъ комнату.

- Прикажете поставить самоваръ, барышня?—спросила, громко зѣвая, горничная, стаскивая съ Сары шубку.
 - Нътъ, не надо, благодарю васъ.

- Какъ-же можно безъ чаю; вы небось прозябли. Экой холодище какой! Господи, Боже мой!
 - Ничего, я лягу спать и согръюсь.
- Какъ угодно-съ, сказала горничная и стала оправлять постель. Въ которомъ часу прикажите васъ разбудить? спросила она опять.
 - А когда у васъ встаютъ?
- Да разно-съ. Старшая барышня, Ора Николаевна, почиваютъ до десяти, а то и до одиннадцати часовъ, ну, а Ольга Николаевна съ барченкомъ кушаютъ чай вмъстъ съ барыней, часу въ девятомъ.
 - Вотъ и меня тогда разбудите.
 - Слушаю-съ.

Сара сѣла въ продавленное кожаное кресло и стала оглядывать комнату. Комната была небольшая, съ нависшимъ потолкомъ, оклеенная пестренькими обоями. У стѣны стояла желѣзная кровать, покрытая темнымъ байковымъ одѣяломъ; старинный краснаго дерева коммодъ, съ полувыдвинутыми ящиками, припиралъ заколоченную стеклянную дверь, выходящую на балконъ. Небольшое зеркало, съ зеленоватымъ оттѣнкомъ, кресло, два—три стула и столъ довершали все убранство. Видя, что горничная стоитъ, переминаясь съ ноги на ногу, и не уходитъ, Сара обратилась къ ней.

- Какъ васъ зовутъ?
- Дуняшей-съ.
- Идите спать, Дуняша, мнѣ больше ничего не нужно.
 - Не помочь-ли вамъ раздъться, барышня?
 - Нътъ, благодарю, я всегда сама раздъваюсь.
 - Слушаю-съ, покойной ночи.

Сара осталась одна. Она подошла къ окну и стала вглядываться въ темное беззвъздное небо. Оголенныя

деревья съ распростертыми во всв стороны сучьями рисовались какими-то гигантскими неопределенными тънями. Изъ-за огромнаго чернаго облака робко показался краешекъ луны и, словно испугавшись, опять потонуль въ густомъ мракъ. Плохо спалось Саръ въ эту ночь на новомъ мъсть. Мучительныя мысли, видънія прошлаго—не давали ей покоя. Выглянеть одинъ образъ и стоитъ передъ ней, какъ живой, она ведетъ съ нимъ безсвязную рфчь; вдругъ онъ пропадаетъ и смъняется другимъ лицомъ, цълымъ рядомъ другихъ лицъ... она дълаетъ надъ собой усиліе, и ей удается забыться. Ей снится свътлый, радостный сонъ. Забыты неудачи, печали, разочарованія, ихъ нътъ, ихъ даже никогда не существовало; это быль какой-то тяжелый гнетущій кошмаръ, а настоящая жизнь только теперь наступила. Всвмъ хорошо, и всв такіе хорошіе, такъ понимаютъ другъ друга, никто никого не мучитъ, не пилить, не точить, не ненавидить, и она сама такая счастливая, любящая... ей хочется подфлиться со всъми своимъ счастьемъ, раздавать его полными руками, чтобы нигдъ не осталось ни одного унылаго, заброшеннаго, забытаго уголка. Да и зачвиъ обдълять, обходить... развъ не всъ равны... развъ не всъ братья... Чье это блъдное лицо? Ахъ это несчастный оборванный жидъ, истерзанный, отовсюду гонимый; его жапкая хата разбита, дочь обезчещена, жена изувъчена, убогій скарбъ пущенъ по вътру... онъ въ грязи, въ крови... "Христопродавецъ", гогочетъ толпа... "Эксплуататоръ"... "Скатертью дорога", — кричатъ ликующіе голоса, а онъ все стоитъ скорбный, пришибленный, съ протянутой дрожащей рукой, почернълыя губы его шевелятся... что это онъ бормочетъ?

> Ein Jahrtausend schon und länger Dulden wir uns bruderlich:

Du—du duldest, dass ich athme, Dass du rasest—dulde ich...

Да въдь это—стихи Гейне. Откуда ты ихъ знаешь, несчастный! Теперь ужъ это не такъ, это давно, давно прошло...

— Барышня, а барышня, вы приказали разбудить васъ, скоро девять часовъ, — раздался надъ самымъ ухомъ Сары громкій голосъ Дуняши.

Она раскрыла удивленные глаза. Сквозь оконныя занавъски глядъло тусклое утро. Въ крышу мърно стучалъ дождь. Она быстро одълась, отклонивъ услуги горничной, пришедшей въ дътскій восторгъ при видъ ея роскошныхъ, доходящихъ до колънъ, волосъ.

- Батюшки, вотъ волосы, восклицала она, какiе черные, густые: неужто все ваши, барышня?
 - Мои, Дуняша.
- Какая прелесть! У насъ, чай, во всемъ городъ такихъ косъ не сыщешь.

Дуняша, въроятно, еще долго-бы выражала свой восторгъ, если-бъ Сара не вернула ее къ дъйствительности, сказавъ:

- Проводи-же меня къ барынъ.

Ея появленіе въ столовой произвело нѣкоторое смятеніе. Всѣ встали изъ-за стола. Серафима Алексѣевна пошла къ ней на встрѣчу и, протянувъ ей свою маленькую руку, добродушно проговорила:

— Милости просимъ, Сара Павловна. Ужъ вы извините, что вчера не встрътили васъ. Рекомендую: до чери мои и внукъ, прошу любить да жаловать.

Сара пожала всѣмъ руки и сѣла на пустой стулъ возлъ генеральши. Она смутилась и покраснѣла, чувствуя устремленные на нее взгляды, и, чтобы при-

дать себѣ храбрости, стала пристально всматриваться въ окружавшія ее новыя лица. Ея горячіе черные глаза встрѣтились съ блѣдными глазами Оры Николаевны, глядѣвшими на нее съ нескрываемымъ удивленіемъ, и она рада была, что генеральша, подвинувши ей чашку чая, дала ей возможность отвернуться отъ непріязненнаго, какъ ей казалось, взгляда.

- Вы, должно быть, еще не отдохнули съ дороги,— обратилась къ ней Серафима Алексвевна.
- Меня утомила повздка на лошадяхъ, но это скоро пройдетъ,—отввтила Сара.
 - -- Вы первый разъ въ деревнъ?
 - Да, первый.
- Какъ-бы вы у насъ не соскучились,—мы живемъ очень уединенно.
 - Тъмъ лучше, я не люблю общества.
- Ну, какъ въ ваши годы не любить общества, усомнилась генеральша.

Сара промолчала.

- Этотъ молодой человъкъ и есть, конечно, мой будущій ученикъ,—спросила она, указывая на Костю, который, забивъ за объ щеки по огромному куску хлъба съ масломъ, никакъ не могъ ихъ проглотить и стремительно укрылся за спину бабушки.
- Да, вотъ его надо въ гимназію готовить, ну и съ Оденькой,—генеральша кивнула головой на младшую дочь,—музыкой позаняться.
 - Вы ужъ давно играете?—спросила Сара Оленьку.
- Давно, только ужасно скверно, отвѣтила та, обнажая свои бѣленькіе зубки.
- Это вы, конечно, скромничаете, привътливо улыбнувшись, замътила Сара, которой понравилось открытое простое личико ученицы.

— Къ сожалѣнію, мы не страдаемъ скромностью, скорѣе излишнею заносчивостью,—насмѣшливо вставила Ора Николаевна, вмѣшиваясь въ разговоръ.

Сара перевела на нее свои глубокіе глаза.

— Вы слишкомъ строги,—сказала она,—самонадъянность вообще свойственна молодости, къ этому слъдуетъ относиться снисходительно.

Оленька искоса поглядѣла на сестру, закусила губы и ничего не отвѣтила на ея колкость. Серафима Алексѣевна безпокойно завозилась на стулѣ и, дабы прекратить въ самомъ началѣ "опасный" разговоръ, встала изъ-за стола. Оленька схватила за руку Сару и потащила ее къ роялю.

- Сыграйте что-нибудь, Сара Павловна, вотъ ужъ вы навърно отлично играете.
- Почему-же это "навърно",— усмъхнулась Сара, садясь на табуретку и опуская руки на клавиши.

Она заиграла какую-то бравурную пьесу, но вдругь, точно забывшись, наклонила голову, и тихіе, хватающіе за душу, звуки поплыли изъ-подъ ея тонкихъ пальцевъ,—то замирающіе, то полные безъисходной, щемящей тоски и муки о далекомъ, о безвозратно утраченномъ,—звуки Шопеновской музыки.

— Ахъ, какая прелесть, вотъ чудо, вотъ прелесть!— затараторила Оленька,—да мнъ при васъ стыдно одну нотку взять.

Сара очнулась, и ей стало стыдно за свое невольное увлеченіе. Передъ ней стояла Оленька и весело—беззаботно глядѣло ея пухлявенькое личико. Ора Николаевна молчала, плотно сжавъ губы и какъ-то грустно, недовольно смотрѣла въ окно. Сару точно кольнуло. Ей показалось, что ее зарываютъ заживо въ чужую землю. Ее леденила эта комната своей провинціальной

обстановкой, зеленою, порыжёлою мебелью, вышитыми диванахъ, вязаными тамбуромъ круподушками на жечками спинахъ креселъ. На окнахъ-герань, на плющъ, бегоніи; на стънахъ-полинявшіе, криворотые и пучеглазые портреты, произведенія добросовъстнаго, но-увы!-непризнаннаго художника. Въ углу виситъ въ засиженной мухами рамъ пейзажъ, изображающій малиновую пастушку, сидящую на малиновомъ берегу малиновой ръки, а рядомъ съ ней зеленый рыцарь на богатырскомъ конъ грозитъ кому-то кулакомъ. Въ креслъ у окна генеральша вяжетъ чулокъ, равнодошно-лъниво перебирая спицами...

— Не хочу ни о чемъ думать, —рѣшаетъ про себя Сара. —М·elle Ольга, теперь ваша очередь, —говоритъ она громко, —я хочу послушать какъ вы играете.

Оленька заиграла "Reveil du lion". Играла она скоро, не выдерживая темпа, безъ оттънковъ, громко ударяя по клавишамъ, причемъ лицо ея, кромъ напряженнаго страха пропустить какую-нибудь ноту,—ничего больше не выражало. Сара поморщилась, когда Оленька, разбудивъ наконецъ своего льва, поглядъла на нее въ ожиданіи одобренія.

— Недурно,—сказала она — но вамъ еще много придется заниматься. А теперь, Костя, пойдемъ-ка учиться.

Костя вздохнулъ, надулъ губы и, не глядя на гувернатку, повелъ ее, тяжело стуча сапогами, наверхъ.

XVI.

Диообразно потянулось для Сары время въ генеральскомъ домъ. Она скоро присмотрълась къ членамъ всей семьи и установила между собою и ими въжли-

выя, но далекія отношенія. Серафима Алексвевна, не смотря на свое желаніе выпытать что-нибудь у гувернатки относительно ея прошлаго, должна была отказаться отъ этого намвренія. Односложные и простые отввты Сары ее не удовлетворяли. И въ самомъ двлв, "родители умерли", "воспитывалась у тетки", "небогата", "вдова"... Кто-жъ этому повврить! Ужъ конечно; не Серафима Алексвевна, которая, не смотря на свое видимое смиреніе, въ глубинв души считала себя женщиной очень проницательной.

— Понадъялась должно быть, на свою красоту и влюбилась въ аристократа, а тотъ не обратилъ вниманія, потому, что ни говори, все-таки—жидовка,—ръшила она про себя и успокоилась. Обходилась она съ Сарой предупредительно, даже нъсколько подобострастно.

Положительно не взлюбила гувернатку Ора Николаевна. Она ожидала встрѣтить, некрасивое, робкое, постоянно готовое къ услугамъ существо и не могла простить Сарѣ, что та не оправдала ея ожиданій. Ее раздражала изящная, величавая фигура гувернатки, ея спокойныя манеры, ея простое, скромное платье. Сара не сердилась на Ору Николаевну за ея враждебное отношеніе къ ней. Она понимала это жалкое засохшее существованіе провинціальной старой дѣвы, весь идеалъ которой—выйти замужъ. И вотъ этотъ идеалъ рушится, замѣнить его нечемъ...

Болѣе счастливыя сверстницы устроились, обзавелись своимъ гнѣздомъ и съ пренебрежительнымъ сожалѣніемъ, словно онѣ Богъ вѣсть какой гражданскій подвигъ совершили, поглядываютъ на отставшую подругу. А тутъ налетаетъ цѣлый рой молодыхъ, беззаботныхъ, цвѣтущихъ подростковъ; съ эгоизмомъ здоровыхъ людей они проносятся рѣзвой толпой передъ бѣдной старой дѣвой, унося ея послѣднія надежды, вырывая изъ

немощныхъ, желтъющихъ рукъ послъднюю тънь счастія, и старая дъва остается одна съ затаенной завистью въ несогрътой груди, съ глухою ненавистью къ тъмъ, которымъ посчастливилось. Позади у нея разочарованія, впереди—пустота, которую по инстинкту самосохраненія надо чъмъ-нибудь наполнить. Одна наполняеть ее хожденіемъ къ объднъ, вечернъ и всенощной; другая всю душу свою кладеть въ любимую собачку или кошку; третья ни за что не хочетъ разстаться съ призракомъ молодости и запоздалымъ кокетствомъ доставляеть обильную пищу остроумію мъстныхъ beaux-esprits.

Оленька искренно полюбила Сару и откровенно восхищалась ею, а когда замѣтила, что это злить сестру, то въ ея присутствіи обыкновенно удваивала свои восторги. Музыкой она занималась усердно, но еще усерднѣе старалась подражать Сарѣ въ ея манерѣ сидѣть, перелистывать ноты, оправлять платье. Ора Николаевна съ свойственною ей прозорливостью замѣтила эти невинныя мелочи и, когда бывала не въ духѣ,—что случалось довольно часто, — отпускала по этому поводу шпильки.

— Ольга,—говорить она, напримъръ, Оленькъ, прилежно разбирающей затруднительный пассажъ;—начни съ начала, ты не такъ перевернула страницу.—Или: ты не такъ чихнула, какъ Сара Павловна.

Оленька, понятно, не остается въ долгу и замѣча-етъ что-то въ родѣ:

— Нельзя-же всѣмъ пятьдесять лѣтъ сряду играть "Штендхенъ."

Между сестрами завязывается перепалка, обыкновенно окачивающаяся тѣмъ, что Сара уводитъ въ свою комнату Оленьку и начинаетъ ей тамъ читать продол-

жительное нравоученіе. Оленька плачеть и оправдывается, что не она начала. Пристыженная Ора Николаевна, сознающая въ душъ, кто началь, злится на весь міръ, хлопаетъ дверями и кричитъ на весь домъ, что она никому не позволить себъ импонировать. Въ продолженіе двухъ-трехъ дней всв ходять надутые, молчаливые, избъгая глядъть другь другу въ глаза, но мало-но-малу горизонтъ проясняется и все входитъ въ обычную колею до новой бури. Бури наступали періодически, такъ что ихъ можно было предвидъть, а именно-послъ каждаго визита полковника Раздеришина, привозившаго разъ въ недълю своего сына въ Дубки, гдв онъ бралъ у Сары уроки французскаго языка. Корень зла заключался не въ урокахъ, которые проходили тихо и чинно, и даже не въ учительницъ, -- полковникъ, хотя и находняъ ее красавицей, но говорияъ, что въ ней есть что-то такое un je ne sais quoi, деревянное... Корень зла заключался въ вътренности непостояннаго полковника, перенесшаго Богъ въсть почему все свое вниманіе съ Оры Николаевны на Олепьку. Бъдная Ора Николаевна! Она положительно не могла понять, какъ это случилось, за что, почему: -- "Въдь не хуже-же она, наконецъ, этой индюшки-Оленьки". Кажется, все такъ хорошо шло, онъ, повидимому, такъ понималь ее, такъ сочувствоваль ея мечтательнымъ идеаламъ-и вдругъ... однажды, среди какой-то заоблачной беседы, раздался его басистый голось:

- Ну, Ольга Николаевна, засмъйтесь! Когда вы смъетесь, у васъ такія ямочки дѣлаются на щекахъ, что, глядя на нихъ, точно молодѣешь.
- Вотъ вы какой, обиженно говоритъ Оленька, вы меня считаете за маленькую! За то, что дразните меня, нарочно не буду смъяться. Я тоже могу быть серьезной.

Она надуваетъ губки, но не выдерживаетъ роли и заливается звонкимъ, безсмысленнымъ, веселымъ смѣхомъ.

— Вотъ и прекрасно, ну, еще, немножко, —одобряетъ полковникъ.

Ора Николаевна забыта. Полковникъ то проситъ Оленьку сыграть что-нибудь, то бъгаетъ съ ней по комнатъ, то подсядетъ къ ней близко и серьезно такъ скажетъ:

— Ну, давайте, Ольга Николавна, толковать о важныхъ матеріяхъ.

Ора Николаевна страдала неимовърно. При полковникъ она сдерживалась и, хотя сердце у ней ныло и надрывалось съ тоски, обдавала его высокомърнымъ презръніемъ, когда онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, вступалъ съ ней въ разговоръ. Всю накипъвшую на душъ горечь она вымъщала на домашнихъ; особенно доставалось матери, которую она пилила по цълымъ часамъ за то, что та будто-бы поощряла неприличное обращеніе полковника съ Ольгой. Серафима Алексъевна пыталась убъдить ее, что она ошибается, что Николай Ивановичъ шутитъ съ Оленькой, какъ съ ребенкомъ, но Ора Николаевна прерывала ее визгливымъ, язвительнымъ хохотомъ.

- Оленька ваша ребенокъ! Она—ребенокъ! Да это самая пошлая кокетка!—кричала она, задыхаясь.
- Оленька въ отместку дъйствительно кокетничала съ полковникомъ и общими усиліями онъ превращали домъ въ адъ. Серафима Алексъевна поребъгала отъ одной дочери къ другой, стараясь ихъ какъ-нибудь ублажить, наконецъ измученная, спасалась въ комнату къ Саръ.
- Сара Павловна, я вамъ не помѣшаю?—жалобно спроситъ она, пріотворяя дверь.
 - Ничего, Серафима Алексъевна, пожалуйте.

Старуха входить, усаживается съ чулкомъ на стулъ и то и дъло поворачиваетъ въ сторону голову, стараясь незамътно смигнуть набъгающія на глаза слезинки.

У стола сидить Сара и держить въ рукахъ карандашъ; противъ нея на табуретъ помъщается съ нахмуреннымъ лицомъ Костя.

- Отчего вы опять не приготовили уроковъ? вопрошаетъ Сара.
 - Забыль, лаконически отвътствуетъ ученикъ.
- Какъ-же вы могли забыть, въдь я записала въ тетрадку?

Костя на минуту задумывается и затъмъ выпаливаетъ съ видомъ побъдителя:

- Я забылъ, гдъ вы записали.
- Это неправда, Костя, зачёмъ вы лжете?

Костя смущается и начинаетъ для контенанса ковырять въ носу. Въ разговоръ вмъшивается бабушка:

— Какъ же ты это, Костенька, а? Не стыдно тебѣ огорчать Сару Павловну? Она тебя учитъ, старается; другая гувернантка тебя бы изъ угла не выпускала... Проси сейчасъ прощенія у Сары Павловны! Скажи, что не будешь больше лѣниться, что это въ послѣдній разъ...

Но тутъ потокъ красноръчія Серафимы Алексъевны прерывается неистовымъ ревомъ Кости, который, не вынеся оскорбленія, опрокидываетъ стулъ, чернильницу, книги и обращается въ бъгство подъ спасительную сънь кухни.

XVII.

Вывали, впрочемъ, и ясные дни. Ора Николаевна мирно читаетъ какой-нибудь романъ; Оленька погружена въ вышиванье славянки; Костя возится съ собакой; Сара исправляетъ запутанное, измазанное и перечеркнутое сложеніе Кости, а генеральша безмятежно дремлетъ на диванъ. На дворъ стоитъ тихій зимній день. Снъгъ огромными рыхлыми хлопьями заноситъ дворъ и садъ. Волга совсъмъ спряталась подъ пушистой бълой скатертью. Ора Николаевна открываетъ глаза отъ книги и устремляетъ взглядъ на разстилающуюся безконечно вдаль широкую, словно саваномъ окутанную, степь.

- Господи, какая тоска,—вздыхаетъ она громко, хоть бы какая-нибудь собака забъжала.
- Вотъ, погоди, можетъ быть, Николай Иванычъ прівдеть,—утвшала ее Оленька.
- Ужасно какое отъ него веселье, отъ твоего Николая Иваныча: только отдувается и отпускаетъ глупыя остроты.
- Ты, однако, Орочка, прежде не находила его такимъ ужъ дуракомъ.
- Конечно, пока не разглядъла хорошенько, что онъ за птица. Въдь въ нашей берлогъ каждому свъжему человъку обрадуешься.

Оленька готовится возражать, но Ора Николаевна не даетъ.

- Да вотъ, Сара Павловна, вы навърно со мною согласитесь, что Раздеришинъ просто олухъ, обратилась она къ Саръ.
- Я его совсѣмъ почти не знаю, отозвалась та, но онъ мнѣ кажется самымъ обыкновеннымъ человѣ-комъ: ни особенно уменъ, ни особенно глупъ...

— Бабушка, Аполлонъ Егорычъ прівхаль и Анеиса Ивановна тоже,—кричаль онъ ужъ снизу.

Чрезъ нъсколько минутъ въ залу ввалился гость-Аполлонъ Егоровичъ Филатовъ, извъстный всему Энску дълецъ и сплетникъ. Это былъ почти шарообразный человъкъ, лътъ пятидесяти. Массивное и жирное туловище его покоилось на коротенькихъ, тонкихъ ногахъ, изчезавшихъ подъ непомърнымъ животомъ. Совершенно лысая голова, съ толстой бурой складкой вмъсто шеи, казалась неподвижно прикръпленной къ плечамъ, такъ что, когда ему нужно было повернуть ее, онъ оборачивался обыкновенно всей особой. Круглый, мягкій нось, толстыя красныя губы, скрытыя огромной съдъющей бородой, начинавшейся чуть не на вискахъ, и зеленые глазки съ отвислыми голубоватыми мъщечками подъ въками, плутовски блестъвшіе въ своихъ узенькихъ щелкахъ -- довершали эту оригинальную фигуру.

Онъ вошелъ въ залу, держа въ рукъ мъховую, уже облъзшую шанку и пестрый шелковый платокъ; вытеръ имъ мокрую бороду и затъмъ уже приложился къ ручкъ хозяйки, поздоровался съ барышнями и, тяжело пыхтя, опустился на диванъ.

- Здравствуйте, Аполлонъ Егорычъ, что ва́съ давно не видать? совсѣмъ насъ забыли... Оленька, прикажи самоваръ и закусить... Да гдѣ же Анфиса Ивановна? говорила, суетясь во всѣ стороны, генеральша.
- Чай, еще разоблачается; напутала, небось, на себя возъ цѣлый фуфаекъ да юбокъ, вотъ и не можетъ сразу опростаться... Вы, матушка Серафима Алексѣевна, не извольте безпокоиться, да вотъ и она на лицо. Ты чего тамъ копалась? - обратился онъ къ показавшейся въ дверяхъ женѣ.

Раздались новыя восклицанія. Дамы обмѣнялись звонкими поцѣлуями, освѣдомились взаимно о здоровьѣ; генеральша пожелала узнать,—здоровы-ли дѣтки Анфисы Ивановны, и получила въ отвѣтъ, что, слава Богу, ничего; только у Машеньки была свинка, да Ваничка все животомъ бьется...

Наконецъ все пришло въ порядокъ, всѣ успокоились и усълись, на столъ появился самоваръ и обильная закуска. Анеиса Ивановна вытащила изъ ридикюля длиннъйшій деревянный крючокъ, на кончикъ котораго висъла вытянутая петля косынки изъ мегеровой шерсти, и принялась вязать. Въ противоположность своему супругу, она была очень высока и худа; платье на ней висьло мъшкомъ, что ей, впрочемъ, очень нравилось: она всегда строго наказывала домашней портних в Агафьеюшкв, чтобы на груди непремвнио "набътало", на что Агафьюшка, съ видомъ знатока, кивала головой, съ достоинствомъ замвчая: "Понимаемъ, сударыня, понимаемъ, чтобы, значитъ, неглижа". Волосы Анеиса Ивановна носила спереди пышными бандо, а на затылкъ закручивала ихъ въ маленькую кучку, въ которую втыкала огромную черепаховую гребенку. Прическа эта очень шла къ ея добродушному лицу, удивительно напоминавшему печеное яблоко.

Анеиса Ивановна была въ самомъ дѣлѣ очень добра, но, къ сожалѣнію, обладала не совсѣмъ пріятной особенностью: она не могла просидѣть часа, чтобы не икнуть или не чихнуть.

- Что новаго? кого видъли изъ знакомыхъ? что въ городъ слышно?—посыпались со всъхъ сторонъ на гостей вопросы.
- А вотъ дайте маленько согрѣться, все разскажемъ, отвѣчалъ Аполлонъ Егоровичъ, наливая густыя сливки въ крѣпкій, какъ пиво, чай.—Это вы, Се-

рафима Алексъевна, сами крендельки-то пекли?—спросиль онъ.

- Нѣтъ, Аполлонъ Егорычъ, поваръ; передъ отъ ѣздомъ въ деревню новаго взяла. А что, нехороши развѣ?
- Чудесные, прелесть какіе,—съ чувствомъ произнесъ Аполлонъ Егорычъ.—А у меня,—продолжалъ онъ, приходя въ волненіе,—представьте, какая гадость вышла! Дьяволъ этотъ старый, Андронычъ, напился шельма, какъ стелька, да и подай при гостяхъ къ чаю какія-то угольныя сосульки; такъ меня, скажу вамъ, взорвало,—взялъ я блюдо да къ нему въ кухню.—Это что? спрациваю,—а онъ бестія: заварной крендель, говоритъ, Палонъ Ягорычъ.—Ахъ ты... это заварррной крендель? Заварной крендель долженъ таять во рту, какъ сахаръ, какъ масло, а это, говорю, не заварной крендель, а солдатское голенище!.. Бросилъ ему, идолу, въ рожу все блюдо и ушелъ.

Разсказъ Аполлона Егоровича, приправленный соотвътственными движеніями, произвелъ различное впечатльніе на слушателей. Костя и Оленька хохотали во все горло,—имъ ужасно нравилась манера Аполлона Егоровича подчеркивать самыя крупныя словца. Ора Николаевна улыбалась кончиками губъ, а генеральша, замътивъ, что Анеиса Ивановна усиленно молчитъ и моргаетъ глазами, собираясь чихнуть,—лепетала приличныя случаю утъшенія. Затъмъ перешли къ городскимъ новостямъ. Аполлонъ Егоровичъ сообщилъ злобу дня,—что Анна Сергъевна Загорская убъжала отъ мужа къ шалопаю этому Коломину, а онъ возьми да и отвези ее назалъ.

Новость произвела сенсацію. Всѣ сдвинулись ближе, чтобы лучше слышать; раздались восклицанія, вздохи, осужденія.

- Помилуйте, какъ это можно! Мать троихъ дътей... семейная женщина! Да какъ она могла ръшиться на такой поступокъ! и для кого! Забыть мужа для вертопраха... какого-нибудь, для котораго и святого ничего не существуетъ...
- Въ́рьте, не въ́рьте, какъ хотите, а дъ́ло было такъ; вотъ хоть ее спросите, для большей убъ́дительтельности Аполлонъ Егоровичъ ткнулъ пальцемъ нажену.
- Правда, правда, —подтвердила Анеиса Ивановна; попуталъ грѣхъ Анну Сергѣевну; просто смотрѣть на нее жалко, такая она стала худая да печальная. И что она въ немъ нашла, чѣмъ онъ ее могъ прельстить, рѣшительно не понимаю!

И чтобы выразить всю глубину своего непониманія, Анеиса Ивановна растопырила пальцы и даже спустила нѣсколько петель съ своего вязанья.

— Ну ужъ это ты, Анеиса Ивановна, оставь. Не твоего это ума дёло,—замѣтилъ Аполлонъ Егоровичъ.— Скажите, пожалуйста, тоже разсуждаетъ: чѣмъ прельстилъ!—Вотъ тебя-бы, небось, не прельстилъ.

Анеиса Ивановна мгновенно съежилась.

- Опасный человѣкъ, сказала Серафима Алексѣевна.
- Нѣтъ! да вы послушайте, какъ онъ, разбойникъ, сухъ изъ воды вышелъ, воскликнулъ Аполлонъ Егоровичъ. Вздитъ къ нимъ, почитай, каждый день, съ мужемъ первый другъ-пріятель, выдумалъ теперь благотворительный спектакль устраивать, да и преподнесъ Аннъ-то Сергъевнъ первую роль—какой-то тамъ драматической любовницы... Каковъ?!
 - Что вы, неужели! ну, и что-же она?
- Отказала, само собой... Къ вамъ теперь собирается, хочетъ Ору Николаевну просить; вчера у меня былъ, все развъдывалъ, когда къ вамъ удобнъе заъхать.

Ора Николаевна вспыхнула до ушей, сердце у ней сильно забилось; тъмъ не менъе она сухо произнесла:

— Напрасный трудъ, я не буду играть.

Аполлонъ Егоровичъ глянулъ на нее сбоку своимъ прищуреннымъ, заплывшимъ глазомъ.

- За что-жъ такая строгость, Ора Николаевна? Вѣдь, не съѣсть онъ вась, а съ благотворительною цѣлью— отказать, знаете, неловко.
- И я думаю, Орочка, что неловко, замѣтила генеральша.
- Это ужъ мое дѣло, maman, но я съ *такими* господами ничего общаго не имѣю.

На самомъ дѣлѣ Орѣ Николаевнѣ очень хотѣлось играть; отказъ у ней сорвался съ языка какъ-то безсознательно, а потомъ ужъ самолюбіе не позволяло ей уступить. Сара поняла ея чувства и рѣшилась придти къ ней на помощь.

— Послушайте, Ора Николаевна, отчего-бы вамъ въ самомъ дѣлѣ не сыграть,—сказала она,—вамъ скучно, вы нѣсколько разъ, помнится, говорили, что любите театръ; представляется случай развлечься—зачѣмъ-же отъ него отказываться?

Ора Николаевна взглянула на гувернантку признательными глазами.

- Ахъ, Сара Павловна, вы не знаете, что за человъкъ эть Коломинъ.
 - Что-же онъ за человѣкъ?
- Фатъ, гордецъ, хвастунъ, считаетъ себя выше и умнѣе всѣхъ, бросаетъ пыль въ глаза своимъ богатствомъ, воображаетъ, что онъ петербургскій аристократъ и потому можетъ всѣмъ говорить дерзости, а на самомъ дѣлѣ его изъ Петербурга выгнали за какуюто грязную дуэль...
 - Портретъ не особенно привлекательный, сказала

Сара; — но какое вамъ до всего этого дѣло? Послѣ спектакля ничто вамъ не мѣшаетъ прервать съ нимъ всѣ сношенія.

- Вы находите, что я могу играть?
- О, съ совершенно спокойной совъстью.
- Хорошо, я соглашусь, но съ условіемъ, чтобы вы ъздили со мной на репетиціи.

Сара растерялась отъ такой неожиданности.

- Не требуйте этого, Ора Николаевна, вы знаете, какъ я не люблю общества,—сказала она.
 - Иначе я не соглашусь, —возразила Ора Николаевна.
 - Ну, хорошо, тамъ посмотримъ...

На томъ и былъ поконченъ важный вопросъ.

XVIII.

Прівхавшаго на другой день въ Дубки Коломина приняли не только радушно, но даже подобострастно. Ора Николаевна хотя и отказалась сначала играть, но мотивировала свой отказъ нервшительностью, опасеніемъ не выдержать роли, говоря, что не признаетъ за собой никакого сценическаго дарованія. Гость съ подобающей почтительностью упрекнуль ее въ излишней скромности, уввряя, что онъ, съ своей стороны, какъ человвкъ, страстно любящій театръ и видавшій на своемъ ввку много артистовъ, находить всю фигуру Оры Николаевны чрезвычайно сценичной, а что манерой говорить и жестикуляціей она положительно напоминаетъ Делапортъ.

Сидъвшая съ Костей въ углу, Сара съ любопытствомъ подняла глаза на Коломина, желая, повидимому, убъдиться — смъется онъ надъ простдушными хозяевами, или говоритъ серьезно. Онъ говорилъ съ полнымъ убъжденіемъ и, встрътивъ недоумъвающій взоръ Сары, внимательно посмотрѣлъ на нее задумчивыми, нѣсколько влажными глазами.

Борисъ Арсеньевичъ Коломинъ былъ уже не молодъ. Ему даже по виду можно было дать больше сорока лътъ. Высокій, плечистый и, несмотря на начинавшуюся полноту, еще стройный-онъ выдавался своей мощной фигурой. Русые волосы, перемъщанные бълыми нитями, густые, хотя уже поръдъвшіе на вискахъ, красиво обрамляли его широкій, білый, испещренный тонкими морщинками лобъ. Сърые умные глаза, окруженные цълою съточкой лучистыхъ складокъ, глядъли обыкновенно не на собесъдника, а куда-то черезъ его голову. Крупный, чисто слявянскій носъ, большой, ръзко очерченный роть и крутой подбородокъ, теряющійся въ длинной, рыжеватой бородъ, составляли вмъстъ одно изъ тъхъ немногихъ лицъ, которыя одинаково правятся и мужчинамъ, и женщинамъ. Одъть онъ былъ хорошо, но не особенно щегольски.

— Какой онъ, однако, красивый, этотъ губернскій донъ-Жуанъ, подумала Сара.

Серафима Алексвевна не хотвла отпустить гостя безь обвда. Онъ охотно согласился остаться. За столомь коломинъ искусно завелъ общій разговоръ, давая каждому случай вставить свое слово, держался непринужденно, такъ что Сара, противъ ожиданія, нашла оригиналъ совсвиъ непохожимъ на изображенный Орой Николаевной портретъ.

- A вы, Сара Павловна, не желаете принять участія въ нашемъ спектаклѣ?—обратился онъ къ ней.
 - Нътъ, односложно отвътила она.
- Какъ это жаль, мы-бы для васъ поставили другую пьесу.

Сара промолчала.

- Вы, въроятно, жили прежде въ Петербургъ, - про-

должаль онь, не смущаясь ея молчаніемь; — мив, кажется, что я ужь вась гдв-то встрвчаль.

- Врядъ-ли, я жила въ Петербургъ недолго и никуда не выъзжала.
- Не думаю, чтобы я ошибался; я вообще обладаю, превосходною памятью на лица, а ваше лицо трудно не запомнить. Ба!.. вотъ я и вспомнилъ! Вы поразительно похожи на одну картину Мурильо...
- Вы, кажется, страдаете слабостью всюду находить сходство,—сказала Сара, и въ голосъ ея явно зазвучала насмъщливая нотка.

Коломинъ понялъ намекъ и закусилъ нижнюю губу.

— На этотъ разъ я могу доказать вамъ, что моя слабость опирается на реальное основаніе. Если позволите, я вамъ привезу прекрасную гравюру съ этой картины.

Сара холодно наклонила голову.

- Ахъ, m-г Коломинъ, какъ-бы это было мило съ вашей стороны, если-бъ вы привозили намъ иногда книги,—заговорила Ора Николаевна, которой совсѣмъ не понравилось вниманіе гостя къ гувернанткѣ,—вы навърно выписываете много журналовъ.
- Вся моя библіотека къ вашимъ услугамъ, любезно отвътилъ Коломинъ.

Время летьло незамьтно. Разговоръ перескакивалъ съ одного предмета на другой. Коломинъ какъ-то суумълъ всвхъ къ себъ расположить и привлечь. Онъ припоминалъ разные случаи изъ своей жизни, говорилъ о своихъ путешествіяхъ, разсказалъ между прочимъ, какъ онъ будучи еще совсвмъ молодымъ человъкомъ, перебирался, съ помощью еврея-контрабандиста, черезъ границу. Контрабандистъ, по его словамъ, походилъ на настоящаго итальянскаго bravo, сорвавшагося съ картины Сальватора Розы, и поражалъ своей храб-

ростью, составлявшей особенный контрасть съ его, Коломина, трусостью.

— Мнъ было мучительно стыдно, разсказывалъ Коломинъ. -- Малъйшій шорохъ заставляль меня вздрагивать и когда надъ нами съ громкимъ крикомъ взвилась ворона, я чуть не упаль въ обморокъ. Вдругъ надъ самой моей головой раздался выстрълъ. Это были, въроятно, караульные солдаты. Волосы мои стали дыбомъ; мнв показалось, что я лечу стремглавъ страшную бездну, и я съ ужасомъ почувствоваль, что умеръ. Когда я пришелъ въ себя, ужъ начинало разсвътать; голова моя покоилась на кольняхъ у контрабандиста, который теръ мнв лобъ и виски водкой,онъ, видите-ли, ухитрился стащить меня въ Не могу вамъ выразить, до чего я обрадовался. Я расплакался, какъ десятилътній мальчишка. Контрабандистъ смотрълъ на меня съ пренебрежительнымъ сожальніемъ, — такъ мнь, по крайней мьрь, казалось. Помнится, что въ порывъ радости я пытался убъдить его перемънить профессію, но онъ только рукою махнулъ. Тогда я, по молодости, вознегодовалъ, но, проживши несколько леть въ нашихъ западныхъ ніяхъ, присмотрълся къ нищенски-жалкому прозябанію еврея и сталъ смотръть на вещи снисходительнъе.

Въ душъ Сары зашевелились давно заглохшія струны. На нее какъ будто пахнуло чъмъ-то роднымъ. Она вся оживилась, на блъдныхъ щекахъ вспыхнулъ румянецъ, глаза заблистали, на сжатыхъ обыкновенно губахъ заиграла улыбка. Она незамътно для себя увлеклась, и, когда бесъда перешла на литературу, разговорилась—горячо, порывисто, какъ долго молчавшій человъкъ.

— Вы слишкомъ требовательны,—возразилъ Коломинъ на какое-то ея замѣчаніе—у насъ теперь нѣтъ поэтовъ, да и быть ихъ не можетъ.

- Но почему-же?
- А потому, что условія жизни всего менѣе поэтическія. "Намъ нуженъ хлѣбъ, намъ деньги нужны"... Какая ужъ тутъ поэзія!
- По моему, это совсёмъ не такъ,—замётила Сара. —Если нуженъ хлёбъ и нужны деньги, это только доказываетъ, что намъ очень голодно и холодно живется на свётё. Нужда и страданія естественно должны вызвать жалобы, а когда въ жизни человёчества выпадала особенно скорбная полоса самыми яркими выразителями общихъ страданій являлись... поэты.
- Другое время—другія пъсни. Оглянитесь кругомъ. Вчерашній радикаль и космополить выдаль товарищей, получиль "мзду" за усердіе и печатно вопить о своемъ раскаяньи; юный отпрыскъ дворянской фамиліи обокраль кассу или поддълаль вексель; жена самымъ простодушнымъ образомъ заводить друга дома, а супругъ не менъе добродушно бьетъ окпа въ ресторанахъ... А пресловутая меньшая братія, наши милые пейзане! Перепьются до положенія ризъ, оттаскають своихъ пейзанокъ за косы и затъмъ приводятся въ нормальное состояніе философами волостного правленія—самобытнымъ способомъ...—сколько влъзетъ. Вотъ вамъ сюжетики нашей современной поэзіи. Бываютъ, конечно, видоизмъненія, но это, такъ сказать, колоратурныя украшенія къ основному мотиву.
- Но вѣдь мотивъ этотъ ужасенъ. Вѣдь это невѣжество, повальный мракъ... А величайшія произведенія человѣческаго духа, это скорбная повѣсть о страданіи и несчастіяхъ людей. Я не говорю о такихъ писателяхъ, какъ, Шекспиръ, Гете, Диккенсъ... Но возьмите Гоголя, Тургенева, Достоевскаго... Развѣ они изображали однихъ очаровательныхъ красавицъ и интересныхъ кавалеровъ? И, не смотря на низменность

этихъ, какъ вы говорите, сюжетиковъ, сколько въ нихъ чарующей, неувядаемой прелести? Они никогда не умрутъ, потому что отражаютъ человъческія страданія, а страданіе—въчно... Одна лишь радость мимолетна и призрачна...

Послъднія слова Сара произнесла тихимъ, упавшимъ голосомъ, и на лицо ея точно легло печальное облачко. Коломинъ глядълъ на нее съ нескрываемымъ интересомъ.

- Вы слишкомъ сильно чувствуете, слишкомъ живете нервами, это не годится,—сказалъ онъ.
 - Что-же "годится"?

Онъ улыбнулся и продекламировалъ вмѣсто отвѣта: —"Давайте жизнію играть, пусть чернь тупая суетится, не намъ безумной подражать".

- Эгоизмъ, сказала Сара
- A что выигрываютъ въчные труженики и печальники?

Коломинъ подошелъ къ роялю, взялъ нѣсколько аккордовъ и пропѣлъ мягкимъ баритономъ куплетъ изъ Шубертовскаго "Лейермана".

"Niemand will ihn hören, Niemand sieht ihn an, Und die Hunde knurren Um den alten Mann"...

- Вотъ она, ваша сердобольная чернь, какъ она награждаетъ артиста, сказалъ онъ, вставая.
- Какъ вы хорошо поете, я и не подозрѣвала, что вы обладаете такими разнообразными талантами,—воскликнула Ора Николаевна.
 - О, помилуйте, я неисчерпаемъ, весело отвътилъ

Коломинъ и сталъ искать глазами Сару. Она сидъла въ тъни, согнувшись, вся блъдная.

— Отчего-же вы не увънчаете лаврами пъвца,— обратился онъ къ ней шутливо, но, взглянувъ на ея нахмуренныя брови, поспъшно отошелъ отъ нея.

А Сара молчала, потому что ей вдругъ вспомнился добродушный тонъ разсказа Коломина о контрабандиств, и она усомнилась въ его искренности. Ей какъ-то не вврилось, что можно произнести слово "еврей" безъ прибавленія—плутъ, мошенникъ, подлецъ, когда къ этому представляется удобный случай, и вдругъ ее освила мысль—вврно онъ знаетъ, что я еврейка, и великодушничаетъ... ну, конечно, какъ это я раньше не догадалась...

Остальная часть вечера какъ-то не клеилась. Сараскоро ушла на-верхъ; Коломинъ немного посидѣлъ послѣ ея ухода и уѣхалъ.

XIX.

Уара была недовольна собой. Ей было непріятно и даже какъ-бы стыдно, что она вдругъ перешла за границу той черты, которую она сама себъ провела и обнаружила передъ людьми, совершенно ей чужими, часть своей внутренней боли, которую она такъ старательно отъ всѣхъ прятала, о которой сама старалась забыть. И что они теперь обо мнѣ думаютъ, генеральша, Орочка? Навърно скажутъ: вотъ притворщица, корчила изъ себя недотрогу-царевну, а увидъла интереснаго кавалера и растаяла... Да и левъ этотъ провинціальный, должно быть, уже празднуетъ побъду надъ смазливенькой гувернанткой....

Вотъ какія мысли бродили въ головъ Сары, когда она на другой день сходила внизъ пить чай, совер-

шенно разстроенная, ожидая съ нѣкоторымъ страхомъ услышать насмѣшки. Но, къ ея удивленію, ничего подобнаго не случилось. Вся семья находилась еще подъвпечатленіемъ вчерашняго визита и мирно бесѣдовала за столомъ.

Неблагопріятное мнѣніе о Коломинѣ измѣнилось на самое лестное. Даже къ его репутаціи бездушнаго волокиты теперь относились гораздо снисходительнѣе:— на то онъ и мужчина и холостой,—женщина сама виновата, если къ ней забывають почтеніе; вѣроятно, дала поводъ...

Сару встрътили очень шумно и тотчасъ засыпали вопросами, —понравился-ли ей Коломинъ. Она отвътила, что онъ съ виду кажется порядочнымъ человъкомъ, а впрочемъ, Богъ его знаетъ.

— А какъ вы ему понравились, Сара Павловна, — затрещала Оленька, — когда вы ушли, онъ сказалъ, что вы ужасная красавица, ужасно образованная, только очень горды.

Сара усмъхнулась наивному отчету Оленьки. Ора Николаевна, хотя втайнъ порицала неумъстное кокетствогувернантки, но, увлеченная перспективой спектакля, подавила въ себъ непріятное чувство, тъмъ болѣе, что расчитывала на помощь Сары въ устройствъ костюмовъ и изучепіи роли. Немедленно было приступлено къ разборкъ гардероба. На рояль, столы и диваны навалили цълую кучу всякихъ платьевъ. Серафима Алексъевна замътила, что если понадобится сшить что-нибудь новое, то чтобы Орочка не безпокоилась, все будеть сдълано. Послъ этого объщанія Орочка сама сдълалась совсъмъ добрая.

— Сара Павловна, сегодня Коломинъ мнѣ пришлетъ роль, вы знаете эту пьесу—"Жертва за жертву"?

- Знаю.
- Вотъ и отлично! А то мнѣ неловко было сказать, что я ее не читала (онъ вѣдь такой насмѣшникъ!) а изъ одной роли трудно понять. Что-же, пьеса хорошая?
- Мнѣ не нравится—слишкомъ мелодраматична, но ваша роль благодарная и довольно эффектна.
- Это главное, а на остальныхъ мив наплевать, въ порывв увлеченія высказалась Ора Николаевна. Знаете что, Сара Павловна, Костя все равно не будетъ сегодня заниматься—у него что-то болитъ, если вамъ не трудно, разскажите, пока мы тутъ разбираемся, въ чемъ заключается содержаніе.

Сара разсказала. Пьесу нашли превосходной. Ора Николаевна только огорчилась, что особенно элегантныхъ костюмовъ совсъмъ не требуется, но утъщилась тъмъ, что въ послъднемъ актъ она къ траурному платью прицъпитъ трехаршинный шлейфъ.

- Сара Павловна, вы мнъ поможете выучить роль?
- Съ удовольствіемъ, но я сама въ этомъ ничего не смыслю.

Начались репетиціи: Сарѣ не удалось освободиться отъ обязанности провожатой. Генеральша боялась частыми поѣздками застудить свой ревматизмъ. Оленьку Ора Николаевна не желала съ собой брать, такъ что оставалась одна Сара. Она, однако, выговорила себѣ нѣкоторое облегченіе, а именно, попросила, чтобъ ее, кромѣ хозяевъ, ни съ кѣмъ не знакомить, на что Ора Николавна охотно согласилась.

Репетиціи происходили въ квартирѣ полковника Караваева. Самъ онъ былъ человѣкъ, любившій плотно покушать и повинтить, но, находясь подъ башмакомъ у своей супруги,—дамы худощавой и сантиментальной, несмотря на пятьдесять лѣтъ, не потерявшей еще

способности бесёдовать о возвышенныхъ чувствахъ, — полковникъ старался всёми силами доказать, что для него обёдъ съ шампанскимъ или карты положительно не имёютъ никакой привлекательности и что во всякомъ случаё духовныя и тонкія развлеченія, какъ музыка, напримёръ, или литература, гораздо достойнёе образованнаго человёка.

Когда Ора Николаевна съ Сарой прівхали, любители и любительницы были всв на лицо. Кромв главной пьесы предполагалось поставить еще маленькую комедію или водевиль, но не знали, на чемъ остановиться. Первый актерь, поручикъ Конопля, — долговязый и худой, какъ спичка, съ жиденькими бакендардами, длинной, какъ у журавля, шеей и необыкновенно крючковатымъ носомъ, благодаря которому онъ былъ уввренъ, что у него самый римскій профиль, — занималь публику, разсказывая картавымъ голосомъ всевозможные эпизоды изъ своей сценической дъятельности.

— Представьте, — ораторствоваль онъ, стоя среди комнаты, -- какой со мною быль случай леть пять тому назадъ. Нашъ полкъ квартировалъ въ Х***. Ну, офицеры натурально были пьиняты въ лучшихъ домахъ. У губернатора затвяли спектакль, мнв пьедлагають первую роль. Пьекрасно. За день до спектакля получаю телегьамму, что мать моя умерла. Я натурально къ губернатору. Такъ и такъ, говорю, ваше пьевосходительство, увольте, не могу играть. Онъ положилъ мнъ руку на плечо. - Какъ, говоритъ, хотите, Конопля, а играть вы должны, иначе пропадеть весь спектакль. Докажите, говорить, что вы артисть въ душв и что искусство, говорить, для васъ всего дороже. Что туть дълать! Согласился, и такъ, доложу вамъ, игралъ, какъ никогда въ жизни. Сама губернатогща себъ мозоли набила, хлопая.

- Этотъ анекдотъ онъ уже двадцатый разъ разсказываетъ и двадцатый разъ вретъ,—сказалъ Коломинъ, подходя къ Саръ, сидъвшей въ сторонкъ и почти скрытой цвътами.
- А вы даже сосчитали, сколько онъ разъ солгаль, замѣтила Сара.
- Что прикажете дълать, Сара Павловна, скучно; я человъкъ, что называется, праздный и отъ нечего дълать люблю заниматься дълами ближнихъ.
 - Плодотворное занятіе.
- За то вполнъ безкорыстное, могу васъ увърить. Скажите, однако, отчего вы такъ уединились? Не желаете развъ познакомиться съ нашими культурными мастодонтами?
- Не желаю; я, въ противоположность вамъ, очень мало интересуюсь ближними и очень довольна, если они мною тоже не интересуются.
- Благодарю за урокъ и постараюсь принять къ свъдънію, хотя не объщаю исправиться,— сказалъ, смъясь, Коломинъ.
- Я и не думаю васъ исправлять, я въдь вамъ сказала, что ближніе меня не интересують, холодно отвътила Сара и, наклонивъ голову, стала разсматривать альбомъ съ какими-то видами.
- Какъ вы горды! А признайтесь, Сара Павловна, вы въдь только изъ деликатности не гоните меня отъ себя? Впрочемъ, лучше не признавайтесь, потому что я все равно не уйду. Знаете, мнъ о васъ прожужжалъ всъ уши Раздеришинъ—онъ мнъ какой-то кузенъ,—но я, гръшный человъкъ, не могъ себъ представить, чтобы въ тошнотворномъ домъ Серафимы Алексъевны...
- Послушайте, м-г Коломинъ, прервала его Сара, развъ вы не участвуете въ пьесъ? Вамъ, я думаю, надо итти считываться, смотрите, всъ ужъ ушли.

- Не извольте безпокоиться, я постарался оказаться ненужнымъ... вотъ вы прервали меня, и я забылъ, о чемъ говорилъ... да! о генеральшт и этой прокисшей Орочкт, которую вы должны охранять, хотя она вамъ годится въ бабушки.
- Ужъ если вамъ непремѣнно хочется злословить, то, пожалуйста, не о людяхъ, съ которыми я живу,— сказала Сара.
 - О, какая безпримърная добродътель!
- Совсѣмъ нѣтъ, но это слишкомъ... слишкомъ... вульгарно—осуждать и насмѣхаться за спиною у человѣка, которому черезъпять минутъ будешь съ улыбкой жать руку.
- Ну, я, положимъ, не такъ благороденъ, но, чтобы доставить вамъ удовольствіе, о вашихъ патронахъ такъ и быть ни слова не скажу.
- Однако, сказала Сара, это не совсѣмъ прилично, что мы съ вами сидимъ тутъ одни. Пойдемте въ залу слушать чтеніе.
- Полно, Сара Павловна, еще и такъ оно успъетъ надоъсть, въдь мъсяцъ, по крапней мъръ, будутъ тянуться репетиціи, а что до неприличія, то могу васъ успокоить—мнъ сама хозяйка поручила васъ занимать.
- Какая непостижимая любезность! Въдь на гувернантокъ, кажется, не принято обращать вниманіе?
- Вы особъ-статья. Очень ужъвы поражаете своимъ видомъ.

Сара вопросительно на него посмотръла.

- Вы слишкомъ хороши собой для гувернантки,— пояснилъ онъ,—и я бьюсь объ закладъ, что всѣ здѣшнія дамы ужъ успѣли васъ возненавидѣть.
- А вы, m-г Коломинъ, повидимому, не считаете нужнымъ церемониться съ гувернанткой, сказала Сара и встала.

— Сара Павловна, Бога ради, вы меня не поняли, я не хотълъ сказать вамъ что-нибудь обидное,—воскликнулъ Коломинъ.

Но она его не слушала, тихо вошла въ залу и сѣла на пустой стулъ сзади Оры Николаевны.

XX.

- Ечитка шла не особенно удачно. Дамы читали слишкомъ сладостно, нараспъвъ; мужчины безъ всякой надобности дълали свиръпыя лица, махали руками, издавали дикіе звуки... Игравшій любовника, курносый надворный совътникъ Мирошевъ, рьяный поклонникъ изящныхъ искусствъ, патетически наставлялъ Ору Николаевну.
- Въ этомъ мѣстѣ, Ора Николаевна, когда вы меня первый разъ видите послѣ разлуки, нужно выразить какъ можно больше души, чувства-съ. Въ этотъ моментъ, когда, такъ сказать, просыпаются въ васъ восноминанія старой любви—нужно судорожно этакъ ухватиться за кресло и прошептать: "Вельскій! вы здѣсь".

Для большей ясности, Мирошевъ закинулъ назадъ голову и прохрипѣлъ, какъ удавленный: "Вельскій? вы здѣсь". Картина была такъ умилительна, что всѣ расхохотались, не исключая Коломина, угрюмо сидѣвшаго въ углу.

— Послушайте, — хныкалъ горбатый сынъ хозяйки, юноша лътъ восемнадцати, успъвшій побывать въ нъсколькихъ учебныхъ заведеніяхъ, изъ которыхъ и былъ благополучно увольняемъ черезъ болѣе или менѣе продолжительный срокъ. —Послушайте, что-же мнѣ-то никакой роли не будетъ?

- Вамъ, Витинька, не выходитъ ничего. А вотъ хотите быть полезнымъ? изобразите лунную ночь, —предложила жена полкового доктора, петербургская дама съ Выборгской стороны, худенькая, маленькая, съ вздернутымъ носикомъ, круглыми глазками и черными зубами.
- Какъ-же это я могу лунную ночь изобразить, совершенно резонно изумился Витинька.
- Ахъ, очень просто, отвътила докторша, возьмите въ одну руку зажженную свъчку, въ другую круглое зеркало, да и поворачивайте зеркало въ разныя стороны такъ, чтобы свътъ падалъ на актеровъ. У насъ въ Петербургъ всегда такъ дълается на любительскихъ спектакляхъ.

Сговорчивый Витинька согласился, довольный тѣмъ, что на его долю выпала хоть какая-нибудь активная роль и что и онъ являлся такимъ образомъ не послѣдней спицей въ колесѣ.

У Сары разболѣлась голова отъ безмолвнаго глядѣнія на чужія лица, декламаторской несносной читки любителей, отрывистаго смѣха, безсвязныхъ разговоровъ, передаваемыхъ на ухо сплетенъ и пересудовъ, перелетавшихъ съ одного конца комнаты на другой. Она опустила усталую голову на руку, на ея красивомъ лицѣ ясно отпечатлѣлось выраженіе утомленія и скуки. Ея безстрастный взглядъ упалъ нечаянно на Коломина. Онъ глядѣлъ на нее, и въ его большихъ глазахъ свѣтилось столько доброты, ласки и какой-то невысказанной печальной нѣжности.

— Какое у него славное лицо, когда онъ не ломается,—подумала Сара,—неужели онъ такое-же ничтожество, какъ всѣ остальные... а впрочемъ, не все-ли мнѣ равно!..

Онъ точно понялъ ея мысли, улыбнулся ей открытой, почти дътской улыбкой и, наклонившись къ доктор-

шѣ, сталъ ее вдругъ увѣрять, что она ужасно похорошѣла. Та жеманилась, затыкала уши и пищала топенькимъ-тоненькимъ голоскомъ:

- Подите, я даже говорить съ вами не хочу...

Хозяйка предложила сдѣлать антрактъ и пригласила гостей въ столовую. Тамъ ужъ сидѣлъ Аполлонъ Егорычъ Филатовъ и съ аппетитомъ уписывалъ баранью котлетку. На восклицаніе хозяйки:—А что-же Анеиса Ивановна?—онъ сначала вытеръ губы, со всѣми поздоровался и затѣмъ уже пробасилъ:

- Совсѣмъ было собралась, да проходя мимо самовара, задѣла рукавомъ за крантъ, ну и ошпарила всю руку... этакая, подумаешь, неловкая баба, а туда-же за модой гонится!—и какънивъчемъ не бывало принялся опять за котлету.
- Въ чемъ-же тутъ мода?—со смъхомъ спросилъ Коломинъ.
- Да какъ-же, батюшка Борисъ Арсеньичъ, рукава эти каторжные въ три аршина пускаетъ, добро-бы еще молоденькая.

Всѣ засмѣялись, а обиженный Аполлонъ Егоровичъ недовольно пробурчалъ:

- И всв-то вы такія.
- Сара Павловна, вамъ чего прикажете, —вѣжливо спросила хозяйка.
 - Позвольте мий чаю.
- Борисъ Арсеньичъ, вы взялись быть моимъ помощникомъ, передайте Сарѣ Павловнѣ чаю и бисквиты.
- Съ величайшимъ удовольствіемъ, Юлія Александровна... Какая милая наша Юлія Александровна, вотъ истинно достойная женщина,—болталъ Коломинъ, ставя на маленькій столикъ передъ Сарой чашку и корзинку съ бисквитами.—И какъ это она всегда хорошо устроитъ —всѣ отдѣльно, гдѣ кто хочетъ... а еще говорятъ, про-

винція—не рай. Сара Павловна, вы вѣдь не сердитесь на меня больше, —тихо спросиль онъ заглядывая ей въ глаза.

- Какой вы странный человѣкъ, могу-ли я на васъ сердиться, когда я васъ совсѣмъ не знаю.
- Ну, а я васъ знаю. Вообразите на минуту, что я гадалка и выслушайте, что я скажу. Вы много страдали,—началь онъ торжественнымъ тономъ,—обманулись въ своихъ иллюзіяхъ, надменно отрѣшились отъ міра и стараетесь себя заморозить... вамъ это не удается, т. е. снаружи-то вы одѣли себя ледяной корочкой, но внутри жизнь бьетъ ключомъ и пробивается...
- Замолчите,—строго прервала Сара,—я не люблю, когда со мной говорять въ такомъ тонъ.
- Какъ вы поблъднъли! Значить, я угадалъ... Извольте, я замолчу; но окажите мнъ одну милость.

Она съ недоумъніемъ посмотръла на него.

— Вамъ, должно быть, очень скверно, а миъ страшно скучно,—сказалъ Коломинъ.—Глядите на меня безъ предубъжденія и позвольте миъ съ вами быть искреннимъ. Отъ васъ я, конечно, ничего подобнаго не требую... Согласны?

Она молчала.

- Молчаніе есть знакъ согласія, Сара Павловна, я такъ это и принимаю.
- А въдь я знаю, что вы теперь думаете,—сказалъ онъ, немного помолчавъ, съ чего этотъ уъздный Чайльдъ-Гарольдъ ко мнъ привязался—правда?
- Правда, только безъ эпитета, и если вы ужъ такъ проницательны, то признайтесь, что наша бесъда для второго свиданія, по меньшей мъръ, странная.
- Еще-бы не странная,—согласился Коломинъ,—но такiе-ли со мною казусы бывали. Видите, Сара Па-

вловна, какъ всъ вообще непристроившіеся люди слабохарактерный русскій человъкъ въ частности, я люблю (втихомолку, конечно) сваливать всякія неудачи и собственную несостоятельность на судьбу, среду и т. д. Когда-же совъсть начинаетъ слишкомъ надобдать, я не прочь и отъ самобичеванія; побшь себя хорошенько, раздразнишь, ну и легче на душъ, даже какъ будто гордость ощущаешь... Вотъ вътакіято минуты, когда меня одолвваетъ хандра, меня всегда тянетъ высказаться, привязаться къ чему-нибудь, взбъсить, наконецъ, кого-нибудь, лишь-бы свалить на чужія илечи бремя. Помню разъ, это было въ Петербургъ, я что-то особенно заныль. Чтобы забыться, играль напролеть цвлыя ночи, кутиль, плясаль, пиль, -- нвть, не проходитъ. Еще нъсколько такихъ дней, и я бы навърно застрълился. Вздумалъ я отправиться за назиданіемъ къ одному своему знакомому, отставному студенту, Василію Иванычу, фамиліи его никто зналъ. Замвчательный былъ человвкъ въ своемъ родв. Кончилъ три факультета, убъдился, что все на свътъсуета суетъ и вывденнаго яйца не стоитъ, улегся на диванъ и лежалъ обыкновенно до тъхъ поръ, пока хозяйка не сгоняла его съ квартиры; тогда онъ отыскиваль другую и опять укладывался. Кончиль онъ темъ, что отравился. Впрочемъ, не въ немъ дъло, и не о немъ я хотълъ разсказать вамъ. Я только шелъ къ нему. Онъ жилъ гдъ-то въ линіяхъ и мнъ пришлось перебираться черезъ Неву. Погода стояла отвратительная-холодъ, вътеръ, дождь, снъгъ... небо, воздухъ и все кругомъ сърое, точно гороховый кисель. Добрался я до узкаго, застроеннаго двора и хотвлъ ужъ подняться по темньющей лестниць въ четвертый этажь-и остановился. У самыхъ дверей стояла, сбившись въ кружокъ, кучка людей, повидимому, -- горничныя, кухарки,

дворники... Изъ центра этого кружка неслось визгливое пиликанье шарманки, звяканье какого-то металла и надтреснутый, хриплый, прерывающійся голось. Я протолкался черезъ публику и увидалъ рыжаго бородача, въ шерстяной курткъ и шарфъ, вертъвшаго шарманку, а рядомъ съ нимъ дъвочку, лътъ одиннадцати, одътую буквально въ лохмотья: короткое, ситцевое платье еле доходило ей до колънъ, оставляя на виду худыя, синія, исцарапанныя ноги, въ рваныхъ прюнелевыхъ ботинкахъ. Красными, закоченъвшими пальцами она ударяла желъзною палкой о желъзный треугольникъ, притопывала каблучками и, надувая сухое, напряженное горло, выкрикивала:

"Ты новыя лица увидишь И новыхъ друзей изберешь, Ты новыя чувства узнаешь"...

Тутъ она остановилась, или ей очень холодно стало, или она забыла, какъ дальше, только она выронила изъ рукъ палочку и поглядела кругомъ такимъ взглядомъ, что мнъ показалось, что она умираетъ. Бородачъ тряхнулъ ее за плечо и сердито проворчалъ-veux-tu chanter, coquine. Она ничего не отвътила, опустилась на землю и заплакала. Я почувствоваль, какь у меня сжалось горло, и не давая себъ отчета, что я дълаю, подошель къ шарманщику и сталь его упрашивать отдать мив дввочку хоть на время. Онъ не соглашался, я вынуль бумажникъ, -- и онъ уступилъ. Не могу вамъ нередать, съ какимъ чувствомъ я везъ къ себъ дъвочку. Въ моей головъ роились тысячи плановъ, я радовался, я быль въ экстазв и дрожаль, какъ-бы только она не простудилась, не схватила тифа, не умерла и куталь ее въ свою шубу. Она прижалась ко мнв и молчала. Дорога показалась мнв безконечной. Наконецъ, мы довхали до дому. Швейцаръ бросилъ на меня удивленный взглядъ, но мнъ было не до него. Я схватилъ на руки свою находку и помчался съ ней по лъстницъ. Жена повара вымыла дъвочку, причесала, одъла и привела ко мнъ. Я усадилъ ее въ кресло передъ каминомъ, велълъ подать ужинъ и радовался, какъребенокъ, видя, что она встъ и пьетъ. Меня только огорчало, что на всв мои вопросы она отвъчала глубокимъ молчаніемъ и только пугливо, словно пойманный зв'ьрекъ, озиралась сърыми глазками. Я усиълъ, впрочемъ, узнать, что ее зовуть Саша, что родныхъ у нея нътъ, что "хозяинъ", когда пьянъ, дерется, а лѣтомъ "ничего"-и ръшился отложить дальнъйшіе разглеоры до утра. Но утромъ Саша была еще болъе молчалива и печальна. Она была некрасива-какое-то жалкое, старческое личико, но мнъ кажется, что именно ея худоба и некрасивость привлекали меня къ ней-мив хотвлось согръть ее, защитить, осчастливить однимъ словомъ, и вмъсть съ тъмъ я даже не ръщался приласкать ее. На всв мои планы она отввчала однимъ словомъ-ла хозяинъ?" и когда я ей объяснялъ, что теперь надъ ней нътъ никакого хозяина, она недовърчиво ежилась и оглядывалась... Такъ прошло съ недълю; я ее одълъ, какъ куколку, пичкалъ конфетами, возилъ кататься; она все принимала съ видимымъ удовольствіемъ, и только, когда ей приходилось говорить со мной, становилась печальна, а когда я вздумалъ учить ее читать-расплакалась и цълый день не поднимала головы. Я ужасно терзался. Прошло еще нъсколько дней. Знакомый одинъ утащилъ меня въклубъ. Когда я возвратился домой, Саши уже не было. Она исчезла, захвативъ съ собой свои тряпки и маленькую шкатулку, изъ которой я при ней вынималъ деньги. Я чуть съ ума не сошелъ, прогналъ всю прислугу,

метался, какъ угорълый, по Петербургу и, конечно, не нашелъ моей бъглянки. Но я до сихъ поръ ее не забылъ. Какъ сейчасъ вижу ея бъдную худенькую фитурку, сидящую передъ каминомъ, слышу, какъ на всъ мои соблазнительныя объщанія, она отвъчаетъ одновручно—"а хозяинъ"?—Когда я васъ увидалъ у генеральши, мнъ вдругъ представилась моя Саша, поющая на холодномъ петербургскомъ дворъ. И самъ знаю, что въ этомъ нътъ ничего похожаго, исключая развъ, что Серафима Алексъевна съ дочерьми смахиваетъ на кухарокъ... но я не могу отдълаться отъ этого впечатлънія и вотъ вамъ le mot de l'enigme моей навязчивости... Однако, я долженъ вамъ казаться присяжнымъ разсказчикомъ.

— Странный вы человъкъ, — опять сказала Сара, но уже болъе мягкимъ и довърчивымъ голосомъ, — а еще говорили, что я слишкомъ живу нервами.

Считка кончилась поздно. Стали разъвзжаться уже въ сумеркахъ. Сарв казалось, что она носится въ какомъ-то чаду, она чувствовала себя почти больной. Двв руки бережно и заботливо накинули ей на плечи салопъ, укутали платкомъ голову.. Она ощутила сквозь шелкъ прикосновеніе пальцевъ къ своимъ волосамъ, и ей вдругъ сдвлалось какъ-то безсознательно пріятно, словно ее охватила теплая, мягкая волна.

- До свиданія, Ора Николаевна, говорилъ Коломинъ, усаживая въ возокъ генеральскую дочку.
- A bientot, Борисъ Арсеньичъ, вы непремѣнно скоро должны быть у насъ.
- Сара Павловна, до свиданія, повторилъ Коломинъ, пожимая сильной рукой тонкую руку Сары.
- До свиданія,—сказала она чуть слышно, не отвъчая на его пожатіе.

XXI.

🛱 епетиціи продолжались болѣе мѣсяца. Каждый разъ, когда приходилось вхать въ городъ, Сарой овладввало какое-то безпокойное чувство боязни и вмѣстѣ съ тѣмъ ее тянуло туда помимо воли. Мало-по-малу она начала, однако, успокоиваться, попыталась даже разобраться въ своемъ прошломъ, отнестись къ нему, такъ сказать, критически, но процессъ вышелъ слишкомъ мучительный: старыя раны глухо заныли, словно изъ нихъ засочилась свъжая кровь, а передъ глазами, какъ живые, замелькали блъдные призраки. - "Нътъ, не надо, не надо",--шептала она безпомощно въ отвътъ на свои мысли, --, буду жить просто, безъ надрываній ... а гд вто тамъ, глубоко-глубоко внутри, какъ-бы шевельнулась замершая надежда, -, какъ знать, можетъ быть, еще не все кончено"...-Въ Саръ незамътно для нея самоп сказалась какая-то неясная перемъна. Она была попрежнему сдержанна, но уже не натянуто-холодна и безучастна. Во всей ея фигуръ появилась мягкость и привътливость, придавшая новую прелесть ея чертамъ, по всему существу точно разлилась какая-то особенная нъжная грація. Эта перемвна отразилась невольно и на отношеніяхъ къ ней окружающихъ. Они стали смълъе съ ней, точно она сдълалась имъ ближе. Серафима Алексвевна, не ствсняясь, посвящала ее во всв свои тайны, опасенія и горести. Костя пересталъ "забывать" объ урокахъ и, когда она его хвалила, прижимался къ ней своей точеной головкой, ръшился даже, послъ долгаго колебанія, поднести ей картонный корабликъ своего издълія. И Ора Николаевна стала съ ней откровеннъе; онъ много говорили во время двадцати-верстнаго перевзда изъ деревни въ городъ и обратно, и въ этой мелочной, вздорной, себялюбивой барышнъ Сара съ изумленіемъ увидала еще присутствіе человъка. Такъ, въ пожелтьломъ старомъ портретъ, изъ-за слоя сора и пыли, иногда вдругъ выглянутъ живыя черты и жалобно устремятъ на васъ полинявшій нъмой взоръ...

Саръ стало какъ-то легче, точно она начала выздопослѣ долгой и тяжкой болзѣни. Въ ней появилось больше увъренности, проснулась любознательность. Она стала присматриваться къ незнакомому обществу. Въ дом'в полковницы Караваевой къ ней привыкли и высказывались при ней, какъ при своемъ человъкъ. Коломинъ встръчалъ ея появленіе радостной улыбкой. Она почти освоилась съ нимъ; сама она, впрочемъ, говорила мало, но слушала съ интересомъ и участіемъ. Отрывисто, безпорядочно, полунасмъшливо, полусерьезно разсказываль онь ей о себф, подъ шумокъ любительскихъзавываній: - учился въ Пажескомъ корпусъ... служилъ въ гвардіи... страстно влюбился въ завзжую танцовщицу, даже жениться хотвлъ... но другой, такой-же рыцарь, какъ и онъ, успълъ раньше преподнести брилліантовое колье и быль предпочтень. Потомъ опять влюбился, но уже въ великосвътскую красавицу, жену сановной особы. Особа на аристократическомъ балу пренебрежительно обощлась съ нимъ (кажется, обозвала его мальчишкой), за что туть-же получила полновъсную пощечину. Была предложена дуэль, несостоявшаяся благодаря бдительному и отечески попечительному оку начальства... взамвнъ ему было предложено развлечься путешествіемъ... Цёлые годы шатался по Европъ, осматривая картинныя галлереи, дворцы, храмы; въ Швейцаріи карабкался на горы; въ Германіи слушалъ лекціи и пиль воды, кутилъ на-пропалую въ Парижъ, въ Италіи объъдался макаронами, въ Испаніи даваль серенады подъ окнами разныхъ красавицъ, предложилъ даже руку и сердце одной черноглазой мадридской булочницѣ, и когда та, паче чаянія, согласилась, испугался и бѣжалъ въ Лондонъ, гдѣ зѣвалъ въ парламентѣ, въ клубахъ, на скачкахъ... изучалъ поперемѣнно всѣ языки и ни одного толкомъ не знаетъ.. дѣлался то артистомъ, то художникомъ, то литераторомъ... и, проснувшись въ одно прекрасное утро, увидалъ въ зеркало сѣдѣющіе волосы—и устыдился...

- И принялись за какое-нибудь дѣло,—быстро спросила Сара, слушавшая его, затаивъ дыханіе.
- Отправился добровольцемъ въ Герцеговину, Сара Павловна, —тихо, словно стыдясь, промолвилъ Коломинъ.
 - Ну и что-же?
- Ничего. Пьянство, дебошъ, грубость, наглость, сбродъ неудачниковъ, непризнаныхъ талантовъ, и все это дралось, безобразничало, бахвалилось во имя идеи... Какой бишь идеи—право не знаю, воспоминать противно... Я радъ былъ, когда въ одной схваткъ меня ранили, успокоилъ совъсть и поспъшилъ убраться.
 - Вы были ранены?

Голосъ Сары дрожалъ при этомъ вопросъ, и она невольно наклонилась къ нему.

- О, не вообразите меня героемъ, Сара Павловна, самая пустая царапина, совсъмъ не интересная.
 - Ну, а потомъ?
- Потомъ... потомъ вернулся на родину и нашелъ себя упраздненнымъ. Попробовалъ служить и не смогъ... безсмысленно, безцѣльно показалось, а можетъ, я самъ такъ облѣнился, что ни на что путное не гожусь... не берусь судить. Словомъ,—я вышелъ въ отставку, уѣ-халъ въ деревню, еt—me voilà.

- Что-же вы теперь дълаете?
- Ничего... слоняюсь.
- И вамъ не стыдно?

Онъ ничего не отвътилъ. Сара поникла головой и отвернулась.

- Вотъ вы опять нахмурились, Сара Павловна, а я такъ радовался, глядя на васъ; вы последнее время такая светлая... неужели-же васъ удручаетъ моя непригодность? Ей-Богу, напрасно! Не все-ли равно въ сущности, что однимъ праздношатающимся на Руси больше. Ну, хотите, я "возьму въ руки пистолетикъ, прострелю имъ грудь свою"?
- Къ чему это ломанье, Борисъ Арсеньичъ. И отчего это, куда ни взглянеть—вездѣ праздношатающіеся... богатые, здоровые, образованные утѣшаются красивымъ словомъ—я, молъ, лишній, упраздненный... а
 въ дѣйствительности это все та-же блаженная обломовщина, наслѣдіе добраго, стараго времени...

Она умолкла, точно сожалья, зачымь столько высказала.

— Знаете что, Сара Павловна,—порывисто заговориль Коломинь,—попытайтесь изъ меня что-нибудь сдѣлать, я безпрекословно отдамся въ ваши руки... попробуйте.—

Онъ говорилъ, повидимому, шутя, но глаза его глядъли серьезно, съ ожиданіемъ и надеждой.

- Я и изъ себя-то не съумъла ничего сдълать, проговорила она съ печальной усмъшкой.
- Зачъмъ-же такое отчаяніе? Я—другое дъло, моя пъсня спъта, но вы? Передъ вами еще все впереди, вы молоды, прекрасны, образованы—вы можете быть безконечнымъ источникомъ радости для другого...

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ... Борисъ Арсеньичъ, я у васъ прошу, какъ милости—никогда не говорите обо мнѣ... мнѣ больно.—Въ глазахъ у ней стояли крупныя слезы.

Коломинъ молча глядълъ на нее нъсколько мгновеній.

— Хорошо, не буду,—сказаль онъ,—только это бодъзнь... вы выздоровъете.

XXII.

Денеральная репетиція и спектакль должны были идти въ домѣ Коломина, какъ наиболѣе удобномъ для вмѣщенія большой публики. Домъ былъ старинный, помъстительный, построенный еще въ блаженное время кръпостного права, со всъми затъями прихотливаго барства веселой Екатерининской эпохи. Была тутъ и огромная зала съ хорами, и русская столовая съ претензіей на національный стиль, пестр'ввшая массивными серебряными ковшами и жбанами, разнообразной мозаикой, шитыми узорчатыми полотенцами, затканными парчевыми занавъсками. Дубовые столы, скамьи, всевозможныхъ формъ ръзныя стулья съ непомърновысокими спинками загораживали всв проходы. Въ уголъ угрюмо уперлась колоссальная печь, вся исписанная историческими сюжетами, лепившимися другъ къ другу, не стъсняясь хронологіей, въ трогательномъ лирическомъ безпорядкв. Рядомъ съ Мамаевымъ побоищемъ, наприъръ, Екатерина Великая, очаровательно декольтированная, въ высокой прическъ, танцовала полоневъ съ изогнувшимся въ крендель Станиславомъ Августомъ Понятовскимъ, а сейчасъ за нимъ Петръ Первый такъ гнъвно размахивалъ дубинкой на скорчившагося отъ страха вельможу въ напудренномъ па рикъ, что конецъ знаменитой дубинки непочтительно задёль за полу кафтана бёднаго потомка Пястовъ...

Были туть цёлыя анфилады комнать во вкусё всякихъ Людовиковъ съ мраморными богинями, гобеленовыми коврами, брюхатыми коммодами, бронзовыми часами и низенькими козетками, манившими къ интимной бесъдъ; глубокія ниши, казалось, еще хранили слъды поцълуевъ, которыми подъ снисходительные взоры глядввшихъ со ствнъ маркизъ и элегантныхъ пастушекъ — обмънивались украдкой россійскіе Клеанты и Доримены. Были тутъ и безконечные длинные корридоры, темныя лъстницы и дъвичьи, гдъ тъ-же россійскіе Клеанты осчастливливали своей милостью кръпостныхъ Дунекъ и Глашекъ, и не мало стоновъ и слезъкакой-нибудь краснощекой Параши видъли и слышали эти німыя стінь, когда услужливый дворецкій волокъ ее въ сумеркахъ къ барину... Все это порядкомъ поистрепалось, облиняло и износилось, представляя какъ-бы надгробный памятникъминувшаго величія. Борисъ Арсеньичъ почти не заглядывалъ на парадную половину и жилъвъ нъсколькихъ комнатахъ, въ концъ дома, убранныхъ со всвми удобствами современнаго комфорта. Онъ впрочемъ, собирался уже нъсколько лътъ реставрировать свои хоромы, но все откладывалось до болве удобнаго случая, и если-бы не лакей, напомнившій, что "баринъ изволили говорить, что на Святкахъ въ домѣ будетъ театръ и что надо-бы почистить комнаты" — онъ-бы, вѣроятно, и это отложилъ до болѣе удобнаго случая.

Борисъ Арсеньичъ пригласилъ полковницу Караваеву быть у него хозяйкой вечера, на что та съ удовольствіемъ согласилась, чувствуя себя польщенной такимъ предпочтеніемъ. Любители собрались къ Коломину очень рано, чтобы еще разъ прорепетировать на скорую руку пьесы. Дамы волновались, говоря, что все перезабыли, кавалеры ихъ утѣшали, увѣряя, что нужно только посмълъе начать, а тамъ ужъ все само пойдетъ, но сами видимо трусили и даже безстрашный "артистъ въ душъ", поручикъ Конопля, то и дъло, навъдывался въ буфетъ. Борисъ Арсеньичъ, возбужденный и весь красный, выходилъ изъ себя, умоляя актрисъ быть поестественнъе и не пищать, увъряя, что это совсъмъ некрасиво. Особенно доставалось отъ него докторшъ, игравшей въ водевилъ.

- Зачъмъ вы говорите "ахъ, мнъ дурно!" такимъ голосомъ, точно собираетесь протанцовать польку!—почти кричалъ онъ на нее.
- Да, право-же, я не знаю, отчего это такъ сегодня выходитъ, испуганно оправдывалась докторша, дома у меня такъ хорошо "дурно" выходило.

Публика стала съвзжаться. Всв билеты были разобраны. Бъдная развлеченіями провинція жадно хваталась за случай повеселиться. Первыя мъста занимались, какъ водится, beau monde'омъ. Прівхала двоюродная тетушка Бориса Арсеньевича, графиня Чернозубова, разлагающаяся, важная фрейлина, глухая, богатая и скупая до того, что, не довъряя экономкъ, собственноручно всегда зававаривала чай на два дня. Она двинулась къ своему мъсту, медленно передвигая ноги, едва кивнувъ головой подбъжавшей къ ней полковницв, и роняя на ходу носовой платокъ, перчатку, табакерку, которые тутъ же на лету подхватывала шедшая по ея пятамъ компаньонка-незначительное коричневое существо. Предсъдатель суда съ женой и пятью совершенно одинаково одътыми и одинаково некрасивыми дочерьми-пробранся къ своимъ кресламъ, съ апломбомъ кидая гордые взгляды на коношившуюся възаднихъ мъстахъ мелкую сошку. Прокуроръ, молодой человъкъ съ удивительно свъжимъ цвътомъ лица, влетълъ въ залу, лихо покручивая усы, точно говоря: и

мы туть не последняя птица. Инспекторъ врачебной управы, толстый до отдышки, какъ только усълся-засонвлъ на всю залу, чвмъ привелъ въ крайнее раздраженіе свою сухощавую супругу, даму съ острымъ носомъ и ехидными глазками, которыми она тутъ-же принялась осматривать, какъ кто одъть, и вся позеленъла отъ зависти, увидавъ въ ушахъ жены моднаго доктора брильянтовыя сережки. Явился, наконецъ, и начальникъ губерніи, представительный статскій генералъ, подъ руку съ только что выпущенной изъ Смольнаго дочерью — стройной, хорошенькой блондинкой. Сознавая, что онъ и безъ шума сила, его держалъ себя скромно, милостиво раскланиваясь направо и налѣво. Борисъ Арсеньевичъ суетился, всёхъ усаживаль, сыпаль во всё стороны комплименты и съ безпокойствомъ озирался на дверь, словно ожидая кого-то.

Когда въ дверяхъ показалась Серафима Алексвевна, въ свромъ шелковомъ платъв и черной наколкв, и рядомъ съ ней сввжее улыбающееся личико Оленьки, въ цвломъ облакв газа, лентъ и цввтовъ, — Борисъ Арсеньичъ обмеръ.

— А Сара Павловна?—спросиль онь такимъ голосомъ, что Серафима Алексвевна поглядвла на него съ недоумвніемъ и поспвшила сказать, что Сара Павловна прошла съ Орочкой прямо въ уборную.

Онъ бросился за кулисы и въ корридоръ наткнулся на Сару. На ней было черное шелковое платье, охватывавшее мягкими складками ея изящную, высокую фигуру; черное кружево мягко оттъняло нъжную шею, въ темныхъ волосахъ бълъла чайная роза. Борисъ Арсеньевичъ кръпко пожалъ ей руку.

- Какъ вы меня напугали! -- сказалъ онъ.
- Чфиъ это?

- Вижу, входять Зубковы, а васъ нътъ; мнѣ представилось что вы не прівхали, и я чуть не съвль старуху, т.-е. у меня, должно быть, быль такой видъ, потому-что она поглядъла на меня, какъ на сумасшедшаго... Но, какъ вы хороши! Боже, какъ вы хороши! Такъ и хочется упасть передъ вами ницъ. Не сердитесь... въ моихъ словахъ, право, нътъ ничего оскорбительнаго... Красота—мой культъ, и вы знаете...
- Я знаю, что вы подвергаете меня большимъ непріятностямъ,—сказала она и, взявъ изъ другой комнаты картонку, быстрыми шагами ушла въ уборную.

Съ хоровъ грянула полковая музыка, прогремѣла увертюра изъ какой-то оперы,—изъ какой именно трудно было опредѣлить, благодаря необычайному усердію трубачей и барабанщика, — взвился занавѣсъ, и началось лицедѣйство. Первыя фразы струсившихъ актеровъ потерялись въ шумѣ, чиханіи и откашливаніи усаживающейся публики, потомъ они, что называется, разыгрались.

Ора Николаевна, нарумяненная, съ подведенными глазами и благодѣтельной ватой, скрывшей ея угловатую худобу, казалась со сцены положительно хорошенькой. Ее встрѣтили апплодисментами; это ее ободрило, и она вела роль сносно, если не принимать въ счетъ неимовѣрнаго закатыванія глазъ, отчаянныхъ ломаній рукъ и минорнаго завыванія.

Но Конопля! Ужасный поручикъ Конопля! Что онъ только изъ себя сдѣлалъ! Къ щекамъ приклеилъ разноцвѣтныя бакенбарды, носъ выкрасилъ въ малиновую краску, нарисовалъ на лбу цѣлую географическую карту, словомъ, ничего не пожалѣлъ для искусства: не даромъ онъ всѣхъ увѣрялъ, что Бочаровъ—его "когонная голь". Всего лучше онъ былъ въ спенѣ воровства. Лунная ночь (Витинька жонглировалъ зеркаломъ, какъ

фокусникъ), эффекто освъщала его растрепанную фигуру, въ широкомъ пунцовомъ халатъ съ длиннъйшими, тащившимися по полу кистями. Онъ сдълалъ два впередъ, произнесъ громовымъ "стгашно" и отпрыгнуль назадь. Проскакавъ манеромъ раза три, дабы наглядно представить происходившую въ немъ внутреннюю борьбу, онъ залихватски проговорилъ "была не была" и ръшился, наконецъ, смълыми шагами подойти къ роковому шкафу, но... о ужасъ! одна изъ кистей халата зацепилась за ножку дивана, какъ бы желая удержать поручика Коноплю на стезь добродътели. Онъ рванулъ ее-"не поддается шельма"! съ неподдъльной яростью прошенталъ поручикъ и рванулъ изо всъхъ силъ злополучную кисть, но увы! безуспъшно. Витинька, увидавъ критическое положение Бочарова-Конопли, съ-испугу выронилъ свъчу, произвелъ лунное затмъніе и погрузилъ всю сцену въ мракъ. Въ публикъ послышался сдержанный смъхъ, но тутъ поручикъ доказалъ, что онъ прежде всего человъкъ военный-выхватилъ изъ кармана перочинный ножикъ, переръзалъ "пгоклятую" кисть и благополучно докончилъ сцену при громкихъ апплодисментахъ и неудержимомъ хохотв зрителей.

Водевиль прошель очень весело, и даже докторша такъ хорошо справилась со своимъ "дурно", что лучше и желать было нельзя.

По окончаніи спектакля участвовавшимъ дамамъ поднесли букеты. Ора Николаевна съ радостной улыбкой бросилась въ уборную къ Саръ и горячо благодарила ее за помощь и хлопоты.

Лакеи стали поспъшно разбирать стулья, чтобы очистить залу для танцевъ. Мелкая публика разъвхалась, осталась одна аристократія, знакомая между собой и тотчасъ разбилась на группы. Ора Николаевна, пере-

мънившая траурный костюмъ послъдняго акта на бальное платье, отдъланное сиреневыми вътками, вся еще сіяющая и торжествующая, вошла съ Сарой въ залу и съла возлъ матери, скромно выслушивая комплименты. Особенно разсыпался полковникъ Раздеришинъ. Ора Николаевна поглядъла на него и самодовольно улыбнулась: ей показалось, что онъ кается въ измънъ. Начальникъ губерніи разговаривалъ съ Коломинымъ, предоставивъ дочь попеченіямъ графини Чернозубовой.

- Скажите, mon cher Борисъ Арсеньичъ,—кто эта дама или дъвушка, въ черномъ платьъ?
 - Какая?—какъ бы недоумъвая, спросилъ Коломинъ.
- Вонъ та, что сидитъ возлѣ генеральши Зубковой. Да полно вамъ притворяться, такую красавицу вы бы и въ Петербургѣ замѣтили—не то что здѣсь.
- Ахъ, эта! это—гувернатка дочерей генеральши, ваше превосходительство.

Его превосходительство оттопыриль нижнюю губу.

- Дура же эта Зубкова! вывозить такую... такое чудное созданіе рядомъ съ своими уродинами.
- Что вы, ваше превосходительство, младшая очень недурна!
- Недурна! презрительно воскликнулъ генералъ, fi, mon cher, я васъ не узнаю, провинція испортила вамъ вкусъ. Въдь это горничная-дъвка, красныя щеки, курносая, tout се qu'il y a de plus vulgaire, а та—настоящій chef d'oeuvre.

Онъ ловко вскинулъ на носъ pince-nez.

— Какое гордое, печальное лицо! Она, не русская? Она, ваше превосходительство, дочь французской актрисы и испанскаго гранда, съ явной насмъшкой отръзалъ Коломинъ, взбъшенный безцеремонностью, съ какой генералъ разсматривалъ Сару.

- Oh, oh! vous-vous fâchez, признайтесь, вы ужъ дълали ей un petit brin de cour.
 - Я ее очень уважаю, ваше превосходительство.

Генералъ засмъялся.

- Contez cela à d'autres, mon cher. А вотъ что, въдь эта Зубкова совсъмъ, говорятъ, нищая; я думаю за двъсти-триста рублей лишнихъ можно сманить эту красавицу, —дочери моей кстати нужна dame de compagnie. Какъ вы полагаете?
- Попробуйте, холодно отвътилъ Коломинъ и отошелъ отъ него.

Музыка загремъла вальсъ; по паркету понеслись пары. Ора Николаевна мчалась въ объятіяхъ прокурора, томно склонивъ головку къ его плечу; Оленька кружилась съ Раздеришинымъ, Борисъ Арсеньичъ сдълалъ туръ съ губернаторской дочкой и, посадивъ ее, подошелъ къ Саръ.

- Сара Павловна, подарите мнв одинъ туръ.
- Я не танцую, Борисъ Арсеньичъ.
- Въ такомъ случав и я не танцую, —когда мои гости сидятъ, я не могу танцовать.
- Съ чего вы взяли, что я ваша гостья? сказала она, сверкая глазами. Я здъсь только какъ гувернантка дъвицъ Зубковыхъ. Я не хочу вашего вниманія, слышите, не хочу, оно меня возмущаетъ.

Коломинъ не отвъчалъ. Онъ сидълъ блъдный, пораженный, нервно барабаня пальцами по спинкъ стула.

— Будь по вашему, Сара Павловна, — сказаль онъ наконецъ, натянуто улыбаясь побълъвшими губами и поклонившись ей съ преувеличенной въжливостью, всталъ, чтобы уйти. Но въ эту минуту къ нимъ подлетъла Оленька, вся запыхавшаяся, и схватила Сару за объ руки.

- Сара Павловна, душечка, ангельчикъ, мнѣ нужно вамъ сказать очень, очень важную вещь. Борисъ Арсеньичъ, миленькій, сведите насъ въ какую-нибудь отдѣльную комнату,— говорила она умоляющимъ голосомъ.
- О, должно быть, секреть очень важный, если даже я сталь "миленькимь",—сказаль, засмъявшись, Коломинь,—ну, пойдемте, барышня, пойдемте.

Онъ отвелъ ихъ къ себѣ въ кабинетъ и ушелъ. Лишь только за нимъ затворилась дверь, Оленька бросилась на шею Сарѣ.

- Николай Иванычъ... Николай Иванычъ... сдѣлалъ мнѣ предложеніе,—выговорила она и залилась слезами.
 - Неужели!... что-жъ вы ему сказали?
 - Сказала, чтобы онъ поговорилъ съ мамой.
- Ho, Оленька, онъ вѣдь, по крайней мѣрѣ, лѣтъ на двадцать старше васъ.
- Я его люблю, Сара Павловна,—прошентала Оленька, скрывъ свою головку на плечѣ гувернантки.

"Бѣдная Ора"—подумала Сара. Она поглядѣла на Оленьку и не узнала ее. Орошенное слезами поблѣднѣв-шее личико точно осмыслилось, незначительныя, расплывчатыя черты, преображенныя лучомъ счастья, какъ-то трогательно свѣтились.—"Вотъ она настоящая любовь, любовь простого немудрствующаго существа!" промелькнуло у нея въ головѣ, и она стала нѣжно цѣловать невѣсту. Та развеселилась, разсказала Сарѣ всѣ подробности своего романа, выражала опасенія, что мать не согласится ее отдать раньше Оры, говорила о своей будущей обстановкѣ и наконецъ воскликнула:

— Ахъ, Сара Павловна, я непремънно, непремънно хочу, чтобы у Николая Иваныча былъ такой кабинетъ, какъ этотъ. Посмотрите, что за прелесть:

Кабинеть быль дёйствительно хорошъ. Длинная комната изъ темнаго дуба съ украшенными артистической ръзьбой стънами, ръзко отдълявшимися отъ бълаго потолка, производила нъсколько мрачное впечатлъніе. Надъ гигантскимъ каминомъ возносились до самаго потолка двъ художественно выръзанныя изъ дерева фигуры смъющихся сатировъ. Тяжелые бронзовые часы съ изображениемъ какой-то минологической группы отражались въ узкомъ зеркалъ камина. Мягкая мебель, крытая темнымъ шагренемъ, турецкія кушетки, низенькіе табуреты, столики, украшенные альбомами, въ углахъ статуи и мраморные бюсты... Средину кабинета занималь огромный письменный столь, заваленный цёлой массой objets d'art. Длинный, трехъ-этажный шкафъ съ выдвижными стеклянными рамами весь быль наполнень разнаго формата книгами.

— Смотрите, Сара Павловна, все иностранныя, — говорила Оленька, — а вотъ и русскія: Бутлеровъ, Сѣченовъ, Костомаровъ, никогда и не слыхала про такихъ, а вотъ и знакомыя: Тургеневъ, Гончаровъ, Достоевскій. Да что-же вы не смотрите? Можетъ, онъ дастъ почитать.

Она быстро обернулась и увидавъ, что Сара смотритъ на какой-то большой портретъ, подбъжала къ ней.

— Батюшки, да это Борисъ Арсеньичъ,—вскрикнула она,—какой-же онъ былъ красавецъ!

Портретъ изображалъ прекрасную голову юноши, лѣтъ двадцати двухъ. Темные, кудрявые волосы падали на благородный, гладкій лобъ; большіе задумчивые глаза сосредоточенно глядѣли вдаль; рѣзко очерченный красивый ротъ былъ плотно сжатъ.

- Какъ хорошъ, правда, Сара Павловна?
- Правда, Оленька.
- А это кто, Сара Павловна? фи, какой страшный! говорила Оленька, перескочивъ къ другому столику.

— Это — Іоаннъ Грозный, Антокольскаго, — сказала Сара, внимательно разсматривая бронзовую статуэтку. Однако, пойдемте, Оленька, мы и такъ тутъ засидълись. Онъ вышли.

Въ дверяхъ Сара обернулась и еще разъ пристально посмотръла на портретъ Коломина.

ххш.

Ора Николаевна проснулась поздно. Въ головъ ея еще носился туманъ отъ проведеннаго вечера, такъ ръзко выдълившагося изъ длиннаго монотоннаго ряда вечеровъ ея однообразной жизни. Еще нъжась въ кровати, она начала припоминать всв происшедшія наканунъ мелочи; воспоминанія эти были такъ пріятны, что она нарочно закрыла глаза, чтобы воспроизвести въ воображении улетающія, какъ грезы, детали. Наконецъ она ръшилась встать и начала одъваться. Подойдя къ зеркалу, Ора Николаевна нахмурилась: измученная безсонными ночами и постоянными повздками, она очень похудъла. Лицо ея вытянулось, облупилось, пожелтвло и глядвло какъ-то особенно старообразно. Она умылась холодной водой, намазала все лицо кольдъкремомъ и, обсыпавъ пудрой, осторожно вытерла; потомъ зажгла свъчу и накаливъ на ней шпильку, слегка подвела глаза и брови... стало какъ будто лучше, но все-таки не хорошо. Въ столовой она застала ужъ всъхъ за завтракомъ. Оленька, въ пестрой ситцевой блузъ, свъжая, какъ розанъ, хлебала молоко прямо изъ кувшина, мать съ какой-то грустной нежностью смотрела на нее. Съ приходомъ Оры Николаевны онъ объточно замялись. Общій разговоръ словно оборвался. Сара пожаловалась на мигрень и ушла, уведя съ собой Костю.

- Что это, какія вы сегодня всѣ кислыя,—спросила Ора Николаевна,—неужели не выспались?
- Нѣтъ, ничего, Орочка, мы ничего...—заикаясь, проговорила Серафима Алексѣевна,—а вотъ ты немножко блѣдна, ты здорова-ли милая?

Ора Николаевна подозрительно взглянула на нее.

- Вы что-то скрываете отъ меня, maman, скажите прямо, что случилось?
- Да право-же ничего, Орочка, что мнѣ скрывать. Я сама даже желала съ тобой посовътоваться, ты въдь у меня самая умная, потомъ все-таки старшая... все больше и больше мямлила несчастная Серафима Алексъевна.
- Да скажете-ли вы наконецъ толкомъ, въ чемъ дъло?...—закричала, выходя изъ себя, Ора Николаевна. Обокрали васъ, что-ли...
- Раздеришинъ сдълалъ предложение Оленькъ, скороговоркой досказала Серафима Алексъевна и пересъла на диванъ.

Въ глазахъ Оры Николаевны все на мгновеніе закружилось, замелькало и заплясало; ей показалось, что она падаетъ; она ухватилась своими похолодъвшими пальцами за край стола, сдълала надъ собой страшное усиліе—и очнулась.

- Что-жъ тутъ особеннаго?—вымолвила она, силясь вызвать улыбку на свои посинвышія губы,—этого слвдовало ожидать...
 - А какъ-же ты-то, Орочка...-начала мать.
 - Что я?...
- Да какъ-же, Орочка, въдь ты все-таки старше, совсъмъ глупо докончила генеральша.
- Я вамъ сто разъ говорила, maman, что не намърена выходить замужъ, — сдавленнымъ голосомъ зая-

вила Ора Николаевна, съ ненавистью глядя на непонимавшую ея мученій мать. Оленька, — обратилась она къ сестръ,—что-же, поздравить тебя?

Оленька однимъ прыжкомъ очутилась у ея колънъ и кръпко обвила ее руками за талію.

- Ора, ты въдь не сердишься на меня? спросила она пискливымъ голоскомъ готоваго расплакаться ребенка.
- Ты совсѣмъ дура, Ольга, отвѣтила Ора Николаевна и обняла ее.

Объ сестры заплакали. Серафима Алексъевна не замедлила къ нимъ присоединиться, крестясь подъ своей шалью, что все обошлось благополучно.

Наконецъ бъдной Оръ Николаевнъ удалось вырваться въ свою комнату. Она бросилась на кровать, измученная, разбитая, уничтоженная, безъ мысли въ головъ и лежала такъ долго... безсмысленно обводя мутными глазами стъны. Все тъ-же занавъски съ птичками, тотъ же розовый кисейный туалетъ съ чинно разставленными коробочками и невинными сувенирами, тъ-же обои съ цвъточками... Но, Боже, какъ все это одиноко, холодно, безпріютно! И такъ—навсегда, на-въки, до гробовой доски... безъ ласки... безъ участія...

Она уткнула голову въ подушки и зарыдала.

Новость быстро облетъла весь домъ и дошла до дъвичьей.

- Полковникъ-то младшую барышню посваталъ, —до-ложила горничная Дуняша прачкъ.
 - Ой-ли?

Ей-Богу, своими ушами слышала, какъ Ольга Николаевна старой барынъ разсказывала. Вчера на балу, вишь-ты, за танцами, у нихъ объяснение вышло.

— То-то, чай, Орка обозлится!

- Ништо ей, змъъ подколодной...
- Охъ, дъвушка, намъ-то что съ ихней свадьбы, филосовски замътила прачка, —и такъ работы не оберешься, а теперь, гляди, совсъмъ изъ корыта не вылъзешь.
- И то правда,—согласилась Дуняша, однѣхъ этихъ чортовыхъ юбокъ сколько,—гладишь, гладишь, инда вся спинушка изноетъ. Давай, тетка, утюгъ-отъ... чтобъ имъ ни дна, ни покрышки.

Она поплевала на утюгъ, ударила по немъ пальцами и стала гладить, затянувъ пискливымъ голосомъ:

Не е-е-сча-а-стная взра-ди-илась, Не-е-е-сча-а-стная взра-сла, Въ из мън-щи-и-ка влю-би-и-лась Въ тиран-на мо-лод-ца-а. Зачъмъ тиранъ тирани-ишь?

- Какія вы все чудесныя пъсни поете, Дунечка, любезно сказалъ вошедшій поваръ.
- Чай, мы не какія-нибудь, гордо отвѣтила горничная.
- Сейчасъ полковникъ прівхалъ, произнесъ онъ таинственно, сказывають Ольгу Николаевну сватать.
 - Ужъ мы про то давно извъстны.
 - Ишь вы скрытныя какія!
- Не люблю я про господскія дѣла зря болтать,— процѣдила сквозь зубы Дуняша и, размахивая по доскѣ утюгомъ, опять меланхолически завыла:

Все по етому случаю Я не тить, не пью я чаю И я оченно скучаю Все по етому случа-а-ю...

- А старшей-то барышнь, чай, не понравится этоть соусь,—вставиль опять замьчание поварь.
- А пущай ее давится,—гуманно разрѣшила Дуняша, но въ эту минуту сильный звонокъ заставилъ ее взвизгнуть, и она опрометью бросилась въ комнаты.

Ора Николаевна слышала, какъ прівхаль Раздеришинъ, какъ онъ прошелъ къ матери въ гостинную, какъ Серафима Алексвевна громко приказала позвать туда Оленьку...

— По крайней мъръ я не буду смъшною, — сказала она вслухъ и, схвативъ щетку, сорвада съ головы банты и стала съ лихорадочной быстротой расчесывать свои взбитые волосы; причесала ихъ совершенно гладко, не много на лобъ, заплела косу и скромно уложила ее вокругъ головы; вынула изъ шкафа темное, сърое платье, пристегнула къ нему полотняный откладной воротничекъ и рукавчики—и торопливо стала одъваться. Одъвшись, она подошла къ туалету; зеркало отразило некрасивую, но приличную особу, пожилыхъ лътъ.

Ора Николаевна съ горькой усмѣшкой поклонилась своему новому образу, прошептавъ — "такъ-то лучше! здравствуй, старая дѣва!"

Она явилась въ гостинную, совершенно спокойная и равнодушная, любезно поздравила полковника и поцъловала еще разъ сестру. Костюмъ ея поразилъ Серафиму Алексъевну.

- Что это, Орочка, какой ты старухой вырядилась!— сказала она со своимъ обычнымъ тактомъ.
- Что-жъ, татап, мы и въ самомъ дѣлѣ съ вами старухи. Вотъ повѣнчаемъ Оленьку, да и начнемъ раскладывать вдвоемъ пассьянсы—проговорила Ора Николаевна съ улыбкой и, словно опасаясь возраженій, отошла быстрыми шагами къ Сарѣ.

Сара поняла, чего стоило ей это самообладаніе; она поняла, что простенькая прическа и гладкое платье здѣсь не обыкновенная случайность, а формальное отреченіе отъ молодости, признаніе себя побѣжденной—и впервые шевельнулось въ ней что-то въ родѣ уваженія къ Орѣ Николаевнѣ.

Полковникъ, между тѣмъ, шутилъ съ невѣстой и, не выпуская изъ своихъ рукъ ея пухленькихъ ручекъ, поминутно цѣловалъ ихъ.

Оленька, упоенная, но совершенно растерявшаяся, конфузилась, краснѣла и тяжело молчала. Серафима Алексѣевна, какъ женщина опытная, смекнула, въ чемъ дѣло, поднялась съ своего мѣста и, выйдя въ другую комнату, позвала Сару и Ору Николаевну.

— Пусть ихъ побудуть вдвоемъ,—сказала она съ блаженнымъ видомъ, потомъ обратилась къ образу, положила земной поклонъ и, благоговъйно крестясь, зашептала:—Господи, благослови и помилуй...

Послѣ долгихъ разсчетовъ рѣшено было объявить о помолвкѣ Оленьки черезъ мѣсяцъ, въ день ея рожденія, приходившееся на второе февраля.

XXIV.

Маступило, наконець, и второе февраля. Погода была чудная: стояль морозный зимній день. Снѣгъ блестѣль и искрился на солнцѣ; опушенныя бѣлымъ пухомъ деревья, казалось, замерли въ своей яркой серебристой одеждѣ. На окнахъ цѣлою сѣтью легли причудливые, фантастическіе, тонкіе, какъ кружево, узоры. Золотисто-сѣрый паръ тянулся ломанными волнами изъ закоптѣлыхъ деревенскихъ трубъ къ чистому, холодному небу... Въ дубковскомъ домѣ съ самаго утра под-

нялась та неугомонная бъготня и суматоха, безъ которой обыкновенно не обходится на одно торжественное событіе. Серафима Алексвевна, вся красная, собственной особой царила въ кухнъ, воспроизводя по завъщанному еще отъ бабушки реценту какіе-то удивительные пирожки. Кучеръ и скотникъ, обращенные въ полотеровъ, выкидывали антраша, которыя-бы сдълали честь не только завзятому танцору, но любому акробату, и благодаря ихъ усиліямъ полъ заблествль такъ, что на него не только ступить, даже взглянуть было страшно. Дуняша, подобно вихрю, носилась по комнатамъ съ цълымъ ворохомъ крахмальныхъ юбокъ... Словомъ, всв были въ томъ наэлектризованномъ состояніи, когда руки сами чешутся что-нибудь ділать, когда даже самому хладнокровному человъку становится совъстно за свое хладнокровіе, и онъ стремится приткнуть къ чему-нибудь свою неумълую особу, но увы, вмъсто благодарности, встръчаетъ лишь недовольное ворчаніе оффиціальныхъ заправилъ: ужъ сидъли-бы тихо, только мъщаете.

Гости начали съвзжаться къ вечеру. Николай Иванычь привезъ невъстъ роскошныя серьги—два огромныхъ брилліанта и собственноручно вдълъ ихъ въ пылающія маленькія ушки. Оленька сіяла отъ восторга; она не сводила своихъ блаженныхъ, полныхъ покорнаго обожанія, глазъ съ румянаго лица Николая Иваныча и только вспыхивала, чувствуя на своей щекъ безцеремонную близость его жесткихъ усовъ. Ора Николаевна, въ черномъ платьъ, застегнутомъ у ворота матовой золотой брошкой, степенно занимала гостей, стараясь всъми силами изобразить, какъ можно естественнъе, довольную старшую сестру. Но, встрътивъ исковерканную жаднымъ любопытствомъ физіономію какой-нибудь во всъхъ отношеніяхъ пріятной дамы, она

терялась, на лицѣ ея загорались пятна, и ей страстно хотѣлось убѣжать, спрятаться, какъ можно дальше отъ этихъ людей, глядѣвшихъ на нее не то съ затаенной насмѣшкой, не то съ торжествомъ.

Прівхалъ Коломинъ и, поклонившись издали Сарв (послв спектакля онъ замвтно избвгалъ ея), свлъ возлв Оры Николаевны. Онъ замвтилъ происшедшую въ ней перемвну, и должно быть, ему стало ее жаль, потому что онъ заговорилъ съ ней искреннимъ дружескимъ тономъ,—посмвялся слегка надъ важностью событія, замвтилъ, что по его наблюденіямъ у жениховъ и неввстъ всегда немножко глупыя лица, даже когда они въ сущности очень умные люди, что даже ласки ихъ какъ-то приторно-вульгарны, благодаря пошловато-снисходительному контролю окружающихъ, и признался, что онъ, съ своей стороны, предпочитаетъ "Schattenküsse, Schattenliebe", какъ у Гейне.

- Право, въ нихъ гораздо больше поэзіи—заключиль онъ.
- Ну, васъ, явижу, такь-же трудно будетъ женить, какъ меня выдать замужъ,—сказала, усмъхаясь, Ора Николаевна.
- Повсей въроятности, согласился онъ, авось мы оба отъ этого немного потеряемъ.

Сара, еще утромъ изъявившая желаніе замѣпить тапера, чѣмъ привела въ неописанный восторгъ генеральшу, сѣла къ рояли и заиграла вальсъ, потомъ кадриль и польку. Танцующіе кружились, смѣялись, отдыли и снова начинали кружиться.

- Что это вамъ вздумалось жертвовать собой?—спросилъ Коломинъ, останавливаясь передъ Сарой.
 - Въ чемъ-же вы видите жертву?
- Отколачивать себъ руки для этихъ антиковъ! По-ложительно не понимаю...

Сара сдълала видъ, что не слышитъ, и продолжала играть.

— Сара Павловна, я не хочу, чтобы вы для нихъ играли,—встаньте, я васъ замѣню.

Она хотѣла отвѣтить рѣзко, но, всмотрѣвшись въ его осунувшееся, постарѣвшее лицо, въ его тоскливый, тревожный взоръ, сказала только:

- Теперь нельзя, послъ.

Появленіе Аполлона Егоровича прервало танцы. Анениса Ивановна была при немъ и на этотъ разъ въсвоемъ костюмъ не обнаружила ни малъйшаго поползновенія на моду, до того все на ней было допотопно. Всъ обступили прибывшую чету. Хозяйка попеняла, зачъмъ они поздно пріъхали.

- Не виновать, матушка, не виновать, все купцы эти оголтълые задерживали,—говориль своимъ густымъ басомъ Аполлонъ Егоровичъ. Вчера только вернулся, изъ Погорълецъ. За то доложу вамъ того насмотрълся, что въкъ не забуду.
 - Что такое?!
- А вотъ послушайте, разскажу. Въ... въ... чортъ его знаетъ, забылъ названіе, словомъ.—недалеко отъ Погорълецъ, въ большомъ мъстечкъ было повальное избіеніе жидовъ.
 - Что вы?!...
- Ей-ей! Самъ туда ѣздилъ смотрѣть, какъ ихъ, подлецовъ, жарили... страсть! на улицахъ проходу не было отъ пуху, жидовки вѣдь самыя бѣдныя—и тѣ на перинахъ спятъ, ну, и повытрясли имъ перинки-то...

Между гостями послышались смѣхъ и отрывистыя замѣчанія: "такъ и надо"... "противный народъ", "раз-

бойникъ", "душу готовы за грошъ вымотать", "нахалы"... "всюду наровятъ пролъзть", "никакого благородства"... "ничего святаго"...

- Нѣтъ, вы только послушайте, —прерывалъ, воодушевляясь, Аполлонъ Егорычъ, — что за народецъ? F гда стали ихъ дуть, ну натурально, жидки перетрусили, подняли вой, гвалтъ: ай вай, грабятъ, рѣжутъ... Одинъ, похрабрѣе, бросился за солдатами, а наши-то не будь глупы, хвать его, бестію, за пейсики и ну катать: не ори молъ. Жидовки со своими щенятами на чердаки попрятались, а ребята наши ихъ оттуда галантерейнымъ этакимъ манеромъ повытаскали, да и того, по юбочкамъ...
- Фи, фи, Аполлонъ Егорычъ, безсовъстный, противный; какъ вы смъете такія вещи разсказывать! запротестовали дамы.
- Ну, сударыни, извините, изъ пѣсни слова не выкинешь,—сказалъ, захохотавъ во все горло, Аполлонъ Егорычъ.—Только вотъ явились казаки,—продолжалъ онъ,—да ничего не подѣлали, помахиваютъ себѣ для виду нагайками, да пересмѣиваются. И что же эти окаянные жидки выдумали' видятъ что дѣло плохо, капутъ приходитъ, взяли да и выставили въ окнахъ иконы! Каково?! Ну, не мошенники-ли?:...
- Ужасъ, какіе лицемъры! возмутилась одна изъ дамъ, блъдное эеирное существо. Но хуже, по моему, всего это образованные жиды... Что они только о себъ воображаютъ! Вотъ, напримъръ, у насъ въ полку докторъ...

Негодованіе дамы было прервано внезапнымъ шумомъ. Сара, сидъвшая до тъхъ поръ неподвижно у рояля, вдругъ порывисто поднялась съ своего мъста, опрокинувъ табуретъ съ нотами и, подойдя къ собравшимся

въ кружокъ гостямъ, остановилась противъ Аполлона Егорыча, готовившагося съ самымъ благодушнымъ видомъ преподнести обществу еще одну подробность. Всѣ взгляды невольно обратились на гувернантку. Коломинъ подбѣжалъ къ ней, но она отстранила его жестомъ. Лицо ея было мертвенно-блѣдно, широко раскрытые глаза горѣли зловѣщимъ блескомъ, какъ у сумасшедшей, тонкія ноздри нервно вздрагивали.

— Что же вы не продолжаете,—сказала она какимъто чужимъ звенящимъ голосомъ, съ странной улыбкой на искривленныхъ губахъ,—это такъ интересно... изувъчены въдь не живые люди, а какіе-то грязные жидки съ пейсиками, въ смѣшныхъ лайбсардакахъ... Вы не стѣсняйтесь подробностями, ваши мягкосердечныя дамы не упадутъ въ обморокъ... другое дѣло, если бы завизжала раздавленная болонка, а то... барахтались и кричали отъ боли и испуга еврейскія дѣти... рагдоп, жидовскіе щенки... Даже иконы въ окнахъ выставили, чтобы провести добрыхъ, честныхъ людей... Ужасно!... А васъ, сударыня, больше всего, кажется, волнуютъ образованные жиды!... Поглядите же хорошенько на меня, я вѣдь тоже образованная жидовка...

Она захохотала злымъ, надтреснутымъ смѣхомъ.

- Вотъ оно что!—промолвилъ шопотомъ Аполлонъ Егорычъ.
- Сара Павловна, прошу васъ, успокойтесь,—проговорила чуть не со слезами Серафима Алексѣевна.—Ужъ этотъ мнъ Аполлонъ Егорычъ, въчно, что-нибудь нагородитъ!
- Сара Павловна,—воскликнула Ора Николаевна,—вы знаете, что мы васъ никогда не смъшивали съ массой, а считали за свою.
- Мы не виноваты, мы не знали, что вы... сконфуженно, не доканчивая, бормотали гости.

— Конечно, Сара Павловна, виноваты вы, вольно-же вамъ было принимать насъ за порядочныхъ людей! иронически произнесъ Коломинъ.

Но Сара ужъ ихъ не слушала. Шатаясь и придерживаясь за мебель, она выскользнула изъ комнаты и, добравшись до спальной Серафимы Алексвевны, въ изнеможеніи опустилась на диванъ. Въ вискахъ у ней стучало, она чувствовала во всемъ тълв какую-то жгучую дрожь, изъ ея полуоткрытыхъ запекшихся губъ вылетало нервное быстрое дыханіе. Она радабыла, что убъжала, что никто ее не видитъ больше... Въ комнатъ было темно, только одинъ уголъ освъщался блъдными лучами луны да у образа трепетно мерцала лампадка.

Коломинъ, все время не спускавшій глазъ съ Сары, неслышно пошель за ней. Онъ остановился у дверей и нѣсколько минутъ молча смотрѣлъ на ея согнувшуюся на диванѣ фигуру. Видя, что она судорожно ухватилась за сердце, онъ рѣшился подойти къ ней и осторожно взялъ ее за руку:

- Успокойтесь,—сказаль онь ласковымь голосомь, не огорчайтесь такь, право-же они этого не стоять... Она обратила къ нему искаженное гнъвомъ лицо.
- Вы слышали,—зашентала она дрожащими губами, слышали... Это люди радуются, что душать другихъ людей...
 - Не въдають, что творять.
- Не вѣдаютъ! Какіе невинные младенцы! Впрочемъ, что жъ я! и вы въ душѣ, можетъ быть, ликуете, да неловко показать это передъ жидовочкой... особенно, когда жидовочка похожа на испанскую картинку.
- Послушайте, Сара Павловна, вы меня слишкомъ оскорбляете!—вскрикнулъ Коломинъ,—я могу быть волокитой, пустымъ бездъльникомъ, чъмъ угодно, но вы не имъете права считать меня злобнымъ идіотомъ.

Она опомнилась и протянула къ нему руки.

— Не сердитесь, Борисъ Арсеньнчъ, я не знаю, что со мною... мнъ такъ тяжело, такъ больно... Я върю, что вы не такой... — проговорила она, заливаясь слезами.

Онъ схватилъ ея протянутыя руки и жадно прильнулъ къ нимъ горячими губами.

— Славная вы моя... чистая, не гоните меня, върьте, нътъ въ міръ вещи, которой я бы для васъ не сдълалъ...—сказалъ онъ съ жаромъ.

Она въ испугъ отодвинулась отъ него.

- Зачъмъ, зачъмъ вы отодвигаетесь отъ меня? Неужели я вамъ такъ противенъ...
- Борисъ Арсеньичъ, медленно произнесла совершенно пришедшая въ себя Сара, — прекратимъ этотъ разговоръ, мы съ вами не дъти. Я ничего не могу дать вамъ взамънъ... взамънъ вашей преданности.
- Я ничего и не прошу у васъ, Сара Павловна, печально отвътилъ Коломинъ, только терпите меня— ну... хоть какъ стараго дядю; будьте покойны, я васъ слишкомъ уважаю и ничъмъ не скомпрометтирую. О чемъ же вы плачете?
- Не знаю сама,— сказала она, вытирая платкомъ струившіяся по лицу слезы, я такъ привыкла быть одна. Мнѣ кажется дикимъ даже то, что я съ вами говорю откровенно, а за то, что я изливалась передъ ними, я бы готова себя прибить...

Въ комнату вопіла Серафима Алексвевна съ Оленькой.

- Душечка, не сердитесь на насъ,—сказала Оленька, цълуя Сару.
- Я не сержусь, но хочу попросить Серафиму Алексвену отпустить меня,—послв сегодняшняго казуса намъ будетъ неловко...

- Вотъ еще что выдумали! сердито возразила Серафима Алексъевна, такъ я васъ и отпущу передъ Оленькиной свадьбой. И нашли на кого обращать вниманіе на Аполлона Егорыча! Онъ для краснаго словца отца съ матерью не пожалѣетъ, а мы, кажется, никогда не давали вамъ повода...
- Да что тутъ толковать, мама, я не отпущу Сару Павловну и конецъ, веревкой привяжу—гаявила Оленька и, бросившись на шею Саръ, стала ее душить поцълуями, повторяя:
 - Милочка, засмѣйтесь, прошу васъ... Коломинъ поспѣшилъ незамѣтно скрыться.

XXV.

Въ воздухъ высоко закружились жаворонки; на крышахъ зачирикали воробьи; вся степь зазеленъла и заколыхалась волнами ковыля, въ которыхъ, словно разнецвътныя бусы, мелькали синіе колокольчики, мальва, бълая ромашка, желтые одуванчики, дикій макъ... Деревья совсъмъ одълись, и лишь кое-гдъ на липахъ попадались еще толстыя набухшія почки Пахло сырой землей, полынью и донникомъ; аромать сирени, ландышей и какой-то особенной влажной весенней свъжести проникалъ въ грудь ъдкой и сладкой струей. По небу плыли и таяли золотыя тучки. Проснулась и засинъла въ своихъ берегахъ Волга. Все ожило, зашумъло, заплясало, запъло и зашевелилось...

Дубковскій домъ точно заразился общимъ оживленіемъ и принялъ новый помолодъвшій видъ. Изъраскрытыхъ настежъ оконъ лилась музыка, слышались пъніе и звонкіе взрывы смъха. Террасса обтянулась

полотномъ, уставилась цевтами, мебелью и смотрвла совсемъ жилой комнатой-туть валялась книга, тамъ рабочая корзинка, въ другомъ мъстъ забытый чулокъ съ выпавшей спицей. Темные зимніе цвъта уступили мъсто свътлымъ и яркимъ. Серафима Алексъевна расхаживала въ батистовомъ капотъ, Ора Николаевна и Оленька утопали въ воздушныхъ оборкахъ и даже Сара смѣнила свое вѣчное черное платье на бѣлое. Эти три мѣсяца промелькнули для нея, какъ сонъ. Она сама не могла сказать, хорошо-ли ей было, и если хорошо, то почему. Но одно она испытывала всъмъ своимъ существомъ-облегчение, которое дается высказаннымъ, раздъленнымъ страданіемъ. Знаменательный вечеръ Оленькиной помолвки, помимо ея воли, сблизилъ ее съ Коломинымъ. Она тогда же почувствовала, что въ этомъ облънившемся, избалованномъ баринъ — не замерло еще все живое и жадно ухватилась за его дружбу, не думая, не разсуждая, что будеть дальше. Бывають минуты, когда переполненное горечью и болью сердце ищеть, во что бы то ни стало, выхода изъ напряженнаго состоянія-и въ такія минуты сдержанный человъкъ раскрываетъ свои завътныя мысли пустому болтуну, порядочная женщина бросается, очертя голову, въ объятія пошлаго селадона, трезвый начинаетъ пить запоемъ...

Борисъ Арсеньичъ съумѣлъ сдѣлаться необходимымъ человѣкомъ у Зубковыхъ. Онъ игралъ въ карты съ Серафимой Алексѣевной, давалъ уроки англійскаго языка Орѣ Николаевнѣ, предоставилъ въ распоряженіе полковника, съ которымъ состоялъ въ родствѣ, свои конюшни и оранжереи. Съ Сарой онъ былъ, повидимому, дружески-вѣжливъ,—и только. Но она чувствовала, что все это дѣлается для нея, чтобы быть ближе къ ней, что ни одно ея движеніе не ускользаетъ отъ вниматель-

наго, незамътно слъдящаго за ней взора, - и ей было легко отъ сознанія, что она не одна послъ долгаго одиночества... Но это состояніе забытья продолжалось недолго, оно постоянно отравлялось внутреннимъ томительнымъ страхомъ, что все это скоро кончится, что это обманъ, миражъ, который долженъ разсвяться Свадьба Оленьки была назначена на іюль. Серафима Алексъевна совсьмь, что называется, съ ногъ сбилась; хлопоты о приданомъ требовали постояннаго ея присутствія въ городъ, а она сдала свой домъ жильцамъ и не знала теперь, какъ быть. Коломинъ вывель ее изъ затрудненія, обязательно предложивъ къ ея услугамъ свой домъ; онъ увърялъ, что это его нисколько не стъснитъ напротивъ, доставитъ величайшее наслажденіе, что съ нимъ, какъ будущимъ родственникомъ Оленьки, нечего церемониться, и такъ далъе. Послъ нъсколькихъ отказовъ, которыхъ требовало приличіе, Серафима Алексъевна приняла предложение "этого милаго Бориса Арсеньича", очень довольная, что ей не придется истратить "Богъ знаетъ сколько" на наемъ квартиры, — ей и съ приданымъ-то было тяжело справиться. Времени до свадьбы оставалось немного, а потому ръшено было перебраться въ городъ, какъ можно скорте. Перетздъ этотъ очень огорчаль Сару, такъ боявшуюся всякихъ перемънъ. Она привыкла и привязалась къ этому заброппенному уголку и съ тоской пробъгала лихорадочными шагами большой тэнистый садь, прилегавшій къ дому; ее давило какое-то неопредъленное предчувствіе, что она его больше не увидитъ.

Стояла жаркая послъ-объденная пора. Всъ въ домъ улеглись; для прохлады закрыли ставни; но Сара не могла заснуть; ей было душно въ комнатъ, ее раздражала окружающая тишина, прерываемая лишь сладкимъ, всхрапываніемъ Серафимы Алексъевны. Она встала, за-

хватила первую попавшуюся книгу, вышла въ садъ и, вскарабкавшись на высокій крутой холмикъ, прилегла подъ старой развѣсистой березой; попробовала читать, но книга соскользнула у ней съ колѣнъ и упала въ траву. Она оперлась подбородкомъ на руку и заглядѣлась... Волга, вся залитая солнцемъ, ласково катила свои свѣтлыя волны; на горизонтѣ лѣниво тянулась баржа; тамъ и сямъ бѣлѣли безчисленными точками парусныя лодки; по берегу перекликались рыбаки... Жигулевскія горы, окутанныя дымкой знойнаго воздуха, отражались въ сверкающей брилліантовой рябью водѣ. Совсѣмъ далеко сѣдѣлъ утесъ Стеньки Разина, упираясь голой головой въ багряно-лиловую тучу.

Возлѣ Сары послышался трескъ сучеьвъ. Она повернула голову и увидала шедшаго къ ней Коломина, въ шелковомъ лѣтнемъ костюмѣ и широкополой соломенной шляпѣ.

— Здравствуйте, Сара Павловна, какое у васъ тамъ сонное царство!—сказалъ онъ, садясь подлѣ нея на траву.—Я обошелъ весь домъ и повсюду до меня доносился храпъ, какъ въ сказкѣ о принцессѣ "Dorn-röschen"... Пошелъ въ садъ и, увидавъ на холмѣ бѣлую фигуру, подумалъ — ужъ не Ольга-ли Николаевна изображаетъ изъ себя Лорелею, поджидая въ легкомъ челнокѣ Николая Иваныча; всмотрѣлся—и узналъ ваши черныя косы. Какъ я радъ, что вижу васъ, наконецъ, одну, — намъ такъ давно не удавалось перекинуться словечкомъ.

Онъ снялъ шляпу, вынулъ изъ кармана черепаховую сигарочницу и закурилъ.

— О чемъ это вы думали, сидя здѣсь?—спросиль онъ. — Вы оглянулись, когда я уже былъ совсѣмъ близко.

— Да ни о чемъ особенно, я залюбовалась на Волгу, и мнѣ грустно стало разстаться съ ней. Зачѣмъ вы только насъ отсюда увозите... Мнѣ такъ не хочется уѣзжать отсюда. Мнѣ страшно будетъ въ вашемъ большомъ чужомъ домѣ.

Онъ близко наклонился къ ней и заговорилъ взволнованнымъ голосомъ:

— Дорогая моя... вамъ стоитъ только захотѣть, и домъ этотъ не будетъ чужимъ для васъ, онъ будетъ вашимъ... Будьте моей... открыто... передъ свѣтомъ... Какъ я васъ люблю, Боже мой!..

Онъ приникъ всъмъ лицомъ къ ея рукамъ, и она почувствовала на нихъ его горячія слезы.

- Если-бы вы знали, сколько лѣтъ я не плакалъ, а теперь мнѣ даже не стыдно своихъ слезъ! Сара, скажите $\partial a...$
 - Это невозможно, --чуть слышно, проговорила она.
- Отчего?—сказалъ онъ, поднимая голову и глядя на нее полными любви и слезъ глазами.—Отчего? Или вы меня совсъмъ не любите?

Она стиснула руки и ничего не отвътила.

- Послушайте, я не требую отъ васъ, чтобы вы меня сейчасъ полюбили, я отлично знаю, что не стою васъ... но согласитесь только быть моей женой, и клянусь вамъ...
- Борисъ Арсеньичъ, это-то именно и невозможно. Я ни за что не перемѣню религіи, перестанемъ объ этомъ говорить, прошу васъ...
- Но вѣдь это простая формальность, обрядъ. Для такой женщины, какъ вы, существуетъ лишь одна религія, религія добра и справедливости, которая совсѣмъ не обусловливается той или другой церковью. Не могу-

же я повърить, что вы заражены религіознымъ фанатизмомъ.

— Конечно... И нъсколько лътъ тому назадъ я разсуждала-бы такъ-же, какъ и вы. Но съ твхъ поръ многое измънилось... Мои мечты о братствъ людей, о родинъ, оказались такой жалкой ребяческой иллюзіей... Слушайте, я считала себя съ дѣтства русскою, думала и говорила по-русски, мое ухо съ колыбели привыкло къ звукамъ русской пѣсни... Все это осмѣяли, забрызгали грязью. Я испытала на себъ весь ужасъ положенія несчастнаго незаконнорожденнаго ребенка, приставшаго къ чужой семьв. Я стучалась у всвхъ дверей, протягивая за работой свои исхудалыя отъ голода руки--и всюду встрвчала отказъ. На моихъ глазахъ умерло мое дитя—ия не могла оказать ему помощи... "Жидовка! - это слово гор вло на моемъ лбу, какъ жгучее, позорное клеймо проклятія... Мнъ даже великодушно предложили продать себя, потому что жидовской красотой и деньгами православные христіане брезгуютъ... Я, наконецъ, была свидътельницей дикой животной травли на людей, скученныхъ на одномъ клочкъ, за чертой котораго имъ запрещалось дышать, а когда эти глупые люди не догадались задохнуться отъ тъсноты и грязи и стали барахтаться, — ихъ обозвали эксплуататорами, вампирами и мало-ли еще чвмъ. Все это прошло, какъ плеть по моему тълу, оставивъ на немъ въчные, кровавые рубцы... И я отвернулась отъ васъне хотввшихъ признать за мной того, въ чемъ вы даже собакамъ своимъ не отказываете - въдь собаки ваши свободно бъгаютъ и живутъ, гдъ хотятъ-и всей измученной душой своей прилъпилась къ этимъ гонимымъ, невъжественнымъ, забитымъ евреямъ, которыхъ вы-же изуродовали и надъ которыми вы-же издъваетесь. Ивдругь, теперь... громогласно отречься

отъ нихъ... перейти въ вражескій лагерь самодовольныхъ и ликующихъ... Милый мой... я люблю тебя, какъ душу, но никогда за тебя не пойду!

Она припала головой къ его плечу и горько зарыдала. Онъ прижалъ ее къ своей груди и молчалъ. Все стихло въ томительно-знойномъ сіяніи дня, и только въ вершинъ старой ели по-прежнему уныло куковала кукушка, да съ Волги протяжными переливами неслась тоскливая пъсня.

- Сара,—началъ Борисъ Арсеньичъ,—послушай меня, ты права, твое озлобление справедливо, но чѣмъже я виноватъ, зачѣмъ ты меня караешь? Подумай,—знать, что ты меня любишь, чувствовать такъ близко счастье... вѣдь я совсѣмъ другимъ человѣкомъ сталъ... и вдругъ ты все отнимаешь... ты вѣдь этого не сдѣлаешь, Сара, ты не убьешь меня...
 - Я и себя не щажу, прошептала она, рыдая.
- Но, дитя, въдь это безразсудство, ты не имъешь права разбивать наше счастье.
 - Мы все равно не будемъ счастливы.
 - Отчего это?
- Оттого, что меня вѣчно будутъ преслѣдовать призраки прошлаго, у меня не будетъ ни минуты покоя, да кромѣ того, вы знаете, что у меня есть тетка и сестра, мнѣ будетъ отрѣзанъ путь къ нимъ... Кончится тѣмъ, что я васъ возненавижу.
- Уъдемъ въ такомъ случат за-границу, это-единственный исходъ.

Она грустно покачала головой.

- И этого не хочешь?
- Я никогда не ръшусь обречь васъ на безсмысленную жизнь въчнаго туриста; да и сама я не ръшусь покинуть навсегда Россію...

4

— Что-же намъ дълать, голубка моя!—съ тоской воскликнулъ онъ.

Она подняла свое заплаканное пылающее лицо.

- Разстаться... я увду отсюда, и вы меня забудете. Онъ нетерпъливо передернулъ плечами.
- Полно, Сара, за кого вы меня принимаете? Я не мальчикъ и не допущу погубить свою жизнь въ угоду какому-то отвлеченному идеалу. Милая моя, въдь это просто манія—стремиться страдать, quand même. Неужели ты еще недостаточно измучена? Отчего-же ты не хочешь отдохнуть у меня?
- Что-бы вы ни сказали, я никогда не измѣню этому, какъ вы говорите, отвлеченному идеалу,—промолвила Сара.—Мнѣ ужасно больно отказаться отъ васъ... и я все-таки уйду.

Она закрыла лицо руками и опять заплакала.

— Но я тебя не пущу: ты моя, ты сама сказала, что любишь меня, я считаю тебя своей женой теперь, и никто, слышишь, Сара, никто не посмѣетъ отнять у меня мою жену!—сказалъ онъ, задыхаясь и крѣпко, до боли, сжимая ее въ своихъ объятіяхъ.

У сада послышался стукъ копыть и лай собаки. Сара испуганно вырвалась изъ рукъ Коломина.

— Это Николай Иванычъ прівхаль,—сказаль онъ.— Ступай къ себв, успокойся и подумай хорошенько о нашей будущей жизни.

Она поднялась и стала быстро спускаться съ горки. Коломинъ догналъ ее.

— Сара, — сказаль онъ съ улыбкой, — я даже не простился съ тобой... Можно? – и, не дожидаясь отвъта, прильнулъ къ ея губамъ долгимъ поцълуемъ.

XXVI.

То я сдълала, Боже мой,—было первой мыслью Сары, когда она пришла немного въ себя.—Онъ говорить—подумать о нашей будущей жизни... не въдь ея не будеть, ея не можетъ быть... единственное спасеніе бъжать!—пронеслось у нея въ головъ, и ей вдругъ страшно стало...

Пришла Дуняша звать ее чай пить. Она приказала сказать Серафимѣ Алексѣевнѣ, что у ней болить голова, и она не можетъ сойти внизъ. Голова у ней въ самомъ дѣлѣ горѣла, какъ въ огнѣ. Она намочила въ водѣ платокъ и приложила къ своему сухому лбу. Снизу доносились до нея смѣшанные голоса; она отличила между ними звучный, грудной голосъ Бориса Арсеньича. Какъ онъ весело смѣется, онъ надѣется... она забылась подъ этотъ неясный говоръ и заснула тяжелымъ сномъ.

Когда она проснулась, было уже утро. Солнце косыми лучами врывалось въ комнату сквозь спущенныя темныя сторы, освъщая золотистымъ свътомъ поднимавшійся съ полу тонкій прозрачный столбъ пыли. Сара изумилась, увидъвъ себя совершенно одътой, и недоумъвала, неужели она проспала со вчерашняго дня. Въ головъ у ней было смутно. Она встала, расправила отяжелъвшіе члены и, поднявъ стору, толкнула окно. На нее пахнуло сырой утренней свъжестью. Птицы громко щебетали въ вышинъ. На деревнъ заливались пътухи. Неуспъвшая еще высохнуть роса блестъла свътлыми каплями въ травъ и на листьяхъ. Послъднія румяныя облачка зари уплывали разорванными клочками за горы. Дуняша медленно подметала зеленымъ въни-

комъ террассу. Сара ее окликнула. Она подняла вверхъ растрепанную голову.

- Проснулись, Сара Павловна? А ужъ какъ вы было насъ вчера напугали.
 - Чъмъ это?
- Да какъ-же! Пришла это я вамъ постель стлать, только вижу, вы спите; тронула я васъ за руку дескать, проснитесь, да куды ничего не слышите. А рука то у васъ горячая, словно жаръ, и ото всее отъ васъ такъ и пышетъ. Я даже испужалась. Позвала барыню, пришли барышни, стали ледеколономъ вамъ виски примачивать. Борисъ Арсеньичъ былъ еще тутъ, хотѣлъ верхового за докторомъ посылать, да барыня рѣпили подождать такъ Борисъ Арсеньичъ и просидѣли до зари. Да неужели вы ничего не слыхали, Сара Павловна?
 - Ръшительно ничего.
- Ишь ты, притча какая, Господи Іисусе!... Знать, это вамъ солнышкомъ головку напекло. А теперь вы какъ себя чувствуете?
- Ничего, слаба немножко, подайте мнъ Дуняша, умыться воды, похолоднъе.
- Сейчасъ, Сара Павловна, да ужъ я вамъ за одно и чаю своего принесу, а то коли ихъ дожидаться—просидите до вечера не пимши, не ъмши. Въдъ сегодня у насъ такая суматоха поднимется что, не дай Богъ.
 - А что такое?
- Да перевзжаемъ всвиъ домомъ къ Борису Арсеньичу, въ дввнадцать часовъ прівдетъ за нами полковникъ.

Сара совершенно растерялась отъ этого извъстія, не зная, что ей предпринять. Скоро поднялся весь домъ. Всъ съ безпокойствомъ распрашивали о ея здоровьъ и очень обрадовались, узнавъ, что она чувствуетъ себя

лучше. Началось укладыванье вещей, упаковка сундуковъ, уборка посуды. Серафима Алексъевна поминутно теряла ключи, бъгала по всъмъ комнатамъ отыскивать ихъ, крича чуть не со слезами:

— Орочка, Оленька, Сара Павловна, да куда-же вы ихъ дъвали? Дуняша, не видала-ли ты? Ты въчно ихъ куда-нибудь сунешь!—и не могла притти въ себя отъ изумленія, находя злополучные ключи въ своемъ-же собственномъ карманъ...

И воть Сара уже въ новой комнать, въ томъ самомъ кабинеть, въ которомъ Оленька объявила ей о предложеніи Николая Иваныча. Комната все такъ-же хороша, даже еще лучше, потому что огромное окно открыто, и врывающіяся въ него вътки старой липы усыпають полъ и мебель нѣжными, душистыми цвѣтками. За каминомъ поставлена кровать краснаго дерева съ вычурной старинной рѣзьбой какихъ-то таинственныхъ сфинксовъ. Костя и сынъ Николая Иваныча, котораго онъ привезъ погостить къ своей невѣстѣ, возятся съ огромной собакой.

— Буду проводить все время съ дѣтьми, рѣшаетъ, наконецъ, Сара, а послѣ свадьбы Оленьки уѣду.

Это рѣшеніе ее успокоиваетъ.

Проходить почти двъ недъли. Серафима Алексъевна съ дочерьми цълые дни занята портнихами. По всъмъ комнатамъ валяются обръзки разныхъ матерій, лентъ и кружевъ, во всъхъ углахъ торчатъ картонки.—Серафима Алексъевна не нарадуется на Сару. Она не только ни на минуту не отпускаетъ отъ себя дътей, но еще вызвалась помогать ей по хозяйству и такъ все ловко дълаетъ, какъ будто это Для нея шутка. Доброй Сера-

фимъ Алексъевнъ даже жаль, что она такъ трудится, похудъла и поблъднъла отъ постоянной бъготни, и она успокоиваетъ себя мыслью, что къ свадьбъ Оленьки непремънно подарить ей шелковое платье.

Коломинъ ходитъ молчаливый и хмурый. Онъ понимаетъ, что вся эта лихорадочная дѣятельность вызвана только желаніемъ забыться и избѣгнуть разговора съ нимъ. Онъ слѣдитъ за ней съ напряженнымъ вниманіемъ и съ тоской замѣчаетъ, что лицо ея съ каждымъ днемъ становится блѣднѣе, что у нея что-то болитъ, что она часто внезапно останавливается посреди какого-нибудъ дѣла и хватается прозрачной рукой за сердце. Онъ хочетъ подойти къ ней, но она поспѣпіно заговариваетъ съ кѣмъ-нибудь и ускользаетъ отъ него. Наконецъ, ему удалось поймать ее въ саду. Мальчики бѣгали, а она сидѣла на скамъѣ, задумчиво опустивъ глаза въ книгу. Увидавъ Коломина, она поднялась и хотѣла было позвать дѣтей, но онъ взялъ ее за объ руки и почти насильно посадилъ на скамью.

- Погодите,—сказаль онъ,—я хочу, наконецъ, знать, что съ вами.
- Со мной ничего, Борисъ Арсеньичъ... пустите меня, пожалуйста.
- Сара, я въдь не Серафима Алексъевна, меня вы не обманете; я жду отъ васъ отвъта... Пожалъйте меня, по крайней мъръ, въдь я тоже измучился, скажите мнъ что-нибудь.

Ея блудныя губы страдальчески изогнулись.

— Простите меня, Борисъ Арсеньичъ, тихо, съ усиліемъ выговорила она,— я тогда ошиблась, я васъ не люблю!..

И, вырвавъ у него свои руки, убъжала.

Прошло еще нъсколько дней. Серафима Алексъевна

съ дочерьми и Николаемъ Иванычемъ увхала кудато на именины—на весь вечеръ. Мальчики, уставшіе отъ дневной бъготни, ушли спать. Сара осталась, наконецъ, одна. Она чувствовала, что силы ее покидаютъ, что ее что-то душитъ, словно могильная плита давитъ ей грудъ. Она сняла платье, накинула капотъ и, распустивъ свои тяжелыя косы, легла на кушетку. Въ открытое окно тихо смотръла чудная благоухающая ночь, звъзды ярко блестъли въ темной глубокой синевъ неба. Верхушки деревьевъ чуть слышно шелестили въ саду. Серебряный лучъ луны игралъ на паркетъ, падая причудливыми зигзагами на сумрачное лицо Іоанна Грознаго, и онъ, казалось, ожилъ и медленно кивалъ своей бронзовой головой.

-- Что мнъ дълать, что мнъ дълать! -- мучительно повторяла Сара, ломая въ отчаяніи руки.

Она встала съ кушетки и подошла къ портрету Коломина.

- Милый мой... милый мой... что мнѣ дѣлать?—зашептала она опять, прижимаясь къ холодному стеклу... —и вдругъ почувствовала, что сзади ее крѣпко обвили двѣ руки. Она обернулась и слабо вскрикнула, увидѣвъ блѣдное лицо Бориса Арсеньевича.
- Такъ ты меня любишь! страстно говорилъ онъ. Я въдь тебъ не повърилъ, когда ты сказала, что нътъ...

Онъ отнесъ ее на кушетку и, опустившись передъ ней на колъни, сталъ осыпать ея руки, шею, волосы, платье, горячими поцълуями, произнося отрывисто:

— Слабая моя, нѣжная, лучезарная моя красавица... перестань-же ты, наконецъ, мучиться... отдайся мнѣ безъ страха... безъ боязни... Я увезу тебя и спрячу отъ всѣхъ...

Она не сопротивлялась его ласкамъ, сердце ея тре-

петно замирало и билась, какъ пойманная птица... Полуоткрытые глаза глядѣли на него съ безконечнымъ блаженствомъ. Она уронила свою руку на его густыя сѣдѣющія кудри и притянула его къ себѣ. Онъ поднялъ голову.

— Ты остаешься?..

Было уже поздно, когда Борисъ Арсеньичъ ушелъ отъ Сары. Она стояла среди комнаты, улыбающаяся, опьяненная...

Вдругъ что-то больно кольнуло ее, точно она что вспомнила. Глухое, безнадежное рыданіе вырвалось изъ ея груди.

— Никогда, никогда! — говорила она, словно защищаясь передъ къмъ-то, — я не смъю...

Она подошла къ письменному столу, схватила перо и написала дрожащей рукой:

"Милый мой, я не остаюсь, я ухожу... Я не могу иначе. Не ищи меня, не проклинай меня... Я несчастные тебя... Но пойми, пойми, и прости меня... Мы не можемъ быть счастливы. Меня бы загрызли воспоминанія, а ты истерзался-бы, глядя на меня. Мы встрытились слишкомъ поздно, а я не умыю забывать. Да и что значать нысколько лишнихъ лыть!.. Не могу больше писать. Слезы душать меня. О, Борисъ, какъ я тебя люблю... Твоя Сара".

Она, рыдая, вложила письмо въ конвертъ и надписала адресъ. Потомъ стала торопливо собирать въ сакъ-вояжъ необходимыя вещи, все уложила и, сдблавъ надъ собой усиліе, написала четкимъ почеркомъ Серафимъ Алексъевнъ записку, въ которой умоляла извинить ея внезапный отъъздъ, вызванный телеграммой изъ дому.

— Вотъ и все готово, — промолвила она вслухъ, на дъвъ длинную тальму и закутавъ лицо густой вуалью. На минуту она остановилась и, окинувъ послъднимъ взглядомъ комнату, сняла со стъны портретъ Бориса Арсеньевича.

Бронзовый Іоаннъ, казалось, укоризненно смотрѣлъ на нее съ своего мраморнаго постамента, липа печально кивала въ окно темной головой... Сара добралась неслышными шагами до передней. На стулѣ, растянувшись, дремалъ швейцаръ. Она его разбудила:

- Петръ, я получила телеграмму и должна сейчасъ же ъхать. Наймите мнъ скоръй извозчика на вокзалъ.
- Да вѣдь поздно, сударыня! сказаль, протирая изумленные глаза, швейцарь.
- До отхода повзда остается еще полчаса, теперь половина второго, я усивю,—только поторопитесь.
 - Сію минуту-съ.

Петръ усадилъ ее на извозчика. Она передала ему письма для генеральши и Коломина. Извощикъ дернулъ возжами, крикнулъ: "Но... треклятая!" и пролетка съ трескомъ загромыхала по мостовой.

Луна давно спряталась; звѣзды стали погасать на блѣдномъ небѣ; на горизонтѣ уже занимались желтыя полоски зари; кругомъ все было тихо, и только какой-то подгулявшій фабричный, сидя на заваленкѣ, уныло выводиль подъ скрипъ гармоники пѣсню:

"Вздумалось Терешкъ жениться",

тянуль онъ плаксивымъ голосомъ вслъдъ Саръ-

"Тетушка Матрена бранится... Да гдъ-жъ тебя черти носили, Мы-бъ тебя дома женили... жени-и-и-ли"... Прошло полгода. Въ кабинетъ своемъ одиноко сидътъ за столомъ Борисъ Арсеньевичъ Коломинъ и что-то писалъ. Онъ очень измънился, обрюзгъ, постарълъ и сильно посъдълъ. Еле замътныя еще такъ недавно морщинки теперь глубокими складками бороздили все его лицо. Въ дверь осторожно постучались. Вошелъ лакей, неся ящикъ и письмо.

— Съ почты привезли, Борисъ Арсеньичъ, — доложилъ онъ и вышелъ.

Коломинъ медленно распечаталъ письмо. Оно было писано по-нъмецки незнакомымъ женскимъ почеркомъ:

"Милостивый Государь! Недвлю тому назадъ скончалась отъ застарълой бользни сердца моя племянница, Сара Нордъ. Она сильно страдала безсонницей и, воспользовавшись моимъ отсутствіемъ, приняла дабы скорве заснуть, большую дозу морфія. Это ускорило печальный конецъ. Всѣ наши усилія спасти ее оказались тщетны. Передъ смертью—она сохраняла сознаніе до посл'єдней минуты — она выслала вс'єхъ изъ комнаты и умоляла меня объщать ей, что я отошлю вамъ, милостивый государь, портретъ ея, снятый нъсколько лътъ тому назадъ, золотое кольцо съ ея иниціалами и еще портретъ неизвъстнаго мнъ молодого человъка, который она не выпускала изъ рукъ до послъдняго дыханія. Я взяла его у ней, когда она уже больше не принадлежала землъ. Воля умершихъ священна, а потому пересылаю вамъ, милостивый государь, завъщанныя моей племянницей вещи. Примите, милостивый государь, увърение въ полномъ моемъ уваженіи".

"Анна Позенъ «.

"188... г. городъ О∗".

Коломинъ провелъ блѣдной рукой по своему похолодъвшему лбу. Затъмъ вскрылъ ящикъ: оттуда со

звономъ выпало кольцо; потомъ онъ вынулъ портретъ — свой портретъ; потомъ другой... помедлилъ мгновенье и быстро сорвалъ покрывавшую его бумагу. Сара, прекрасная, здоровая, полная жизни, во всемъ блескъ расцвътающей молодости — глядъла на него своими чудными глубокими глазами... Коломинъ долго смотрълъ на этотъ портретъ. Губы его дрогнули, голова опустилась на столъ, и глухой, надрывающій вопль огласилъ комнату. — "Сара... Сара..." — рыдалъ онъ, — Зачъмъ ты это сдълала!"...

Недълю спустя, Николай Ивановичъ Раздеришинъ вмъстъ съ молодой женой своей провожалъ на вокзалъ N-ской дороги уъзжавшаго за-границу Коломина. Николай Ивановичъ пошелъ въ буфетъ закусить. Оленька осталась одна съ Борисомъ Арсеньевичемъ.

- Послушайте, я давно собиралась васъ спросить, начала она застѣнчиво,—не знаете-ли вы, что сталось съ Сарой Павловной?
 - Она умерла, тихо отвътилъ Коломинъ.
- Умерла! воскликнула Оленька, какъ жаль! Я ее очень любила, хоть она и была еврейка... Она была какая-то особенная... и какая красавица!.. Борисъ Арсеньичъ, мнѣ казалось, что вы ее любили, вдругъ сказала Оленька.

Глаза его мгновонно наполнились слезами.

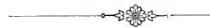
- Я ее и теперь люблю,—промолвилъ онъ. Они немного помолчали.
- А представьте, какое у насъ горе,—начала опять Оленька,—въдь Ора въ монастырь уходитъ, мама положительно убита.
- Зачъмъ-же ее стъснять, сказалъ Коломинъ, быть можетъ, ей тамъ будетъ лучше.

Раздался звонокъ. Николай Ивановичъ проворно выбъжалъ изъ буфета. Коломинъ простился съ Раздеришиными и вскочилъ на площадку вагона.

- Когда-же ты думаешь назадъ, на родину?— спросилъ Раздеришинъ.
- Не знаю, право,—загадочно улыбаясь, отвѣтилъ Коломинъ,—можетъ быть, никогда...

Повздъ медленно тронулся.

Борисъ Арсеньевичъ снялъ бобровую шапку и кивалъ своей съдой головой махавшей ему платкомъ Оленькъ, нока она не исчезла изъ глазъ.



НАТАША КРИНИЦКАЯ.

повъсть.



I.

онецъ августа. Солнце знойнымъ потокомъ заливаетъ Седъ-Аметъ, одинъ изъ новомодныхъ крымскихъ курортовъ. Тихо плещуть о берегъ волны, оставляя на бъломъ пескъ пестрыя ракушки. Толпа черномазыхъ ребятишекъ съ громкимъ смфхомъ и визгомъ полощатся въ бухтъ, обдавая брызгами шныряющіе мимо ялики. Прівзжихъ масса. Всв квартиры заняты, и роскошная гостинница "Уч-меше", построенная на манеръ швейцарскихъ пансіоновъ-набита биткомъ. Два господина встрътились у пристани, поздоровались и побрели вмъстъ вдоль набережной. Одинъ изъ нихъ, худощавый, сутуловатый брюнеть, съ красивымь, уже нъсколько помятымъ лицомъ, которому отсутствіе бороды и усовъ придавало актерскій видь-быль художникъ Өедоръ Алексвичъ Хомутовъ, составившій себв громкое имя нъсколькими сенсаціонными картинами, въ свое время вызвавшими цёлую бурю въ лагерё поборниковъ "идейнаго искусства". Другого звали Антонъ Филиппычъ Коробьинъ. Это былъ человъкъ,

сорока пяти-семи, еще стройный, высокаго роста, съ густою гривой полусъдыхъ волосъ и длинною свътлорусою бородой, въеромъ окаймлявшею его подвижное лицо. Коробьинъ былъ извъстный романистъ, драматургъ, публицистъ, неутомимый сотрудникъ скромно фрондирующихъ газетъ и журналовъ.

- Ну что, устроились?—спросиль художникъ?—(онъ говориль тонкимъ, высокимъ голосомъ, лѣниво растягивая слова).
- Какъ-же!.. Обрѣли себѣ пріютъ у какой-то дебелой гречанки, тутъ недалеко отъ вашего палаццо. Елена Ивановна теперь тамъ разбирается... Пыль, шумъ... Дѣти скачутъ по чемоданамъ... Я сбѣжалъ.
- Какъ оно и подобаетъ солидному отцу семейства, —вставилъ Хомутовъ.

Антонъ Филипповичъ махнулъ тростью по своимъ башмакамъ.

- Хорошо вамъ смѣяться. Вы вольный казакъ, уложили свои кисти да краски, и поминай, какъ звали. Посидѣли бы, батенька, въ нашей шкурѣ... зиму-то строчишь, строчишь, —индо одурѣешь, и лѣтомъ нельзя передохнуть... Только задумаешь удрать, сейчасъ жена и дѣти вцѣпятся: «Куда, молъ, голубчикъ, шалишь!..» Вотъ и теперь, думалъ прокатиться сюда недѣли на три, а придется, чего добраго, прожить въ семъ Эдемѣ зиму. У младшихъ дѣвочекъ, вишь, англійская болѣзнь. И откуда она только!.. Вотъ испытайте-ка на себѣ сладость семейной идилліи, приправленной иностранными и россійскими болѣзнями.
- Зачъмъ мнъ испытывать, я вамъ на слово върю... Мимо прошли элегантная, стройная, бълокурая дама и молоденькая дъвушка. Хомутовъ снялъ свою широкополую шляпу и раскланялся. Дама отклонила крас-

ный шелковый зонтикъ на плечо и, сощурившись, кивнула головой.

— Өедөръ Алексъевичъ, кто это? Что за красавица? —воскликнулъ Коробьинъ и обернулся, чтобъ еще разъвзглянуть на удаляющихся дамъ.

Хомутовъ разсмвялся.

- Какой вы впечатлительный!—Это Софья Петровна Криницкая съ дочерью. Она туть съ мѣсяцъ и ужъ успѣла перессорить всѣхъ женъ съ мужьями. А вѣдь хороша?
- Удивительно,— подтвердилъ Коробьинъ. Да неужели эта барышня ея дочь? Сколько-же ей лътъ?
 - Кому, матери или дочери?
 - Конечно, матери. Дочь не интересна.
- Не знаю. Это тайна ея и природы. А дочери девятнадцать лътъ, и она премилая, даже не смотря на лучезарную мамашу.
- Ужъ не огорчила-ли васъ эта мамаша,—пошутилъ Коробьинъ, что-то вы о ней ехидно отзываетесь. А вы близки съ ними?
- Весьма. Софья Петровна—моя давнишняя знакомая, мы прежде часто встръчались за-границей. И тутъ мы сосъди? моя комната рядомъ съ ихъ аппартаментами. Хотите, я васъ представлю? предложилъ онъ.
 - Въ поясъ поклонюсь, только поскоръе, не томите.
- A Елена Ивановна что скажеть? возразилъ художникъ.

Коробьинъ сдълалъ неопредъленную гримасу.

— Ничего, она у меня смирная,—сказалъ онъ.—Къ тому же я ее убъдилъ, что писателю нужны иногда такія "мимолетныя видънья"...

Оба засмѣялись!

II.

Триницкія занимали въ "Уч-меше" отдѣленіе въ три комнаты. Изъ средней, пріемной, отдѣлявшей спальни матери и дочери, стеклянная дверь вела на террасу, увитую виноградникомъ, глициніями и мелкими розами. Съ террасы открывался прелестный видъ на море, какъ бы запертое съ одного конца каменной стѣною горъ.

Софья Петровна, покачиваясь въ качалкѣ, вяло перебирала страницы новаго французскаго романа, въ желтой обложкѣ. Противъ нея сидѣла дочь — темноволосая, черноглазая дѣвушка, съ нѣжнымъ, задумчивымъ лицомъ, и придерживая одною рукой бѣлую соломенную шляпку, другою накалывала на нее шелковый газъ. Гладкое сѣрое платье, стянутое у таліи сѣрою лентой, плотно охватывало ея тонкую, какъ будто еще не вполнѣ сложившуюся фигуру. Она была очень миловидна.

Софья Петровна встала и, бросивъ на столъ книгу, принялась ходить взадъ и впередъ по террасв, волоча за собой длинный шлейфъ пестраго шелковаго капота. Она остановилась на минуту, разсвянно поглядвла на разсыпанные въ паркв домики, на убвтающее вдаль море, по которому, словно большія бвлыя птицы, сновали парусныя лодки, и пожала плечами, какъ бы говоря: все одно и то-же!

Въ кипарисовой аллев промелькнулъ силуэтъ мужской фигуры.

- Сосъдъ, сосъдъ, Өедоръ Алексъичъ,—крикнула Софья Петровна,—идите сюда, мнъ скучно!
 - Разръшите допить кумысь, Софья Петровна, —

черезъ десять минутъ я къ вашимъ услугамъ, проговорилъ художникъ и, раскланявшись, пошелъ дальше.

— Дуракъ, — промолвила ему вслъдъ Софья Петровна.

Дочь положила на колѣни работу и устремила на мать свои серьезные глаза.

— Онъ нездоровъ, мама, не надо мъшать ему лъчиться.

У нея быль пріятный, грудной голось.

- Что это у тебя за страсть всвхъ хоронить,—возразила мать,—онъ вовсе не боленъ. Я его десять лвтъ знаю, и онъ все такой-же. И какая забота о чужихъ!.. А что мать съ тоски погибаетъ, до этого намъ двла нвтъ...
 - Поъдемъ домой, если тебъ здъсь не нравится. Софья Петровна презрительно усмъхнулась.
- Pas si bete, сказала она. —И такъ два года я свъту Божьяго не видъла. Да и что мнъ тамъ дълать! Любоваться на заводскія трубы, варить съ Аграфеной Ивановной варенье и созерцать величіе твоего папаши. Наглядълась я на него досыта.

Дъвушка покраснъла, сдвинула брови и, ничего не отвътивъ, прилежно занялась отдълкой шляпы.

Софья Петровна вспылила.

- Это что за гримасы, —произнесла она раздражительно, можно подумать, что тебя ущипнули. Ахъ, да! тятеньку затронули... Ну, конечно! онъ вѣдь воплощеніе всѣхъ совершенствъ, а я сосудъ всякихъ мерзостей... Охъ, ужъ эти мнѣ добродѣтельные люди, продолжала она, помолчавъ, —носятся со своею добродѣтелью, а на самомъ дѣлѣ ничѣмъ, кромѣ гроша, не интересуются.
- Если ты это про отца,—начала Наташа, стараясь говорить спокойно, то спроси рабочихъ, которые

двадцать пять лѣтъ съ нимъ служатъ. Они тебѣ скажутъ, такъ-ли это.

- Зачымь мны рабочіе?.. Я по себы знаю: даеть ко-пыйку, точно съ жизнью разстается.
- Эта копъйка достается ему тяжелымъ трудомъ, замътила дочь.
- А я ее трачу съ легкимъ сердцемъ... вѣдь ты это хотѣла сказать? Что-жъ ты остановилась? Не стѣ-сняйся.
- Къ чему эти разговоры, мама? Ты раздражена, и мнъ тяжело.

Софья Петровна подняла брови.

— Вотъ какъ! — сказала она. — Что-жъ изволь... Мнѣ все равно. Только ты бы, Наташа, ужъ составила программу о чемъ мнѣ разрѣшается съ тобою бесѣдовать, —и, опустившись въ качалку, она опять принялась за брошенную книгу.

III.

Только себя. Она обожала свою красоту, свои пышные золотые волосы, изучила, съ терпъніемъ ученаго и искусствомъ актрисы, каждую черточку на своемъ лицъ, правильномъ, какъ античное изваяніе, каждое выраженіе своихъ бархатныхъ черныхъ глазъ. Покорять, царить, возбуждать восторгъ,— было въ ней потребностью. Схватывая все на лету, она могла говорить обо всемъ и, благодаря большой осторожности, никогда почти не попадала въ просакъ. Ей мерещились блескъ, богатство, роскошь, безумная роскошь героинь французскихъ романовъ; она вся разгоралась, мечтая о великосвътскихъ львицахъ, жизнь которыхъ рисовалась ей непрерывнымъ празднествомъ въ волшебной

атмосферъ лести, поклоненія, баловства...Она сознавала, что по красотъ, уму, ловкости, могла бы занять мъсто «первой между первыми»... Но судьба, будто на зло осыпавшая ее дарами, забыла ей дать одинь-богатство. Софья Петровна была дочь весьма благородныхъ, но совершенно бъдныхъ родителей. На ея красоту вся семья смотръла, какъ на якорь спасенія и, чтобы вывезти Сонечку прилично въ свътъ, отецъ и мать, весь свой въкъ изощрявшіеся въ искусств в "казаться", превзошли самихъ себя. Но расчеты не оправдались. Изъ толпы блестящихъ поклонниковъ ни одинъ не простеръ своихъ вздоховъ за предълы котильона. Софьъ Петровнъ лътъ, когда, устрашенная перспективой минуло 25 стараго дъвства, она вышла за-мужъ за Василія Васильевича Криницкаго. Онъ былъ не блестящій, но все-таки хорошій женихъ. У него было порядочное состояніе и директорское мъсто на большомъ химическомъ заводъ. Софью Петровну онъ увидалъ гдъ-то на вечеръ и влюбился въ нее по уши. Она разсудила, что за неимъніемъ лучшаго, отказывать нельзя, и дала свое согласіе. Послі свадьбы она скоро разочаровалась. Мужъ оказался вовсе не такимъ покладливымъ, какимъ представлялся женихомъ. У этого тихаго человъка были свои, не Богъ въсть какіе широкіе, но ясные опредъленные взгляды, которыхъ онъ настойчиво держался, убъжденія, отъ которыхъ онъ не отступаль. Онъ мечталь о мирной семейной жизни, пытался пробудить въ женъ интересъ къ своимъ занятіямъ, (даже водилъ ее къ себъ въ лабораторію), но она оказала попыткамъ самое презрительное упорство, находила скучнымъ, идеалы его — мѣщанскими, ски-тягостными. Когда родилась дъвочка, Василій Васильевичь оживился. Оыъ надвялся, что любовь къ ребенку благотворно подъйствуеть на жену. Но Софья

Петровна, переименовавъ дѣвочку изъ Натальи въ Миньону, прехладнокровно передала ее на руки кормилицъ, потомъ нянькъ, а сама все также уныло бродила по комнатамъ или валялась по диванамъ, снъдаемая жаждой вырваться изъ острога, какъ она называла свой домъ, и съ каждымъ днемъ все больше ненавидъла мужа. Она исхудала, поблъднъла и, наконецъ, захворала какою-то нервною бользнью. Доктора послали ее за-границу. Тамъ Софья Петровна сразу почувствовала себя какъ въ родной стихіи, и съ тъхъ поръ бользнь ея приняла хроническій характеръ. Нъсколько мъсяцевъ въ году она проводила за-границей, домой возвращалась какъ въ неволю, подъ каждымъ предлогомъ увзжала въ Москву (отъ которой заводъ быль въ несколькихъ часахъ) и пропадала тамъ по цълымъ недълямъ. Василій Васильэвичъ чуть съ ума не схедиль. Онъ никакъ не могъ помириться съ установившимся порядкомъ вещей. То ему казалось, что виновата во всемъ жена, то онъ винилъ кругомъ себя, что не съумълъ разгадать ея натуру, что хотълъ ее, красавицу, царицу, заставить жить будничною жизнью обыкновенныхъ женщинъ, и давалъ клятвы впредь уступать ей во всемъ, лишь бы она его не покидала. Но когда она возвращалась, когда онъ сравнивалъ свое невзрачное, заморенное тъло съ ея цвътущей, сіяющей красотой, его охватывалъ такой приливъ злобы къ ней, такая жгучая ненависть, что онъ готовъ былъ броситься на нее, избить и задушить. Они никогда ни о чемъ не говорили другъ съ другомъ просто. Въ каждомъ словъ слышался намекъ, давнишняя обида. Иногда, чаще всего предъ ея отъбадами, между ними происходили сцены. Остроумная, изящная Софья Петровна кричала и бранилась самыми грубыми словами. Онъ обыкновенно молчалъ, но обводилъ ее съ ногъ до головы такимъ ядовитымъ взоромъ, что она теряла всякое самообладаніе и окончательно выходила изъ себя. Дѣвочка росла какъ-бы между двухъ враждебныхъ лагерей. Она жалѣла и боялась угрюмаго, несообщительнаго отца и любила свою легкомысленную, красивую мать. Вся ея дѣтская жизнь проходила въ страхѣ,—что, вотъвотъ, родители поссорятся,—и въ вѣчномъ напряженіи во-время предотвратить бурю.

Когда Софья Петровна отправлялась на воды, въ дом' наступало могильное затишье. Василій Васильевичъ приходилъ съ завода только къ объду, разсъянно цъловалъ дочь и запирался въ кабинетъ. Наташа училась, работала и съ увлеченіемъ играла на рояли (Василій Васильевичь, зам'тивъ любовь д'вочки къ музыкъ, каждую недълю отправляль ее съ гувернанткой въ Москву, къ извъстному профессору, и это была единственная ея радость.) Ей минуло шестнадцать лътъ, когда Софья Петровна неожиданно вернулась домой, объявивъ, что ей надовло "шататься", что она соскучилась по дочкъ. Пронеслись слухи о какой-то странной исторіи, но Софья Петровна не смутилась, и они замолкли. Годы, казалось, безследно пролетели надъ ея головой. Жажда жизни все также горъла въ ея черныхъ глазахъ, сквозила въ каждомъ ея движеніи.

Прислуга, особенно старая горничная, Аграфена Ивановна, встрътила ее непріязненно; Василій Васильевичь—съ холоднымъ достоинствомъ; одна Наташа искренно ей обрадовалась. Это тронуло даже Софью Петровну. Она смотръла на худенькую, прелестную дъвушку, цълый день занятую хозяйствомъ, уроками, музыкой, и ей было даже какъ-то чудно, что это—ея дочь. Но скоро она привыкла къ своему новому положенію: начала часто ъздить въ городъ, рядиться, а въ перемежку—пилить мужа и дочь, Ее раздражала "дере-

вянность" Наташи. Она принялась было ее отесывать, но безуспѣшно. "Это—рыбья кровь, кровь Василія Васильича",—рѣшила она. Такъ прошло два года. Софью Петровну уже начинала одолѣвать знакомая домашняя тоска, какъ вдругъ захворала Наташа. Докторъ посовѣтовалъ везти дѣвушку на зиму въ Крымъ, и Софья Петровна съ облегченіемъ вздохнула. Ей было все равно, куда ни ѣхать, только бы вонъ изъ дому.

TV.

Мама, кажется, къ намъ гости, сказала Наташа и, подавшись впередъ, стала всматриваться сквозь частую сътку зелени къ приближавшейся кучкъ людей.

- Кто?—спросила, оживляясь, Софья Петровна.
- Хомутовъ, да еще этотъ... литераторъ, его пріятель, съ какою-то дамой.
- Это—Коробьинъ съ женой. Онъ хотѣлъ ее познакомить съ нами. Приготовь все къ чаю, Наташа, да поскорѣй, а то Аграфена Ивановна до завтрашняго дня прокопается,—и, доставъ изъ кармана маленькое зеркало въ плюшевомъ футлярѣ, Софья Петровна быстрымъ привычнымъ движеніемъ пальцевъ поправила свою прическу.

Она встрѣтила гостей съ любезною улыбкой и протянутою рукой. Коробьинъ представилъ жену. Это была сухощавая, свѣтлая блондинка, невысокаго роста, съ пріятнымъ, но озабоченннымъ и уже поблекшимъ лицомъ. Бѣглымъ взоромъ изъ-подъ низу она окинула эффектную фигуру Софьи Петровны, поймала сверкнувшій въ глазахъ мужа огонекъ и смутное чувство непріязни змѣйкой проползло по ея сердцу.

Вев усвлись. Хомутовъ осввдомился о Наташв и,

узнавъ, что она хлопочетъ по хозяйству, заявилъ, что пойдетъ ей помогать. Софья Петровна кивнула головой въ знакъ согласія и сосредоточила все свое вниманіе на гостьѣ. Она посмотрѣла на нее ласковымъ, почти соболѣзнующимъ взглядомъ и принялась разспрашивать о дѣтяхъ, здоровьѣ, квартирѣ, прислугѣ... Елена Ивановна, усмотрѣвшая въ этихъ банальныхъ вопросахъ намѣреніе ее унизить, взволновалась и, сухо удовлетворивъ любопытство хозяйки, взяла со стола книгу. "Sapho", —прочла она вслухъ и обернулась къ мужу.

— Помнишь, Антонъ Филиппычъ, какъ ты изъ-за этой "Sapho" поссорился съ Иваномъ Петровичемъ, — и она съ преувеличенною небрежностью назвала фамилію извъстнаго критика. Коробьинъ, не глядя на жену, взяль у нея изъ рукъ книгу, перелистовалъ, спросилъ Софью Петровну, какъ она находить этотъ романъ, и по русской привычкъ, не дожидаясь отвъта, сталъ излагать собственное мнфніе. Между ними завязался оживленный разговоръ. Коробынь осуждаль крайности французскаго натурализма, нападалъ на рабское ему подражание у насъ и выражалъ надежду на близкое возрождение въ литературъ эстетическихъ и этическихъ идеаловъ. Софья Петровна горячо съ нимъ соглашалась. Елена Ивановна принимала въ бесъдъ лишь нѣмое участіе: она все порывалась вставить свое словечко, -- но ей это никакъ не удавалось.

Дверь распахнулась, — показалась пожилая горничная, въ бълоснъжномъ чепцъ, съ самоваромъ въ рукахъ. За ней, поддерживая съ разныхъ концовъ большой подносъ съ посудой и прочими чайными принадлежностями, вошли Хомутовъ и Наташа. Софья Петровна, улыбаясь, показала Еленъ Ивановнъ на дочь и промолвила:

[—] Вотъ какая у меня ужъ большая дъвица.

Дъвушка поклонилась на ходу и прошла на террасу, гдъ стояли рядомъ два стола — большой круглый и маленькій — съ тяжелой мраморною доской для самовара. Она заварила чай и помогла горничной накрыть на столъ.

Хомутовъ сълъ возлъ нея.

- Хороши новые знакомые, Наталья Васильевна?спросиль онъ вполголоса.
- Почемъ же я знаю, —возразила она, —они при мнъ еще ни слова не сказали.
- Тъмъ лучше! Людей только и можно наблюдать, пока они молчать. Разговаривающій челов'якь всегда себя показываеть, и уже, конечно, съ лица, а не съ изнанки.
- Какъ у васъ все хитро выходитъ...- начала было Наташа. Но въ эту минуту Софья Петровна подвела Коробьиныхъ къ столу, и она замолчала.

Елена Ивановна, недовольная мужемъ, недовольная кокетствомъ Софьи Петровны (она бы затруднилась опредълить, въ чемъ именно заключалось это кокетство, но чувствовала его всемъ своимъ существомъ), бросила холодный взглядъ на Наташу, поставившую предъ ней чашку, словно ожидая и тутъ встрътить врага. Но темные глаза дъвушки глядъли прямо и привътливо, и у Елены Ивановны отлегло отъ сердца.

- Можетъ быть, мало сахару?—спросила Наташа. Мегсі, довольно,—отвътила Елена Ивановна, и прибавила, - а вы, я вижу, настоящая хозяйка.
- О, Миньона у меня на всъ руки, сказала Софья Петровна. — И благоразумна, какъ бабушка. Өедөръ Алексвичъ всегда говоритъ, что я должна брать съ нея примфръ.
 - Совершенно върно, подтвердилъ Хомутовъ.
 - Өедөръ Алексвичъ вообще вашъ почитатель. Онъ

мнѣ говорилъ, что вы прекрасно играете,— произнесъ Коробьинъ, считавшій своимъ долгомъ оказать нѣкорое вниманіе дочери "интересной мамаши".

- Не знаю, когда Өедоръ Алексвичъ меня слышалъ, я здвсь играю очень рвдко,—отозвалась дввушка.
 - За это-то я васъ и хвалилъ,—сказалъ Хомутовъ. Всѣ засмѣялись, даже Елена Ивановна улыбнулась.
- Я очень люблю музыку, промолвила она, я прежде пъла.
 - А теперь?—спросила Наташа.
 - Теперь некогда, все время на дътей уходитъ.
- Я видъла вашихъ дътей на пристани, сказала Наташа, какія славныя дъвочки! Онъ, кажется, всъ на васъ похожи.
- Старшая въ отца. У нея темныя брови и синіе глаза, какъ у него, —промолвила Елена Ивановна, и въ голосѣ ея прозвучала такая любовь, такая гордость, что Наташа съ невольнымъ любопытствомъ взглянула на литератора, какъ бы желая убѣдиться, нѣтъ-ли въ немъ дѣйствительно чего-нибудь особеннаго. Приходите посмотрѣть на моихъ ребятъ, —продолжала Елена Ивановна.
 - Съ удовольствіемъ. Я люблю возиться съ дѣтьми.
- А вотъ и эскулапъ съ супругой! воскликнулъ художникъ, перегибаясь черезъ перила террасы. Вы ихъ знаете, Елена Ивановна? Интересная чета. Ему подъ шестьдесятъ, ей тридцать. Онъ тонокъ, какъ жердь, она—кубарь. И дрожитъ же онъ передъ ней!.. Непремънно напишу съ этой парочки картину семейнаго счастья.
- Они предобрые и очень другъ друга любятъ, замътила Софья Петровна.
- -- Обожають, сказаль Хомутовь, и крикнуль: Дарья Николаевна, мое почтеніе. Пане докторе!

Докторъ приподнялъ обернутую чадрой шляпу.

- Добрый день, пане, якъ се панъ ма? А мы до чаровницы, — произнесъ онъ уже на ступенькахъ террасы и галантно подошелъ къ ручкъ Софьи Петровны. Она погрозила ему, поцъловала его жену и познакомила ихъ съ Коробьиными. Докторъ сказалъ Наташъ, что она цвътетъ, какъ роза, и опустившись на кресло сталъ утирать краснымъ фуляровымъ платкомъ потъ, блестъвшій на огромной лысинъ.
- А ты ужъ раскисъ, замѣтила ему жена, хорошенькая брюнетка съ задорно вздернутымъ носикомъ.
- He, мое сердце, то моя задышка,—возразилъ онъ спокойно.
- Задышка!—передразнила докторша, звонко расхохоталась, и, обратившись къ дамамъ, стала передавать
 щебечущимъ голоскомъ злобы дня. Она разсказала,
 сколько въ городъ новыхъ пріъзжихъ, гдъ кто остановился, какія предстоятъ въ этомъ сезонъ развлеченія, согласилась съ Софьей Петровной, что Седъ-Амету
 далеко до Ялты, но тутъ же прибавила, что этотъ годъ
 особенно неудачный.—Въ прошломъ сезонъ было ужасно
 весело,—говорила докторша,—много военныхъ, пропасть
 романовъ. Она московская дама, напримъръ, влюбилась
 въ артиллерійскаго поручика. Вдругъ пріъзжаетъ мужъ.
 И что же! бъдняжка съ отчаянія бросилась въ бухту!
 Не върите? Честное слово. Безъ чувствъ вытащили.
 Францъ Адамычъ три часа ее оживлялъ.

Софья Петровна сдълала большіе глаза и заговорила о балъ, который собирались и никакъ не могли устроить.

— Да, бала, видно, не дождешься,—сказала докторша тономъ самого искренняго сожалѣнія, — а вотъ, Софья Петровна, поѣдемте съ нами верхомъ въ Байдары. Мы ѣдемъ цѣлымъ обществомъ: m-me Панова съ Люсенькой, я, полковникъ Ильинъ, и еще, еще, еще.

- A вы когда собираетесь? спросила Софья Петровна.
- Послѣ завтра. Да что тутъ долго думать! Вѣдь это не въ Америку.
- Не знаю, право, нерѣшительно проговорила Софья Петровна, и, взглянувъ на Коробьиныхъ, прибавила:—поѣзжайте тоже!

Елена Ивановна опять взволновалась.

- Куда ужъ мнѣ верхомъ скакать! воскликнула она.
- А вы, Антонъ Филиппычъ?

Но Антонъ Филипповичъ не успѣлъ раскрыть рта, какъ жена ему заявила:

- Я тебя ни за что не пущу, Антонъ. Да я съ ума сойду, все буду думать, что тебя лошадь понесла.
- Какъ это трогательно! процъдилъ сквозь зубы мужъ.

Софья Петровна посмотръла на него съ лукавой усмышкой и обратилась къ Хомутову:

- Вы въдь не откажетесь быть моимъ кавалеромъ, Өедоръ Алексъичъ?
- Помилосердуйте, Софья Петровна, вы меня живымъ не довезете.
 - Это почему?
- Да спросите доктора. Онъ вамъ скажетъ, гожусь ли я въ рыцари.
- Нашли кого спрашивать, прервала докторша. Онъ въ прошломъ году сказалъ про одного господина, что тотъ до дому не доъдетъ, а онъ не только до дому— вчера сюда прикатилъ живъ-живехонекъ.

На всѣхъ лицахъ промелькнула улыбка. Докторъ сконфузился и обиженно возразилъ,— Але, мое сердце, я вѣдь не Богъ, я могу ошибиться,

Наташъ стало его жаль.

- Францъ Адамычъ, начала она, желая перемънить

разговоръ, — какъ здоровье Агариной? Я ее ужъ нъсколько дней не видала.

Докторъ вздохнулъ.

— Плохо, панна Наталія, очень плохо. Та подлая лихорадка намъ все дёло портитъ. Ахъ, эти бёдачки-актрисы! грустно прибавилъ старикъ,—сколько ихъ тутъ у меня перебывало на Южномъ берегу! Тяжелая карьера.

На лицъ Наташи изобразилась неподдъльная печаль.

— Сегодня-же пойду къ ней! сказала-она.

Докторъ взглянулъ на часы и поднялся. Коробьины тоже стали прощаться. Елена Ивановна холодно пригласила къ себъ Софью Петровну. Докторша строго объявила Хомутову:—чуръ не разстраивать компаніи, не то за уши отдеру.

V.

Когда всв удалились, Софья Петровна подошла къ Хомутову и, пристально взглянувъ ему въ лицо, проговорила:—въдь вы ъдете?

- Увольте, Софья Петровна, не могу.
- Да что вы, мужчина или тряпка?
- Я больной, Софья Петровна.
- Это мнв все равно. Я хочу, чтобы вы вхали, и вы повдете, слышите, сказала она властно.
- Отчего вы не возьмете Коробьина? Онъ здоровъ и поскачеть за вами куда угодно, только пальцемъ поманите.
- Очень возможно... но я добрая и не желаю огорчать его жену, а потому моимъ кавалеромъ будете... вы! Наконецъ, я васъ прошу объ этомъ... а мнъ еще никогда не отказывали, когда я просила, промолвила она, вдругъ перемънивъ тонъ, тихо, почти нъжно. Щеки ея заалълись, она стиснула руки и протянула ихъ къ нему.

Было что-то неотразимо обаятельное и угрожающее въ ея широко раскрытыхъ блестящихъ глазахъ, во всей ея выжидающей позъ.— Значитъ, мы ъдемъ, сказала она, дотрогиваясь до его рукава,—да?

Онъ нахмурился и полусердито, полусмъясь, воскликнулъ:

— Что-жъ съ вами дълать!

Софья Петровна расхохоталась.

- А теперь я васъ не возьму... не хочу, и кончено. Онъ съ изумленіемъ посмотрѣлъ на нее и медленно покраснѣлъ.
- Что, струсили? продолжала она смѣясь,—ну, Богъ съ вами, возьму и даже, если останусь вами довольна, то...
 - To?
- Соглашусь позировать для вашей картины... Помните, вы меня просили?
 - Искусительница! проговорилъ художникъ.
- Мама, вдругъ послышался слабый голосъ, какъ же ты поъдешь, въдь у тебя нътъ амазонки?

Софья Петровна слегка вздрогнула. Она совсѣмъ забыла про дочь.

— Какъ ты меня испугала, Миньона! Я и не замътила, что ты тутъ. Амазонки нътъ?.. А мы сейчасъ купимъ сукна, и ты мнъ ее живо смастеришь на машинкъ. Аграфена Ивановна тебъ поможетъ. Побалуй свою глупенькую маму, Миньоночка. Въдъ ты у меня фея,—и Софъя Петровна обняла и поцъловала дочъ.

Хомутовъ замѣтилъ пристыженное, тревожное выраженіе на лицѣ дѣвушки, и ему стало неловко, точно онъ передъ ней провинился.

— Можетъ-быть, и Наталья Васильевна поъдетъ съ нами? сказалъ онъ.

Она холодно подняла на него свои правдивые, серьезные глаза и сухо проговорила:

- Я не взжу верхомъ, у меня болвзнь сердца.
- У нея болѣзнь сердца, нодтвердила мать. —Да она не будеть скучать, она пойдеть въ гости къ своей актрисѣ, и потомъ Миньона у насъ умница, никогда не скучаетъ, и она потрепала дочь по блѣдной холодной щекѣ.

VI.

Котово! произнесла Наташа, отрываясь отъ швейной машины и прислоняясь къ спинкъ стула. Темно-синяя амазонка соскользнула съ ея колънъ. Софья Петровна на лету подхватила платье и ушла его примърять, въ свою комнату. Наташа закрыла глаза. Она очень устала. Все платье почти пришлось шить ей; Аграфена Ивановна больше ворчала, чъмъ работала. Она легла поздно и долго не могла заснуть. Подъ утро она забылась, но Софья Петровна, опасаясь, что платье не поспъетъ, разбудила ее съ первыми лучами солнца и шутя усадила за работу.

Примъривъ платье, Софья Петровна нашла, что оно жметъ въ груди. Это ее разсердило. Она гордилась каждымъ изгибомъ своей пышной, стройной фигуры, и малъйшая складка на лифъ портила ея настроеніе на цълый день. Она нервно разстегнула пуговицы и пошла къ дочери.

— Посмотри!—сказала она жалобно,—въ груди жметъ, я не могу повернуться. Какъ же ты такъ съузила? — прибавила она, едва сдерживаясь, чтобы не выбранить дочь.

Наташа осмотръла лифъ со всъхъ сторонъ, провела по немъ руками и замътила, что онъ не узокъ, но что если мамъ неудобно, можно, пожалуй, пересадить двъ пуговицы. Софья Петровна возразила, что лучше ужъ оставить какъ есть, тѣмъ болѣе, что она сама виновата, пожалѣла денегъ на портниху. — Милый супругъ требуетъ экономіи, вотъ и поѣзжай теперь пугаломъ.

Наташа могла-бы возразить, что въ Седъ-Аметъ нътъ портнихи, которая бы взялась сшить платье въ одинъ день, но промолчала и вздохнула. Она привыкла къ быстрымъ переходамъ въ обхожденіи матери, но сегодня ей было особенно тяжело. Ей непріятенъ былъ весь этотъ пикникъ, непріятно обращеніе Софьи Петровны съ Хомутовымъ и Коробьинымъ... Она еще разъ вздохнула и отвернулась чтобы скрыть набъжавшія на глаза слезы.

Въ дверь постучались. Вошелъ Хомутовъ... Увидавъ Софью Петровну, онъ не могъ удержать выраженія восторга. Амазонка очень шла къ ней. Она замътила произведенное впечатлъніе и мгновенно развеселилась.

- Недурно? спросила она, а миѣ не нравится, какъ-то неуклюже сидитъ.
- Не знаю, чего вамъ еще нужно. Вы похожи на греческую статую.
- Правда? Это все Наташа. Я вамъ говорила, что она у меня волшебница.
- Только вы эту волшебницу заморили, —произнесь художникъ и внимательно посмотрълъ на утомленныя черты дъвушки. Задумчивый профиль, небрежно свернутая на затылкъ коса, темная прядка волосъ на нъжной шеъ... Хомутовъ ни разу не видалъ ее такою. Въ немъ шевельнулось профессіональное чувство художника: "какой милый жанръ" подумалъ онъ.
- Она выспится, когда мы уѣдемъ,—сказала Софья Петровна.—Который часъ?
 - Скоро одиннадцать... Лошади ждутъ.
 - Вотъ и отлично. Наташа, тащи скоръй шляпу...

Я вельла Аграфень Ивановнь прикрыпить вуаль. Гдь мои перчатки?-А хлысть? Ну, кажется все... Живъй!

Она подобрала шлейфъ и легкими шагами сбъжала съ лъстницы, сопровождаемая дочерью и художникомъ. У крыльца ждаль татаринь, возле привязанныхъ къ дереву иноходцевъ, мирно жевавшихъ губами. Хомутовъ подвелъ Софъъ Петровнъ лошадь и подставилъ руку. Она чуть оперлась на нее ногой и быстро, какъ птица, вспрыгнула на съдло. Онъ поправилъ ей стремя. Софья Петровна поблагодарила кивкомъ головы и, перегнувшись къ дочери, протянула ей руку:

- Не скучай, дъвочка, завтра къ объду мы вернемся. Өедоръ Алексвевичъ тоже усвлся. Онъ опять посмотрѣлъ на Наташу, и ему опять стало жаль ея.
 — Отчего вы не ъдете съ нами?—сказалъ онъ,—было
- бы гораздо веселье.
- Зачвиъ вы согласились вхать, если это вамъ вредно,-проговорила она,-не отвъчая на его вопросъ. Онъ засмъялся.
- Вашей татап угодно, чтобъ я для нея рисковалъ жизнью. Нельзя же ей отказать въ такомъ пустякъ.
- Бабушка, не смущай моего рыцаря, заявила Софья Петровна, и хлестнула лошадь. Хомутовъ тронулъ свою. Они помчались. Наташа стояла на крыльцв и глядвла на ихъ скачущія рядомъ колыхающіяся фигуры, пока онъ не пропали изъ глазъ.

VII.

🖺ъ комнатахъ царилъ безпорядокъ и та внезапная тишина, которая водворяется послѣ сутолоки быстраго отъвзда.

Наташа машинально стала подбирать валявшіеся на полу обръзки сукна, пуговицы, поставила на

книги, поправила загнувшійся коверъ. Вошла Аграфена Ивановна и, посмотръвъ на барышню, покачала головой.

- Ишь ты... безъ васъ не приберутъ,—замътила она съ укоризной.
- Да я такъ, Аграфена Ивановна, все равно дълать нечего.
- Какого вамъ еще дѣла. Слава-те Господи, просидѣли ночь за иголкой въ родѣ какъ портниха передъ Свѣтлымъ праздникомъ,—иронически проговорила Аграфена Ивановна. За то мамашу ублаготворили, продолжала она. —Вишь съ какимъ молодцомъ укатила... Ай да мамаша! На поправку дочку привезла... На теплыя воды. Посмотрѣлъ-бы баринъ на эти порядки... То-то-бы чай порадовался...
- Оставьте, Аграфена Ивановна, я терпъть не могу этихъ разговоровъ.
- Какъ вамъ угодно, матушка, покорно отвътила горничная, коли вамъ ничего, такъ мнъ и подавно...

Наташа не дослушала и ушла къ себъ. Дувшій съ моря вътерокъ тихо колыхаль спущенную штору. Она постояла въ раздумьъ предъ окномъ. Ей было непріятно вмъшательство Аграфены Ивановны и совъстно, что она ее "оборвала". Невеселыя мысли, осаждавшія ее съ нъкоторыхъ поръ, сегодня какъ-то особенно назойливо ее преслъдовали. Она тряхнула головой и торопливо стала приводить въ порядокъ свой туалеть. Одъвшись, она крикнула Аграфену Ивановну. Та явиласъ и съ видомъ оскорбленнаго достоинства остановилась у двери.

— Аграфена Ивановна, я иду купаться, а потомъ къ Агариной, знаете, больная барышня, во флигель,—сказала она скороговоркой, избъгая взгляда горничной.— Если будетъ письмо, принесите туда.

- Къ арфисткъ́? съ непередаваемымъ пренебреженіемъ спросила Аграфена Ивановна.
- Она не арфистка, а актриса. Я вамъ сто разъ говорила.
- Виновата, матушка, не упомнила,—спокойно возразила горничная, мы люди темные, актерка-ли, арфистка-ли, по нашему все одно... Что-же, и кушать дома не будете?
 - Не буду,—сказала Наташа, уже сходя съ террасы. Аграфена Ивановна смягчилась.
- А то я вамъ принесу, пожалуй, туда... Вмъстъ съ барышней съ этой бы и покушали, а... Наталья Васильевна?
- Какъ хотите, отвътила, усмъхаясь на ея великодушіе Наташа и, раскрывъ зонтикъ, направилась къ морю.

Въ купальнъ она застала Елену Ивановну съ дътьми, уже раздътую. Она держала за руку худенькую, голую дъвочку, лътъ девяти, и безуспъшно уговаривала ее сопти въ воду. Дъвочка пятилась, упиралась и дрожала всъмъ тъломъ.

— Ну, глупая, ну, чего ты боишься?—говорила, волнуясь, Елена Ивановна. — Это просто капризъ, упрямство... Слушай, Юля, если ты не пойдешь добромъ, я тебя насильно втащу въ воду.

Услыхавъ такую угрозу, дъвочка съ визгомъ вырвалась изъ рукъ матери и прижалась къ младшимъ сестрамъ, сидъвшимъ на скамеечкъ. Онъ приняли ее въ свои объятія и дружнымъ ревомъ протестовали противъ родительскаго насилія. На Елену Ивановну было жаль смотръть: лицо ея покрылось пятнами, она чуть не плакала,—и на дътей ей было досадно, и на себя, а пуще всего на невольную свидътельницу этой сцены, Наташу.

- Небось, вамъ смѣшно?—сказала она ей, кусая губы и поправляя съѣхавшій на бокъ клеенчатый чепчикъ.
- Нисколько, отозвалась Наташа и, быстро раздъвшись, прыгнула въ воду, нырнула, вынырнула на другомъ концъ купальни и поплыла на спинъ. Дъвочки засмотрълись на нее. Она подплыла къ нимъ. Юля, хочешь ко мнъ на руки, предложила она, ужъ я тебя не спущу, не бойся. Я тебя поддержу, а ты будешь плавать. Здъсь есть дъвочки, гречанки, совсъмъ крошки, а какъ плавають! И ты выучишься.
 - А вы меня не уроните?—робко спросила Юля.
 - Да ужъ будь покойна.

Дѣвочка пагнулась, крѣпко схватилась ручками за шею Наташи, которая осторожно и медленно опустилась съ ней въ воду. Дѣти напряженно слѣдили за ними глазами, а черезъ минуту уже онѣ заливались звонкимъ смѣхомъ, указывая на Юлю, которая, поддерживаемая Наташей, била руками и ногами по водѣ, поднимая цѣлые фонтаны. Елена Ивановна тоже просвѣтлѣла и все повторяла:

— Видишь, я говорила, что не страшно.

Купанье освѣжило Наташу, а дѣти развеселили. Она ихъ расцѣловала, погуляла съ ними по набережной и затѣмъ ужъ отправилась къ Агариной.

VIII.

Дгарина лежала на кушеткъ, укутанная пледами и одъялами; это была еще совсъмъ молодая дъвушка съ красивымъ лицомъ южнаго типа. Черные короткіе волосы блестящими кудрями сбивались на ея узкій, высокій и бълый лобъ. Черные живые глаза такъ и сверкали подъ густыми длинными бровями.

- Здравствуйте, сказала она, протягивая Наташъ

горячую влажную руку.—Ужъ я васъ ждала, ждала... Спрашивала доктора,—не больны-ли. Нътъ, говоритъ, цвътетъ, какъ роза. Ну, думаю, значитъ ей не до меня.

Когда она говорила, на всемъ ея лицъ, въ глазахъ, въ круглой ямочкъ на подбородкъ играла улыбка, придававшая ея чертамъ своенравное, немного лукавое выраженіе. Наташа поцъловала ее и присъла на кушетку у ея ногъ.

- Какая вы сегодня хорошенькая, Женя, сказала она.
- Это меня лихорадка разрумянила. И трясла-же она меня сегодня, проклятая, на-силу согрълась, сказала она и, помолчавъ немного, прибавила: что за тоска, лежать одной въ четырехъ стънахъ и стучать зубами... Отчего вы такъ долго не были?
- Нельзя было. Здёсь такъ дико время проходить— ничего не дѣлаешь и постоянно занятъ. Новые знакомые у насъ появились Коробьины. Онъ писатель. Третьяго-дня я собиралась къ вамъ, пришелъ этотъ Коробьинъ съ женой и задержали.
 - Интересные, по крайней мъръ? спросила Агарина.
- Не знаю, право. Мама въ восторгѣ отъ мужа, а миѣ больше нравится жена. Она проще. Вчера не была у васъ, потому что шила мамѣ амазонку. Она сегодня уѣхала въ Байдары.
 - Отчего-же она васъ не взяла?
 - Да я сама не захотъла. Я не ъзжу верхомъ.
- Вотъ смѣшная! Будь я здорова, ни минуты бы, кажется, на мѣстѣ не сидѣла, воскликнула Агарина. И литераторъ поѣхалъ?
- Нътъ. Съ мамой отправился Өедоръ Алексвичъ Хомутовъ.
- А, милый художникъ! какъ же это? Въдь онъ влюбленъ въ васъ.

Наташа зардълась, но сейчасъ-же оправилась и засмъялась.

— Съ чего это вы взяли? Онъ разговариваеть со мной, потому что я благодарная слушательница, — не перебиваю и не критикую. А, впрочемъ, Господь съ нимъ. Разскажите-ка лучше, какъ вы себя чувствуете?

Агарина распахнула платокъ, приподнялась на подушкахъ и оперлась на локоть.

— Теперь мив лучше, - сказала она, - какъ только кончается пароксизмъ — я оживаю. Знаете, я думаю увхать отсюда. Мнв кажется, продолжала она, -- я слипкомъ поддалась болфани. Въ прошломъ году, въ Пенаф, со мной была такая-же исторія. Простудилась я подъ самую масленицу, лежу у себя въ комнатъ, повторяю царицу Анну изъ "Василисы Мелентьевой", а у самой зеленые круги передъ глазами прыгаютъ. Приходитъ нашъ антрепренеръ и начинаетъ меня отчитывать. Что же это, говорить, сударыня, вы съ нами дълаете. Одна была надежда на масленицу, а теперь мы по вашей милости должны на бобахъ остаться. Будьте, говоритъ, паинька, подтянитесь, вамъ вся труппа въ ножки поклонится. И что же! взяла я себя въ руки и всю сленицу со сцены не сходила. А теперь третій мъсяцъ валяюсь изъ-за какой-то дурацкой лихорадки.

Она остановилась и сильно закашлялась.

— Вотъ вы и надорвались тогда, — сказала Наташа, когда она успокоилась. —Я давно собираюсь вамъ сказать одну вещь, начала она робко, — только не сердитесь. Мнъ кажется, вамъ бы слъдовало бросить сцену. Не по вашимъ силамъ эта жизнь.

Агарина вся встрепенулась, даже руками всплеснула.

— Бросить сцену!—воскликнула она.—Да куда-же я послъ этого гожусь! Мнъ двадцать три года, а я ужъ шесть лъть актриса. Я выросла за кулисами. И потомъ,

—я люблю сцену. Когда я играю, —произнесла она замедленнымъ голосомъ, точно прислушиваясь къ чемуто внутри себя, —я все забываю. Неуклюжій актеръ мнѣ представляется красавцемъ, грязныя декораціи — царскимъ дворцомъ. Я чуть не помѣшалась, когда играла Дездемону. Чувствую, что меня поднимаетъ все выше, выше, будто на крыльяхъ. Зала точно мертвая — ни звука. И вдругъ, громъ, буря... Вы этого не поймете... Только, кто разъ хлебнулъ театральнаго дурмана, тотъ ужъ безъ него не можетъ дышать.

Она глубоко вздохнула и задумалась.

- Но такія минуты рѣдки,—возразила Наташа, не всегда-же вы играете Дездемонъ. А за кулисами, вы сами разсказывали, вѣчно кипитъ война, интрига, артисты готовы утопить другъ друга.
- Конечно, согласилась Агарина, жизнь актрисы, да еще провинціальной, да еще имъющей дерзость быть порядочною женщиной-не сладка. Но будьте чистосердечны! Многимъ-ли жизнь такъ называемаго общества — лучше театральной? Знаете, я сама долгое время думала, что изо всъхъ тварей, самая гнуснаяблагородный артистъ. Но тутъ, лежа въ этой дыръ, я оть нечего дълать, занималась размышленіями и пришла къ заключенію, что мы ужъ вовсе не такъ дурны. Актеры безнравственны, циничны, завистливы... актеры -- сплетники, интриганы, невъжды... Върно! Ну... а ие-актеры?.. За то бывають и такіе случаи... Отъ Москвы до Харькова вхало со мной двое нашихъ, Липовъ-Скавронскій-фатъ и Тимченко-резонеръ. Дорогой я совсьмъ развинтились: кашель, ознобъ, жаръ... Вижу, они что-то таинственно переглядываются. Я закрыла глаза и притворилась, что сплю. Слышу, Тимченко говорить, -- какъ Женичкъ одной такую даль ъхать! А Липовъ отвъчаетъ, -- да она и не поъдетъ. А какъ-же? --

Датакъ-же, говоритъ, мы съ тобой сложимся и довеземъ ее до мъста. Я раскрыла глаза и говорю: не надо, сама дотащусь. Стали ругаться. Такъ и довезъ меня сюда Липовъ-Скавронскій, устроилъ, да еще про черный день мнъ свои золотые часы съ цъпочкой оставилъ — подарокъ благодарной публики...

Агарина опять закашлялась, упала на подушки и долго молчала.

- Право, я не должна къ вамъ ходить, сказала Наташа, вы слишкомъ много разговариваете, а это вамъ вредно.
- Вздоръ, Наташа, я вовсе не такъ больна. Вотъ увидите, я скоро молодцомъ буду. Всъхъ ковалеровъ у здъшнихъ дамъ отобью, только художника вашего не трону.

Наташа улыбнулась.

- Какое великодушіе.
- Еще бы не великодушіе! А вы за то побалуйте меня.
 - Чфиъ это?
 - Сыграйте что-нибудь.
- Нътъ, сегодня поздно, въ другой разъ. Вамъ надо отдохнуть, да и мнъ тоже, сказала она. А вотъ и Аграфена Ивановна тащитъ намъ объдъ, прибавила она, взглянувъ въ окно. Мы поъдимъ, потомъ вы примите лъкарство, и бай бай!

IX.

Казставшись съ Агариной, Наташа еще долго сидъла у себя, на террасъ. Ночь была теплая. Тяжелыя облака медленно ползли по верхушкамъ горъ, то застилая, то открывая луну. Въ паркъ тамъ и сямъ двигались между деревьями тъни, раздавалось громкое

внятное слово, вспыхивала папироска. Съ балконадокторскаго дома неслась заунывная польская пъсня. Это— бъдный докторъ изливалъ свою тоску...

— Пей, пока пьется Все позабудь—

трагически взывалъ откуда-то другой голосъ...

Наташа задумалась о больной девушке, девушке изъ другого, знакомаго ей только по насмѣшкѣ міра. Есть должно быть, въ этомъ мірѣ особенная, увлекающая сила, если человъкъ, стоя одною ногой въ гробу, все еще мечтаетъ о немъ, тянется къ нему. Собственная, одинокая жизнь промелькнула передъ ней. У другихъ хоть дътство есть чъмъ помянуть... А она!.. Съ шести лътъ судьей между отцомъ и матерью.—Бѣдный отецъ! Чтото онъ теперь дълаетъ! Въчно одинъ, въчно за работой. Боленъ онъ, грустенъ, непріятности у него... никто не знаетъ, никому до него дъла нътъ. Мать въдь только и говорить съ нимъ, когда ей деньги нужны... и то больше ее посылаетъ. Любитъ онъ ее или не любитъ-задала она себъ вопросъ. Любитъ, навърное любитъ, если двадцать лътъ несетъ этотъ крестъ. А она... Наташъ вдругъ стало ясно, до очевидности ясно, что ея красавица-мать никого не любитъ... Она испугалась своей мысли и сейчась же стала думать о другомъ, совершенно постороннемъ, но мысль упорно возвращалась назадъ. Зачъмъ она повезла съ собой Хомутова... А онъ? Зачъмъ онъ поъхалъ... Не могъ устоять?... И сердце въ ней замерло отъ напора какого-то новаго жуткаго предчувствія. А туть еще этоть... писатель. Какъ онъ глядить на нее! Неужели она не замвчаетъ... Ей вдругъ стало стыдно. "Какая я злая, грубая", подумала она. На ствиныхъ часахъ пробило двънадцать. Ей вспомнилась "Danse macabre" Сенъ-Санса, піеса, которую она слышала зимой въ концертв...

тоже начинается двѣнадцатью ударами... вотъ бы сыграть. Она пошла къ рояли, но, услышавъ мѣрный храпъ Аграфены Ивановны, раздумала. Еще проснется. Нѣтъ, лучше спать, спать... и ни о чемъ не думать. Она тихо пробралась въ свою комнату, раздѣлась, не зажигая свѣчи, и легла. Утомленное молодое тѣло требовало отдыха. Въ отяжелѣвшей головѣ, какъ далекій отблескъ зарницы, мгновеніями еще вспыхивало сознаніе и наконецъ угасло, побѣжденное крѣпкимъ, неподвижнымъ сномъ.

X.

Она проснулась поздно. Солнце сквозь опущенныя занавъски проникло въ комнату косыми струйками свъта. По стънамъ, по полу, по подушкъ бъгали золотые кружки.

Аграфена Ивановна принесла горячаго кофе и, присъвъ къ Наташъ на кровать, стала разсказывать, какой ей мудреный сонъ приснился.

— Вижу это я, будто маменька покойница, царство ей небесное, стоить и частымь гребнемь мнѣ косу чешеть, да таково-то больно, таково больно... Къ чему бы это?.. И не придумаю. Волосы видѣть, говорять, не къ добру.—промолвила она задумчиво.

Наташа подивилась и, чтобъ успокоить ее, сказала, что снамъ върить гръхъ.

— Ну, это, матушка, тоже какой сонъ,—возразила, вздохнувъ, Аграфена Ивановна.

Напившись кофе, Наташа съла за рояль. Послъднее время она запустила музыку и рада была случаю поиграть безъ помъхи. Къ объду пришелъ докторъ. Бъднягъ было не по себъ. Онъ скучалъ по женъ и очевидно ревновалъ ее къ какому-то полковнику Ильину, имя котораго онъ произносилъ каждыя пять минутъ

самымъ недоброжелательнымъ тономъ. Ему казалось, что Наташа находится въ такомъ-же удрученномъ состояніи, и онъ искаль у ней сочувствія, какъ у товарища по несчастію. Но хотя докторъ неоднократно упоминаль о томъ, какая она достойная молодая дівица и какъ нівкоторыя легкомысленныя особы должны бы брать съ нея примірь, она оставалась безучастна и къ его комплиментамъ, и къ его безпокойству. Наконецъ, онъ ушелъ. Наташа отправилась къ Агариной и нашла ее въ сильнійшемъ пароксизмі лихорадки. Она вся посинівла и протянула Наташів изъподъ платка свою дрожащую, похолодівшую руку. Біздная дівушка свернулась въ какой-то жалкій маленькій клубочекъ и все повторяла:

— Не уходите, милая, скоро пройдетъ.

Наташа покрыла ее пледомъ, положила на ноги подушку и взявъ какую-то книгу, съла въ уголокъ. Когда, изнуренная припадкомъ, Агарина заснула, она неслышно выскользнула изъ комнаты и, отыскавъ прислуживавшую во флигелъ разбитную гречанку, попросила ее почаще навъдываться къ больной. Послъ одинокой, со всъмъ сторонъ запертой, комнаты Агариной, паркъ показался Наташъ особенно праздничнымъ, просторнымъ и безсмысленно веселымъ.

Тамъ, по обыкновенію, было людно. Нарядныя дамы и кавалеры играли въ крокетъ, ходили взадъ и впередъ, читали... Изъ раскрытыхъ настежъ оконъ низенькаго домика, который занимали Коробьины, неслись жалобные звуки какого-то Бертиніевскаго этюда:—это маленькая Юлія упражнялась на фортепіано. Самъ Коробьинъ сидълъ на балконъ и писалъ. Не желая, чтобъ ее замътили, Наташа свернула въ сторону, но хитрость ея не удалась. Коробьинъ ее увидалъ и сообщилъ женъ. Та сбъжала внизъ и почти насильно увлекла ее

въ домъ. Наташа посидъла, приласкала дътей, поиграла на рояли. Антонъ Филипповичъ былъ очень милъ, возился со своими дъвочками, шутилъ... Но Наташа не могла отдълаться отъ страннаго чувства, что все это слишкомъ красиво, точно напоказъ.

Когда она вернулась домой, день уже клонился къ вечеру. Сталъ накрапывать дождь. Ее начинало безпокоить долгое отсутствіе матери. "Еще простудятся",—подумала она, невольно соединяя мать и художника. Аграфена Ивановна вошла и предложивъ накрыть на столъ къ чаю, развела въ каминъ огонь. Она громко изливала свое негодованіе.

— За сто верстъ киселя хлебать повхала... И чего она тамъ не видала...

Наташа не возражала. Она ходила взадъ и впередъ по комнатъ, останавливаясь то у одного окна, то у другого. Небо чернъло все гуще и гуще. Сильный ударъ грома вдругъ прокатился по горамъ. Дождъ полилъ непрерывною струей. Гроза разыгрывалась не на шутку. Раздался стукъ экипажа.

"Не они", —подумала дѣвушка. Экипажъ остановился. Наташа прислушалась и вышла въ корридоръ. На лѣстницѣ ей встрѣтилась мать, въ измятой, измокшей подъдождемъ шляпѣ и широкомъ мужскомъ плащѣ, накинутомъ сверхъ амазонки. За Софьей Петровной, блѣдный, съ вытянувшимся лицомъ, въ одномъ сюртукѣ, шагалъ Хомутовъ.

— Охъ, Миньона, какъ мы промокли,—сказала Софья Петровна,— и поцъловать тебя не могу. Давай намъскоръе чаю. Өедоръ Алексвичъ! мъняйте свой туалетъ и идите къ намъ гръться.

XI.

Угли съ легкимъ трескомъ ярко пылали въ каминѣ. Въ комнатѣ было тепло и уютно. На столѣ, заставленномъ разною закуской, шумѣлъ самоваръ. Софья Петровна, въ бѣломъ пеньюарѣ, лежала на широкой кушеткѣ. Ея длинныя, небрежно спущенныя косы, вились по обѣимъ сторонамъ ея головы, точно золотыя змѣи. Наташа поставила предъ ней на столикѣ чашку чая и тартинки. Софья Петровна была въ духѣ и оживленно разсказывала о поѣздкѣ, то-есть о томъ, какъ уморительны были кавалеры и дамы, особенно докторша, которая, чтобы не быть похожею на другихъ, нарядилась въ красную амазонку и всю дорогу ворковала со своимъ офицерикомъ.

— Была еще Анна Михайловна Панова со своею Люсенькой,—о тебъ спрашивали. Люсенька все съ Өедоромъ Алексъичемъ о живописи разсуждала, а маменька глядитъ и вздыхаетъ—очень ужъ ей хочется поскоръе сбыть дочку, а жениховъ нътъ, какъ нътъ... Куда онъ, однако, пропалъ?—воскликнула Софья Петровна.

Наташа, до сихъ поръ разсвянно слушавшая мать, приподняла голову.

- Онъ, кажется, очень усталь, мама. Какъ бы онъ не расхворался,—сказала она.
- Вздоръ какой! Онъ вовсе не боленъ. Посмотръла бы ты, какимъ онъ молодцомъ за мной ухаживалъ!..— и Софья Петровна улыбнулась.—Вотъ развъ подъ дождемъ намокъ. Я не хотъла брать у него плаща, да онъ присталъ; но мы подъ дождемъ были не долго, встрътили коляску и пересъли... Постучись къ нему, Наташа, что онъ не идетъ.

Дъвушка встала, прошла въ корридоръ и, остановившись у темной двери, слегка стукнула.

- Войдите! отозвался голосъ Хомутова.
- Мама васъ зоветъ чай пить, произнесла она, пріотворивъ дверь, но не входя въ комнату.

Увидъвъ Наташу, Хомутовъ поднялся съ кресла и пошелъ къ ней. У него былъ очень утомленный видъ.

- Вы какъ будто сердитесь на меня, Наталья Васильевна,—сказалъ онъ, протягивая ей руку.
 - Я?.. По какому праву!
- Для того, чтобы сердиться люди всегда находять право. Во всякомъ случав, вы мной недовольны.
- Нътъ... мнъ только жаль, что вы губите здоровье ни изъ-за чего.

Художникъ усмъхнулся.

- Именно "ни изъ-за чего", —повторилъ онъ. Ахъ, Наталья Васильевна, вы сами не знаете, какую истину сейчасъ изрекли. За то, посмотрите, что я вамъ привезъ... (онъ взялъ со стола и подалъ ей огромное прессъ-папье изъ горнаго хрусталя).
- Мегсі, промолвила д'ввушка. Вдругъ она увид'вла на стол'в полотенце, ус'вянное красными пятнами. Глаза ея расширились. Что это? воскликнула она испуганно.
- Это... это прозаическія послъдствія поэтической прогулки.
- Кровь... горломъ... проговорила, блъднъя, Наташа.
- Да, въ этомъ родъ, сказалъ онъ, бросая полотенце въ корзинку. Пойдемте, однако, Софья Петровна, въроятно, уже гнъвается.

Наташа вдругъ подошла къ нему.

— Өедоръ Алексвичъ, — промолвила она, — исполните мою просьбу, пошлите за докторомъ.

Хомутова тронуло участіе Наташи.

- Все, что прикажете, Наталья Васильевна, только

не доктора. Я всегда лечусь самъ и, увъряю васъ, завтра буду совершенно здоровъ. Да и вообще изъ-за меня не стоитъ волноваться. Всъ медицинскія знаменитости ръшили, что при благонравномъ поведеніи я могу прожить сто лътъ.

- Хотълось-бы посмотръть, когда это вы будете вести себя благонравно.
 - Надъюсь, скоро... какъ только найду завътную розу. Наташа удивленно поглядъла на него.
- Не понимаете?—спросиль онъ, съ улыбкой глядя на ея недоумъвающее лицо.—Я вамъ объясню. Жилъбыль при царъ Горохъ нъкій шалопай, котораго возмущенные боги за разныя проказы обратили въ осла. И много пришлось ему въ образъ ослиномъ мытарствъ вынести, пока надъ нимъ не сжалилась прелестная принцесса. Она подарила бъдному ослу свои прекрасныя свъжія розы. Онъ ихъ поълъ и сейчасъ-же сдълался такимъ молодцомъ, что ни въ сказкъ сказать, ни перомъ описать. Съ красавицей они, конечно, поженились, стали жить поживать, добра наживать, а добродътелью своею заразили цълый край. Съ тъхъ поръ на бъдныхъ шалопаевъ точно заклятіе: чтобы выпрыгнуть изъ ослиной шкуры, они должны отыскать волшебную розу... Не подарите-ли вы мнъ эту розу, Наталья Васильевна?—проговорилъ онъ.

Наташа стояла смущенная, испуганная. Она не понимала — шутитъ Хомутовъ, или говоритъ серьезно. Кровь прилила ей къ вискамъ, ей казалось, что все вокругъ нея завертълось и замелькало, точно сразу налетълъ откуда-то нежданный вихрь.—"Господи,—подумала она,—что-же это такое"?.. Но вдругъ вспомнила, что мать ее ждетъ, и очнулась. Она несмъло подняла на Хомутова кроткіе глаза, на которыхъ свътились слезы, и, запинаясь, промолвила:

- Ваша сказка очень красива, но мы о ней поговоримъ послъ... когда-нибудь... А теперь, прибавила она совершенно оправившись и улыбаясь поблъднъвшими губами, —мнъ некогда. Вы ложитесь, а я скажу мамъ, что вы не можете притти.
- Какая вы добрая... передъ вами не стыдно быть слабымъ, —произнесъ онъ и, точно спохватившись, замътилъ: однако, что это со мной сегодня. Я сантименталенъ, какъ нъмецкая гувернантка. Все нервы! Наталья Васильевна, будьте милосерды до конца, умилостивите Софью Петровну и наградите меня за послушаніе стаканомъ лимонада.

Онъ засмъялея и слегка пожалъ ея руки.

- Какъ ты долго,—съ неудовольствіемъ замѣтила Софья Петровна, когда дочь вернулась.— Гдѣ же Өедоръ Алексѣичъ?
 - Онъ не придетъ, мама, онъ боленъ.
 - Ахъ какая баба! что съ нимъ?
 - У него шла кровь горломъ.

Софья Петровна нахмурилась.

— Какія глупости!.. горломъ. Навърное изъ зубовъ. И зачъмъ ты у него такъ долго оставалась! Это неприлично.

Дочь молчала. Она была такъ погружена въ свои мысли, что почти не разслышала словъ матери. Сердце ея тихо и жутко трепетало, словно теплая, мягкая волна вдругъ набъжала и залила ее съ головой. Ей захотълось скрыться въ свою комнату и думать, думать на просторъ...

Софья Петровна спустила съ кушетки ноги, въ шитыхъ золотомъ бархатныхъ туфляхъ, и съ недовольною миной стала подкалывать шпильками свои косы. Мізе en scène пропала.

XII.

Дрошло два мъсяца. Софья Петровна больше не жаловалась на скуку. Вокругъ нея всегда была Мужчины льнули къ ней, какъ мухи къ меду, дамы ее цъловали, наперерывъ приглашали къ себъ, но втихомолку злословили и возмущались. Коробьинъ открыто ухаживаль за Софьей Петровной. Онъ проводиль съ ней цълые часы, читалъ ей свои и чужія книги сопровождаль ее на прогулкахь и даже при женв высказывалъ, что нельзя не преклоняться предъ женщиной съ такою чуткою ко всему прекрасному душой. Елена Ивановна казалась очень несчастною. Она то переставала ходить къ Криницкимъ, то ходила къ нимъ каждый день, какъ будто нарочно, какъ будто ей доставляло наслаждение растравлять и разжигать свое бъдное сердце: на, молъ, любуйся. Она, никогда не разстававшаяся съ мужемъ, обрадовалась, когда ему пришлось увхать по литературнымъ дъламъ въ Одессу, въ надеждъ, что онъ тамъ застрянетъ! Но Антонъ Филипповичъ вернулся черезъ двъ недъли, и терзанія Елены Ивановны возобновились. О возвращении въ Петербургъ она даже не смъла мечтать: здоровье младшихъ дъвочекъ было слабо. Наташа тоже побледнела и похудела. Постоянные гости, шумъ, смъхъ, горячія бесьды между ея матерью и романистомъ, бесъды, вертъвшіяся около одной и той же темы-любви, утомляли ее до нельзя. Она чувствовала, что это море красивыхъ словъ, не болве, какъ жонглерство, которымъ. отъ нечего дълать, занимаются случайно сошедшіеся праздные люди. За этою показною игрой она угадывала что-то нехорошее, грубое. Ей было неясно, что именно дурно въ окружавшихъ людяхъ, но она была убъждена, что они всв притворяются, что и ея мать, и литераторъ, и Люсенька, изучающая археологію, философію, живопись, ваяніе и зодчество, совершенно равнодушны къ тѣмъ возвышеннымъ предметамъ, о которыхъ они безпрестанно разсуждаютъ. Хомутова она совсѣмъ не понимала.

Оправившись послѣ Байдарской прогулки онъ сталъ бывать у Криницкихъ лишь мимоходомъ, извиняясь усиленными занятіями: онъ готовилъ большую картину къ весенней выставкѣ. Съ Наташей Өедоръ Алексѣевичъ держался легкаго, шутливо-дружескаго тона, какимъ любятъ говорить среднихъ лѣтъ холостяки съ очень молоденькими дъвушками. Боится, какъ бы я не приняла "въ сурьезъ" его аллегорію о розѣ, съ горечью думала Наташа, вся загораясь отъ стыда за свою "сантиметальность". Она не сомнѣвалась въ порядочности Хомутова и ни въ чемъ его не обвиняла. Но ее уже начинала безотчетно отталкивать эта высокомѣрная порядочность россійскаго индифферента.

Выросшая въ одиночествъ, съ дътства привыкшая наблюдать молча, Наташа рано научилась хранить про себя свои впечатлънія. Такъ и теперь. Она даже не пыталась протестовать противъ тяготившаго ее режима, отлично сознавая, что кромъ "сценъ" изъ этого ничего не выйдетъ и скрыла отъ всъхъ боль перваго разочарованія въ человъкъ, который ей нравился, котораго она считала лучшимъ изо всъхъ, кого знала. Не мало волненій причиняла Наташъ и Елена Ивановна. Эта женщина съ изможденнымъ, увядщимъ лицомъ и грустными глазами была ей симпатична. Въ первое время ихъ знакомства онъ часто гуляли вмъстъ. Когда у Елены Ивановны разыгрывалась мигрень, она просила Наташу заняться вмъсто себя съ дътьми... И вдругъ, точно черная кошка между ними пробъжала. Елена Ивановна стала ее избъгать; во всей ея манеръ, въ тонъ,

въ движеніяхъ, появилась какая-то холодная надменность, и однажды, когда Наташа, отправляясь на прогулку, зашла за дѣвочками, Елена Ивановна сухо отклонила ея услуги.

— У васъ и со взрослыми много возни, произнесла она, скрививъ въ улыбку свои тонкія губы

Наташа была очень огорчена.

- За что она на меня сердится? сказала она Хомутову, бывшему свидътелемъ этой сцены.
- Въроятно, ревнуетъ къ вамъ своего знаменитаго супруга.
- Ко мив! воскликнула Наташа, —да онъ когда и глядить на меня, такъ не видитъ.

Художникъ лукаво усмѣхнулся.

— Ну, не къ вамъ, стало быть, къ вашей maman. Сознайтесь, что Софью-то Петровну онъ видитъ даже тогда, когда не глядитъ на нее.

Дъвушка вспыхнула, ничего не отвътила и ускоренными шагами пошла впередъ по аллеъ. Наступило неловкое молчаніе. Хомутовъ покусывалъ губы. Онъ досадовалъ на себя за сорвавшіяся слова.

— Наталья Васильевна, началь онь,— вы напрасно принимаете къ сердцу выходку Елены Ивановны. Я знаю Коробьиныхъ лътъ двънадцать и могу васъ увърить, что у нихъ эта исторія тянется непрерывно. Онъ увлекается, она лъзетъ на стъну, потомъ, они мирятся, и все обстоитъ благополучно до новаго увлеченія. Если вы никуда не спъшите, присядемте немного, послъднее время я быль занятъ и мало васъ видълъ... Вы какъ будто похудъли? Что съ вами? Нездоровится?

Она отвъчала не тотчасъ и, облокотившись на спинку скамьи, поглядъла вверхъ на небо, синъвшее между темно-зелеными листьями стараго лавра.

— Стосковалась я здѣсь, сказала она наконецъ, —домой тянетъ. Иногда мнѣ кажется, что мы уже отсюда не вырвемся. Съ трехъ сторонъ горы, съ четвертой море, точно на ключъ заперли. Я бы давно упросила маму уѣхать, если-бы...

Она запнулась, какъ-бы не решаясь продолжать.

- Что-же вы остановились? Развѣ это секретъ,— спросилъ Хомутовъ.
- Нѣтъ, не секретъ, —возразила она, —я ужъ нѣсколько разъ собиралась поговорить съ вами объ этомъ и все откладывала, сама не знаю почему... Дѣло въ томъ, что мнѣ жаль Агарину. Ей хоть и лучше, но докторъ говоритъ, что это кажущееся улучшеніе. Она такъ привыкла ко мнѣ... ей тя кело будетъ очутиться среди равнодушныхъ людей. И вотъ, —продолжала она, все больше смущаясь, —я хотѣла васъ попросить, Өедоръ Алексѣичъ, вы вѣдь долго здѣсь останетесь ходите къ ней, когда я уѣду...

Хомутовъ подумалъ немного, погладилъ свои бритыя щеки и промолвилъ:

- Не могу вамъ этого объщать, Наталья Васильевна.
- Почему?—воскликнула она, удивленная и оскорбленная этимъ отказомъ.
- Потому что, только вы не сердитесь, потому-что меня раздражаеть видь больныхь. Утёшать, то-есть обманывать, я не умёю, разговаривать съ умирающимъ о предметахъ, для него уже не имёющихъ смысла, считаю неприличною жестокостью. Въ сущности всё здоровые не выносять больныхъ, но люди такъ привыкли лицемерить, что никогда въ этомъ не признаются.
- Такъ думаютъ только эгоисты, которые кромъ собственнаго удовольствія ничего знать не хотятъ,— ръзко замътила Натаща.

Онъ разсмѣялся.

- Ну, конечно! Солги я, скажи, что съ наслажденіемъ буду подавать вашей пріятельницѣ лекарства— и вы были-бы отъ меня въ восторгѣ. Женщина, даже самая неиспорченная, не въ состояніи оцѣнить, когда ей говорять правду.
- Ахъ, я это ужъ столько разъ отъ васъ слышала,
 нетерпъливо прервала Наташа.
- Зачъмъ-же сердиться! будемъ разговаривать о другомъ.—Вотъ кстати интересный писатель идетъ, можно его позвать.
 - Ахъ, пожалуйста, не зовите!

Но Коробынъ уже ихъ замѣтилъ и, еще издали раскланиваясь закричалъ:

— А я къ вамъ, Наталья Васильевна. Хочу прочесть Софьѣ Потровнѣ одну статейку. Не желаете-ли послутать?

Дъвушка сдвинула брови и сухо промолвила:

- Благодарю васъ, у меня болитъ голова.
- -- Не люблю я его, сказала она, когда Коробьинъ удалился. И повъсти мнъ его на нравятся. Все-то онъ учитъ, да толкуетъ... ужасная скука. По вашему, онъ настоящей писатель?
- Не знаю-съ, отозвался художникъ. Я современныхъ русскихъ беллетристовъ почти не читаю, а произведеній пріятелей и подавно. Думаю, впрочемъ, что Антонъ Филиппычъ достаточно бездаренъ.
- Писатель, а съ женой обращается, какъ мужикъ,—произнесла Наташа съ непривычнымъ раздраженіемъ.
- Это, положимъ, умно,—одобрилъ Хомутовъ,—женщины любятъ, когда съ ними дурно обращаются.

Наташа взглянула на него и улыбнулась.

- Вотъ какъ! проговорила она. А я всегда думала, что женщины особенно цёнятъ деликатность, потому что онъ почти беззащитны противъ грубости.
- Напрасно вы такъ думаете, возразилъ онъ, женщины такъ-же грубы, какъ и мужчины, но долгое рабство пріучило ихъ скрывать свои чувства, и такъ какъ побъждаетъ тотъ, кто сильнъе ненавидитъ, то на земномъ шаръ, въ концъ-концовъ, водворится женское царство, —прибавилъ онъ шутливо.
- Водворится оно или нътъ, мнъ ръшительно все равно,—сказала Наташа,—только не върю я и никогда не повърю, что побъда останется за ненавистью. И знаете что, Өедоръ Алексъичъ, мнъ кажется,—вы сами этому не върите, а говорите такъ потому, что это... ну эффектно, что-ли. Неужели вы въ своей жизни встръчали только одно низкое и злое, когда даже я видъла и хорошихъ людей, и безкорыстныя отношенія.
- Исключенія ничего не доказывають, Наталья Васильевна, и потомъ, мы вѣдь съ вами ведемъ отвлеченные разговоры. Развѣ можно ихъ примѣнять къ частнымъ случаямъ?
- Я только одного не понимаю, —произнесла она насмъщливо, если все такъ безнадежно дурно, зачъмъ жить!

Онъ расхохотался.

- Наталья Васильевна, васъли я слышу! вы мнъ рекомендуете самоубійство. Вотъ и върь послъ этого женской добротъ! Нътъ, -продолжалъ онъ серьезно, жить стоитъ, потому что жить любопытно, и даже пріятно, если только не полагать жизни въ людяхъ. Кромъ людей, на свътъ есть вещи, которыя прекрасны. Вотъ когда вы себъ это усвоите...
 - Куда ужъ мнъ, перебила Наташа, для меня это

черезчуръ туманно, прибавила она, грустно покачавъ головой, и встала.

- -- Вы домой?-спросиль онъ.
- Нътъ, мнъ еще нужно въ городъ за покупками, сказала она.
- Сдълаемъ лучше такъ, предложилъ онъ, подумавъ немного, пойдемте сначала за покупками, а затъмъ ко мнъ въ мастерскую, вы посмотрите на моихъ "Крамольниковъ", они очень подвинулись. Не хочется мнъ отпускать васъ такъ скоро, продолжалъ онъ, когда-то опять васъ поймаешь. Эта m-lle Агарина васъ совсъмъ отняла у общества, а вы еще хотите, чтобъ я за ней ухаживалъ.

Наташа почувствовала, что краснветь, и разсердилась на себя.

— Не могу, Өедоръ Алексвичъ, — сказала она, опуская голову, чтобы не видать его пристальнаго взгляда, — въ другой разъ, а пока, — до свиданія.

XIII.

Жакъ хорошо, что вы пришли, — радостно привътствовала Наташу Агарина, протягивая ей объ руки. — А я ужъ и ждать васъ перестала.

Агарина не лежала, а сидъла въ креслъ у окна. Ея густыя, темныя кудри выбивались прихотливыми колечками изъ-подъ красной ленточки. Она была такъ худа, такъ прозрачна, что когда она говорила, голосъ ея, казалось, доносился откуда-то издалека; не върилось, чтобъ изъ этой впалой, ссохшейся груди могли вылетать живые звуки.

Наташа положила предъ ней большой букеть розъ, спросила о здоровь и, вынувъ изъ корзиночки вышиванье, принялась работать. — Скажите,—начала Агарина,—что съ вами? У васъ что-то есть на душв. Прежде сердце радовалось на васъ глядя,—такая благоразумная была двица, а теперь ни дать, ни взять—героиня въ пятомъ актв мелодрамы.

Она останевилась, какъ-бы ожидая отвъта, но Наташа молчала.

- Послушайте, начала она опять, вѣдь мнѣ все можно сказать. Посмотрите, развѣ я не идеалъ наперсницы?—и она съ грустною усмѣшкой показала на свою фигуру.
- Да мив и разсказывать нечего,—возразила Наташа. – Я просто соскучилась здёсь; я хочу къ отцу, къ моимъ книгамъ, къ моимъ нотамъ, къ нашей заводской жизни, гдв я знаю каждаго рабочаго, каждую бабу. Молодежь нашего завода, -- это въдь все мои товарищи и подруги. Я выросла среди труда. А тутъ только и знай, что одъвайся, переодъвайся, да разговаривай. У меня была гувернантка, - продолжала она послъ небольшого молчанія, старая француженка. Она часто говорила, что человъку мъщаютъ жить не серьезныя препятствія, а — "l'ensorcellement des bagatelles". Я всегда смъялась надъ этимъ выражениемъ. Теперь я его отлично понимаю, - у насъ цълые дни проходять въ этомъ ensorcellement des bagatelles. Сегодня я умоляла маму увхать отсюда. Оказывается, что черезъ два мвсяца балъ, и мы, конечно, обязаны его дожидаться.

Она вздохнула и, вынувъ изъ букета розу, стала ощипывать лепестки.

- Мнъ докторъ говорилъ объ этомъ балъ, сказала Агарина. Цъль въдь благотворительная.
- 0, конечно! мы будемъ плясать, ъсть и пить не для себя, а для малолътнихъ преступниковъ.
 - А знаете, промолвила вдругъ Агарина, ваша

мама премилая, что остается туть еще на два мѣсяца. Это она для меня.

Наташа вопросительно посмотръла на нее.

- Черезъ два мъсяца и я отсюда уъду, пояснила она.
- Куда?
- Куда-нибудь, произнесла она загадочно. А теперь побалуйте меня, Наташа, довольно вы ныли, сыграйте что-нибудь.
- Съ удовольствіемъ,—сказала Наташа и подошла къ старенькому, исцарапанному піанино, на которомъ лежала груда растрепанныхъ нотъ.—Что прикажете?—спросила она шутливо.
 - Вторую сонату Шопена.

Наташа немного смутилась.

- Я не играю этой вещи наизустъ.
- Неправда! докторша мнъ говорила, что вы недавно ее играли у нихъ.
- Право-же, я забыла,—отнѣкивалась Наташа.—Хотите первую сонату Бетховена. Это такая прелесть.
- Не надо, не надо, раздражительно проговорила больная. Вы нарочно не хотите мнъ доставить удовольствія.
- Какъ вамъ не стыдно, Женя! Я эту вещь рѣдко играю, потому что она меня очень волнуетъ, вотъ и все. Но если намъ непремѣнно хочется—извольте.

Она заиграла.

При первыхъ-же звукахъ Агарина вздрогнула, выпрямилась и вся подалась впередъ. Трепетные вначалъ, какъ подавленное рыданіе, звуки росли, расширялись, кръпчали, какъ-бы озаряя весь упоительный миражъ жизни—молодость, страсть, борьбу... Стройно и гордо лилась чистая мелодія. Вдругъ элегическій, захватывающій сердце аккордъ пронесся надъ темой. Идеалы недостижимы, говорилъ этотъ жалобный стонъ, надеж-

ды разбиты, грустно надвигается старость... все, все прошло... впереди—неразгаданная тайна смерти. Торжественные звуки похороннаго марша покрыли тихій плачь струнь, но воть ужъ и они замерли, и только шелесть вътра еще ропщеть надъ свъжею могилой.

Наташа быстро обернулась. Агарина, опустивъ голову на руки, судорожно всхлипывала. Это было такъ неожиданно, такъ необычайно... Наташа растерялась.

- Женя, голубчикъ, Господь съ вами... Милая! Что это вы?—повторяла она, трогая ее за дрожавшія плечи.
- Какъ страшно умирать, неудержимо рыдая, говорила Агарина. Я такъ люблю жизнь... Ужасно это прощаніе со всёмъ, со всёмъ... Звёзды будуть сіять, солнце грёть, люди смёяться, и все это не для меня... Ахъ, нётъ ничего ужаснёе смерти, воскликнула она съ новымъ порывомъ слезъ. Бросятъ въ могилу пучокъ цвётовъ, и кончено... А что въ нихъ! Цвёты хороши на живой груди...
- Женя... Женичка! полноте! Это я виновата, —разтроила васъ, своимъ нытьемъ и музыкой. И съ чего вдругъ такія мрачныя мысли. Вѣдь вамъ лучше. Лихорадки почти нѣтъ. Мнѣ докторъ говорилъ, что вамъ гораздо лучше.
- Вы меня не обманываете, —прошептала Агарина, —не утъщаете? —Она отняла отъ лица руки, и въ ея залитыхъ слезами огромныхъ, на худомъ лицъ, глазахъ засвътилась такая страстная мольба, такое отчаянное ожиданіе, что у Наташи застыли слова на губахъ. Она не выдержала этого молящаго, тоскующаго взора и, потупившись, стала гладить по головъ бъдную больную.

XIV.

Прошло нѣсколько дней. Коробьинъ, только что кончившій новый романъ "Карьеристь", объщалъ прочесть его у Софьи Петровны. Извѣстіе это, съ быстротой телефона переданное докторіпей, сильно взволновало избранное Седъ-Аметское общество, особенно дамъ, и особенно Люсеньку Панову, полагавшую, что она, по своему развитію, имѣетъ гораздо больше правъ на такое предпочтеніе со стороны литератора, чѣмъ "эта барыня", лишенная всякаго "внутренняго содержанія". Пылая негодованіемъ, Люсенька даже сдѣлала матери сцену.

— Это вы виноваты, — говорила она, чуть не плача, — изъ-за васъ никто у насъ не бываетъ; вы на всякаго мужчину смотрите, какъ на жениха... Ко мнъ никто подойти не смъетъ, вы сейчасъ тутъ, какъ тутъ.

Мать, сраженная этимъ градомъ обвиненій, пробормотала что-то о неблагодарности дітей, но видя, что дочь не на шутку огорчена, стала ее утізшать.

- Охота тебъ, Люсенька, принимать все къ сердцу! Всъ мужчины одинаковы, всъ они—подлецы,—сказала она.—Имъ только и нравятся такія кокетки, какъ Софья Петровна. За порядочными женщинами никто не ухаживаетъ. И писатель вашъ хорошъ! Совсъмъ отъ дому отбился—ъстъ и пьетъ у madame Криницкой.
- Все это силетни и предразсудки, —возразила дочь. —Вы лучше сходите къ Софъ Петровн и постарайтесь, чтобъ она пригласила насъ на чтеніе. Воображаю, какъ она теперь важничаеть! Да будьте полюбезн съ этою рыбой Наташей. Я недавно сконфузила ее немножко, и она, кажется, дуется на меня. Вотъ то-же субъекть!

- Эту и не разберешь, подтвердила мать, какъ говорится, ни Богу свъча, ни чорту кочерга.
- А вотъ посмотрите, Хомутовъ только съ ней и разговариваетъ,—гнѣвно замѣтила Люсенька.

Мать снисходительно улыбнулась.

— Какой ты ребенокъ, Люсенька, — сказала она, — не нонимаешь, что это дълается для отвода глазъ. Онъ въдь тоже къ маменькъ неравнодушенъ — и, наклонившись къ дочери, она таинственно прошептала ей на ухо: — говорятъ, Софья Петровна у него для какой-то картины позировала аи naturel..

Люсенька изобразила на своемъ лицъ презръніе и негодованіе.

На выраженное madame Пановой желаніе присутствовать на чтеніи, Софья Петровна сдвлала удивленный видь, какь-бы говоря: неужели это уже всвмъ извъстно!—и томно замътила, что авторъ разсчитывалъ исключительно на интимный кружокъ "своихъ", но что она, конечно, употребитъ все свое вліяніе, чтобы доставить удовольствіе Аннъ Михайловнъ и ея прелестной дочери.

Анну Михайловну чуть не взорваль этоть снисходительный тонь. У ней такъ и чесался языкъ отчитать, какъ слѣдуетъ, "сію даму", но она вспомнила Люсеньку и, любезно улыбаясь, произнесла, что противъ обаянія Софьи Петровны слишкомъ трудно устоять, и потому она считаетъ приглашеніе полученнымъ.

XV

Кофья Петровна съ серьезнымъ, сосредоточеннымъ видомъ пожимала руки своимъ гостямъ. Въ зеленоватомъ платъв съ широкимъ кушакомъ, стягивавшимъ

ея тонкую талію, и гладко причесанными волосами, она казалась совсёмъ молодою дёвушкой. Сидёвшая неподалеку отъ нея Люсенька (мать, по ея настоянію, осталась дома) мысленно оцёнивала и примёряла на себя ея туалеть. Коробьинъ сёлъ за отдёльный столикъ, на которомъ стоялъ графинъ съ водой, стаканъ и двё свёчи и, окинувъ строгимъ взглядомъ собравшееся общество, сталъ читать громкимъ, черезчуръ громкимъ голосомъ, выдававшимъ то невольное волненіе, которое овладёваетъ авторомъ, какъ бы мало онъ ни придавалъ значенія своей аудиторіи. Впрочемъ, онъ скоро оправился, голосъ зазвучалъ увёреннёе. Онъ читалъ бы недурно, если бы не преувеличенныя паузы, подчеркиванья и нюансы которыми обыкновенно отличается дилетантское чтеніе.

Романъ былъ написанъ бойко. Дъйствующія лица распадались на двъ категоріи—добродътельныхъ и порочныхъ. Добродътельныя неуклонно стремились къ идеалу и претериъвали... Порочныя творили всякія безчинства и наслаждались. Герой, современный человъкъ, коварно предавшій друзей молодости, бросившій на произволъ судьбы обольщенную имъ дъвушку и ея ребенка, быстро поднимается по общественной лъстницъ и достигаетъ "степеней извъстныхъ". Онъ не только ни разу въ жизни не ощущаетъ потребности оглянуться на прошлое, но даже не испытываетъ ни мальйшаго волненія при встръчъ, по прошествіи двадцати пяти лъть, съ когда-то опозоренною имъ женщиной, съ своимъ собственнымъ сыномъ, котораго мать—воплощеніе всъхъ совершенствъ,—воспитала идеалистомъ и энтузіастомъ, ежеминутно готовымъ на подвигъ.

Въ общемъ романъ оставлялъ впечатлѣніе неопредѣленное и вялое, несмотря на слова "бодрость", "энергія", "самодѣятельность", "уваженіе къ личности", "об-

щественные интересы", которыми были уснащены всъ страницы. Всъ слушали съ почтительнымъ вниманіемъ. Софья Петровна то опускала долу, то поднимала на автора свои удивительные глаза. Ея самолюбію льстило, что Коробьинъ, этотъ "извъстный", "уважаемый", "передовой" писатель—читалъ у нея и... для нея. Она знала, что отъ всвхъ этихъ женщинъ-труженицъ и святыхъ матерей, которыхъ онъ такъ трогательно описываеть, - онъ побъжить за ней, стоить ей только поманить его. Это сознаніе власти разніживало ее, дізлало ее особенно мягкою и снисходительною. Она точно озаряла всёхъ своимъ благоволеніемъ и съ кроткой лаской усадила подлъ себя Елену Ивановну, которая, затаивъ дыханіе, съ нескрываемымъ обожаніемъ глядъла на своего "великаго человъка". По окончаніи чтенія, Софья Петровна разсыпалась въ похвалахъ автору. Люсенька объявила, что романъ — восторгъ, сравнила Антона Филипповича съ Руссо, упомянула объ альтруизм'в и свобод'в воли. Авторъ, занятый хозяйкой, отв'вчалъ разсвянно на эти похвалы, и обиженная Люсенька, съ уязвленнымъ выражениемъ обратилась къ женъ романиста, надёясь въ ней встретить больше сочувствія. Но бъдной Еленъ Ивановнъ было не до нея. Она смотрѣла, какъ ея мужъ цѣловалъ у Софьи Петровны руку, благодаря ее за вниманіе къ его работъ, смотръла, какъ Софья Петровна, скромно улыбаясь, говорила, что напротивъ... это такой... такой жгучій вопросъ... она такъ интересуется... такъ благодарна... И глаза ея, когда она это говорила, такъ неотразимо сіяли изъ-подъ полуопущенныхъ, длинныхъ ръсницъ, что романистъ не выдержалъ и вторично нагнулся къ ея рукъ. У Елены Ивановны сдавило сердце.

"Мнъ онъ никогда такъ руку не цъловалъ", — подумала она, и вспомнилось ей, какъ она влюбилась въ

Антона Филипповича, увлеченная его горячими ръчами. Онъ былъ тогда молодымъ, подающимъ "блестящія надежды", сотрудникомъ виднаго журнала. Съ первыхъже шаговъ ихъ семейной жизни вся проза легла на ея плечи. Безсонныя ночи за шитьемъ, за скучными переводами, у изголовья больныхъ дътей... томительная бътотня по грошевымъ урокамъ... лишь-бы он не отвлекался отъ своей работы, не тратилъ своего таланта по мелочамъ. Какъ она радовалась его возрастающему успъху. А потомъ... когда случилась "исторія". Сколько пороговъ она объгала, сколько слезъ пролила предъ чиновничьими безстрастными лицами... И все это забыто. Ему нравятся остроумныя, изящныя женщины, а она неуклюжа, больна, раздражительна. Онъ смотритъ на нее, какъ на обузу... Прежде хоть Лёлей зваль, а теперь Елена Ивановна...

Аграфена Ивановна внесла второй самоваръ. Наташа, до сихъ поръ молча сидъвшая въ уголкъ, принялась за свои обычныя обязанности разливанія чая. Люсенька, на которую никто не обращалъ вниманія, подсъла къ Хомутову.

- Что-же вы ничего не скажете о романъ Антона Филипповича?—сказала она.
- Я слушаю васъ и Софью Петровну. При такихъ очаровательныхъ критикахъ я не смъю имъть своего сужденія. При томъ въ романъ всего больше трактуется о воспитаніи, а это для меня вопросъ посторонній. Дътей у меня, слава Богу, нътъ...

Софья Петровна возмутилась.

- Это вопросъ общечеловъческій, замътила она строго.
- Какой эгоизмъ, —воскликнула Люсенька. Я всегда думала, что душа художника должна отражать всъ

жизненныя явленія. Художники должны учить насъ, простыхъ смертныхъ.

Хомутовъ разсмъялся.

- Помилуйте, —возразилъ онъ, —вы хотите, чтобъ я у Антона Филиппыча хлъбъ отбивалъ. Chacun son metier, я торгую картинками, онъ назидательными книжками.
- Вы ошибаетесь, Хомутовъ, я своими книгами не торгую, —произнесъ Коробьинъ, значительно упирая на слово торгую.
- Извините, я не зналъ, что вы ихъ пишете задаромъ.
- Не задаромъ. Я получаю гонораръ за свой литературный трудъ, но я работаю лишь въ органахъ, извъстнаго, симпатичнаго мнѣ направленія. Въ смыслѣ "презрѣннаго металла",—прибавилъ онъ шутя, ваше положеніе гораздо выгоднѣе. Вы со спокойною совѣстью можете продать свою картину тому, кто больше за нее дастъ.
- Совершенно върно, я потому и сдълался живописцемъ, а не сочинителемъ,—сказалъ Хомутовъ такъ серьезно, что Люсенька не безъ удовольствія подумала: "ага, братъ, съълъ грибъ".

Но Софья Петровна, не любившая въ своемъ "салонъ" недоразумъній, поспъшила перемънить разговоръ.

- Все это шутки, сказала она, а я хочу знать ваше настоящее мнъніе о романъ.
- Что-жъ! Романъ хорошій измѣна, любовь, гражданская скорбь, все, какъ слѣдуатъ... Только вотъ ангелоподобная героиня, вы ужъ меня простите, Антонъ Филиппычъ,—немножко подгуляла.
- Сдълайте одолжение, не стъсняйтесь. Только чъмъ же это она подгуляла?

- Глупа очень, поясниль Хомутовь. Мало ей, что она самымъ фактомъ рожденія поставила сына, какъбы это сказать, ну, въ. неудобное положеніе, нѣтъ, она изъ кожи лѣзетъ, чтобъ окончательно испортить ему жизнь безсмысленнымъ воспитаніемъ.
- Безсмысленнымъ!—съ изумленіемъ возразиль Коробьинъ.—Не потому-ли, что она стремилась пробудить въ сынъ лучшія стороны человъческаго духа?
- Именно. Мать прежде всего должна желать своему ребенку счастья. А для этого нужно, во-первыхь—выучить его лгать, во-вторыхь—пользоваться чужимъ трудомъ, ибо чужимъ трудомъ пріобрѣтается почетъ, положеніе и всяческія радости, собственный-же ничего не даетъ, кромѣ униженія и рабства. А ваша героиня со своею вѣчною декламаціей: работай, говори правду, служи дѣлу,—съ пеленокъ обрекла сына на страданіе.
- Страдающій человъкъ лучше, чъмъ блаженствующая скотина,—возразилъ Коробьинъ.
- Все зависить отъ манеры выражаться, Антонъ Филиппычъ. Скажите, вмъсто блаженствующая скотина,—трезвый практикъ, и выйдетъ очень прилично.

Люсинька всплеснула руками. Коробьинъ презрительно усмъхнулся. Елена Ивановна съ сожалъніемъ поглядъла на художника. Даже Наташа, въ своемъ уголкъ за самоваромъ, повела плечами съ какимъ-то печальнымъ недоумъніемъ. Софья Петровна нахмурилась.

- Неужели вы совстить не умтете говорить серьезно?—произнесла она.
- Я и не думаю шутить,—отозвался художникъ.— Вольно-же вамъ не върить. Да въдь въ дъйствительности всъ родители такъ и поступаютъ, если не словомъ, то примъромъ.
- Вы, въроятно, судите по собственному воспитанію,—съ дъланнымъ смъхомъ проговорила хозяйка.

- И по собственному тоже,—невозмутимо замѣтилъ Хомутовъ. Бывало, мать моя бранитъ бабушку и вдругъ увидитъ меня.—Өедя, милый, не говори бабушкѣ, что я ее бранила, я тебѣ дамъ пряникъ, а скажешь всѣ уши отдеру.—Долженъ, впрочемъ, прибавить, что мать моя, какъ женщина необразованная, оставляла многаго желать по части дипломатіи.
- -- Такъ что по вашему образованіе убиваеть искренность,—ядовито спросиль Коробьинъ.
- Несомнънно. Цивилизація учить человъка скрывать свои чувства. И это очень хорошо. Искренность немыслима въ культурномъ состояніи. Искренній человъкъ— это дикарь, который лъзеть съ дубиной на всякаго, кто ему не по нраву.
- Вы невозможны сегодня,—сказала Софья Петровна,—я васъ прогоню.
- Оставьте его, —миролюбиво промолвилъ Коробьинъ, —которому надобли эти пренія, знаете пословицу: чъмъ-бы дитя не тъшилось, а Өедору Алексъичу всегда нравилась роль enfant terrible.

Онъ тряхнулъ своею львиною гривой и, придвинувъ свое кресло къ креслу Софьи Петровны, усълся въ него съ видомъ человъка, которому очень хорошо.

Елену Ивановну всю перевернуло.

- Антонъ Филиппычъ, —обратилась она къ нему, —пойдемъ домой... поздно.
- Я еще посижу,—сказалъ онъ,—но если тебъ хочется домой—я тебя не стъсняю.
- Какъ-же я одна, проговорила она съ возрастающимъ волненіемъ, — поздно и темно...
- Что за институтство, Елена Ивановна. Съ какихъ это поръ ты стала бояться ходить одна. Мать троихъ дътей и боится пройтись вечеромъ по улицъ. Ступай, ступай, дъти, чай, заждались тебя.

Елена Ивановна еле сдерживала слезы.

- Право, Антонъ, пойдемъ, мнъ что-то не по себъ.
- Идите, идите, Антонъ Филиппычъ, сказала Софья Петровна.—Жена велитъ, надо слушаться.
- Елена Ивановна, разръшите мнъ остаться еще на полчаса, улыбаясь, попросилъ Коробьинъ, но улыбались только его губы, глаза холодно и строго смотръли на жену.
- Позвольте ми довести васъ до дому, Елена Ивановна,—вызвался Хомутовъ.
- Ну вотъ тебѣ и кавалеръ нашелся, —промолвиль, усмѣхаясь мужъ.

Елена Ивановна стала поспъшно прощаться, ни на кого не глядя.

— И я съ вами, — заявила вдругъ Люсинька и тоже стала прощаться.

XVI.

Дгариной опять стало хуже. Лихорадка почти не покидала ее. Добрый Францъ Адамычъ забъгалъ къ ней по нъскольку разъ въ день, увърялъ ее, что все идетъ "досконале, бардзо добже", пустяки, незначительное обостреніе; но наединъ съ Наташей докторъ грустно покачивалъ головой, приговаривая: — "горитъ, бидачка, съ двухъ концовъ горитъ". Наташа почти не отходила отъ больной. Софья Петровна замътила по этому поводу дочери:— "Ти poses pour la soeur de charite", но этимъ и ограничился ея протестъ. Она была слишкомъ занята въ это время собой. Наташа ночевала у Агариной, чередуясь съ Аграфеной Ивановной, которая, казалось, совершенно забыла свое недавнее предубъжденіе противъ "актерки",—такъ терпъливо, ловко и спокойно она ухаживала за ней. Она-же первая осмъ-

лилась заговорить съ больной о священникъ, о которомъ ни Наташа, ни докторъ не ръшались даже упоминать. Примостившись какъ-то вечеромъ у кровати Агариной, Аграфена Ивановна дипломатически стала бранить докторовъ и лъкарства.

— Вотъ такъ-то, матушка, — разсказывала она, — и я годъ цъльный провалялась въ больницъ-рана у меня на ногъ открылась. И ръзали-то они меня, живодеры, и каленымъ жельзомъ жгли-ничего нъть легче. Лежу я это и плачу... Не молоденькая, а умирать не хочется. Весь въкъ мнъ за единый часъ показался, и жить-то, думаю, не успъла. Вдругъ наша нянька, умственная была женщина, и говоритъ: -- "тебъ-бы, Аграфенушка, священника позвать". И что-же, матушка, послушалась я ее, исповъдалась, пріобщилаеь, и такъ мит послт этого легко стало, ровно гора съ плечъ. Черезъ недълю изъ больницы выписалась, а тамъ меня простая дівушка травами вылічила. Воть и туть есть татарка, тоже травой лючить, очень, говорять, оть груди помогаетъ... Не позвать ли вамъ ее, Евгенія Николаевна, а?

Дъвушка обратила къ ней свое исхудалое лицо.

- Что-жъ, позовите, промолвила она слабо.
- И батюшку ужъ заодно, вкрадчиво вставила Аграфена Ивановна.

Въ глазахъ больной промелькнулъ испугъ.

- Развъ мнъ такъ плохо?—спросила она.
- Ничего не плохо. А все таки надо и о душѣ подумать.—Хоть то возьмите, жили вы въ актрисахъ, а ужъ актерская жизнь извъстно—одинъ соблазнъ, и не хочешь, да согръшишь. Можетъ, Господь и болъзнь на васъ наслалъ, чтобы вы покаялись. И чего вы, матушка, боитесь! въдь попъ не могильщикъ, съ собой

не унесетъ, придетъ и уйдетъ, — пошутила Аграфена Ивановна.

Больная отвернулась къ ствнв и молчала.

- Аграфена Ивановна, чего вы къ ней пристали, сказала Наташа, которая тревожно прислушивалась къ ихъ разговору.
- Вовсе не пристала, недовольно отвътила Аграфена Ивановна. Чай, душа-то у ней христіанская, а вамъ, Наталья Васильевна, довольно стыдно ихъ смущать.
- Она права, оставьте ее, заговорила Агарина. Я согласна, Аграфена Ивановна, сходите за священни-комъ... да поскоръй, хоть сейчасъ.

Ночь прошла спокойно. Наташа совсѣмъ одѣтая, спала крѣпкимъ сномъ на диванѣ. Вдругъ ей почудилось, что ее зовутъ. Она раскрыла глаза. Было еще очень рано, около четырехъ часовъ утра.

- Вамъ нужно что-нибудь, Женя, -- спросила она.
- Нѣтъ, я хотѣла только вамъ сказать, что мнѣ въ самомъ дѣлѣ стало лучше послѣ... вчерашняго (она не хотѣла сказать послѣ исповѣди)... Спите, голубушка, я васъ разбудила. Какая вы добрая... какіе всѣ добрые.

Наташа закрыла усталые глаза, но не прошло и получаса, какъ больная ее опять окликнула.

- Посмотрите, какое утро,—сказала она, и протянувъруки, прибавила:—Наташа, милая, хорошая, исполните мою просьбу.
 - Что такое?—спросила та, подходя къ ней.

Агарина обвила рукой ея шею, прижалась щекой къ ея груди и робко зашептала:

- Я хочу встать... Тамъ въ шкафу виситъ платье... бълое. Я хочу одъться и походить по комнатъ... Можно?
 - Вы устанете, Женя.
 - Ну, пожалуйста, пожалуйста, не отказывайте мнъ,

—говорила чуть не плача Агарина.—Я не устану, право, у меня есть силы...

Наташа поняла, что противоръчить безполезно и чтобъ успокоить больную, вынула изъ шкафа платье. Агарина обрадовалась, какъ ребенокъ, съла на кровати, начала одъваться и причесываться, но сейчасъ-же утомилась и покорно отдалась въ руки Наташъ. Та нъсколько разъ останавливалась, чтобы дать ей отдохнуть, уговорила ее лечь, но она капризно твердила: не хочу, не хочу. Наконецъ, туалетъ былъ конченъ. Наташа посадила ее въ кресло и подкатила къ окну. Солнце ужъ выплыло изъ-за горъ и весело сіяло на чистомъ прозрачномъ небъ.

— Какъ хорошо, какъ хорошо, блаженно улыбаясь, повторяла Агарина слабымъ, какъ шелестъ листьевъ, голосомъ. Тонкій румянецъ разлился по ея блѣднымъ щекамъ. Она закрыла глаза и затихла.

Аграфена Ивановна, пришедшая смѣнить Наташу, ахнула, увидѣвъ Агарину одѣтую и въ креслѣ. Та открыла глаза и улыбнулась своею прежнею, плутовскою улыбкой, словно радуясь, что вотъ она всѣхъ перехитрила.

- И какая-же вы красавица, барышня,—воскликнула Аграфена Ивановна,—чистый ангелъ!
- Правда?—промолвила она,—дайте мнъ зеркало, я такъ давно себя не видала.

Аграфена Ивановна, не замѣчая строгаго взгляда Наташи, сняла съ комода зеркало и поставила передъ больной. Она поглядѣла на себя долгимъ взглядомъ, потомъ сразу отшвырнула зеркало и заплакала...

— Какая я страшная стала, — прошентала она сквозь слезы, — а была хороша... всѣ говорили — и точно устыдившись этой внезапной слабости, она нахмурилась,

согнулась, съежилась и поникла головой, точно подстръленная итица.

Наташа посовътовала ей прилечь. Она безропотно позволила себя перенести на постель, и лишь, когда ее хотъли раздъть, уцъпилась пальцами за платье. Наташа ушла и вернулась только послъ объда.

- Что?-спросила она шепотомъ Аграфену Ивановну.
- Спитъ.
- Все время?
- Все время.

Наташа подошла къ кровати. Больная лежала неподвижно и спокойно. Выбившійся изъ-подъ ленты темный локонъ еще болѣе оттѣнялъ ея блѣдный лобъ. Дыханія почти не было слышно, и только длинные, тонкіе пальцы, тихонько перебиравшіе платье, указывали, что жизнь еще не отлетѣла. Наташа испугалась этой зловѣщей неподвижности и отправила Аграфену Ивановну за докторомъ. Онъ явился, осторожно пощупалъ пульсъ и, нагнувшись къ самому уху Наташи, произнесъ:

- Агонія, не мъщайте ей...

Агарина умерла въ тотъ-же вечеръ, не выходя изъ своего тихаго забытья...

XVII.

Давно ожидаемый балъ долженъ былъ состояться въ концъ февраля.

— И почему это ты не желаешь ѣхать?—обратилась Софья Петровна къ дочери.—Вообще, я замѣчаю въ тебѣ съ нѣкоторыхъ поръ что-то странное... доржишься особнякомъ, непонятою натурой. Если ты воображаешь, что тебѣ къ лицу этотъ видъ развѣнчанной королевы, то горько ошибаешься—ты просто смѣшна.

Наташа не отвъчала. Софья Петровна, разсерженная этимъ молчаніемъ, повелительно произнесла:

- Ты, кажется, не желаешь со мною разговаривать? Не собираешься-ли ты поставить меня въ уголъ за дурное поведеніе, —прибавилаона, разсмѣявшись короткимъ, нервнымъ смѣхомъ. Желала бы я знать, что значать эти мины?
- Богъ съ тобой, мама! Какія мины? За что ты сердишься, —промолвила Наташа, оглушенная этимъ потокомъ словъ. —Я никогда не была особенно разговорчива, а теперь... Я все еще подъ впечатлъніемъ смерти Агариной. Куда ни пойду, все она, бъдная, предо мной.
- Глупая сантиментальность, какъ и вся твоя возня съ ней, —возразила Софья Петровна. Је пе veux pas médire d' une morte, но все-таки скажу, что эта несчастная актриса имъла на тебя самое дурное вліяніе. Ты стала похожа на какую-то нигилистку, или курсистку. Даже Коробьинъ мнъ говорилъ это.
- Вотъ какъ! и ты позволяещь этому господину дълать тебѣ замѣчанія на мой счеть?—съ горечью произнесла Наташа.

Софью Петровну немного смутилъ непочтительный тонъ дочери.

- Отчего же,--возразила она насмѣшливо. Коробьинъ настолько порядочный человѣкъ, что съ нимъ можно говорить обо всемъ. И чѣмъ онъ тебѣ не угодилъ! Ахъ, да! воскликнула она такимъ голосомъ, точно ее внезапно озарила истина. Хомутовъ къ нему не благоволитъ. Кстати, этотъ интересный художникъ слишкомъ явно за тобой ухаживаетъ. Совѣтую тебѣ быть осторожною. Онъ изъ породы мотыльковъ.
- За мной никто не ухаживаетъ, мнъ этого не нужно, — угрюмо отвътила Наташа.

— Ну, конечно, произнесла Софья Петровна тонкимъ, протяжнымъ фальцетомъ. — Мы такъ серьезны, такъ добродътельны, мы—выше міра и страстей. Одна бъда—очень ужъ подозрительна эта наружная святость. Не даромъ въдь говорится, что въ тихомъ омутъ... ха, ха, ха!..

Наташа не выдержала материнскаго пиленія. На глазахъ ея сверкнули слезы.

— За что ты только меня мучишь?—проговорила она и отвернулась.

Софью Петровну такъ и повело отъ этихъ словъ. Она была уже въ той степени гнѣва, когда остановиться очень трудно.

- Мучу! я тебя мучу!—воскликнула она, все больше и больше раздражаясь. Еще бы! Дочка совершаеть геройскіе подвиги, а пустая кокетка-мать, изволите-ли видіть, отрываеть ее отъ болящихъ и страждущихъ... велитъ вхать на балъ, гдіто, ужасъ! будутъ танцовать, а не хныкать о суетіт міра сего. Въ самомъ діть! Какой позоръ для человітества!
 - Мама!
- Я, право, удивляюсь твоему великодушію,—продолжала Софья Петровна, не слушая, написала бы своему тятенькі, такъ и такъ моль, спете тама завертілась въ вихріз світскихъ удовольствій, а меня держить въ черномъ тіліз. Этотъ россійскій Шопенгауэръ живо бы сократиль непокорную супружницу. Впрочемъ, не долго я вамъ буду мізшать... Очищу мізсто... не бойтесь,—и бросившись на диванъ, Софья Петровна истерически зарыдала.

Дочь кинулась къ ней.

- Мама, перестань. Я по**в**ду куда хочешь, только, пожалуйста, перестань.
 - -- О, я знаю тебя, -- рыдала Софья Петровна. -- Ты

скрытная, но я тебя вижу насквозь. Вы оба съ отцомъ ненавидите меня за то, что у меня въ жилахъ кровь течетъ, а не кислая простокваща, какъ у васъ.

— Въ томъ и горе наше, что ты не въришь, что у насъ тоже есть кровь и нервы,—чуть слышно проговорила дъвушка, подавая матери воду.

XVIII.

- Въ комнатъ было душно. Пахло духами и цвътами. На столъ, надъ голубоватымъ пламенемъ спиртовой лампочки, грълись щипцы; тутъ же стояли граненые флаконы, раскрытые футляры и плюшевыя шкатулки съ цълымъ ворохомъ лентъ, перчатокъ, кружевъ. На диванъ и по стульямъ грудой валялись смятыя юбки. Свътъ отъ двухъ лампъ, висъвшихъ по объ стороны большого зеркала, падалъ на обсыпанное пудрой лицо Софьи Петровны. Она была въ черномъ бархатномъ платъъ, съ низко выръзаннымъ лифомъ, эффектно выдълявшимъ ея шею, плечи и руки. Наташа и Аграфена Ивановна ползали на колъняхъ, въ десятый разъ перекладывая складки длиннъйшаго трена. Софья Петровна находилась въ обыкновенной предбальной ажитаціи.
- Это ни на что не похоже, повторила она капризно. Не могли раньше позаботиться, чтобы все было въ порядкъ.
- И то въ порядкъ, проворчала выведенная изъ терпънія Аграфена Ивановна, да развъ на васъ угодишь.
- Наташа молчала. Она знала, что эта сцена повторяется каждый разъ, когда мать одѣвается, и только пальцы ея еще проворнъе забъгали и замелькали по платью.
 - Ап!-вскрикнула вдругъ Софья Петровна, точно ее

ужалила змѣя. — Ты меня всю исцарапала... Оставь меня... мнѣ не нужно твоей милости... Все это нарочно, чтобъ я осталась дома... Изволь, я останусь.

Она вырвала пілейфъ и, сѣвъ на диванъ, стала тихо и быстро барабанить ногой по ковру.

— Мама, въдь я нечаянно тебя уколола, —проговорила Наташа звенящимъ отъ волненія голосомъ. —Какъ ты можешь думать, что я нарочно? Пожалуйста, встань! сейчасъ будетъ готово, только въ одномъ мъстъ прикръпить. Ужъ поздно.

Софья Петровна не отвъчала и продолжала стучать ногой.

Аграфена Ивановна съ сожалѣніемъ посмотрѣла на измученное лицо своей барышни.

- Да что вы ихъ упрашивате, Наталья Васильевна, —сказала она грубо, —пущай куражатся, точно вы ихъ карахтеру не знаете. Другія-то матери дочерей наряжають, а у насъ...
- Этого только не доставало,—произнесла Софья Петровна,—вы ужъ на меня жалуетесь прислугъ.
- Чего жалиться! И такъ всѣ видять,—возразила горничная.
- Молчите, Аграфена Ивановна, это не ваше дѣло,— заговорила Наташа.—Полно, мама, право, поздно. Вѣдь мнѣ тоже еще нужно одѣтся. Шлейфъ лежитъ чудесно, посмотри,—и она взяла мать за руку.

Софья Петровна взглянула мелькомъ на часы и какъ бы нехотя позволила дочери приподнять себя съ дивана. Пальцы дъвушки опять забъгали по платью. Аграфена Ивановна, стиснувъ зубы, угрюмо вынимала булавки изъ тъхъ мъстъ, которыя Наташа скръпляла иголкой. Пригнувъ голову къ бархату, она, наконецъ, откусила послъднюю шелковинку. Софья Петровна приказала зажечь свъчи у параллельнаго зеркала. Лицо

ея прояснилось — платье сидвло божественно. Мягкія складки такъ свободно драпировали ея фигуру, будто это не стоило никакого труда, будто Софья Петровна родилась на свъть въ этомъ роскошномъ одъяніи. Дочь подала ей на блюдъ цвъты. Софья Петровна выбрала перевитыя зеленью камеліи и туберозы, стряхнула блествынія на нихъ капли воды и умълою рукой приколола ихъ къ лифу и волосамъ. Потомъ взяла щипцы, подвила развившійся локонъ, старательно смахнула съ лица пудру и, обвивъ шею двойною ниткой жемчуга, еще разъ поглядъла на себя въ зеркало. Глаза ея сверкнули торжествомъ.

- Одъвайся скоръй, —сказала она дочери.
- -- Какая ты красавица, мама, съ неподдѣльнымъ восторгомъ произнесла Наташа.—Хороша вѣдь?..—обратилась она къ Аграфенѣ Ивановнѣ, желая ее смягчить.
 - Хороши-съ, сухо процъдила та.

Наташа одълась скоро. Она была очень мила, въ своемъ бъломъ газовомъ платьъ, легкимъ облакомъ охватывавшемъ ея небольшую, граціозную фигуру. Мать окинула ее критическимъ взоромъ и воткнула ей въ косу пучокъ маргаритокъ.

- Это оригинально и главное молодо молодо, въ жанръ твоей красоты, сказала она. Только ты очень блъдна, выпей немного вина.
 - Не надо, я согрѣюсь на балу.
- Ну, ладно,—согласилась Софья Петровна и съ удовольствіемъ подумала, что дочь смотрить совсѣмъ дѣвочкой.

XIX.

Балъ давно начался. Оркестръ звенвлъ и гудвлъ на крошечной эстрадв. Дирижеръ — высокій, худощавый человвкъ съ необыкновенно длинными усами, извивался, махая во всв стороны смычкомъ и скринкой, которую, въ минуты смятенія, онъ стремительно поднималъ къ подбородку, играя одинъ за всвхъ. Танцами снисходительно распоряжался господинъ, представительной наружности, съ великолвиными, черными, какъ смоль, баками, сообщавшій всвмъ и каждому, что въ Одессв безъ него не обходится ни одинъ балъ. Танцующихъ было много, хотя дамы, по обыкновенію, преобладалимужскіе фраки утопали среди лентъ, бархата, кружевъ и цввтовъ.

Софья Петровна царила. Она была необыкновенно хороща, и только дамы находили, что въ ней нѣтъ ничего особеннаго, увъряли, что она набълена и, указывая на Наташу, недоумъвали, какъ это можно одъвать върослую дочь, какъ подростка. А Софья Петровна чувствовала себя царицей и, милостиво взирая на вертъвшійся вокругъ нея, какъ вокругъ солнца, мірокъ, улыбалась всъмъ своею красивою, манящею улыбкой. Коробьинъ не отходилъ отъ нея. Когда она танцовала, онъ садился на ея стулъ, бралъ ея въеръ и жадными глазами слъдилъ за ея улетающимъ платьемъ. Она глядъла на него блестящими, смъющимися глазами и спрашивала, отчего онъ не танцуетъ.

- Старъ слишкомъ, -- отвъчалъ онъ.
- Это вы-то стары? Полноте! Послѣ этого и я старуха! Да я объ этомъ и слышать не хочу. Какое намъ дѣло до нашихъ метрическихъ свидѣтельствъ! Посмотрите кругомъ и скажите, кто моложе,—мы съ вами,

или эти золотушныя дівицы и кавалеры, которые двигаются, какъ заведенныя маріонетки? Ніть, намъ еще рано въ архивъ...

- Вамъ-то навърно рано, сказалъ онъ и уныло поглядълъ въ ту сторону, гдъ сидъла Елена Ивановна. Софья Петровна поймала этотъ взглядъ.
- Послушайте,—начала она,—мнѣ кажется, что ваша жена на меня сердится.
 - Не думаю, промолвиль онь, слегка запинаясь. Она глянула на него съ боку.
- Судя по тону вашего отвъта, вы въ этомъ убъждены,—замътила она и прибавила фамильярнымъ полушепотомъ:
 - Надъюсь, она не ревнуетъ.

Онъ неопредъленно улыбнулся и пожалъ плечами:

— А вы не замъчаете, —продолжала Софья Петровна, —что всъ дамы точно сторонятся меня? Даже дочка моя куда-то исчезла. Богъ мой! Какъ дики еще у насъ нравы. Однако, я вовсе не желаю быть предметомъ демонстрацій. Дълать нечего. Дайте мнъ руку и двинемся вмъстъ на враговъ.

Коробьинъ подвелъ ее къ сидъвшимъ рядомъ съ докторшей: Еленъ Ивановнъ, Люсенькъ и теме Пановой. Софья Петровна сказала что-то на ухо докторшъ. Та фыркнула и сейчасъ-же усадила ее рядомъ съ собой. Елена Ивановна только покосилась, когда мужъ обратился къ ней съ какимъ-то вопросомъ. Они поссорились предъ самымъ баломъ (онъ настойчиво совътовалъ ей остаться дома), и у ней еще глаза были красны отъ недавнихъ слезъ.

Софья Петровна съ участіемъ, почти нѣжностью, освѣдомилась о ея здоровьѣ. Елена Ивановна не только ничего ей не отвѣтила, но рѣзко, будто ее укусила муха, отвернулась отъ нея. Софья Петровна даже бровью

не моргнула, но мысленно рѣшила, что эта дерзость дорого обойдется Еленѣ Ивановнѣ и удвоила любезность къ остальнымъ дамамъ. Люсенькѣ она подарила розу изъ своего букета, сказала, что ея туалетъ—восторгъ, а брильянты безподобны (Люсенька сіяла, какъ электрическое солнце). Остановивъ проходившую мимо Наташу, Софья Петровна спросила,—танцуетъ-ли она слѣдующую кадриль и, узнавъ, что нѣтъ, моментально доставила объимъ барышнямъ кавалеровъ. Люсенька совсѣмъ растаяла отъ такого неожиданнаго вниманія. Послѣ кадрили съ эстрады грянули раздражительные звуки всѣмъ надоѣвшаго вальса — "Дунайскія волни". Къ Софьѣ Петровнѣ подлетѣлъ красивый гвардейскій полковникъ. Она лѣниво опустила руку на его плечо и понеслась въ его объятіяхъ, хлеснувъ своимъ длиннымъ треномъ Коробьиныхъ, которые, нахмурившись и глядя въ разныя стороны, сидѣли другъ подлѣ друга. Было уже поздно. Въ залѣ стояла тропическая жара.

Было уже поздно. Въ залѣ стояла тропическая жара. Мужчины утирали лбы платками. Дамы усиленно обмахивали вѣерами утомленныя, разгорѣвшіяся лица. Наташа, незамѣтно удалившаяся отъ матери, около которой опять очутился Коробьинъ, увидала въ толпѣ Хомутова и позвала его.

- Өедоръ Алексвичъ, вы не танцуете?
- Нътъ. Неужели вы хотите меня пригласить, воскликнулъ онъ.

Она усмъхнулась.

- Не бойтесь! я сама скрываюсь отъ мамы, чтобъ она не навязала мнъ кавалера. Будьте добры, отыщите мнъ стулъ гдъ-нибудь возлъ окна. У меня голова разболълась отъ духоты.
- Съ величайшимъ удовольствіемъ. Само собою разумѣется, что я раздѣлю ваше уединеніе, и вы мнѣ позволите говорить всякій вздоръ.

- Что хотите. Мнъ сегодня все-все равно.
- Это что-то подозрительно, сказаль художникъ и повель ее въ конецъ залы, гдв онъ замвтиль нъсколько свободныхъ стульевъ.

Она съла и оперлась на подоконникъ. Увидъвъ офиціанта, разносившаго на подносъ воду и мороженое, она поманила его въеромъ и выпила одинъ за другимъ два стакана воды.

- Какъ-бы вы не простудились, Наталья Васильевна?
- Нътъ. ничего, -- отвътила она и замолчала.

Онъ тоже замолчалъ и невольно залюбовался ея маленькою, красиво склоненною головой, нѣжными очертаніями рукъ, сквозившихъ подъ кружевомъ, всею ея тонкою фигурой, отъ которой вѣяло тихой, безсознательной граціей.

- Что-же вы не говорите?—сказала Наташа.
- Вы испортили мнѣ все настроеніе. Я гляжу на вась и думаю: воть-бы модель для Офеліи. И отчего у вась такой меланхолическій видь?
- Не знаю, право. Мнѣ всегда не по себѣ на балахъ, а сегодня особенно. Всѣ (она указала на танцующихъ) нарядны, веселы, довольны, а я думаю, какими они были до пріѣзда сюда, какими будутъ завтра, и мнѣ грустно.
- Это потому, что вы все ищете безконечнаго. Ахъ, какая вы неблагодарная ученица, пошутилъ онъ, сколько разъ я вамъ твердилъ: послала вамъ судьба пріятный моменть—наслаждайтесь и не только не ищите,—не желайте повторенія: повтореніе всегда скверно. Но женщины ничего не смыслять въ поэзіи. Онъ не умъютъ цънить красоту впечатльнія, иллюзію перспективы. Уткнутся лбомъ въ картину и сердятся, что предъ ними не богъ, а размалеванное полотно.

- Можетъ быть, вы и правы, сказала она и задумалась.—Видъли вы маму?—спросила она вдругъ.
- Видѣлъ. Какъ она поразительно хороша сегодня, воскликнулъ онъ. — И, странное дѣло, у васъ совсѣмъ разныя лица, но минутами вы бываете на нее очень похожи.
- Вотъ ужъ ни капельки, съ живостью возразила дъвушка, —я вся въ отца.
 - Вашъ отецъ, должно быть, васъ очень любитъ? Лицо ея затуманилось.
- Да, но у него замкнутый характеръ, и онъ не умѣетъ высказывать своихъ чувствъ. Посмотрите, Өедоръ Алексѣичъ, сказала она, помолчавъ, какая Люсенька сегодня интересная.
- И смотръть не хочу. Она съ матерью, а я этой дамы боюсь, какъ огня. Замътили вы, Наталья Васильевна, какіе у нея глаза? Точь-въ-точь два штопора—такъ и выкупоривають изъ васъ нутро.

Наташа подняла брови.

- Какое дикое сравненіе,—промолвила она,—можноли такъ отзываться о людяхъ.
- Пообъдали-бы вы у нея хоть разъ, посмотрълъ-бы я, чтобы вы заговорили.
- Я-бы не пошла объдать къ людямъ, которые мнъ не нравятся.
- Ну, ужъ это извините! Если-бы m-me Панова захотѣла—пошли-бы. Я оглянуться не успѣлъ, какъ она въ меня вцѣпилась. Каждый кусокъ она сопровождала въ мое горло разсказомъ, какая ея Люсенька красавица, какая она умница, сколько у нея поклонниковъ, какъ она художественно декламируетъ, поетъ, рисуетъ, танцуетъ и кончила заявленіемъ, что если я очень попрошу, мнѣ позволятъ написать портретъ этого "чуднаго ребенка". Я не попросилъ и бѣгаю теперь отъ

нихъ, какъ чортъ отъ ладона. Но вы меня совсѣмъ не слушаете, Наталья Васильевна?...

Она дъйствительно его не слушала, и только теперь, когда онъ ее окликнулъ, вздрогнула, точно очнувшись отъ какой-то тяжелой думы.

- Өедоръ Алексвичъ,—заговорила она, внимательно устремивъ на него свои большіе глаза, въ которыхъ сверкнулъ мрачный огонь,— Өедоръ Алексвичъ, вамъ никогда не приходило въ голову, что красота для женщины —несчастье?
 - Несчастье?-переспросиль онъ удивленно.
- Больше чвмъ несчастье, —проклятіе... да, да, проклятіе, —настойчиво повторила Наташа. Она сушить сердце, убиваеть душу... Изъ-за нея, изъ-за этой мерзкой красоты, губять безо всякой жалости самыхъ близкихъ людей. Что значить жизнь близкихъ, которые давно опротивъли, въ сравненіи съ восторгомъ чужихъ, которые всегда веселы, любезны и интересны. О, Боже мой, Боже мой, прошептала она, право, мнв иногда кажется, что я съ ума сошла...

Слезы заблестъли на ея пышныхъ, темныхъ ръсницахъ.

— Ахъ, не смотрите на меня, —проговорила она вдругъ совсъмъ по дътски и, поднявъ руку, прикрыла ею глаза.

Хомутовъ взялъ другую ея руку въ объ свои и сталъ гладить.

— Наталья Васильевна,—промолвиль онъ ласково,— милая, хорошая, маленькая Наташа, успокойтесь. Разв'в можно доводить себя до такого состоянія. Ну-ка, разскажите мнів, какое такое у вась большое горе? Кто вась обидівль?

Онъ хотѣлъ сказать еще что-то, но въ эту минуту предъ ними, точно изъ-подъ земли, выросла Елена Ивановна, и онъ замолчалъ.

- Ваша тата васъ зоветъ, не своимъ голосомъ сказала Елена Ивановна Наташъ, вздрогнувшей отъ ея неожиданнаго появленія.
- Меня? Гдъ-же мама? спросила она, окидывая залу влажными еще отъ слезъ глазами.
- Она не здѣсь, пойдемте скорѣй,—отвѣчала Елена Ивановна и, схвативъ за руку дѣвушку, потащила ее за собой.

Хомутовъ попробовалъ ее остановить.

- Елена Ивановна, что съ вами? Что это значить?
- Идемте, идемте, —лепетала Елена Ивановна.

Она почти бъгомъ увлекла изъ залы Наташу, которая, ничего не понимая, испуганно спрашивала то у нея, то у догнавшаго ихъ Хомутова, не дурно-ли матери. Елена Ивановна не отвъчала. Пробъжавъ длинный корридоръ, она почти толкнула дъвушку въ боковую маленькую комнату, всю заставленную цвътами слабо освъщенную краснымъ японскимъ фонаремъ. Наташа бросилась было туда и, вдругъ, какъ вкопанная, замерла на порогъ Въ глубинъ комнаты сидъла ея мать, а предъ нею, на колъняхъ, обвивъ руками ея станъ, рыдалъ Коробьинъ и шепталъ что-то непонятное. Наташа хотъла крикнуть, но голосъ оборвался.

— Ха-ха-ха, — ръзко и громко захохотала Елена Ивановна, — какая у васъ маменька, Наталья Васильевна... Учитесь!...

Въ комнатъ послышался крикъ испуга. Наташа зашаталась. Хомутовъ, блъдный, какъ мертвецъ, хотълъ ее поддержать, но она оттолкнула его сильнымъ движеніемъ и, ни на кого не взглянувъ, съ выраженіемъ безумнаго ужаса на искаженномъ лицъ, рванулась впередъ и побъжала, какъ будто ее подхватили невидимыя крылья. Софья Петровна, гордо закинувъ голову, выступила изъ комнаты. — Что тутъ за шумъ? — произнесла она. — Ахъ, это вы, Елена Ивановна, вы върно ищете вашего мужа? Онъ цълъ и невредимъ.

Коробынъ подошель къ женъ.

- Ты становишься невыносима, процедиль онъ сквозь зубы, крепко до боли стискивая ея руку.
- Я все видъла, все видъла,—твердила Елена Ивановна.
 - Ничего ты не видала. Ты просто съ ума сощла.
- Очень сожалью, что сдълалась невольною причиной семейнаго недоразумънія,--высокомърно проговорила Софья Петровна.—Өедоръ Алексъичъ, дайте мнъ руку. Вы не видали Наташи?
- Ваша дочь вмѣстѣ со мной любовалась на васъ, задыхаясь, съ трясущимся подбородкомъ, прохрипѣла Елена Ивановна.
- У васъ галлюцинаціи,—холодно возразила Софья Петровна и, взявъ подъ руку Хомутова, величественно прослѣдовала мимо супруговъ.

XX.

Наташа не помнила, какъ она очутилась дома. Отворившая ей дверь Аграфена Ивановна попятилась отъ нея, какъ отъ привидънія. Блъдная, въ изорванномъ платьт, она силилась овладъть собою хоть настолько, чтобъ отвъчать кое-какъ на вопросы горничной.

— Мнъ дурно... скажите ей, что я легла, — вымолвила она съ трудомъ шевеля свой точно одеревенъвшій языкъ.

Аграфена Ивановна не унималась.

— Неужто она не видала, какъ вы ушли? все небось съ шалыганами своими хи-хи-хи да ха-ха-ха... И когда

это она уймется, гръховодница этакая. Матушка,—продолжала Аграфена Ивановна со слезами,—не давайся ты ей въ руки, не потакай ей! Помяни мое слово: какъ она баринову жизнь съъла,—такъ и твою съъстъ. Не мать она тебъ, а мачиха лютая...

- Да оставите-ли вы наконець меня въ покоъ?!—воскликнула Наташа, и въ ея надорванномъ голосъ прозвучала такая мука, что Аграфена Ивановна сразу прекратила свои причитанья.—Не надо... сама раздънусь... сама... Оставьте меня, —повторила она еще разъ, уходя въ свою комнату и запирая дверь на ключъ.
- Царица небесная, какъ бы она чего надъ собою не сдълала!.. прошептала, крестясь, Аграфена Ивановна.

Не успъла Наташа скрыться, какъ явилась Софья Петровна.

- Барышня дома?-спросила она.
- Онъ легли и просили ихъ не безпокоить,—у нихъ очень голова болить,—проговорила Аграфена Ивановна, машинально становясь передъ Наташиной дверью.

Софья Петровна остановилась въ неръшительности; потомъ, отстранивъ горничную, постучалась къ дочери. Отвъта не было.

"Оно, пожалуй, и лучше",—подумала она,—"отложить сраженіе до завтра".

- Давно она легла?
- Какъпришлисъ-съ,—сънесвойственной ей поспѣшностью отвѣчала Аграфена Ивановна, желая выгородить барышню.—Я даже подивилась, что это, моль, вы однѣ матушка. А она говоритъ,—ничего больше, какъ у меня голова закружилась, ступай ,говоритъ, къ маменькѣ и скажи, чтобы не безпокоилась обо мнѣ. Я только было собралась. а вы сами пожаловали.

Софья Петровна недовърчиво выслушала эту реляцію, но ничего не возразила и, на-скоро раздъвшись, отпустила горничную.

А Наташа въ это время лежала, свернувшись на кровати, въ своемъ бальномъ платьъ, и плакала горькими, горячими, безутъшными слезами. Сцена въ полу-темной комнатъ такъ и стояла предъ ней...

Эта короткая сцена, длившаяся мгновеніе, разрасталась въ ея омраченномъ мозгу во что-то такое страшное, обидное, небывалое, такимъ жгучимъ стыдомъ заливало оно ея душу, что и теперь, когда она была одна, когда кругомъ было темно и тихо, ей казалось, что она стоитъ нагая среди улицы, что всв видятъ ея позоръ что на нее устремлены сотни глазъ,—и она прятала въ подушки свою пылающую голову, крвико сжимая ее руками, точно это могло помвшать головв думать, а сердцу надрываться.

— Боже мой, Боже мой, взывала она въ отчаяніи, изнемогая отъ безсилія отогнать отъ себя ненавистный призракъ. Она чувствовала, что онъ въ ней, что онъ проникъ въ самую глубь ея существа и жжетъ ея кровь медленной отравой. Изъ обступившей ее со всвхъ сторонъ тьмы, одна лишь мысль выръзывалась ясно, непреложно:-жизнь кончена... послъ этого нельзя жить, нельзя, нельзя... Нужно исчезнуть, сгинуть... сейчасъ, сію минуту. Предъ ней, какъ живой, промелькнулъ печальный, одинокій, молчаливый образъ... образъ ея отца. Сколько онъ долженъ былъ выстрадать, чтобы сдёлаться такимъ печальнымъ, блёднымъ и молчаливымъ. А теперь, когда онъ узнаетъ про это... Онъ умретъ. О нътъ! Нътъ! онъ не долженъ этого узнать... никогда... никогда!.. Чего бы ей это ни стоило, она все сдълаетъ, все перенесетъ, только бы его миновала эта чаша. Безконечная жалость къ отцу заглушила собственную боль.

Что-то похожее на раскаяніе шевельнулось въ ея сердцѣ. До сихъ поръ она вѣдь ничего не дѣлала, чтобы хоть сколько-нибудь скрасить его долю. Всѣ свои заботы, всю свою нѣжность она отдавала ей, ей, исковеркавшей жизнь ея бѣднаго отца. Наташа встала съ кровати и съ какимъ-то отвращеніемъ сорвала съ головы цвѣты, сбросила и отшвырнула ногой свое измятое, кружевное платье. Она подошла къ окну. На посвѣтлѣвшемъ уже небѣ занималась заря длинными, золотисто-блѣдными полосками. Скоро день... Придутъ люди... вѣдь имъ любопытно. Надо будетъ говорить, вывертываться, лгать... Остановившіяся было слезы хлынули съ новою силой.

- Что-же дълать.. буду жить и буду лгать, проговорила она громко и, точно испуганная звукомъ собственнаго голоса, упала на колъни и, приникнувъ лицомъ къ холодному полу, страстно зашептала:
 - Господи спаси, Господи вразуми!..

XXI.

Софья Петровна проснулась поздно. Вчерашнее происшествіе предстало предъ ней во всѣхъ своихъ неприглядныхъ подробностяхъ, и, въ первую минуту, она кругомъ обвиняла себя. Съ ея тактомъ, съ ея умомъ и позволить себя скомпрометтировать, какъ дѣвчонкѣ. Это непростительно... И хоть бы она была влюблена въ этого косматаго литератора... а то вѣдь такъ... просто отъ скуки дурачилась... И вдругъ—такой скандалъ... Надо уѣхать—не сейчасъ, конечно, а дня черезъ тричетыре, когда вся эта глупость уляжется. Прежде всего, надо поговорить съ Наташей.

При воспоминаніи о дочери, Софья Петровна покраснъла. На нее она была особенно сердита. Если бы не

ея идіотская выходка — ничего бы не произошло. Эту дуру, Елену Ивановну, мужъ бы приструнилъ и все бы обошлось прилично. А тутъ, не угодно-ли, дочка, возмущенная поведеніемъ матери, изволила въ одномъ плать убъжать съ бала...

— Да за это одно ее казнить мало.

Гнъвъ превозмогъ всъ другія чувства въ Софьъ Петровнъ. Разсудокъ подсказываль ей, что благоразумнъе дипломатически капитулировать передъ дочерью, увърить ее, что она ошиблась, что ей показалось, но самолюбіе вопіяло все громче, и Софья Петровна ужъ ничего не могла соображать. Кровь ударила ей въ голову, она почувствовала, что не въ силахъ дольше сдерживаться и разомъ поднялась съ постели. Сунувъ босыя ноги въ стоявшія у кровати туфли, она накинула капотъ и осторожно, чтобы не привлечь вниманія Аграфены Ивановны, на цыпочкахъ проскользнула въ залу.

— Можетъ быть, оно даже лучше,—подумала она, уже стоя на порогъ Наташиной комнаты,—поменьше смиренія,— и, ръшительно повернувъ ручку, вошла къ дочери.

Наташа сидъла на стулъ у окна, одътая и причесанная, какъ обыкновенно. Если-бы не синеватая блъдность, покрывавшая ея лицо, можно бы подумать, что ничего не случилось.

— "Приготовилась", — пронеслось въ головъ Софьи Петровны.

Увидъвъ мать, Наташа вся похолодъла и опустила свои заплаканные глаза.

— Скажи, пожалуйста,—начала Софья Петровна медленнымъ, низкимъ голосомъ,—какъ назвать твой вчерашній поступокъ?

Дъвушка еще ниже склонила голову и ничего не отвъчала.

— Глупая баба, —продолжала Софья Петровна, —которая ревнуеть своего мужа ко всякой юбкв, устраиваеть на меня облаву и—что же! моя родная дочь помогаеть ей опозорить меня. Если я сдвлалась притчей во языцвать, если сегодня весь городь будеть обливать меня помоями, то знай, что первый комъ грязи бросила въменя ты! Ты мой злвйшій врагь. Я тебя ненавижу! Ты отдала меня на съвденіе шалопаевь и разныхь добродвтельныхъ мерзавокъ... Довершай-же свое благородное двло. Садись и пиши доносъ отцу, что застала мать съ любовникомъ. Мнв все равно. Теперь я въвашей власти. Потвшайтесь.

Софья Петровна говорила неудержимо, порывисто, слова такъ и лились съ ея устъ, и съ каждымъ словомъ собственная вина умалялась въ ея сознаніи до ничтожества.

— "Конечно, все это вздоръ, выдумки... ни въ чемъ она не виновата... всъ сговорились преслъдовать ее, мучить, обижать"...

Ей стало такъ жалко себя, что она искренно заплакала.

Наташа сидъла все также безмолвно, точно застывъ въ своей неподвижной позъ. Софья Петровна искоса взглянула на нее.

— "Вотъ каменная, —подумала она, —я плачу, а ей ни по чемъ", —и это показалось ей такъ жестоко, что она еще пуще расплакалась.

Блъдныя губы Наташи вдругъ дрогнули.

— Я хочу тебъ сказать, хочу тебя попросить,—вымолвина она такимъ глухимъ, такимъ убитымъ шепотомъ, что Софья Петровна сразу перестала плакать и съ какимъ-то даже страхомъ поглядъла на дочь. — Я хочу

тебѣ сказать, —продолжала Наташа, глубоко переводя духъ, — что ты права... я не должна была... уходить. Прошу тебя объ одномъ. Сдѣлай такъ, чтобы до отца ничего не дошло... и я клянусь тебѣ, что буду тебѣ самою покорною дочерью. Ты говоришь, что ненавидишь меня. Я думаю, ты это сгоряча сказала. Но, если это такъ, я буду ждать, пока ты перестанешь меня ненавидѣть, только... пожалѣй папу. Уѣдемъ отсюда сегодня.

Софья Петровна была озадачена. Что-то чужое, новое звучало въ словахъ дочери, да и сама дочь стала какая-то чужая, новая. Эти огромные, печальные глаза, этотъ скорбный голосъ,—неужели это глаза и голосъ смирной Наташи... дъвочки...

- Наташа, сказала Софья Петровна, подходя къ ней и взявъ ее за плечи, очнись, что съ тобой? Въдь ничего не случилось, совсъмъ не изъ чего намъ хоронить себя. Ну, я вспылила, такъ въдь ты сама признаещь, что виновата предо мной. А что я тебя ненавижу, такъ это, конечно, вздоръ. Уъхать отсюда сейчасъ нельзя. Неужели ты этого не понимаещь! Надо сначала всъмъ рты заткнуть. Слушай, какъ я придумала, продолжала Софья Петровна, переходя въ конфиденціальный тонъ, я потребую отъ Коробьина, чтобъ онъ явился къ намъ объдать съ женой, потомъ мы всъ поъдемъ кататься. Нужно непремънно, чтобы насъ видъли вмъстъ. Тогда всъ останутся въ дуракахъ, а мы уложимъ вещи и поминай, какъ звали.
- Нътъ, нътъ, я не хочу ихъ видъть, съ ужасомъ воскликнула Наташа.

Софья Петровна чуть-чуть было не вспыхнула, но удержалась.

— Вотъ какъ! – произнесла она. – Заварить кашу

съумъла, а расхлебывать должны другіе. Видно это не то, что сыпать громкія фразы.

- Хорошо, пусть будеть по твоему,—согласилась дочь,—но я увърена, что Елена Ивановна къ намъ не придетъ.
- Это ужъ не твоя забота,—сказала Софья Петровна и встала.—Ты пока лягь, отдохни. Если тебя увидять съ такимъ лицомъ, всѣ подумають, что я тебя прибила.

XXII.

Даташа ушамъ своимъ не върила, когда между голосами гостей услышала сиповатый голосъ Елены Ивановны.

— Какъ она могла притти... злая, грубая женщина, —подумала она.—А, можетъ быть, мужъ заставилъ... пришла, какъ и я пойду сейчасъ... туда... къ нимъ.

Несмотря, однако, на совершенную увъренность, что идти неизбъжно, она не трогалась съ мъста, точно приросла къ полу. Наконецъ, она ръшилась, сдълала нъсколько шаговъ и опять остановилась. Кто-то постучался къ ней. Она обмерла и ничего не отвътила. Дверь пріотворилась и въ ней показалась голова Хомутова.

— Софья Петровна васъ зоветъ,— сказалъ онъ,— здравствуйте, Наталья Васильевна.

Она молча и, не поднимая глазъ, протянула ему руку. Онъ кръпко пожалъ эту блъдную холодную руку и смущенно промолвилъ:

- Не убивайтесь такъ, Наталья Васильевна. Увъряю васъ, что ничего такого трагическаго не произошло.
- Зачъмъ вы мнъ это говорите! воскликнула она и съ упрекомъ покачала головой. Впрочемъ... по вашему въдь жизнь комедія, люди потъшныя живот-

ныя, пускай ихъ грызутся. Вы себъ стоите въ сторон-къ, да посмъиваетесь.

— Въ общемъ это почти такъ,—сказалъ онъ,—но я допускаю исключенія. Иногда,—продолжаль онъ тихимъ, добрымъ голосомъ,—мнѣ хочется не смѣяться, а плакать. Но... объ этомъ послѣ, а теперь будьте молодцомъ и пойдемте туда.

Онъ открылъ дверь.

— Вотъ чудесно, всѣ на террасѣ. Столъ накрытъ. Пробирайтесь на свое мѣсто, въ суматохѣ васъ не замѣтятъ.

Но ее замѣтили. Пришлось здороваться съ каждымъ въ отдѣльности. Ей казалось, что она плыветъ въ какомъ-то туманѣ, чья-то посторонняя сила толкала и несла ее. Она поцѣловалась съ докторшей и Люсенькой, прикоснулась концами пальцевъ къ пальцамъ Елены Ивановны. Ее спрашивали о здоровъѣ.

— Благодарю васъ, мнъ гораздо лучше,—сказала она кому-то.

Она немного пришла въ себя, когда всъ ужъ размъстились за столомъ и Хомутовъ поставилъ предъ ней чашку съ бульономъ. Онъ очень ловко усадилъ ее между собой и докторомъ.

"Какъ это хорошо, — подумала она, — не надо никого занимать", — и усердно принялась за свой бульонъ, точно въ немъ было ея единственное спасеніе.

Софья Петровна оживленно и весело вела разговоръ, юмористически описывала вчерашній баль, подтрунивала надъ докторомъ, любезничала съ дамами. Наташа поглядѣла изъ-подлобья на сидѣвшую рядомъ съ ея матерью Елену Ивановну. Она была очень жалка. Впалыя щеки разгорѣлись, на губахъ блуждала дѣланная улыбка, глаза безпокойно бѣгали, словно боясь остановиться на какомъ-нибудь опредѣленномъ предметѣ.

Коробьинъ сидълъ возлъ Люсеньки. Она ему разсказывала о своемъ стремленіи къ развитію, о своей любви къ литературъ, жаловалась на общество, которое она называла "китайщиной". Коробьинъ слушаль ее съ большимъ вниманіемъ, и она была въ восторгъ, Хомутовъ переговаривался черезъ столъ съ докторшей и теме Пановой и подливалъ вина доктору. Францъ Адамычъ разошелся. Онъ сыпалъ общеизвъстными анекдотами, разсказывалъ о необыкновенно удачныхъ случаяхъ изъ своей практики и разъ пять упомянулъ, какъ онъ на консиліумъ утеръ носъ одному знаменитому "москалю".

Всѣ смѣялись, шутили, болтали. Наташа слушала и напряженно ждала, что вотъ сейчасъ голоса оборвутся фальшивыя улыбки исчезнутъ, всѣ взглянутъ другъ другу прямо въ глаза,—и, Боже мой, что тогда будетъ... Всему на свѣтѣ бываетъ конецъ. Кончился и этотъ обѣдъ. Зашумѣли стулья, всѣ поднялись. Софья Петровна попросила дочь съиграть что-нибудь. Наташа безпрекословно сѣла за рояль и стала машинально играть пьесу за пьесой. Она была благодарна матери: музыка избавляла ее отъ необходимости разговаривать и давала ей une contenance.

Предполагаемая повздка не состоялась. Елена Ивановна отозвалась утомленіемъ и такъ грозно посмотрѣла на мужа, что тотъ моментально сталъ прощаться. Вскорѣ разошлись и другіе.

— Видишь, какъ хорошо все обошлось, — сказала Софья Петровна, — приличія соблюдены, а это главное. Теперь можешь укладываться. Послѣ завтра мы уѣзжаемъ...

XXIII.

Весь слъдующій день Софья Петровна не выходила изъ своей комнаты, жалуясь на мигрень. Несмотря на внъшнюю покорность дочери, Софья Петровна испытывала какую-то неловкость въ ея присутствіи. Она не могла не замътить, что въ дочери произошелъ крутой переворотъ, и ей трудно было примънится къ мысли, что передъ ней не прежняя послушная Наташа, а женщина, съ которой приходится считаться.

Наташа тоже сидъла у себя въ комнатъ, среди которой стояли уложенные, защитые въ парусину, сундуки, и прилежно сводила счеты. На полу валялась бумага, связки веревокъ; во всъхъ углахъ торчали картонки, подушки, свернутые въ ремни пледы. Аграфена Ивановна, вся потная, и красная, возилась съ чемоданомъ.

— Ишь, проклятый,—ворчала она, наваливаясь всёмъ тёломъ на крышку,—не запирается, хоть ты что...

Холодно и неуютно было въ этой комнатѣ, которую собирались покинуть жильцы. Наташа подумала, что скоро, быть можетъ,—завтра, сюда въѣдутъ другіе люди, сметутъ пыль, поставятъ все на мѣсто и начнутъ устраиваться, словно имъ тутъ вѣкъ вѣковать. Она вздохнула и, откинувшись на спинку кресла, расправила утомленные члены.

— Вы бы прогулялись,—сказала Аграфена Ивановна, которой удалось, наконецъ, справиться съ чемоданомъ, —все бы освъжились немножко. А то сидитъ, да думаетъ. Сколько, матушка, ни думай, умнъе Бога ничего не придумаешь.

Наташа слабо улыбнулась.

- Правда ваша, Аграфена Ивановна, я и сама хот тъла пройтись... знаете куда?
- Чай къ барышнъ на могилку? Самое это хорошее дъло. И отъ меня гръшной ей въ землю поклонитесь.

Наташа надъла тальму, шляпу, опустила на лицо темную вуалетку и поспъшно вышла изъ дому. Въ саду ее нагналъ Хомутовъ.

- Здравствуйте, Наталья Васильевна. Отчего вы меня сегодня не приняли?
- У мамы мигрень, а я была занята. Мы завтра уъзжаемъ.
 - Такъ. Можно узнать, куда вы теперь направляетесь? Наташа помолчала немного и потомъ сказала:
 - На кладбище.
- -- Позвольте мнѣ итти съ вами. Будьте добрая, не отказывайте.
- Хорошо, идите, пожалуй, произнесла она нехотя. Они скоро миновали городъ и стали подниматься вверхъ. Узкая, крутая тропинка, вившаяся между двумя рядами кипарисовъ, оканчивалась широкою горною площадкой, на которой и было расположено кладбище. Съ него открывался великолъпный видъ. Весь южный берегъ, Ливадія, Оріанда, Алупка были какъ на ладони. Далеко-далеко синъла спина Аю-Дага. Солнце уже зашло, и только за вышкой Ай-Петри небо еще рдѣло красными и золотыми брызгами. На горизонтѣ слабо мигалъ огонекъ маяка. Море точно слилось съ небомъ. Тихо и мърно ударяли о берегъ волны. Тихо и мърно шумъли кипарисы и лавры надъ пестрыми мраморными плитами и крестами. Кладбище было запущенное. Видно было, что это не пріють людей, степенно прожившихъ свой въкъ на одномъ мъстъ, а неожиданное пристанище безпокойныхъ странниковъ, съ разныхъ сторонъ сбъжавшихся сюда за исцъленіемъ. И они его нашли

въ крѣпкихъ объятіяхъ матери земли. Она же, вѣчная утѣшительница и волшебница, покрыла ковромъ цвѣтовъ и зелени прахъ своихъ бѣдныхъ дѣтей.

Наташа подошла къ небольшому, неуспъвшему еще обсохнуть холмику. На немъ высился деревянный крестъ съ дощечкой, на которой черною краской было намазано: "Евгенія Агарина", годъ и число. Наташа перекрестилась и, опустившись на колѣни, прильнула головой къ свѣжей травѣ. Хомутовъ, намѣренно отставшій отъ нея, занялся чтеніемъ надгробныхъ надписей. Немного погодя, онъ приблизился къ ней. Она ужъ сидѣла, глубоко задумавшись, на чьей-то старой, заросшей могилѣ и машинально подбирала чернѣвшіе въ травѣ прошлогодніе листья.

- Итакъ, вы завтра увзжаете?-началъ Хомутовъ.
- Да, мив не хотблось увхать, не простившись съ ней,—сказала Наташа. Въ эти долгіе мвсяцы только она мив не причинила страданья. Она одна никого здвсь не ненавидвла, а всв только и двлали, что язвили и травили другь друга. Знаете, мив кажется, что я здвсь состарвлась на сто лвтъ.
- Это пройдеть, Наталья Васильевна, знаніе никогда не дается даромь, а здёсь вы впервые познали, что люди—не безплотные ангелы. Острая боль уймется,—и вы оправитесь. Жизнь—слишкомъ большое благо, чтобъ отъ него отказываться добровольно.
 - И это говорите вы!-воскликнула дъвушка.
- Почему же бы мив этого и не говорить, удивился онъ.
- Почему!—повторила она съ горькою усмѣшкой. Дакто же, —продолжала она съ внезапнымъ увлеченіемъ, —кто твердилъ мнѣ все это время, что нѣтъ ни добра, ни любви, ни дружбы, что все пусто, мелко, лживо и ничтожно. Кто меня убѣждалъ, что въ этомъ мірѣ все

иллюзія, а что другого міра нѣтъ, что свѣтъ всегда задувается вѣтромъ... Если-бы не ваши уроки, я, можетъ быть, не была бы теперь такъ несчастна Я бы повѣрила, что все, что я видѣла и слышала — дурной сонъ. Вы разрушили мое невѣжество и навалили мнѣ на душу ледяную гору...

Она замолчала и чуть-чуть повела плечами, словно ей было холодно.

Онъ посмотрѣлъ на ея измѣнившееся, поблѣднѣвшее лицо, и сердце у него тихонько сжалось.

— Вы не всегда правильно понимали мои слова,—проговориль онъ.—Я вовсе не хотъль ожесточать васъ. Напротивъ, меня пугала ваша молчаливая, но глубокая нетерпимость къ самымъ обычнымъ явленіямъ жизни, и я старался внушить вамъ болѣе спокойное отношеніе къ этимъ явленіямъ Я хотъль избавить васъ отъ лишнихъ страданій, потому что... да потому, что я васъ люблю, — съ какимъ-то озлобленіемъ выговориль онъ, точно ему стоило большого труда произнести это слово.

Наташа вся вспыхнула, подняла глаза и тотчасъ-же опустила ихъ.

Онъ придвинулся къ ней.

— Вы въдь не покинете меня, не уйдете отъ меня, — сказалъ онъ и положилъ руку на ея холодные, трепетные пальцы.

Она молчала.

- Что-же вы молчите? Скажите что-нибудь... Наташа,—промолвиль онъ дрогнувшимъ голосомъ,— неужели я ошибся! вы меня не любите?
 - Я васъ разлюбила, прошептала она.
 - Разлюбили!.. За что?

Она вдругъ выпрямилась.

— За то, что вы сами никого, кромѣ себя, не любите,—сказала она.—Вы не грубый эгоистъ, который отнимаетъ у другого кусокъ изо рта (вамъ это не нужно), но ваше собственное удобство у васъ всегда на первомъ планъ. Вы, —продолжала она съ возрастающимъ оживленіемъ, — бросаете грошъ нищему только чтобъ онъ не торчалъ предъ вашими глазами. Правда, ко мнъ вы были неизмънно добры... я вамъ благодарна, но... мнъ этого мало. Я върю, слышите-ли, несмотря ни на что, върю (она ръзко повторила это слово), что есть люди, для которыхъ слово "любовь" не значитъ только любовь къ женщинъ, —которые имъютъ мужество громко стоять за то, что они считаютъ правдой и не боятся показать слишкомъ много участія бъдняку.

Она остановилась, возбуждение ея упало, и она съ нъкоторымъ страхомъ посмотръла на Хомутова.

Онъ сидълъ, понуривъ голову, и нервно чертилъ по землъ кончикомъ палки. Ей стало жаль его.

— Өедоръ Алексвичъ, простите меня,—сказала она, тихо дотрогиваясь до его плеча,—я знаю, что двлаю вамъ больно мнв и самой больно... но я не могу иначе. Вы меня забудете. Я простая, обыкновенная дввушка, я вамъ не пара. Когда-нибудь вы еще поблагодарите судьбу, что все такъ случилось.

Онъ взяль ея руку съ своего плеча и прижался къ ней лицомъ.

— Наташа, —промолвиль онъ ласково, —я не принимаю вашего отказа. Въ вашихъ словахъ много правды, но не все. Я не герой, но и не такой эгоисть, какъ вамъ кажется. Я буду ждать, пока вы сами въ этомъ не убъдитесь.

Она не отвѣчала. Они посидѣли еще немного. Стало почти темно.

— Какъ поздно,—сказала Наташа,—пойдемте скорвй. Они встали и быстрой, торопливой походкой направились въ городъ. На полдорогѣ имъ встрѣтилась Аграфена Ивановна на извощикѣ.

— Да куда-же это вы пропали, — почти закричала она на свою барышню. — Софья Петровна рветь и мечеть, — зачёмь, моль, ушла, не сказавшись. Хоть бы вы меня, старуху, пожалёли! — воскликнула она съ сердцемъ. — И за Софьей Петровной ходи, и сундуки обшивай. За грёхи мои, видно, Господь меня съ вами спуталь!

Наташа на скоро простилась съ Хомутовымъ и стала успокоивать расходившуюся Аграфену Ивановну.

XXIV.

В накомые Криницкихъ явились проводить ихъ съ конфектами и букетами. Софья Петровна величественно улыбалась и дълала видъ, что не замъчаетъ пламенныхъ, умоляющихъ взоровъ вертввшагося около нея Коробьина. Наташа поспъшно укладывала въ коляску послъднія вещи. Вдругъ къ ней подошла Елена Ивановна, порывисто обняла ее и, прошептавъ ей на ухо: "я очень виновата передъ вами", также порывисто отошла. Наташа растерялась и хотела побежать за ней, но въ эту минуту приблизилась Софья Петровна и строго проговоривъ: "избавьте меня отъ глупыхъ сценъ",—стала садиться въ экипажъ. Мужчины цѣловали ей руку. Докторша Анна Михайловна и Люсенька (Елена Ивановна незамътно стушевалась) тискали ее въ объятіяхъ и увъряли, что безъ нея будутъ умирать съ тоски Хомутовъ, смъясь, упрашивалъ ихъ не умирать, по крайней мъръ, до его отъвзда, но смъхъ этотъ какъ-то не вязался съ тоскливымъ выраженіемъ его осунувшагося, постаръвшаго лица. Онъ кръпко пожалъ руку Наташѣ и значительно промолвилъ:

— Мы скоро, очень скоро увидимся, Наталья Васильевна.

Экипажъ тронулся. Дамы замахали платками, мужчины шляпами. Софья Петровна нѣсколько разъ оглядывалась. Оглянулась и Наташа.

Темная голова Хомутова еще разъ промелькнула предъ ней.

— Tout est bien, quie finit bien, —произнесла Софья Петровна по-французски, во вниманіе къ присутствію Аграфены Ивановны и, положивъ ноги на переднюю скамейку, зѣвнула, потянулась и закрыла глаза...





MAKAPKA.

ЭСКИЗЪ.

(Изъ жизни незамътныхъ людей).



Весна въ томъ году наступила рано. Лужи и цълые ручьи грязи, еще недавно широкой волной заливавшіе улицы, сразу высохли подъ палящими лучами солнца и вмъсто нихъ ужъ завивалась столбомъ пыль...

По одной изъ кривыхъ улицъ Бабьяго городка, Москвой-рікой, шель, согнувшись подъ ранцемъ опустивъ голову, гимназистъ — черноватый юноща, средняго роста, лътъ шестнадцати-семнадцати. Онъ былъ, повидимому, сильно удрученъ, то и дъло вздыхалъ, останавливался... Простоявъ минуты двъ на одномъ мъсть, онъ вошель въ церковный дворъ и въ изнеможеніи почти упаль на скамью. Кругомь было совершенно тихо... Пахло талой землей, свъжей травкой... На нераспустившейся еще березъ, неугомонно чирикая, прыгали воробыи. "Не допущенъ", -прошепталъ гимназисть, ломая руки, -- "не допущень, не допущень", -повторилъ онъ еще и еще разъ съ возрастающимъ отчаяніемъ. Губы его искривились и слезинки быстро закапали изъ его уже заплаканныхъ черныхъ глазъ. Все его существо наполняла лишь одна мысль -какъ теперь показаться домой. Эта мысль сверлила въ его мозгу съ того самаго рокового момента, до ушей его долетьла ужасная фраза инспектора: "не допущены: Кабалкинъ Макаръ, Гавриловъ Алексвич и т. д. Онъ отлично зналъ, что ничего не придумаетъ, что итти домой нужно, и все-таки ни о чемъ, кромъ этого, думать не могъ. "Нечего дълать", - произнесъ онъ вслухъ, всталъ, подтянулъ ранецъ и побрелъ дальше медленнымъ шагомъ, словно надъясь увеличить разстояніе, отділявшее его отъ дома. Не глядя, завернулъ онъ въ грязный переулокъ, весь уголъ котораго занималь неуклюжій деревянный домь съ мезониномъ. У открытыхъ настежъ воротъ стояла женщина. Увидъвъ гимназиста, она обратила къ нему свое смуглое, худое лицо съ тонкими чертами и проговорила пъвучимъ гортаннымъ голосомъ: "Что, Макарка, выдержалъ?" --- Макарка ограничился кивкомъ головы и молча прошмыгнуль въ калитку. Добравшись до своей комнаты, онъ съ ожесточеніемъ сбросиль съ себя гимназическіе доспъхи, далъ тумака визжавшимъ и возившимся на полу братишкамъ и сестренкамъ и, сорвавъ такимъ манеромъ сердце, бросился ничкомъ на жесткій диванъ...

Отецъ Макарки, Абрамъ Марковичъ Кабалкинъ, принадлежалъ къ тому довольно многочисленному разряду столичныхъ евреевъ, которые слывутъ зажиточными, хотя зажиточность эта весьма проблематическая. Всю жизнь эти "богачи" бѣгаютъ, хлопочутъ, суетятся, создаютъ дъла и — умираютъ нищими. Абрамъ Марковичъ торговалъ то мукой, то шерстью, то кожей, то дровами, заводилъ сыроварни и мыловарни, нѣсколько разъ прогоралъ до нитки и, точно по щучьему велѣнью, опять всплывалъ на поверхность. Хитрый, пронырливый, вкрадчивый, онъ умѣлъ отгадыватъ слабыя стороны нужныхъ людей и билъ на нихъ. По роду своихъ занятій ему больше приходилось сталкиваться съ мел-

кимъ купечествомъ, аферистами, мъщанами... Постигъ онъ ихъ до тонкости и презиралъ отъ всей души. При всемъ томъ ему не везло. Онъ часто жаловался на судьбу, и не безъ основанія. Семья съ каждымъ годомъ увеличивалась, потребности росли и заработокъ поглощался съ изумительною быстротой. Дома Абрамъ Марковичь являлся безграничнымъ самодуромъ и тираномъ. Онъ, казалось, хотълъ выместить на домашнихъ униженія и разочарованія, которыя ему приходилось выносить на рынкъ житейской суеты. Послъ долголътней и упорной междоусобной войны, — онъ смирилъ жену, ревнивую, пылкую и очень неглупую женщину. Она опустилась, состарилась, охладёла ко всему и выходила изъ себя только при слишкомъ очевидной невърности супруга или особенно экстраординарныхъ потасовкахъ, которыя онъ задавалъ дътямъ. впрочемъ, никогда не переставала бранить и щипать своихъ "разбойниковъ". Разбойники смотръли на проявленія родительской ніжности совершенно равнодушно, даже презрительно. Не то было съ отцомъ. Его отношенія къ дътямъ были чрезвычайно своеобразныя. Пока они были малы—онъ ихъ обожаль и баловалъ самымъ безсмысленнымъ образомъ; заливался отъ восторга, когда сынишка на его ласкательное: "ахъ жуликъ", — шепелявилъ: "ти самъ зюликъ", прославлялъ ихъ необычайный умъ, мечталъ, что они покроютъ славой его имя. Но наступаль школьный возрасть и нимъ цълый рядъ неудачъ, переэкзаменовокъ и всевозможныхъ мученій. Безтолково веденныя и не особенно способныя дъти учились вяло. Отецъ билъ ихъ безпощадно. Такъ было съ старшимъ сыномъ, который, ожесточенный, сбъжаль изъ родительского дома въ странствующую труппу акробатовъ и пропалъ безъ въсти; такъ было со старшей дочерью, которую онъ безуспвшно клялся "сгноить" въ гимназіи. Ее выключили, и онъ въ отместку выдаль ее замужъ въ захолустье за глуповатаго парня, надъ которымъ, при ръдкихъ посъщеніяхъ, глумился всласть...

Теперь очередь была за Макаркой. Когда мальчикъ съ гръхомъ пополамъ выдержалъ экзаменъ въ гимназію-отецъ подариль ему три рубля и заявиль: смотри у меня, умри, а будь докторомъ". И потянулась для бъднаго Макарки цълая вереница тяжелыхъ лътъ. Онъ быль тихій, робкій, мечтательный мальчикъ, любилъ стихи, музыку, удачно подбиралъ на старенькомъ, купленномъ по случаю, фортепіано разныя мелодіи и даже ръшился однажды намекнуть отцу о консерваторіи, но, получивъ лаконическій отвіть, что и безъ него много "музыкантовъ" въ Москвъ, больше ужъ не заикался объ этомъ предметъ. Существование Макарки распалось на двъ половины: съ утра до трехъ часовъ онъ трепеталь въ гимназіи, послі трехъ-трепеталь дома. Ученіе ему не давалось. Онъ не питалъ ни малѣйшаго интереса къ гимназическимъ наукамъ. Греческій языкъ и латынь представлялись ему карой Божіей, воплощенной въ образъ двухъ изверговъ-учителей. Особенно ненавидълъ онъ греческого учителя-рыжаго, толстаго нъмца, безбожно коверкавшаго русскій языкъ. Этотъ почтенный педагогъ любилъ поострить въ классъ и предметомъ своего остроумія охотнье всего избиралъ жидковъ.

— Господинъ Кабалкинъ Мордко, — вызываетъ онъ, напримъръ. — Мордко или Мошко? — переспрашиваетъ онъ какъ-бы въ недоумъніи.

Макарка, весь пунцовый, молчитъ.

— А, мошетъ бить, ви Хаимъ или Шмуль, а по русску это выходитъ Евгеній, — продолжалъ глумиться учитель. Макарка попрежнему безмолвствуетъ.

- Господинъ Мордко-Хаимъ-Шмуль, отшего ви молшить, какъ отравленній криса? Ушитель съ вами разговаривайть, а ви молшить? или ви прівхаль вчера изъ Бердичевъ и не умъйтъ говорить по русску?
- Лучше васъ умъю, неожиданно выпаливаетъ Макарка.

Нъмецъ подымается на канедръ, дрожа отъ гнъва.

— Што ти сказаль? Du, Tangenichts! Што ти смѣль сказать? Ви не уважайть нашальство! Du, Judenfratze...

Вышла цълая исторія. Учитель требоваль исключенія Макарки изъ гимназіи. Когда объ этомъ казусв узналъ Абрамъ Марковичъ, онъ выпоролъ сына до крови и собственною персоной потащиль его въ гимназію просить прощенья у разъяреннаго нъмца. Нъмецъ смиловался, но при переход визъ четвертаго въ пятый классъ сръзалъ Макарку на экзаменъ. Макарка остался на второй годъ. Учился онъ изъ рукъ вонъ плохо. Онъ просиживалъ целые часы надъ учебниками, ничего не видя, ничего не понимая, въ какомъ-то тупомъ отчаяніи, съ тяжелою тоской, давившей его дътское сердце. Локти его какъ-то сами собой упирались на замасленную, загнутую по угламъ греческую грамматику, на эти локти опускалась черноволосая голова Макарки и... онъ отдавался мечтамъ. Воображение уносило его далеко-далеко оть окружающей дёйствительности въ уютную, чистенькую квартирку. На окнахъ дешевенькіе цвъты, клътка съ краснозобымъ снигиремъ; на полиняломъ диванъ шитая гарусомъ подушка; въ переднемъ углу образокъ въ вънкъ изъбумажныхъ розъ. На стулъ сидитъ женщина, съ добрымъ, преждевременно поблекщимъ лицомъ, и шьетъ что-то. Иголка быстро мелькаетъ ВЪ ворныхъ пальцахъ. Рядомъ съ ней два мальчика одинь худой и жалкій — Макарка, другой русый и румяный — ея сынъ — пишутъ, наклонившись надъ тетрадями.

- Дѣти, отдохните,—говоритъ женщина, ишь заморились! Митя, прикажи самоваръ! Макарушка, куда ты? Погоди, съ нами чаю напьешься.
- Благодарю васъ, Аксинья Ивановна, мнѣ пора домой, говоритъ Макарка, и такъ ему не хочется уходить изъ этого теплаго гнѣздышка... но онъ боится оставаться. Опоздаешь домой, начнется брань: гдѣ таскался...

Ахъ, какъ Макарка любилъ Аксинью Ивановну, какъ плакалъ, когда она перевхала въ какой-то увздный городъ. И Митя тоже!... какой былъ славный мальчикъ, какой товарищъ! Никогда его жидомъ не называль и въ ехтемрогате всегда помогалъ... А впрочемъ, ему не мудрено было быть хорошимъ—мать ласкаетъ, ободряетъ... Бывало, онъ скажетъ: "Мама, ну, какъ я сръжусъ", а она ему: "Богъ милостивъ, не сръжешься, а случится гръхъ, что же дълать! Посидишь еще годикъ"...

Быль у Макарки еще товарищь или, вѣрнѣе, другь, передъ которымъ онъ благоговѣлъ, —студентъ Давидъ Блюмъ. Родители Давида, богатые люди, были старинные знакомые Макаркиныхъ родителей. Макарка съ дѣтскихъ лѣтъ привыкъ видѣть, съ какимъ подобострастіемъ его отецъ и мать относились къ Блюмамъ, какъ они готовились къ ихъ рѣдкимъ посѣщеніямъ, что не мѣшало имъ, конечно, за глаза бранить ихъ за непомѣрную гордость и важничанье. — "И чего они носъ дерутъ, — говаривала мать, — такіе же евреи, какъ и мы, тоже въ Шкловѣ родились, не въ Парижѣ"... Но Макарка не вѣрилъ матери. Онъ былъ влюбленъ въ домъ Блюмовъ, и ему казалось совершенно невѣроятнымъ, чтобы джентльменъ Блюмъ, у котораго дѣти послѣ обѣда такъ чинно цѣлуютъ руку, и его отецъ, раздающій на-

право и налѣво оплеухи — были одно и то-же. Нѣтъ, Блюмы—настоящіе аристократы. У нихъ такая чудесная квартира, такая чистая, въжливая прислуга, учителя, гувернантки... Дочки хоть и шалуныи, но такія прелестныя, ласковыя дівочки, особенно Лина... и хорошо говорять по-французски... Совсъмъ, совсъмъ не похоже на евреевъ... Правда, Макарка смущался, когда въ дътскіе аппартаменты неожиданно входила мадамъ Блюмъ и, поговоривъ съ гувернанткой, скользила равнодушнымъ взглядомъ по его робкой фигуркъ, точно онъ не живой мальчикъ, который такъ почтительно ей кланяется, а табуреть или графинь. То-ли дело Аксинья Ивановна! Та всегда встръчала его привътливою улыбкой: "Здравствуй, мой голубчикъ"!... Но въдь Аксинья Ивановна — простая акушерка, а мадамъ Блюмъ — такая важная, богатая дама!

За то Давидъ! Макарка обожалъ его. Это быль его идеалъ. Какой онъ умный, образованный, честный... Какъ онъ говорить! какъ пишеть! Какой онъ красавецъ! Макарка гордился имъ, былъ счастливъ малъйшимъ знакомъ его вниманія. Ни тіни зависти не питаль онъ къ своему блестящему другу. О, напротивъ! Онъ отдалъ бы все, все, пожертвоваль бы жизнью, чтобы видъть его на вершинъ славы, почестей... Особенно блаженствовалъ Макарка, когда, благодаря какому-нибудь торжественному событію, въ родъ именинъ, его оставляли ночевать у Блюмовъ. Днемъ онъ бъгалъ по порученіямъ всвхъ членовъ семейства, въ томъ числв и своего друга, который гоняль его за перчатками, галстуками, духами... За то ночи-ночи искупали все! Только, бывало, разъвдутся гости, и онъ съ Давидомъ улягутся по кроватямъ между ними начинались безконечныя бесёды. Говорилъ конечно, Давидъ, а Макарка внималъ. Давидъ говорилъ о еврействъ и о томъ, что молодежь еврейская должна

посвящать всв силы на служение своему несчастному, гонимому народу, что въ эпоху народнаго бъдствія позорно думать о личной карьеръ, личномъ счастіи... и еще много, много хорошаго говориль онъ. Макарка былъ пламенный патріотъ. Онъ весь дрожалъ, весь горълъ, слушая Давида, не сводилъ съ его лица восторженныхъ глазъ; онъ упивался его словами и чуть не плакалъ отъ умиленія, что такой возвышенный, такой безкорыстный человъкъ удостоиваетъ его, бъднаго Макарку, своей откровенности...

И ни разу не пришло ему въ голову усомниться въ Давидъ; ни разу не задалъ онъ себъ вопроса, насколько въ этихъ красноръчивыхъ тирадахъ правды и насколько онъ-повторение того, что онъ нашептываль за ужиномъ хорошенькой барышнь; ни разу не поставиль онъ мысленно своего героя въ неблагопріятную обстановку, подобную, напримъръ, его собственной... И теперь, замечтавшись о немъ, Макарка забылъ свое горе, свои неудачи, забылъ о надвигающейся грозъ... Раздавшіеся въ сосъдней комнать шаги заставили его разомъ очнуться. Это пришель отець-объдать. Макарка вспомниль, что онъ "не допущенъ", "не допущенъ на второй годъ"-и почувствоваль, какъ у него по спинъ забъгали мурашки. "Что сказать отцу? Соврать? сказать, что еще не было совъта? Нътъ, догадается"... Эхъ, кабы Давидъ тутъ быль, выручиль бы", -- подумаль онь, хотя Давидь никогда ни изъ чего его не выручалъ... А вдругъ отецъ не спроситъ, -- мелькнуло смутной надеждой въ его душъ. Онъ присълъ на кончикъ стула и ждалъ, какъ приговоренный, что вотъ сейчасъ, сію секунду — дверь раскроется и его поведуть на расправу...

— Макарка! объдать!—прозвучаль сиплый голось матери. Онъ не отозвался. Дверь скрипнула и въ отверстіе просунулась взъерошенная голова семильтняго Левушки.—Макарка, иди объдать,—прошенталь онъ фальцетомъ и скрылся.

Макарка съ трудомъ поднялся. Семья ужъ была за столомъ. Левушка и Сеня хлебали изъ одной тарелки, задѣвая другъ друга ложками. Младшія дѣти сидѣли подлѣ матери. Абрамъ Марковичъ углубился въ ѣду, не обращая, повидимому, никакого вниманія на копошившуюся около него мелкоту. Макарка усѣлся за свой приборъ и принялся машинально глотать жиденькій супъ. Отецъ бросилъ на него изподлобья пристальный взглядъ.

- Вызывали тебя сегодня?-спросиль онъ.
- Да, тихо отвътилъ Макарка, не поднимая глазъ.
- Изъ чего?
- Изъ математики.
- Сколько?
- Тройка.
- Тройка!—презрительно повторилъ Абрамъ Марковичъ,—больше не могъ: голова-бы лопнула?

Макарка ничего не возразилъ, только еще ниже наклонился надъ тарелкой. Въ эту минуту онъ пламенно жаждалъ лишь одного, чтобы объдъ поскоръе кончился, и ему удалось улизнуть въ свою комнату. Подали жаркое и кашу. Несмотря на полное отсутствіе аппетита, онъ уписывалъ съ такимъ усердіемъ свою порцію, точно три дня голодалъ. Онъ надъялся, что такъ онъ будетъ менъе подозрителенъ. И въ самомъ дълъ, туча, казалось, на сегодня пройдетъ мимо. У Макарки совсъмъ ужъ было отлегло отъ сердца, онъ съ облегченіемъ сталъ оглядываться вокругъ, какъ вдругъ отецъ опять обратился къ нему съ вопросомъ:

- Что, Макарка, спросиль онъ, перейдешь въ этомъ году? —и странное дѣло, въ суровомъ голосѣ Абрама Марковича точно дрогнула просительная нотка.
- Не знаю, папаша, —робко прошепталъ Макарка. Лицо Абрама Марковича моментально приняло столь знакомое его семъв деревянное выраженіе.
- То есть, какъ-же это ты не знаешь?—произнесъ онъ, отчеканивая каждое слово.—Кому же это нужно знать? Мнѣ, что-ли? Вѣдь я не спрашиваю у тебя, почемъ дрова, или кожа, или сколько звѣздъ на небѣ... Я спрашиваю, довольно-ли для такого болвана, какъ ты, сидъть по два года въ одномъ классѣ?

Макарка, поблѣднѣвшій какъ полотно, нервно вертѣлъ пуговицы на своемъ мундирѣ и упорно глядѣлъ въ полъ. Отецъ подошелъ къ нему ближе.

- Ты чего молчишь, негодяй? Языкъ проглотиль, оглохъ? Ты слышишь, что я съ съ тобой говорю?
 - Слышу...
- А! слышишь? Слава Богу! Можеть быть, ты удостоишь отвътить?
- Я не знаю, чего вы хотите, —растерянно пролепеталъ Макарка, озираясь какъ пойманный звърь.

Абрамъ Марковичъ иронически засмѣялся.

— Онъ не знаетъ, чего я отъ него хочу! Слышишь, Хана, какъ твой милый сынокъ разговариваетъ! — обратился онъ къ женѣ. — Онъ не знаетъ, чего я отъ него хочу! Сумасшедшій отецъ требуетъ, чтобы онъ сдѣлался профессоромъ, а онъ не можетъ! Бѣдняжка! — Абрамъ Марковичъ плотно придвинулся къ сыну. — Я тебя въ послѣдній разъ спрашиваю, — повторилъ онъ, схвативъ его за воротникъ: — выдержишь ты экзаменъ, или тебя выгонятъ вонъ?

Макарку вдругь будто толкнуло въ голову и грудь.

"Все равно умирать, "—подумаль онъ и, поднявь свои черные, глубокіе глаза, казавшіеся еще черные на его помертвышемь лиць, онь тихо, но совершенно отчетливо вымолвиль:

- Я не допущенъ.
- Что?!—вскрикнулъ Абрамъ Марковичъ, какъ ужаленный.
- Я не допущенъ,—такъ-же тихо и такъ-же внятно повторилъ Макарка.

На мгновеніе всѣ застыли. Еще мгновеніе,—и раздался оглушительный трескъ пощечины. Дѣти залились плачемъ и прижались къ матери. Она бросилась къ мужу, стараясь освободить изъ его бѣппеныхъ рукъ Макарку. Но онъ оттолкулъ ее однимъ взмахомъ кулака. Онъ билъ Макарку, какъ изступленный, по чемъ попало. Тотъ не издавалъ ни одного звука, ни одного стона, и только когда совершенно обезумѣвшій отецъ сталъ таскать его за волосы по полу, онъ не выдержалъ мученій и, поймавъ его палецъ впился въ него зубами.

— Ахъ ты щенокъ! кусаться! Ахъ ты мерзавецъ! Жена!—крикнулъ онъ,—зови дворника, мы сейчась его выпоремъ...

Макарка разжалъ зубы и однимъ прыжкомъ очутился у двери.

— Ступай вонъ, подлецъ, ступай вонъ!—прохрипѣлъ Абрамъ Марковичъ.—Если придешь назадъ—я тебѣ всѣ кости переломаю.

Макарка обратиль къ нему свое истерзанное, избитое лицо:—Я васъ ненавижу,—крикнуль онъ надорваннымъ, осипшимъ голосомъ и, раскрывъ дверь, исчезъ.

Макарка бъжалъ, точно за нимъ гнался легіонъ демоновъ. Пробъжавъ нъсколько улицъ, онъ очутился въ какомъ-то глухомъ переулкъ и, сообразивъ, что здъсь его не поймають, отановился перевести духь. У забора какого-то строющагося дома возвышалась куча щебня. Макарка сълъ на эту кучу. Голова у него горъла и кружилась, твло ныло отъ побоевъ. Онъ провелъ рукой по спутаннымъ волосамъ и тутъ только замътилъ, что ушель безь шапки. Чувство оскорбленія, злобы, переполняло все его существо, душило его. Онъ еще не могъ разобраться въ хаосъ волновавшихъ его ощущеній. Его охватила неудержимая, жгучая, чистофизическая потребность въ свою очередь сдълать больно, раздавить, убить уничтожить... Кого?--отца и всъхъ, всъхъ... Весь міръ представлялся ему жестокимъ, неумолимымъ врагомъ, созданнымъ на его, Макаркину, погибель. Сдавленное обидой и негодованіемъ сердце билось и вамирало въ его груди, какъ раненая птица. "Все кончено, все кончено,-шепталь онь, посмь этого нельзя жить". Ему стало страшно жалко самого себя, изъ глазъ брызнули слезы. Все его избитое тѣло заколыхалось отъ рыданій... Сырая вечерняя свъжесть охлаждала его пылающую голову. Безвыходность положенія впервые предстала предъ нимъ, — и онъ содрогнулся. Куда идти?... Къ кому обратиться... Къ Давиду? Нътъ, нътъ... зачъмъ ему видъть такого несчастнаго... Умереть!.. ничего больше не остается.... Но какъ?... броситься въ воду?... Макаркъ вспомнился одинъ утопленникъ, котораго онъ видълъ, -- синій, распухшій, съ стекляннымъ, неподвижнымъ взоромъ... Нътъ, это слишкомъ ужасно... Отравиться?—нечвиъ... Вдругъ его точно озарило.... Простудиться. Да... это самое лучшее... Онъ подумалъ еще немного, потомъ всталъ и ръшительнымъ шагомъ отправился обратно къ дому. Ворота были еще заперты.

Онъ осторожно проскользнуль за дровяной сарай, гдѣ онъ зналь, стояла кадка съ водой. Тутъ-же рядомъ стояла телѣга. Макарка влѣзъ въ нее, разулся, подобралъ штаны выше колѣнъ и опустиль ноги въ кадку. По пяткамъ, потомъ все выше и выше точно забѣгали иголки. Макарка вздрогнулъ, но скрѣпился и еще глубже опустилъ ноги въ воду.

"Простужусь,—думалъ онъ,—простужусь и умру".— И злоба къ отцу все разросталась въ его душѣ. Отомстить ему хоть своей смертью... пусть радуется! Одного сына ужъ загубилъ, теперь другого. И зачѣмъ жить?!. Вѣчная ругань, никогда добраго слова не услышишь, цѣлый день будто въ котлѣ кипишь. Учиться не могу... гимназія эта—чистая каторга... Будетъ, намучился... Одну только мать и жалко, не сладко ей тоже... Ну, ничего! поплачетъ и забудетъ. Еще вѣдь цѣлая четверка остается на утѣшеніе и на съѣденіе.

У Макарки начали нъмъть ноги. Онъ ихъ вынулъ на минуту, но тутъ же разсердился на себя. — Струсилъ, подлецъ, — процъдилъ онъ сквозь стиснутые зубы, — холодно стало, домой, на кроватку захотълось — такъ воть нъть! Околъвай, коли жить не умълъ... — и онъ съ остервененіемъ заболталъ ногами въ кадкъ. А ноги коченъли все больше. Онъ уже не чувствовалъ холода и вообще пересталъ чувствовать и думать о чемъ-либо. Безконечная усталость сковала его члены, глаза сами собой сомкнулись... Послъднимъ проблескомъ воли онъ сдълалъ надъ собой усиліе, чтобы ихъ раскрыть, но утомленіе побъдило. Онъ свалился, какъ снопъ, въ тельту и моментально заснулъ глубокимъ сномъ.

И приснился Макаркъ сонъ. Онъ увидалъ большую, залитую огнями залу, сверкающую бълыми мраморными колоннами, наполненную нарядной публикой. На обитой краснымъ сукномъ эстрадъ размъстился оркестръ. Шумъ

смолкъ. На эстраду вышелъ пъвецъ. И вотъ пронеслись первые звуки. О, какая чудная мелодія! Нъжная и могучая, жалобная и торжествующая... Вся зала притихла, какъ одинъ человъкъ, и жадно внимаетъ дому звуку, вылетающему изъ груди пъвца. И лицо у этого пъвца-какъ у Макарки, только никто его узнаетъ... а онъ поетъ все лучше... Царственно-прекрасная женщина, вся въ бархатъ, цвътахъ и брилліантахъ, и худенькая, бъдная Аксинья Ивановна-прильнули другъ къ другу какъ сестры и объ слушаютъ умиленныя, точно зачарованныя, песню-молитву, поющую о въчной любви, для которой нъть ни богатыхъ, ни бъдныхъ... Во всей залъ только одно лицо остается суровымъ и угрюмымъ-это лицо отца. Но Макарка теперь волщебникъ. Онъ ясно видитъ, какъ въ сердцъ отца зіяеть рана и изъ этой раны сочится теплая кровь. Эта кровь сочится за потерянныхъ дътей... Онъ потерялъ всвхъ двтей, всв его покинули... Онъ одинокъ, одинокъ. И Макарка запълъ для него одного! Въ пъснъ послышался дътскій плачь, и дътскія ласки, и смъхъ... И рана въ сердцъ отца стала исчезать, глубокія морщины разгладились у него на лбу, онъ поднялъ Макарку радостные, просіявшіе глаза, онъ узналъ его и ужъ бросился къ нему съ восторженнымъ кликомъ... Но въ этотъ мигъ разверзлась страшная, мрачная бездна, Макарка полетвль туда съ ужасающею быстротой и все, все пропало...

Макарку на разсвътъ отыскалъ работникъ, шедшій за дровами въ сарай. Ему почудился чей-то голосъ, онъ оглянулся и увидълъ Макарку полусидъвшаго въ телътъ и оживленно жестикулировавшаго. Онъ подо-

шелъ къ нему, заговорилъ съ нимъ и, убъдившись, что тотъ его не понимаетъ, подумалъ: "ужъ не рехнулсяли хозяйскій сынъ",—и побъжалъ будить хозяйку. Когда Хана увидала Макарку, у нея подкосились кольни. Онъ лежалъ, разметавшись въ телътъ, съ голой грудью и ногами, и что-то быстро и невнятно бормоталъ. На его пылающихъ щекахъ виднълись слъды слезъ.

- Өедоръ, неси его въ домъ, я тебъ помогу, приказала она работнику.
- И одинъ снесу, —возразилъ тотъ, взявъ мальчика въ охапку. Ишь ты, какъ распалился, сердешный, аспидъ-то вашъ совсъмъ заълъ паренька, прибавилъ онъ откровенно.

Хана не отвъчала и, вся въ слезахъ, поплелась за работникомъ. У крыльца они наткнулись на Абрама Марковича. Онъ собирался уходить, но, увидъвъ эту группу, невольно остановился. Жена повернула къ нему искаженное, гнъвное лицо.

- Радуйся,—проговорила она,—довелъ ребенка до могилы.
- Ладно, не подохнетъ, отрывисто отвътилъ отецъ, но на суровомъ лицъ его что-то дрогнуло, когда передъ его глазами промелькнули безсильно болтавшіяся Макаркины ноги. Эти бъдныя, голыя ноги полоснули его по сердцу какъ ножомъ. Онъ прошелся нъсколько разъ по двору; валявшіеся возлъ кадки съ водой Макаркины сапоги объяснили ему безъ словъ въ чемъ дъло. Онъ бросился въ конюшню, самъ заложилъ лошадь въ шарабанъ и во весь духъ помчался за докторомъ.

У Макарки открылся тифъ. Нѣсколько дней онъ безпрерывно бредилъ, никого не узнавая. Придя въ сознаніе, Макарка очень удивился, увидѣвъ себя въ своей комнатъ, въ кровати. На столъ горъла лампа подъ бу-

мажнымъ колпакомъ. По стънамъ скользили какія-то тъни. Мать наклонилась надъ нимъ.

- Макарочка, тебъ лучше? проговорила она, и ея сухая, загрубълая отъ работы рука поправила на его головъ пузырь со льдомъ. Онъ вскинулъ на нее удивленный взглядъ, очевидно стараясь припомнить, что такое съ нимъ произошло. И вдругъ онъ вспомнилъ... Горъвшее жаромъ лицо изобразило испугъ.
- Отецъ, пробормоталъ онъ, я боюсь его, зачвиъ ты меня привела домой?..
- Отецъ не сердится, сказала она, онъ жалѣетъ, что погорячился, онъ тебя въдь любитъ, Макарчикъ...
- Оставь, оставь, прошепталь онь, впадая въ забытье.

Прошло еще нъсколько дней. Макарка больше не бредиль, онъ быль въ полномъ сознаніи, но страдаль больше прежняго. Тифъ осложнился воспаленіемъ легкихъ. Пользовавшій его докторъ, смущенный такимъ оборотомъ бользни, предложилъ созвать консиліумъ. Пригласили двухъ знаменитостей, которыя, заставивъ домашняго врача прождать два часа сверхъ назначеннаго срока, накопецъ пріъхали. Онъ помяли бъднаго Макарку на разные лады, выстукали его, выслушали, потомъ немножко поспорили между собою: одна знаменитость утверждала, что у больного обыкновенная чахотка, другая настаивала на просовидной бугорчаткъ. Объ, однако, согласились, что субъектъ безнадеженъ. Когда объ этомъ объявили Абраму Марковичу, онъ затрясся, какъ листъ.

- Умретъ... скоро?—промолвилъ онъ, глубоко переводя духъ.
- Нътъ, онъ можетъ протянуть еще пять-шесть недъль, даже два мъсяца, отвътилъ докторъ, стоявшій

за бугорчатку, пряча въ боковой карманъ двадцатипяти-рублевую бумажку.

Абрама Марковича точно ударили обухомъ по головъ. Онъ отлично слышалъ медицинскій приговоръ, но не повърилъ ему, не могъ повърить. Врутъ, врутъ они, утышаль онь самого себя и побъжаль къ сыну, какъ бы желая убъдиться во-очію, что доктора соврали. Макарка узналъ шаги отца. У него упало сердце и колючая боль въ груди, которая теперь никогда его не покидала, сдёлалась до того невыносима, что онъ зажмурился и закусиль губы. Отецъ присѣлъ на край кровати и осторожно взялъ его за руку. Макарка вздрогнуль, раскрыль глаза и встрътиль прямо устремленный на него взоръ отца. И столько было въ этомъ взоръ нъжности, горя, страха, что у Макарки еще сильнъе сжалось сердце, -- но теперь ужъ отъ жалости къ отцу. Ввалившіяся глаза налились слезами, а сухія, истрескавшіяся губы прошептали:

- Прости меня, папаша.
- Не волнуйся, не волнуйся, говориль отець, оправляя дрожащей рукой одъяло, выздоравливай только, все будеть хорошо.

Странное дѣло! и голосъ у Абрама Марковича былъ не тотъ и лицо не то... Неужели-же Макарка не зналъ своего отца? Неужели онъ ошибся? Ему вдругъ представилась та минута, когда онъ, избитый, окровавленный, крикнулъ отцу: "я васъ ненавижу!" Гдѣ эта ненависть? Она растаяла, испарилась отъ одной неожиданной ласки отца. Какъ онъ благодаренъ ему за эту ласку. Макарка схватилъ его руки и покрылъ ихъ поцълуями.

— Простите меня, папаша,—зашенталъ онъ опять, я буду учиться день и ночь, я въдь и прежде не лънился, но миъ ничего не давалось... Я попробую еще разъ... И Макарка такъ горько разрыдался, что только съ большимъ трудомъ удалось его успокоить.

Лъто стояло въ полномъ разгаръ. Макарка лежалъ въ своей постели и умиралъ — отъ обыкновенной чахотки, или отъ просовидной бугорчатки—не все-ли равно... Его окружала нъжность, къ которой онъ совсъмъ не привыкъ. Мать не отходила отъ него, но особенно поражалъ его отецъ. Доктора, лекарства, лакомства, дорогія вина... Абрамъ Марковичъ ничего не жалѣлъ. Каждую свободную минуту онъ проводилъ у кровати больного, разговаривалъ съ нимъ, измърялъ температуру, и только по тому, какъ дрожали его руки, Макарка могъ безошибочно судить, что жаръ увеличился. .—"Върно, опять сорокъ",—думалъ онъ,— и ему гораздо больше было жаль отца, чъмъ себя, и все яснъе становилось ему, что онъ слишкомъ поторопился его осудить...

О гимназіи и всемъ, что предшествовало той ужасной ночи—не было помину. Въ домѣ царствовала тишина. Левушка и остальныя дѣти по цѣлымъ днямъ возились въ палисадникѣ и никто ихъ не бранилъ за бездѣльничанье. Иногда Макарка просилъ, чтобы ихъ привели къ нему. Они приходили, усаживались вокругъ его кровати и боязливо глядѣли на него—такой онъ былъ худой и необыкновенный. Онъ ласкалъ ихъ, отдавалъ имъ свои лакомства, прижималъ ихъ ручки къ своимъ багровымъ, горячимъ щекамъ... Дѣти молчали: имъ было не по себѣ въ этой комнатѣ, пропитанной запахомъ лекарствъ. Макарка замѣчалъ это, вздыхалъ и отпускалъ ихъ въ садъ.

— Ступайте, ступайте, дъточки, играйте,—говорилъ онъ имъ съ грустной и нъжной улыбкой.

Никто ни разу не слыхалъ отъ него ни одного стона, ни одной жалобы.

- Тебѣ хуже, Макарчикъ?—скажетъ ему мать, когда, обезсиленный мучительнымъ приступомъ кашля, онъ прислонится головой къ высоко-поднятымъ подушкамъ.
 - Нътъ, мамочка, ничего, не безпокойся.
- Какъ бы мнъ хотълось видъть Давида,— сказалъ онъ однажды отцу.—Ты ему не писалъ, что я боленъ?
- Я самъ вздилъ къ Блюмамъ. Они всв теперь на дачв; Давидъ былъ тутъ разъ, но ты въ это время спалъ.
- Ахъ, зачъмъ, зачъмъ меня вы не разбудили! воскликнулъ Макарка съ невыразимой тоской. Неужели я больше его не увижу? прибавилъ онъ и, отвернувшись къ стънкъ, заплакалъ.
- Не плачь, Макарчикъ, я тебъ сегодня же привезу твоего друга,—утъщалъ его отецъ.

Красивое, свѣжее лицо Давида Блюма изобразило сильнѣйшее изумленіе, жалость и даже страхъ при видѣ высохшаго, маленькаго личика Макарки, съ которымъ отъ радости сдѣлался такой припадокъ кашля, что онъ не могъ вымолвить ни одного слова. Наконецъ онъ успокоился, кашель стихъ, онъ взялъ въ обѣ свои худенькія, влажныя руки бѣлую, выхоленную руку Давида и произнесъ:

- Спасибо, что прі**в**халъ. Вотъ другъ... а то бы и не увидались.
 - Не говори, голубчикъ, тебъ вредно.
 - Нътъ, нътъ, пожалуйста, пожалуйста, позволь мнъ

съ тобой поговорить! —взмолился Макарка и значительно прибавилъ:

- Мнъ нужно съ тобой поговорить.
- Вѣдь ты задыхаешься!
- Ничего, ты только наклонись ко мнъ.

Давидъ почти приникъ къ подушкъ.

- И какъ это ты такъ расхворался?—спросиль онъ. Съ остановками и перерывами Макарка разсказалъ исторію своей болѣзни.
- Видишь,—закончилъ онъ тяжелымъ шепотомъ,—я самъ во всемъ виноватъ.
- Ты?! Нѣтъ, не ты, а этотъ самодуръ, тятенька твой.

Макарка глубоко вздохнулъ.

— Вотъ, вотъ... я зналъ, что ты такъ скажешь, — произнесъ онъ горестно, — я потому и хотѣлъ тебя видъть, чтобы попросить тебя... чтобы объяснить, что онъ совсѣмъ не такъ виноватъ. О, Давидъ! я теперь все, все понялъ... Нужно его пожалѣть, а не унижать презрѣніемъ. Иначе всѣ дѣти погибнутъ! — воскликнулъ онъ.

Давиду показалось, что у Макарки начинается бредъ.

- Богъ съ тобой, успокойся, какія дъти?
- Да наши! нетерпъливо возразилъ Макарка. Когда я умру, всъ скажутъ, что отецъ меня уморилъ, будутъ на него смотръть какъ на звъря... Онъ еще больше ожесточится..,и бъдные Левушка, Соня, Лиза и Миша пропадутъ—и будетъ съ ними то же, что со мною. Заступиться некому, а когда они поймутъ, что отецъ не извергъ, что онъ просто не знаетъ, какъ сдълать лучше будетъ поздно. Я теперь все понялъ. Развъ онъ для себя желалъ, чтобы я былъ ученымъ? Ему хотълось, чтобы мнъ жилось полегче, чтобы я не гнулъ съ утра до ночи спину какъ онъ, чтобы какой-нибудь

купчина не говорилъ мнѣ какъ ему;—вы, жиды съ отца родного рады рубашку снять. Онъ мечталъ, чтобы я былъ такой, какъ ты. Милый, милый! Нельзя-же обвинять его въ томъ, что онъ не понимаетъ, что я тебѣ—не ровня, что одному Богъ даетъ все, чтобы вознести его надъ толпой, а другой—весь вѣкъ проживетъ червякомъ.... Онъ видѣлъ, какъ твой отецъ гордится тобой, и ему, бѣдному, было больно, что я такой неблестящій.

Давиду вдругъ стало невыразимо стыдно передъ этимъ умирающимъ мальчикомъ. Онъ вдругъ вспомнилъ, какъ въ теченіе многихъ лѣтъ принималъ какъ нѣчто должное его безпредѣльную любовь, его простодушное обожаніе. Онъ вспомнилъ, что въ сущности никогда не интересовался Макаркой—какъ Макаркой, никогда пальцемъ не пошевельнулъ для облегченія его тяжелой доли и любилъ въ немъ лишь терпѣливаго, благодарнаго слушателя, восторженнаго поклонника своей особы.

Все это разомъ промелькнуло передъ нимъ.

- Макарушка, —воскликнуль онь, и въ голосъ у него послышались искреннія слезы. Макарушка, да ты во сто разъ лучше меня и цълаго легіона такихъ молодцовъ, какъ я.
- Ну, зачѣмъ, зачѣмъ ты это говоришь? застѣнчиво пролепеталъ Макарка. Ты и я! Онъ даже засмѣялся, но сейчасъ же опять принялъ серьезный видъ. Ахъ, не въ этомъ дѣло. Я хочу просить тебя... Помнишь, Давидъ, сколько разъ ты говорилъ мнѣ о еврейскомъ народѣ, о томъ, какъ онъ несчастенъ, какъ давитъ его невѣжество, грубость... Ты говорилъ, что образованная еврейская молодежь должна работать для этихъ несчастныхъ. О, милый! зашепталъ онъ дрожащими губами, и крупныя слезы покатились одна за другой изъ его прекрасныхъ черныхъ глазъ, милый,

въдь мои маленькіе сестры и братья— тоже еврейскій народъ; не оставь ихъ, помоги имъ сдълаться людьми, если ты когда-нибудь меня хоть немного любилъ..

Голосъ Макарки оборвался. Онъ сильно закашлялся. Давидъ подалъ ему воды и успокоительныхъ капель.

— Еще одна просьба: — промолвилъ онъ—прівзжай вмъстъ съ сестрами на мои похороны. Онъ славныя дъвочки и я ихъ очень любилъ, особенно Линочку. Мнъ кажется, что я почувствую, какъ вы на прощанье бросите горсть земли въ мою могилу. И не жалъйте меня. Мнъ вовсе не страшно умирать...

Нервы Давида не выдержали.

— Праведникъ ты, Макарушка, мученикъ!—говорилъ онъ, всилипывая и припадая къ Макаркиной рукъ.

Макарка умеръ тихо, точно заснулъ. Въ домѣ немедленно поднялся тотъ шумъ и гамъ, который неизбѣжно сопровождаетъ еврейскія похороны. Въ комнатѣ какъто удивительно скоро появились чужіе люди, стали бѣгать, разговаривать, распоряжаться; развязно подходили къ постеди, гдѣ лежалъ, вытянувшись во весь свой небольшой ростъ, бѣдный Макарка, размахивали руками, соображали...

Безмолвный, блфдный мальчикъ точпо перешель въ ихъ собственность. Не успфли оглянуться, какъ онъ ужъ лежалъ на полу, подъ чернымъ сукномъ, и въ изголовьи его ужъ печально колыхалось желтоватое пламя свфчи, вставленной въ высокій серебряный подсвфчикъ. Мать и отецъ громко плакали. Дфти, прижавшись другъ къ другу, забились въ дальній уголокъ и глядфли оттуда какъ спугнутыя птички. Тотъ, кто лежалъ подъ чернымъ сукномъ, внушалъ имъ какой-то

таинственный ужасъ. Они знали, что это Макарка, но это быль ужъ не ихъ братъ, съ которымъ они возились, играли, дрались, который ихъ такъ нѣжно ласкалъ во время своей болѣзни, а что-то другое, неподвижное, величавое, безучастное и вмѣстѣ... страшное.

Прівхаль Давидь съ отцомь и сестрами. Завидввъ ихъ, Хана зарыдала еще громче, какъ бы взывая къ этимъ свидвтелямъ своего горя.

Старикъ Блюмъ серьезно и сосредоточенно остановился у порога. Къ нему подошелъ Абрамъ Марковичъ, отвелъ его въ другой конецъ комнаты и усадилъ въ кресло. У Давида дрожали губы, онъ старался совладать съ собою, но не смогъ и порывисто расплакался. Нъмая фигура его скромнаго товарища казалась ему жертвой такой вопіющей, такой неумолимой безсмыслицы. Его сестра, высокая, тоненькая девочка, въ изящномъ черномъ платьицъ, видимо не знала что дълать. И жутко ей было, и плакать хотвлось. Она вынула изъ круглаго картона огромный вёнокъ изъ мортелей и бълыхъ розъ и робко положила его къ ногамъ покойника. Ей очень хотълось поглядъть на него, но она не смъла. Съ одного бока сукно подвернулось и обнажило высохшую, маленькую, потемнъвшую руку. Дъвочка поглядъла на нее и вспомнила, какъ Макарка изъ пятачковъ, которые выдавались ему на завтраки, накопиль три рубля и купиль ей серебряный наперстокъ къ именинамъ. Ея кроткое личико затуманилось, ей вдругъ стало всъхъ ужасно жалко.

На дворѣ послышался стукъ въѣзжавшихъ дрогъ. Лѣсенка вся затрещала подъ напоромъ тяжелыхъ ногъ. Дверь распахнули настежь, и два человѣка втащили длинный черный ящикъ — общій гробъ, въ которомъ возять на кладбище всѣхъ евреевъ. При видѣ зловѣщаго ящика всѣ притихли. А чужіе люди дѣлали свое

дъло. Они подхватили Макарку за голову и за ноги, положили въ ящикъ и прихлопнули крышкой... Все это было такъ просто, такъ обыкновенно и такъ ужасно горько... Давидъ приподнялъ гробъ съ одного конца съ другого и по бокамъ стали "священные братья".

- Не такъ держите, сердито крикнулъ одинъ изъ нихъ на Давида, подымайте выше! Наконецъ, гробъ поставили на дроги, и печальная процессія тронулась. Въ наемной каретъ ъхала Хана съ какою-то пожилой женщиной, въ собственной Блюмъ съ дочкой, Давидъ и Абрамъ Марковичъ шли пъшкомъ. Было начало августа. День стоялъ ясный, солнечный. Путь лежалъ по оживленнымъ торговымъ улицамъ. Одни прохожіе останавливались съ любопытствомъ, другіе крестились и проходили мимо.
- Жида хоронять, громко замътиль какой-то разносчикь.

Миновали заставу; грохоту стало меньше; показалась поросшая травой, немощеная дорога...

— Нътъ мнъ счастья, — вдругъ произнесъ Абрамъ Марковичъ, до сихъ поръ угрюмо молчавшій.

Давидъ посмотрѣлъ на него.

- Нѣтъ мнѣ счастья, повторилъ онъ, такой сынъ и умеръ.
- О, какой онъ былъ славный мальчикъ!—воскликнулъ Давидъ.

Абрамъ Марковичъ съ негодованіемъ посмотрѣлъ на него.—Славный!—проговорилъ онъ обиженно.—Это былъ геній! Его разговоры, его поведеніе... Душу, понимаете, душу онъ у меня вырывалъ своими разговорами.

Абрамъ Марковичъ утеръ клътчатымъ платкомъ слезы.

— У васъ остались еще дъти,—сказалъ Давидъ, желая его утъщить.

Абрамъ Марковичъ махнулъ рукой.

- Э!-проговорилъ онъ, какое сравненіе!..

Дроги свернули на мостикъ, за которымъ виднѣлись бѣлыя кладбищенскія ворота. Процессію встрѣтилъ сторожъ, дюжій рыжій мужикъ, и помогъ отнести тѣло въ домикъ, спеціально назначенный для омовенія и послѣдняго туалета усопшихъ.

Давидъ съ сестрой пошли бродить по могиламъ. На нъкоторыхъ высились мраморные мавзолеи съ ливыми надписями, что тутъ, молъ, погребенъ первой гильдіи купець, блиставшій всевозможными гражданскими доблестями, а здёсь почіетъ надворный совётникъ, докторъ медицины... Это была кладбищенская аристократія. Она занимала центръ кладбища. А тамъ, по окраинамъ, тесно прижимаясь другъ къ другу, тесно налегая другъ на друга, ютилось цёлое поле холмиковъ, освненныхъ сврыми каменными плитами и деревянными дощечками. О, эти деревянныя дощечки! Сколько пролитыхъ слезъ, сколько замученныхъ сердецъ укрылось подъ ними, сколько скорбныхъ повъстей могли-бы они повъдать міру!.. Туть же неподалеку вырыли могилу и Макаркъ. На-скоро прочитавъ молитвы, опустили туда его тъло, совершенно скрытое подъ широкимъ бълымъ саваномъ. Присутствующіе бросили него по кому земли. Всъхъ утомила тяжелая процедура похоронъ, каждый спъшилъ поскоръе уъхать... Только мать, нагнувшись надъ віяющей могильной пастью, смотрвла, какъ она пожирала ея двтище, и тихо стонала. Надъ могилой уже поднялся бугорокъ. Всф разъъхались, даже нищіе, получивъ щедрую милостыню, разбрелись во-свояси, а она все не трогалась съ мъста.

Абрамъ Марковичъ взялъ ее за руку:

— Перестань, Хана,—сказаль онь,—это гръхь, ты ему не даешь покою...

И онъ почти насильно увелъ ее.

И остался Макарка въ гостепріимной, общей всѣмъ людямъ, "чертѣ осѣдлости". Старая, расщепленная ракита склонила къ нему позолоченную заходящимъ солнцемъ вѣтку, и птицы, слетѣвшись на красивый вѣнокъ изъ иммортелей и розъ, удивленно защебетали падънимъ свою вѣчную пѣсню...

